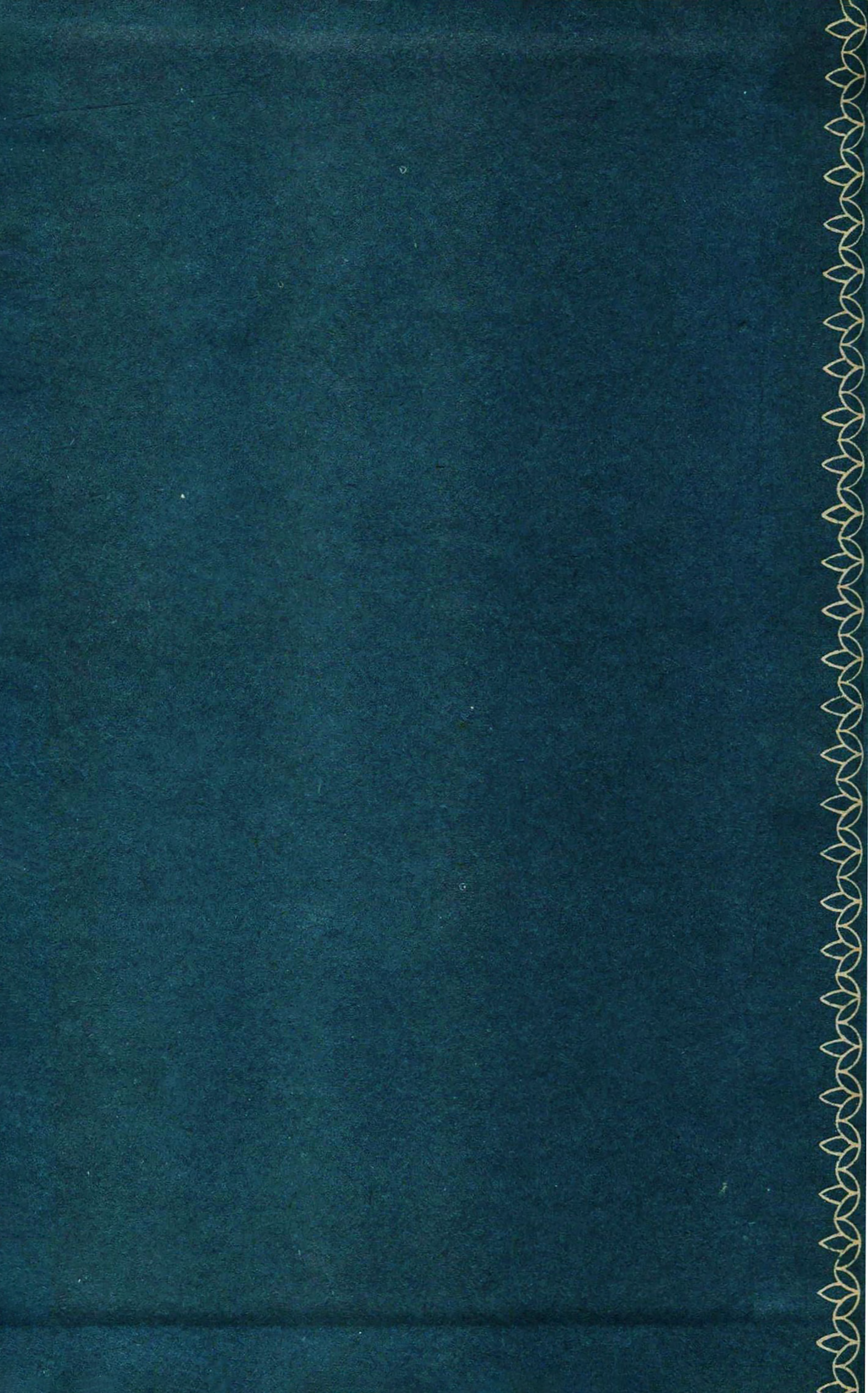
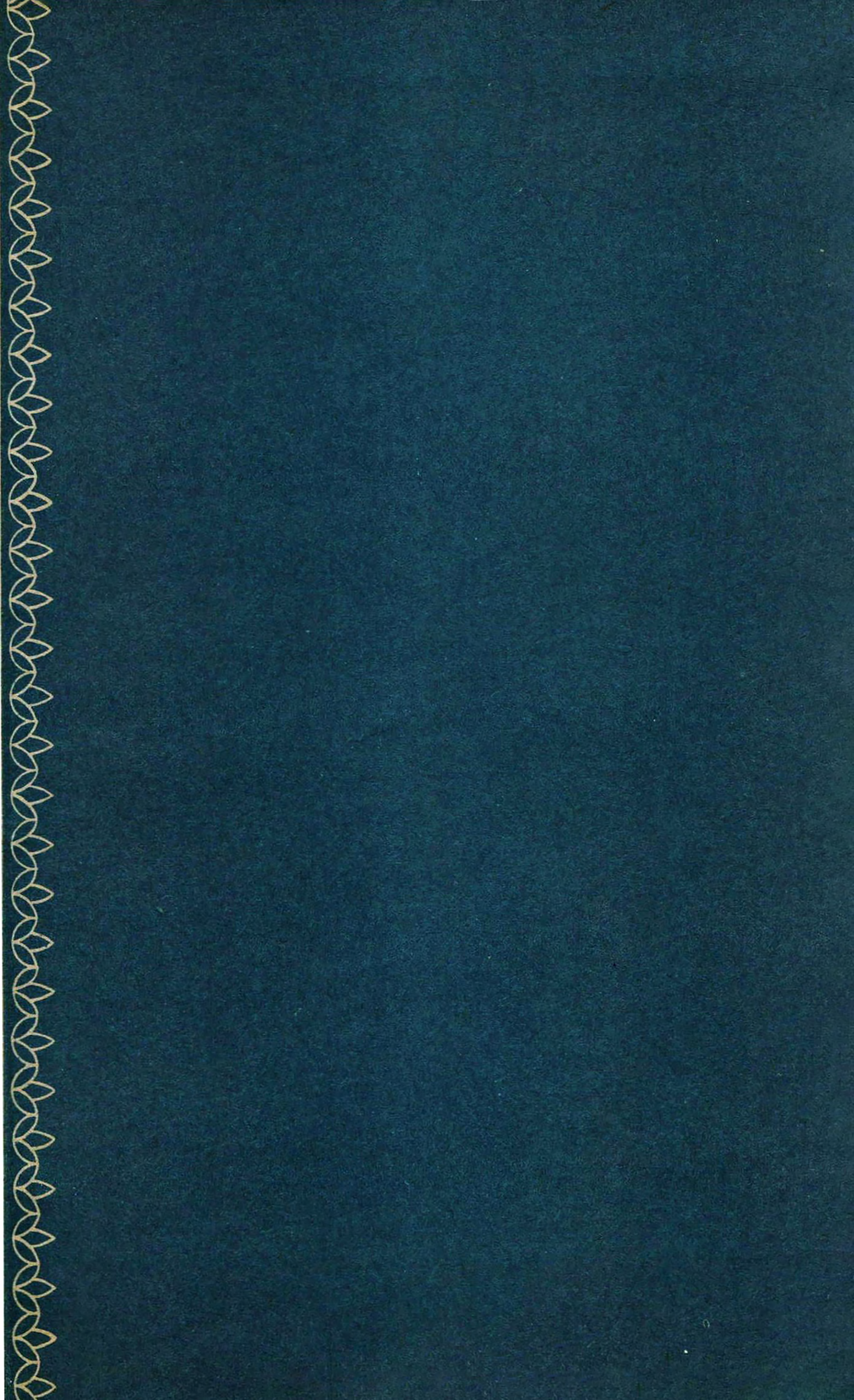
С. А. ЕСЕНИН

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ









С. А. Есенин. 1923 г.



СЕРИЯ ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

С. А. ЕСЕНИН

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ
ВТОРОЙ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986

ББК 84Р7
Е82

Составление и комментарии
А. А. КОЗЛОВСКОГО

Рецензент канд. филологич. наук
С. П. КОШЕЧКИН

Оформление художника
В. МАКСИНА

Е $\frac{4702010200\text{-}316}{028(01)\text{-}86}$ 62-86

М. ГОРЬКИЙ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

В седьмом или восьмом году, на Капри, Стефан Жеромский рассказал мне и болгарскому писателю Петко Тодорову историю о мальчике, жмудине или мазуре, крестьянине, который, каким-то случаем, попал в Краков и заплутался в нем. Он долго кружился по улицам города и все не мог выбраться на простор поля, привычный ему. А когда наконец почувствовал, что город не хочет выпустить его, встал на колени, помолился и прыгнул с моста в Вислу, надеясь, что уж река вынесет его на желанный простор. Утонуть ему не дали, он помер оттого, что разбился.

Незатейливый рассказ этот напомнила мне смерть Сергея Есенина. Впервые я увидал Есенина в Петербурге в 1914 году [1], где-то встретил его вместе с Клюевым. Он показался мне мальчиком пятнадцати — семнадцати лет. Кудрявенький и светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напомнил слащавенькие открытки Самокиш-Судковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом. Было лето, душная ночь, мы, трое, шли сначала по Бассейной, потом через Симеоновский мост, постояли на мосту, глядя в черную воду. Не помню, о чем говорили, вероятно, о войне: она уже началась. Есенин вызвал у меня неяркое впечатление скромного и несколько растерявшегося мальчика, который сам чувствует, что не место ему в огромном Петербурге.

Такие чистенькие мальчики — жильцы тихих городов, Калуги, Орла, Рязани, Симбирска, Тамбова. Там видишь их приказчиками в торговых рядах, подмастерьями столяров, танцорами и певцами в трактирных хорах, а в самой лучшей позиции — детьми небогатых купцов, сторонников «древлего благочестия».

Позднее, когда я читал его размашистые, яркие, удивительно сердечные стихи, не верилось мне, что пишет их тот

самый нарочито картинно одетый мальчик, с которым я стоял, ночью, на Симеоновском и видел, как он, сквозь зубы, плюет на черный бархат реки, стиснутой гранитом.

Через шесть-семь лет я увидел Есенина в Берлине, в квартире А. Н. Толстого[2]. От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспокойный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то, вдруг, неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он — человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее — серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспокойны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит — что именно забыто им.

Его сопровождали Айседора Дункан и Кусиков.

— Тоже поэт,— сказал о нем Есенин, тихо и с хрипотой.

Около Есенина Кусиков, весьма развязный молодой человек, показался мне лишним. Он был вооружен гитарой, любимым инструментом парикмахеров, но, кажется, не умел играть на ней. Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: «Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы».

Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню — было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно, и она, полуодетая, бегает, чтоб согреться, выскользнуть из холода.

У Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с насилием ее тела, избалованного славой и любовью. За этими словами не скрыто ничего обидного для женщины, они говорят только о проклятии старости.

Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая ко груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.

Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с ма-

леньким, как подросток, изумительным рязанским поэтом являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно. Тут нет ничего предвзятого, придуманного вот сейчас; нет, я говорю о впечатлении того тяжелого дня, когда, глядя на эту женщину, я думал: как может она почувствовать смысл таких вздохов поэта:

Хорошо бы, на стог улыбаясь,
Мордой месяца сено жевать! [3]

Что могут сказать ей такие горестные его усмешки:

Я хожу в цилиндре не для женщин —
В глупой страсти сердце жить не в силе —
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле [4].

Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на нее, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложились в строку стиха слова сострадания:

Излюбили тебя, измызгали...[5]

И можно было подумать, что он смотрит на свою подругу, как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха.

Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули в нем и жестоко и жалостно отчаянные слова:

Что ты смотришь так синими брызгами?
Иль в морду хошь?
    ...Дорогая, я плачу,
    Прости... прости...

Есенина попросили читать. Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными.

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть?

Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. Я не могу назвать его чтение артистическим, искусным и так далее, все эти эпитеты ничего не говорят о характере чтения. Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренно, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:

Я хочу видеть этого человека!

И великолепно был передан страх:

Где он? Где? Неужель его нет?

Даже не верилось, что этот маленький человек обладает такой огромной силой чувства, такой совершенной выразительностью. Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно — под ноги себе, другое — далеко, третье — в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза — все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружавшей поэта в тот час.

Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный:

Вы с ума сошли?

— громко и гневно, затем тише, но еще горячей:

Вы с ума сошли?

И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:

Вы с ума сошли?
Кто сказал вам, что мы уничтожены?

Неописуемо хорошо спросил он:

Неужель под душой так же падаешь, как под ношею?

И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально:

Дорогие мои...
Хор-рошие...

Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось. Помнится, я не мог сказать ему никаких похвал, да он — думаю — и не нуждался в них.

Я попросил его прочитать о собаке, у которой отняли и бросили в реку семерых щенят.

— Если вы не устали...

— Я не устаю от стихов,— сказал он и недоверчиво спросил:

— А вам нравится о собаке?

Я сказал ему, что, на мой взгляд, он первый в русской литературе так умело и с такой искренней любовью пишет о животных.

— Да, я очень люблю всякое зверье,— молвил Есенин задумчиво и тихо, а на мой вопрос, знает ли он «Рай животных» Клоделя [6], не ответил, пощупал голову обеими руками и начал читать «Песнь о собаке». И когда произнес последние строки:

Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег —

на его глазах тоже сверкнули слезы.

После этих стихов невольно подумалось, что Сергей Есенин не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой «печали полей» *, любви ко всему живому в мире и милосердия, которое — более всего иного — заслужено человеком. И еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта.

А он как-то тревожно заскучал. Приласкав Дункан, как, вероятно, он ласкал рязанских девиц, похлопав ее по спине, он предложил поехать:

— Куда-нибудь в шум,— сказал он.

Решили: вечером ехать в Луна-парк.

---

* Слова С. Н. Сергеева-Ценского.

Когда одевались в прихожей, Дункан стала нежно целовать мужчин.

— Очень хороши рошен,— растроганно говорила она.— Такой — ух! Не бывает...

Есенин грубо разыграл сцену ревности, шлепнул ее ладонью по спине, закричал:

— Не смей целовать чужих!

Мне подумалось, что он сделал это лишь для того, чтоб назвать окружающих людей чужими.

Безобразное великолепие Луна-парка оживило Есенина, он, посмеиваясь, бегал от одной диковины к другой, смотрел, как развлекаются почтенные немцы, стараясь попасть мячом в рот уродливой картонной маски, как упрямо они влезают по качающейся под ногами лестнице и тяжело падают на площадке, которая волнообразно вздымается. Было неисчислимо много столь же незатейливых развлечений, было много огней, и всюду усердно гремела честная немецкая музыка, которую можно было назвать «музыкой для толстых».

— Настроили — много, а ведь ничего особенного не придумали,— сказал Есенин и сейчас же прибавил: — Я не хаю.

Затем, наскоро, заговорил, что глагол «хаять» лучше, чем «порицать».

— Короткие слова всегда лучше многосложных,— сказал он.

Торопливость, с которой Есенин осматривал увеселения, была подозрительна и внушала мысль: человек хочет все видеть для того, чтоб поскорей забыть. Остановясь перед круглым киоском, в котором вертелось и гудело что-то пестрое, он спросил меня неожиданно и тоже торопливо:

— Вы думаете, мои стихи — нужны? И вообще искусство, то есть поэзия — нужна?

Вопрос был уместен как нельзя больше,— Луна-парк забавно живет и без Шиллера.

Но ответа на свой вопрос Есенин не стал ждать, предложив:

— Пойдемте вино пить.

На огромной террасе ресторана, густо усаженной веселыми людьми, он снова заскучал, стал рассеянным, капризным. Вино ему не понравилось:

— Кислое и пахнет жженым пером. Спросите красного, французского.

Но и красное он пил неохотно, как бы по обязанности. Минуты три сосредоточенно смотрел вдаль; там, высоко в воздухе, на фоне черных туч, шла женщина по канату, натянутому через пруд. Ее освещали бенгальским огнем, над нею и как будто вслед ей летели ракеты, угасая в тучах и отражаясь в воде пруда. Это было почти красиво, но Есенин пробормотал:

— Всё хотят как страшнее. Впрочем, я люблю цирк. А — вы?

Он не вызывал впечатления человека забалованного, рисующегося, нет, казалось, что он попал в это сомнительно веселое место по обязанности или «из приличия», как неверующие посещают церковь. Пришел и нетерпеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба чужому богу.

⟨1926⟩

Н. В. КРАНДИЕВСКАЯ-ТОЛСТАЯ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И АЙСЕДОРА ДУНКАН

— У нас гости в столовой,— сказал Толстой, заглянув в мою комнату.— Клюев привел Есенина. Выйди, познакомься. Он занятный.

Я вышла в столовую. Поэты пили чай. Клюев, в поддевке, с волосами, разделенными на пробор, с женскими плечами, благостный и сдобный, похож был на церковного старосту. Принимая от меня чашку с чаем, он помянул про великий пост. Отпихнул ветчину и масло. Чай пил «по-поповски», накрошив в него яблоко. Напившись, перевернул чашку, перекрестился на этюд Сарьяна и принялся читать нараспев вполне доброкачественные стихи. Временами, однако, чересчур фольклорное какое-нибудь словечко заставляло насторожиться. Озадачил меня также его мизинец с длинным, хорошо отполированным ногтем.

Второй гость, похожий на подростка, скромно покашливал. В голубой косоворотке, миловидный, льняные волосы уложены бабочкой на лбу. С первого взгляда — фабричный паренек, мастеровой. Это и был Есенин.

На столе стояли вербы. Есенин взял темно-красный прутик из вазы.

— Что мышата на жердочке,— сказал он вдруг и улыбнулся.

Мне понравилось, *как* он это сказал, понравился юмор, блеснувший в озорных глазах, и *все* в нем вдруг понравилось. Стало ясно, что за простоватой его внешностью светится что-то совсем не простое и не обычное.

Крутя вербный прутик в руках, он прочел первое свое стихотворение, потом второе, потом третье. Он читал много в тот вечер. Мы были взволнованы стихами, и не знаю, как это случилось, но в благодарном порыве, прощаясь, я поце-

ловала его в лоб, прямо в льняную бабочку, ставшую вдруг такою же милою мне, как и все в его облике.

В передней, по-мальчишески качая мою руку в последнем рукопожатии, Есенин сказал:

— Я к вам опять приду. Ладно?

— Приходите,— откликнулась я.

Но больше он не пришел.

Это было весной 1917 года [1], в Москве, и только через пять лет мы встретились снова, в Берлине, на тротуарах Курфюрстендама.

На Есенине был смокинг, на затылке — цилиндр, в петлице — хризантема. И то, и другое, и третье, как будто бы безупречное, выглядело на нем по-маскарадному. Большая и великолепная Айседора Дункан, с театральным гримом на лице, шла рядом, волоча по асфальту парчовый подол.

Ветер вздымал лиловато-красные волосы на ее голове. Люди шарахались в сторону.

— Есенин! — окликнула я.

Он не сразу узнал меня. Узнав, подбежал, схватил мою руку и крикнул:

— Ух ты... Вот встреча! Сидора, смотри кто...

— Qui est-ce? * — спросила Айседора. Она еле скользнула по мне сиреневыми глазами и остановила их на Никите, которого я вела за руку.

Долго, пристально, как бы с ужасом, смотрела она на моего пятилетнего сына, и постепенно расширенные атропином глаза ее ширились все больше, наливаясь слезами.

— Сидора! — тормошил ее Есенин.— Сидора, что ты?

— Oh,— простонала она наконец, не отрывая глаз от Никиты.— Oh, oh!..— И опустилась на колени перед ним, прямо на тротуар.

Перепуганный Никита волчонком глядел на нее. Я же поняла все. Я старалась поднять ее. Есенин помогал мне. Любопытные столпились вокруг. Айседора встала и, отстранив меня от Есенина, закрыв голову шарфом, пошла по улицам, не оборачиваясь, не видя перед собой никого,— фигура из трагедий Софокла. Есенин бежал за нею в своем глупом цилиндре, растерянный.

— Сидора,— кричал он,— подожди! Сидора, что случилось?

* Кто это? *(фр.)*

Никита горько плакал, уткнувшись в мои колени.

Я знала трагедию Айседоры Дункан. Ее дети, мальчик и девочка, погибли в Париже, в автомобильной катастрофе, много лет тому назад.

В дождливый день они ехали с гувернанткой в машине через Сену. Шофер затормозил на мосту, машину занесло на скользких торцах и перебросило через перила в реку. Никто не спасся.

Мальчик был любимец Айседоры. Его портрет на знаменитой рекламе английского мыла Pears'а известен всему миру. Белокурый голый младенец улыбается, весь в мыльной пене. Говорили, что он похож на Никиту, но в какой мере он был похож на Никиту, знать могла одна Айседора. И она это узнала, бедная.

В этот год Горький жил в Берлине.

— Зовите меня на Есенина,— сказал он однажды,— интересует меня этот человек.

Было решено устроить завтрак в пансионе Фишер, где мы снимали две большие меблированные комнаты. В угловой, с балконом на Курфюрстендам, накрыли длинный стол по диагонали. Приглашены были: Айседора Дункан, Есенин и Горький [2].

Айседора пришла, обтекаемая многочисленными шарфами пепельных тонов, с огненным куском шифона, перекинутым через плечо, как знамя. В этот раз она была спокойна, казалась усталой. Грима было меньше, и увядающее лицо, полное женственной прелести, напоминало прежнюю Дункан.

Три вещи беспокоили меня как хозяйку завтрака.

Первое — это чтобы не выбежал из соседней комнаты Никита, запрятанный туда на целый день. Второе заключалось в том, что разговор у Есенина с Горьким, посаженными рядом, не налаживался. Я видела, Есенин робеет, как мальчик. Горький присматривается к нему. Третье беспокойство внушал хозяин завтрака, непредусмотрительно подливавший водку в стакан Айседоры (рюмок для этого напитка она не признавала). Следы этой хозяйской беспечности были налицо.

— За русски революсс! — шумела Айседора, протягивая Алексею Максимовичу свой стакан.— Ecoutez *, Горки!

---

* Слушайте *(фр.)*.

Я будет тансоват seulement * для русски революсс. C'est beau ** русски революсс!

Алексей Максимович чокался и хмурился. Я видела, что ему не по себе. Поглаживая усы, он нагнулся ко мне и сказал тихо:

— Эта пожилая барыня расхваливает революцию, как театрал — удачную премьеру. Это она — зря.— Помолчав, он добавил: — А глаза у барыни хороши. Талантливые глаза.

Так шумно и сумбурно проходил завтрак. После кофе, встав из-за стола, Горький попросил Есенина прочесть последнее написанное им.

Есенин читал хорошо, но, пожалуй, слишком стараясь, нажимая на педали, без внутреннего покоя. (Я с грустью вспоминала вечер в Москве, на Молчановке.) Горькому стихи понравились, я это видела. Они разговорились. Я глядела на них, стоящих в нише окна. Как они были непохожи! Один продвигался вперед, закаленный, уверенный в цели, другой шел как слепой, на ощупь, спотыкаясь,— растревоженный и неблагополучный.

Позднее пришел поэт Кусиков, кабацкий человек в черкеске, с гитарой. Его никто не звал, но он, как тень, всюду следовал за Есениным в Берлине.

Айседора пожелала танцевать. Она сбросила добрую половину шарфов своих, оставила два на груди, один на животе, красный накрутила на голую руку, как флаг, и, высоко вскидывая колени, запрокинув голову, побежала по комнате, в круг. Кусиков нащипывал на гитаре «Интернационал». Ударяя руками в воображаемый бубен, она кружилась по комнате, отяжелевшая, хмельная менада. Зрители жались по стенкам. Есенин опустил голову, словно был в чем-то виноват. Мне было тяжело. Я вспоминала ее вдохновенную пляску в Петербурге пятнадцать лет тому назад. Божественная Айседора! За что так мстило время этой гениальной и нелепой женщине?

Этот день решено было закончить где-нибудь на свежем воздухе. Кто-то предложил Луна-парк. Говорили, что в Берлине он особенно хорош.

Был воскресный вечер, и нарядная скука возглавляла процессию праздных, солидных людей на улицах города.

---

* Только *(фр.)*.
** Это прекрасно *(фр.)*.

Они выступали, бережно неся на себе, как знамя благополучия, свое Sonntagskleid *, свои новые, ни разу не бывавшие в употреблении зонтики и перчатки, солидные трости, сигары, сумки, мучительную, щегольскую обувь, воскресные котелки. Железные ставни были спущены на витрины магазинов, и от этого город казался просторнее и чище.

Компания наша разделилась по машинам. Голова Айседоры лежала на плече у Есенина, пока шофер мчал нас по широкому Курфюрстендаму.

— Mais dis-moi souka, dis-moi ster-r-rwa...** — лепетала Айседора, ребячась, протягивая губы для поцелуя.

— Любит, чтобы ругал ее по-русски,— не то объяснял, не то оправдывался Есенин,— нравится ей. И когда бью — нравится. Чудачка!

— А вы бьете? — спросила я.

— Она сама дерется,— засмеялся он уклончиво.

— Как вы объясняетесь, не зная языка?

— А вот так: моя — твоя, моя — твоя...— И он задвигал руками, как татарин на ярмарке.— Мы друг друга понимаем, правда, Сидора?

За столиком в ресторане Луна-парка Айседора сидела усталая, с бокалом шампанского в руке, глядя поверх людских голов с таким брезгливым прищуром и царственной скукой, как смотрит австралийская пума из клетки на толпу надоевших зевак.

Вокруг немецкие бюргеры пили свое законное воскресное пиво. Труба ресторанного джаза пронзительно-печально пела в вечернем небе. На деревянных скалах грохотали вагонетки, свергая визжащих людей в проверенные бездны. Есенин паясничал перед оптическим зеркалом вместе с Кусиковым. Зеркало то раздувало человека наподобие шара, то вытягивало унылым червем. Рядом грохотало знаменитое «железное море», вздымая волнообразно железные ленты, перекатывая через них железные лодки на колесах. Несомненно, бредовая фантазия какого-то мрачного мизантропа изобрела этот железный аттракцион, гордость Берлина! В другом углу сада бешено крутящийся щит, усеянный цветными лампочками, слепил глаза до боли в висках. Странный садизм лежал в основе боль-

* Воскресное платье *(нем.)*.
** Скажи мне сука, скажи мне стерва *(смесь фр. с русск.)*.

шинства развлечений. Горькому они, видимо, не очень нравились. Его узнали в толпе, и любопытные ходили за ним, как за аттракционом. Он простился с нами и уехал домой.

Вечеру этому не суждено было закончиться благополучно. Одушевление за нашим столиком падало, ресторан пустел. Айседора царственно скучала. Есенин был пьян, невесело, по-русски пьян, философствуя и скандаля. Что-то его задело и растеребило во встрече с Горьким.

— А ну их к собачьей матери, умников! — отводил он душу, чокаясь с Кусиковым.— Пушкин что сказал? «Поэзия, прости господи, должна быть глуповата» [3]. Она, брат, умных не любит! Пей, Сашка!

Это был для меня новый Есенин. Я чувствовала за его хулиганским наскоком что-то привычно наигранное, за чем пряталась не то разобиженность, не то отчаянье. Было жаль его и хотелось скорей кончить этот не к добру затянувшийся вечер.

Айседора и Есенин занимали две большие комнаты в отеле «Адлен» на Унтер ден Линден. Они жили широко, располагая, по-видимому, как раз *тем* количеством денег, какое дает возможность пренебрежительного к ним отношения. Дункан только что заложила свой дом в окрестностях Лондона и вела переговоры о продаже дома в Париже. Путешествие по Европе в пятиместном «бьюике», задуманное еще в Москве, совместно с Есениным, требовало денег, тем более что Айседору сопровождал секретарь-француз, а за Есениным увязался поэт Кусиков. Автомобиль был единственным способом передвижения, который признавала Дункан. Железнодорожный вагон вызывал в ней брезгливое содрогание; говорят, что она никогда не ездила в поездах.

Айседора вообще была женщина со странностями. Несомненно умная, по-особенному, своеобразно, с претенциозным уклоном удивить, ошарашить собеседника. Эту черту словесного озорства я наблюдала позднее у другого ее соотечественника, блестящего Бернарда Шоу.

Айседора, например, утверждала: «Большинство общественных бедствий оттого, что люди не умеют двигаться. Они делают много лишних и неверных движений».

Мысли эти она развивала в форме забавных афоризмов, словно поддразнивая собеседника. Узнав, что я пишу, она усмехнулась недоверчиво:

— Есть ли у вас любовник, по крайней мере? Чтобы писать стихи, нужен любовник.

Отношение Дункан ко всему русскому было подозрительно восторженным. Порой казалось: пресыщенная, утомленная славой женщина не воспринимает ли и Россию, и революцию, и любовь Есенина, как злой аперитив, как огненную приправу к последнему блюду на жизненном пиру?

Ей было лет сорок пять. Она была еще хороша, но в отношениях ее к Есенину уже чувствовалась трагическая алчность последнего чувства.

Однажды ночью к нам ворвался Кусиков, попросил взаймы сто марок и сообщил, что Есенин сбежал от Айседоры.

— Окопались в пансиончике на Уландштрассе,— сказал он весело,— Айседора не найдет. Тишина, уют. Выпиваем, стихи пишем. Вы смотрите не выдавайте нас.

Но Айседора села в машину и объехала за три дня все пансионы Шарлотенбурга и Курфюрстендама. На четвертую ночь она ворвалась, как амазонка, с хлыстом в руке в тихий семейный пансион на Уландштрассе. Все спали. Только Есенин в пижаме, сидя за бутылкой пива в столовой, играл с Кусиковым в шашки. Вокруг них в темноте буфетов на кронштейнах, убранных кружевами, мирно сияли кофейники и сервизы, громоздились хрустали, вазочки и пивные кружки. Висели деревянные утки вниз головами. Солидно тикали часы. Тишина и уют, вместе с ароматом сигар и кофе, обволакивали это буржуазное немецкое гнездо, как надежная дымовая завеса, от бурь и непогод за окном. Но буря ворвалась и сюда в образе Айседоры. Увидя ее, Есенин молча попятился и скрылся в темном коридоре. Кусиков побежал будить хозяйку, а в столовой начался погром.

Айседора носилась по комнатам в красном хитоне, как демон разрушения. Распахнув буфет, она вывалила на пол все, что было в нем. От ударов ее хлыста летели вазочки с кронштейнов, рушились полки с сервизами. Сорвались деревянные утки со стены, закачались, зазвенели хрустали на люстре. Айседора бушевала до тех пор, пока бить стало нечего. Тогда, перешагнув через груды черепков и осколков, она прошла в коридор и за гардеробом нашла Есенина.

— Quittez ce bordel immédiatement, — сказала она ему спокойно, — et suivez-moi *.

Есенин надел цилиндр, накинул пальто поверх пижамы и молча пошел за ней. Кусиков остался в залог и для подписания пансионного счета.

Этот счет, присланный через два дня в отель Айседоре, был страшен. Было много шума и разговоров. Расплатясь, Айседора погрузила свое трудное хозяйство на два многосильных «мерседеса» и отбыла в Париж, через Кельн и Страсбург, чтобы в пути познакомить поэта с готикой знаменитых соборов.

⟨1958⟩

---

* Покиньте немедленно этот бордель... и следуйте за мной *(фр.)*.

ФРАНЦ ЭЛЛЕНС

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И АЙСЕДОРА ДУНКАН

Трагическая смерть Айседоры Дункан [1] после столь же трагической кончины Сергея Есенина, изощренную жестокость которой невозможно забыть, снова напомнила мне, в какой драматической атмосфере постоянно жила эта, на первый взгляд чудовищно парадоксальная, чета. Во всяком случае, именно это я увидел, именно такое впечатление я вынес за те несколько дней, которые выдалось мне провести в тесной близости с ними.

В 1922 году [2], во время пребывания Есенина в Париже, я познакомился с этим странным молодым человеком, угадать в котором поэта можно было лишь после длительного наблюдения. Тривиальное определение «молодой человек» не подходит к нему. Вы видели изящную внешность, стройную фигуру, жизнерадостное выражение лица, живой взгляд, и казалось, что все это изобличает породу в самом аристократическом значении этого слова. Но под этим обликом и манерой держать себя тотчас обнаруживалась подлинная натура этого человека, та, что выразилась в «Исповеди хулигана». В резких жестах руки, в модуляциях голоса, временами доходящих до крика, распознавался табунщик, мальчик нецивилизованный, свободный, полный безотчетных влечений, которого с трех лет отпускали в степь. Он мне рассказывал, как однажды его дядя, вместе с которым он жил, сел верхом на лошадь, посадил и его тоже верхом на кобылу и пустил ее вскачь. Свою первую верховую прогулку поэт совершил галопом. Вцепившись в гриву лошади, он с честью выдержал испытание.

В этом весь Есенин. Человек и поэт. Поэт, который поет:

Русь моя, деревянная Русь!
Я один твой певец и глашатай.
Звериных стихов моих грусть
Я кормил резедой и мятой [3].

Есенина надо искать в самих его истоках, в корнях его родины. Когда я впервые увидел его, его элегантность

в одежде и совершенная непринужденность в манере держать себя на какой-то миг ввели меня в заблуждение. Но его подлинный характер быстро раскрылся мне. Эта элегантность костюма, эта утонченная изысканность, которую он словно бы нарочно подчеркивал, были не более чем еще одной — и не самой интересной — ипостасью его характера, сила которого была неотделима от удивительной нежности. Будучи кровно связан с природой, он сочетал в себе здоровье и полноту природного бытия. Думается, можно сказать, что в равной степени подлинными были оба лика Есенина. Этот крестьянин был безукоризненным аристократом.

Впрочем, он сам с удовольствием подчеркивал этот контраст, или, лучше сказать, единство. Он говорил, что пришел в этот мир

...целовать коров,
Слушать сердцем овсяный хруст [4],

и охотно хвастался в стихах, что ходит «в цилиндре и лакированных башмаках», но тотчас возвращался к своим валенкам и шапке, потому что

...живет в нем задор прежней вправки
Деревенского озорника.
Каждой корове с вывески мясной лавки
Он кланяется издалека,
И, встречаясь с извозчиками на площади,
Вспоминая запах навоза с родных полей,
Он готов нести хвост каждой лошади,
Как венчального платья шлейф [5].

Это было в то время, когда я вместе со своей женой переводил его стихи. Я видел его каждый день то в небольшом особняке Айседоры на улице Помп, то в отеле «Крийон», где супружеская чета спасалась от сложностей домашнего быта. Если в «Крийоне» Есенин производил впечатление человека светского, нисколько не выпадающего из той среды, которая казалась столь мало для него подходящей, то в будничной обстановке маленького особняка он представал передо мной в своем более естественном облике, и, во всяком случае, на мой взгляд, выглядел человеком более интересным и более располагающим к себе. Я имел также возможность с некоторым смущением наблюдать этот союз молодого русского поэта и уже клонившейся к закату танцовщицы, показавшийся мне сначала, как я уже говорил, почти чудовищным. Я думаю, что ни одна

женщина на свете не понимала свою роль вдохновительницы более по-матерински, чем Айседора. Она увезла Есенина в Европу, она, дав ему возможность покинуть Россию, предложила ему жениться на ней. Это был поистине самоотверженный поступок, ибо он был чреват для нее жертвой и болью. У нее не было никаких иллюзий, она знала, что время тревожного счастья будет недолгим, что ей предстоит пережить драматические потрясения, что рано или поздно маленький дикарь, которого она хотела воспитать, снова станет самим собой и сбросит с себя, быть может, жестоко и грубо тот род любовной опеки, которой ей так хотелось его окружить. Айседора страстно любила юношу-поэта, и я понял, что эта любовь с самого начала была отчаянием.

Мне вспоминается вечер, когда одновременно раскрылись и драма этих двух людей, и подлинный характер Есенина.

Я пришел, когда они были еще за столом, и застал их в каком-то странном и мрачном расположении духа. Со мной едва поздоровались. Они были поглощены друг другом, как юные любовники, и нельзя было заметить, что они находятся в ссоре. Несколько мгновений спустя Айседора мне рассказала, что слуги отравляют им жизнь, что этим вечером здесь разыгрались отвратительные сцены, которые привели их в смятение. Поскольку его жена показала себя более раздраженной, чем обычно, и утратила то замечательное хладнокровие, то чувство меры, тот ритм, который был основой и ее искусства, и самой ее натуры, что по обыкновению так хорошо воздействовало на поэта, Есенин решил ее подпоить. Никаких дурных намерений у него не было. ⟨...⟩ Я все яснее читал на лице танцовщицы отчаяние, которое обычно она умела скрывать под спокойным и улыбающимся видом. Отчаяние выражалось также и в чисто физическом упадке ее сил.

Внезапно Айседора снова подобралась и, сделав над собой усилие, пригласила нас пройти в ее студию — в тот огромный зал, где находилась эстрада и вдоль стен стояли диваны с подушками. Она попросила меня прочитать только что законченный мной французский перевод «Пугачева», строки которого — это и действующие лица, и толпы народа, ветер, земля и деревья. Я прочитал, хотя и неохотно, потому что боялся испортить своей робостью и неважной дикцией великолепную поэму, одновременно резкую и нежную. Айседора, очевидно, не была удовлетворена моей декламацией, потому что тотчас же обратилась к Есенину с просьбой прочитать поэму по-русски. Какой стыд

для меня, когда я его услышал и увидел, как он читает! И я посмел прикоснуться к его поэзии! Есенин то неистовствовал, как буря, то шелестел, как молодая листва на заре. Это было словно раскрытие самих основ его поэтического темперамента. Никогда в жизни я не видел такой полной слиянности поэзии и ее творца. Эта декламация во всей полноте передавала его стиль: он пел свои стихи, он вещал их, выплевывал их, он то ревел, то мурлыкал со звериной силой и грацией, которые пронзали и околдовывали слушателя.

В тот вечер я понял, что эти два столь несхожих человека не смогут расстаться без трагедии.

* * *

Алексей Толстой очень хорошо описал поэта: «Русый, кудреватый, голубоглазый, с задорным носом. Ему бы холщовую рубашку с красными латками, перепояску с медным гребешком и в семик плясать с девками в березовой роще... Есенину присущ этот стародавний, порожденный на берегах туманных, тихих рек, в зеленом шуме лесов, в травяных просторах степей, этот певучий дар славянской души, мечтательной, беспечной, таинственно-взволнованной голосами природы...» [6]

Устав от Парижа, он отправился в Соединенные Штаты. Там снова, как и в Европе, он получил возможность жить в чаду постоянного хмеля.

Но Россия давала знать себя все сильнее и сильнее. Шапка одолела цилиндр, а валенки одержали верх над лакированными башмаками. Вернувшись в Москву, Есенин словно бы себя потерял, или, быть может, его сотоварищи не были уже столь сплочены вокруг него, как раньше. Поколение поэта, пока он отсутствовал, ушло далеко вперед, ждать его не стали. Есенин оказался в одиночестве, или, вернее сказать, счел себя одиноким после того, как в постоянной погоне за славой лучше ощутил тщету бытия.

Несмотря на жизненный опыт и на успех, крестьянский поэт остался, по существу, таким же, каким он и был. Стихи, которые он писал в 1924 и 1925 годах, показывают, что он находил вдохновение в природе. Но там и здесь у него возникают горькие ноты, и последние стихи, созданные в день самоубийства, он написал пером, обмокнутым в собственную кровь...

⟨1927⟩

М. О. МЕНДЕЛЬСОН

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Даже сегодня, более чем полвека спустя, мне трудно с полной уверенностью сказать, почему, договорившись с Сергеем Есениным о свидании в одной из больших гостиниц Нью-Йорка, где Есенин жил со своей женой Айседорой Дункан [1], Давид Бурлюк пригласил туда и меня.

Это происходило на рубеже 1922 и 1923 годов. Мы с Бурлюком были людьми разных поколений. Нас разделял, казалось, непреодолимый возрастной барьер. В свои восемнадцать лет я полагал, что грузный, хотя и быстрый в движениях Давид Давидович был человеком весьма пожилым, даже старым. Да и знакомы мы были всего несколько месяцев. Так в чем же было дело? Почему Бурлюк позвал с собой именно меня?

Очутившись в Америке, Давид Давидович остался верен своей извечной страсти — опекать молодых поэтов. Даже на чужбине его влекло к начинающим стихотворцам, он готов был приласкать любого юного человека, обладавшего хоть какой-нибудь способностью слагать стихи по-русски.

А я тогда писал стишки. Печатать их в «Новом мире» — а с сотрудниками этого русского еженедельника в Нью-Йорке я был близок — возможности не было. Газету «Новый мир» выпускали выходцы из России — американские коммунисты. Издавалась она полулегально, ведь недавние разбойничьи налеты на все прогрессивные организации в США министра Палмера еще были свежи в памяти. Так отмечало правительство «либерального» Уилсона победу советской власти над интервентами многих стран, включая и американцев. Этот президент был уверен, что ему удастся силой оружия стереть идеи Ленина с лица земли.

Четыре небольшие странички еженедельника «Новый мир» посвящались главным образом вопросам мировой политики, материалам о классовой борьбе в США, сообще-

ниям о жизни советского народа, восстанавливавшего разрушенное хозяйство и занятого построением фундамента социализма, а также корреспонденциям рабочих из Чикаго, Сан-Франциско или какого-нибудь Элизабетпорта, что находится неподалеку от Нью-Йорка.

Для стихов или статей о литературе в маленькой газетке места и впрямь не оставалось. И товарищи охотно, хотя и не без вполне уловимой насмешливой улыбки, разрешили мне печатать свои поэтические опыты в ежедневном «Русском голосе», газете, относившейся к Советской России более или менее благожелательно. Там работал Бурлюк, который, повторяю, взял на себя миссию попечителя русской «поэтической колонии» в Америке.

Правда, еще в юности я понял: стихи мои были никудышными... Но большого выбора у Давида Давидовича не было. И он посылал в набор почти все, что я приносил. К тому же он полагал, что молодым сочинителям надо внушать уверенность в себе. Помню, однажды он собрал группку юных русских девушек и юношей, интересовавшихся словесностью. И когда они выразили надежду, что смогут совместно обсуждать книги советских авторов, Бурлюк сделал укоризненное замечание, от которого могла закружиться голова не только у таких птенцов. «Поймите,— вскричал он,— мы не читатели, мы писатели!»

Сергей Есенин был первым большим советским поэтом, который посетил Америку. Возможно, Бурлюк считал, что его долг — познакомить с Есениным хотя бы одного из тех молодых людей, которые выступали с русскими стихами в далекой от России стране.

Впрочем, порою мне кажется, что готовность Давида Давидовича познакомить меня с Есениным объяснялась совсем другим обстоятельством. Пожалуй, он так старался, чтобы я преодолел робость, даже испуг, овладевшие мною, когда зашла речь о приглашении «побеседовать» с Сергеем Есениным, потому что не прочь был продемонстрировать свое доброе отношение к «новомирцам», пусть оно выражалось через отношение к столь неприметному работнику этой газеты, как я. Давид Давидович, вероятно, догадывался, что «Новый мир» был связан с Коммунистической партией США, которая все еще находилась в подполье. Во всяком случае, он знал, что этот скромный орган печати был связан с легальным ответвлением коммунистической организации — Рабочей партией Америки.

В назначенный Есениным час мы условились встретиться с Бурлюком в коридоре того этажа гостиницы, где

поселился поэт. Он занимал номер в знаменитом некогда отеле на 34-й улице, где были расположены и многие крупные универсальные магазины.

Как раз в ту пору Теодор Драйзер работал над своей «Американской трагедией». В первых главах этого романа он изобразил куда более скромную, провинциальную гостиницу. Но мне не трудно было представить себе, когда позднее я прочитал эту книгу, тот восторг, с которым драйзеровский герой, поступив на работу в этот отель, воспринял роскошь, окружавшую постояльцев гостиницы.

Пытаясь скрыть волнение, я вместе с другими прошел через импозантную входную дверь отеля. Затем измерил взглядом бесконечную, как мне показалось, длину вестибюля гостиницы — там жильцы и гости проводили деловые встречи — и наконец вступил в лифт, которым ловко орудовал самоуверенный мальчишка в нарядном мундирчике.

Я оказался в таком месте впервые. Потом мне рассказали, что гостиница эта все еще оставалась для американцев символом приобщения к кругу людей удачливых и респектабельных. Да, многие американцы все еще считали, что в самом большом городе США нужно останавливаться только в подобном, широко разрекламированном обиталище для приезжих. Однако даже я не мог не заметить, что интерьер огромного вестибюля уже покрылся довольно заметной сетью старческих морщин. Следы долгих лет беспрерывного кружения посетителей на первом этаже отеля как будто въелись в стены вестибюля, в покрытые не очень свежими коврами полы и как будто захватанные множеством рук занавеси на огромных окнах.

Коридор, в который выходили двери лифта на том этаже, где я должен был ждать Бурлюка, тоже не отличался привлекательностью. И тут было множество людей, и почти все они куда-то торопились. Сам темп передвижения обитателей гостиницы, конечно, говорил о царящей здесь атмосфере деловитости. Впрочем, это была не просто деловитость, а упорное влечение к чему-то такому, что считали необходимым прибрать к рукам. Едва ли все это могло порадовать поэта и актрису.

Должно быть, я пришел слишком рано. Бурлюка еще не было. И вдруг возникло мальчишеское желание — постараться хоть на минуту взглянуть на все происходящее глазами человека, с которым Бурлюк собирался меня познакомить. Я захотел вообразить, что чувствует этот русский лирик, этот сын рязанской деревни в хвастливом и бесстыдно афиширующем себя американском городе с его

гигантскими мостами и столь же огромными вокзалами, с улицами, которые до отказа забиты автомобилями? Неужели же, думал я, все это внушает Есенину ощущение оглушенности, столь знакомое иным людям, приехавшим в эти края из разных стран Европы?

Бурлюк по-прежнему задерживался. И у меня оказалось достаточно времени, чтобы провернуть, как киноленту, в сознании то, что я видел и слышал по дороге в гостиницу. Всюду грохот, толкотня. Уже наступили ранние сумерки — часы возвращения домой бесчисленных толп рабочих и служащих, часы натиска и напора, которые особенно остро ощущаются на проходящих под землей линиях городской железной дороги. Специальные работники, как всегда по вечерам, вталкивают пассажиров в вагоны метрополитена — то плечом, то коленом. Нужно побыстрее закрыть все двери в поездах, иначе движение остановится. А потом бешеная тряска скудно освещенных и заплеванных вагонов. Рядом со входом в гостиницу решетки на тротуарах — из них вырываются клубы отработанного воздуха. Вероятно, можно подумать, что под ногами, скрежеща железом, прокладывает себе дорогу какое-то смрадное чудовище.

Что же думает об этом Есенин? Какими видит он высокие здания этого города, окружающие колоссальный куб гостиницы? Радует его или пугает безостановочное движение людей около отеля и внутри его?

А автомобилям уже тогда, в начале 20-х годов, стало тесно в окаменевших артериях Нью-Йорка. Стоя в коридоре, я попробовал понять смысл того удивительного, что, как мне казалось, я вскоре увижу. Это будет, полагал я, схватка певца вольной природы и деревенской жизни с воплощением самого мощного (а может быть, и самого страшного), что создала современная американская цивилизация. Вот о чем, вероятно, пойдет разговор у Есенина с Бурлюком...

Наконец из лифта, остановившегося на этаже, который я уже начал про себя называть «этажом Есенина и Дункан», выскочил запыхавшийся Давид Давидович.

Скажу прямо, мои предположения о том, как произойдет встреча, ради которой я сюда пришел, тут же начали рассыпаться в прах. Еще тогда, когда мы только поздоровались с Бурлюком, я с удивлением подметил, что в Давиде Давидовиче произошла какая-то перемена. Он стал как будто совсем не такой, каким я его знал раньше. Бурлюк всегда говорил громко и ходил твердым шагом. А теперь в нем появилась какая-то неуверенность. Постояв минутку,

а то и две перед дверью есенинского номера, Давид Давидович тихонько постучал. Кто-то открыл дверь. Мы очутились в очень большой комнате, из окон которой открывался знакомый вид на площадь у 34-й улицы.

И тут навстречу нам не спеша вышел молодой, очень молодой человек. Сначала мне даже показалось, что это мой ровесник. Молодой человек был хорошо одет и изящен. Его русые, переходящие в золото волосы, его лицо, освещенное светом синих глаз,— все казалось знакомым. Это, конечно, был Есенин. На его лице не было и тени улыбки, а я почему-то ожидал иного — веселого лукавства. В нем, как мне казалось, должно было запечатлеться превосходство советского поэта над миром, в котором он очутился...

Но скажу еще об одном человеке, оказавшемся в номере Есенина,— вероятно, он-то и открыл нам дверь. Если в поэте, несмотря на невеселые чувства, видимо, его обуревавшие, было, так я почувствовал, что-то, делавшее его доступным, то другой человек сразу же вызвал отчужденность... Этот мужчина молча стал в стороне, совершенно не делая попыток установить хотя бы очень слабый контакт с людьми, появившимися в комнате.

Потом я узнал, что этого человека звали Ветлугин. В статье, появившейся в одной из американских газет в конце 1922 года и рассказывавшей о приезде Дункан и Есенина в США, Ветлугина назвали секретарем Айседоры Дункан. А. Ярмолинский (он долгое время заведовал славянским отделением центральной нью-йоркской библиотеки) написал в 50-х годах, что Ветлугин — это псевдоним некоего Рындзюка, автора двух-трех книг [2].

По словам Ярмолинского, Рындзюк состоял чем-то вроде переводчика нри Айседоре Дункан, он помогал ей объясняться с мужем. Когда Бурлюк и я были у Есенина, Ветлугин не выполнял каких-либо вполне определенных функций. В его упорном и как будто подчеркнутом молчании я ощутил явное недружелюбие.

Мы провели в отеле чуть больше двух часов. За это время Дункан несколько раз забегала в комнату, в которой мы находились (видимо, номер состоял из нескольких комнат), но не обменялась с поэтом ни единым словом. Ни слова не произнес и Ветлугин.

Да, собственно говоря, мы их почти не видели. Есенин устроил своих посетителей так, чтобы мы сидели все время лицом к окнам, за которыми слышался несмолкаемый гул города, а спиной к входной двери. А сам поэт устроился в кресле перед нами, чтобы не видеть площади за окнами.

Постепенно возникло впечатление, что, расположившись подобным образом, Есенин проявил какой-то умысел. Вскоре я почувствовал, что поэт как будто сознательно стремился не задерживаться взглядом — хоть на одно мгновение — на открывавшейся перед нами панораме уличной жизни Нью-Йорка. Вместе с тем чувство растерянности, которое мне почудилось, едва я увидел Давида Давидовича, принимало все более очевидный характер.

Разговор с Есениным, как и следовало ожидать, начал Бурлюк. И сразу беседа эта стала какой-то вымученной и явно нерадостной для обоих участников. В речи Давида Давидовича появились заискивающие нотки. И сидел он очень напряженно, на самом кончике стула. Неужто на нем сказывалось тягостное бремя жизни эмигранта? И он словно опасается, что Есенин просто не захочет иметь с ним дело?

А потом Бурлюк стал предлагать советскому поэту свои услуги. Он делал это очень настойчиво, даже, пожалуй, назойливо, точно от того, примет ли Есенин его предложение, зависела вся его судьба. Слова Давида Давидовича я хорошо запомнил, ибо они очень больно, все больнее и больнее, меня ранили.

Вероятно, говорил Бурлюк, Сергей Александрович хотел бы получше познакомиться с достопримечательностями Нью-Йорка? Что ж, это можно без труда устроить. Турне по этому многообразному городу — дело очень хорошее. Как постоянный житель американского метронолиса, он охотно взял бы на себя обязанности гида. Он был бы очень рад оказать такую услугу приезжему русскому поэту.

Мне стало невыносимо тяжело. Мучил стыд за немолодого человека, продолжавшего сидеть на кончике стула, — словно по первому слову Есенина он готов был вскочить на ноги. Было очень неловко и за самого себя: ничего подобного я не ожидал. Ведь я присутствовал нри чем-то не очень-то пристойном.

Мелькнула мысль, что Есенин видит в Бурлюке просто белоэмигранта, с которым ему просто-напросто не хочется разговаривать. Но ведь, согласившись встретиться с Давидом Давидовичем, Есенин знал, конечно, что тот всячески подчеркивает свои симпатии к Советской стране. Неужели Есенин увидел в Бурлюке подобие тиничного американского коммивояжера? Нет, все-таки здесь было дело, вероятно, в чем-то другом...

В лаконичный диалог Есенина и Бурлюка (собственно, не диалог — Есенин отделывался краткими репликами)

никто не включался. Я, конечно, понимал, что Давид Давидович пригласил меня слушать и только.

В дальнем углу комнаты снова распахнулась дверь. Легко было догадаться, что вышла Айседора Дункан. Но она тут же исчезла.

А несколько минут спустя эта стремительная, как бы летящая женщина снова появилась в комнате. Краем глаза я увидел Дункан,— на ней было какое-то свободное одеяние, развевавшееся, точно от порывов ветра. Позднее мне случалось несколько раз видеть эту великолепную танцовщицу на сцене. Но в памяти ярче всего живет первое впечатление.

И оно меня смутило. Жена этого человека, казавшегося совсем юным, оказалась женщиной очень зрелой.

На несколько мгновений я отвлекся от разговора Есенина с Бурлюком. А когда снова прислушался к их словам, то понял, что речь все еще идет о том же самом. Как и прежде, Давид Давидович демонстрировал желание помочь поэту повидать малоизвестные уголки Нью-Йорка, а Есенин, соблюдая холодную вежливость, благодарил, но вместе с тем просил не утруждать себя...

Впрочем, все-таки в характере беседы что-то изменилось. Теперь поэт проявлял непонятное мне беспокойство. И оно росло с каждой минутой. Есенин вставал и тут же снова садился, сохраняя — я не мог этого не заметить — все ту же позицию. Он глядел на нас, но ни разу не обернулся к окнам. Снова и снова поэт как будто заставлял нас понять: то, что происходит за стенами гостиницы, его совершенно не интересует. Сидя в кресле или нервно бродя по комнате-клетке, Есенин все время находился как будто далеко от Нью-Йорка. Это был своего рода вызов тому миру, в котором он очутился.

В ответ на неизменно любезные пожелания, советы и приглашения Давида Давидовича, как бы взявшего на себя обязанности полномочного представителя Америки, который хотел бы очаровать приезжего гостя широтой гостеприимства, Есенин все явственнее давал волю раздражению.

И наконец вопрос Бурлюка, повторенный бог знает в который раз («Так что же желал бы Сергей Александрович увидеть в своеобразнейшем городе Нью-Йорке?»), вызвал у Есенина особенно резкую вспышку. Он вскочил с места, пробежал по комнате, а затем в неожиданно категорической форме — от первоначальной куртуазности не осталось почти следа — объявил: никуда он здесь не хочет

идти, ничего не намерен смотреть, вообще не интересуется в Америке решительно ничем.

Я слышал, что Есенин бывал переменчив, порою несправедлив к людям. Но не хотелось думать, что поведение поэта объясняется просто возникшей у него личной неприязнью к Бурлюку, что во всем повинна слащавость тона Давида Давидовича, его непомерная настойчивость.

Я, конечно, понимал, что Бурлюк ведет себя очень странно, что он теряет контроль над собой. А все же я не сомневался в том, что он искренне хотел бы сделаться чем-нибудь полезным Есенину. И мне стало жаль Давида Давидовича, который, став эмигрантом, уже не был в состоянии разговаривать с гражданином Советской страны как равный с равным. Мне даже показалось, что в единственном глазу Бурлюка блеснула слезинка.

И вместе с тем я был уверен, что дело было не только в отрицательном отношении поэта к личности Бурлюка. Я снова и снова замечал, что, даже мечась по комнате, Есенин по-прежнему старался не бросить даже мимолетного взгляда на окна. Он точно хотел доказать самому себе, что ему и впрямь нет никакого дела ни до толпы на улицах Нью-Йорка, ни до потоков машин, ни до небоскребов, каких он не мог видеть в Париже или Берлине. Ни до чего решительно...

До конца разобраться в чувствах Есенина я, разумеется, тогда не мог. Но случилось так, что именно в тот момент я впервые отважился открыть рот, выйти за рамки бессловесной роли, которую намечал для меня Бурлюк, когда позвал «в гости к Есенину». Мне захотелось защитить Давида Давидовича от того, что мне показалось незаслуженной обидой.

Свои чувства я выразил с непосредственностью не очень-то искушенного юноши. Неужели вам не хочется понять, сказал я Сергею Есенину, как живут люди в этом многомиллионном городе, что они делают, например, там, на площади? Неужели вас не занимает, в каком настроении американцы возвращаются домой после целого дня изматывающей работы?

Своего рода вызов, который прозвучал в этих словах, не рассердил Есенина. Он внимательно меня выслушал. А затем улыбнулся — впервые, пожалуй, за все это время.

Только позднее, много позднее мне удалось понять, что за есенинскими словами о полном отсутствии у него интереса ко всему, что он увидел в Америке, таилось нечто иное. Однако у поэта не возникало желания раскрыть душу перед

незнакомыми людьми. Да, он вдруг подобрел, и на лице его сохранилась обрадовавшая меня улыбка. Но затем, обращаясь ко мне, повторил, что ему нет дела до того, что творится там... И он показал рукой на окна.

На этом встреча пришла к концу. Бурлюк и я попрощались и ушли. Не знаю, о чем думал, что чувствовал Давид Давидович, покидая отель. Мне неудобно было его спросить. А он не захотел поделиться со мной своими мыслями, должно быть, стыдясь того, что здесь произошло.

За время пребывания Есенина и Дункан в США мне довелось их видеть еще несколько раз. Однажды Айседора Дункан выступала перед рабочими в убогом театрике, вернее, жалком клубном помещении. Перед состоятельными зрителями, которые могли ходить на дункановские вечера в обширном зале «Карнеги-холл», танцовщица куда полнее сумела раскрыть свое дарование. Но в этом клубе (обычно здесь проводились собрания членов прогрессивных организаций), куда пришли нью-йоркские труженики, танцовщице выступать было трудно — слишком тесна была сцена. Зато рабочие лучше уловили присущее искусству Дункан революционное начало, связь творчества этой актрисы с духом Октября.

По поручению газеты «Новый мир» я присутствовал в клубе — был за кулисами. Здесь же бродил Есенин. Из зала доносились музыка и восторженные аплодисменты.

Поэт показался мне даже более возбужденным, чем в тот день, когда я видел его в отеле. Он не мог спокойно ни сидеть, ни стоять. Меж тем место за сценой, остававшееся в распоряжении Есенина, было совсем маленьким — еще шаг, другой, и его увидели бы из зрительного зала. От немногих людей, которые, как и поэт, находились за кулисами, он не мог (да, видимо, и не хотел) скрыть свои чувства. А лицо Есенина говорило о том, что на душе у него было тяжело.

Впрочем, случилось мне увидеть его и совсем иным.

Однажды он читал стихи рабочим, главным образом выходцам из России, стихи о русской природе и о преобразовании России. Возможно, революционная струя в есенинской поэзии была для этой аудитории даже дороже, чем ее лирическое звучание. Понимая это, он выбирал для чтения стихи, которые позволяли слушателям лучше всего представить себе близость поэту того нового, что происходит на его родине. И тогда на лице Есенина появилось выражение счастья. Это не было простым откликом на радостный гул, которым слушатели встречали его выступление. Поэт, надо

думать, почувствовал: собравшимся понятно и дорого то, что творится в его душе.

Впрочем, гораздо чаще мне случалось видеть в Америке Есенина, глубоко ушедшего в свои тайные и какие-то очень горькие думы. И желание понять их суть, как и узнать причины столь активного стремления поэта,— которое я заметил во время первой встречи с ним,— подчеркнуть, что у него нет никакого интереса к Америке, не давало мне покоя. Разумеется, мне трудно было понять тогда, что отношение Есенина к Америке отчасти объяснялось двусмысленностью его положения в этой стране. Большинство американцев, если они и узнали из газет о приезде русского поэта, думали о нем лишь как о муже их соотечественницы. А сколько тягостного и даже оскорбительного было для Есенина в его тщетных попытках добиться издания его стихов на английском языке, в провале надежд на то, что наконец-то он предстанет перед американцами человеком творческим, а не просто молодым спутником Айседоры Дункан, неизвестно на что расходующим свои дни.

В «Новом журнале» рассказывается, что за год до приезда Есенина в Америку Ярмолинский совместно со своей женой, поэтессой и переводчицей Баббет Дейч, издал в переводе на английский язык сборник стихов русских поэтов [3]. Эта антология включала и переводы нескольких есенинских произведений. Узнав об этом, поэт обратился к Ярмолинскому с просьбой издать отдельной книжкой его стихи на английском языке [4].

По признанию Ярмолинского, это предложение Есенина он «не принял всерьез». Его просто удивила просьба поэта. И переданные ему Есениным рукописи стихов остались лежать без движения.

Между тем Ярмолинский имел возможность привлечь к работе над стихами Есенина многих американских переводчиков, включая ту же Дейч. Осуществить желание поэта было вполне возможно. Видимо, изданию сборника есенинских стихов на английском языке помешало прежде всего то, что творчество советского поэта было чуждо супругам Ярмолинским. Когда несколько лет спустя в США приехал Маяковский, такое же безразличие, даже враждебность проявили эти люди и к нему, другому великому поэту, связавшему свою жизнь со Страной Советов.

Но все же не в обстоятельствах личной жизни Есенина таились главные причины столь удивившего меня вызывающего отсутствия интереса поэта к Америке. Да и точно ли это было равнодушие?

Ответить на мучивший меня вопрос я не имел возможности на протяжении долгого времени. Я мог только удрученно строить догадки, которые сам же был вынужден позднее признать не вполне обоснованными. Но все же в ощущении, создавшемся у меня еще во время первой встречи с Есениным, что из этой страны он хочет бежать без оглядки, была доля правды.

Всю правду я понял только позднее. Но это уж не моя заслуга — вскоре после возвращения из США Есенин опубликовал в «Известиях» цикл очерков, дав ему поразительное по глубине и силе мысли название — «Железный Миргород». Читая их, я понял, что поэт был далек от безразличия к самой крупной на земном шаре арене собственнических страстей. Скорее наоборот, он был потрясен увиденным — и вовсе не просто как вчерашний крестьянин, попавший в царство машин (бытовала в свое время и такая версия). Нет, это было иное чувство — яростная неприязнь к миру буржуазной бездуховности, где человек становится жертвой индустриального кризиса и вызывающей рекламы. Конечно, это ясно всякому читателю «Железного Миргорода». Но я, смею думать, ощутил пафос этой книги с особенной остротой — ведь я видел Есенина в Америке.

И. И. ШНЕЙДЕР

ИЗ КНИГИ «ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ»

⟨...⟩

Однажды меня остановил прямо на улице известный московский театральный художник Георгий Богданович Якулов. Он был популярен, оформлял в те годы премьеры крупных московских театров.

(Якулов — автор проекта памятника 26 бакинским комиссарам. Он работал над этим проектом в то время, когда Есенин был в Баку. «Баллада о двадцати шести» посвящена Якулову.)

Кто мог предугадать, что благодаря этой нашей встрече на московской улице в тот же вечер произойдет встреча двух знаменитых людей, о которых вот уже свыше пятидесяти лет пишут и, может, еще долго будут писать газеты и журналы всего мира, создаются поэмы, романсы, пьесы, кинофильмы, музыка, картины, скульптуры...

— У меня в студии сегодня небольшой вечер,— сказал Якулов,— приезжайте обязательно. И, если возможно, привезите Дункан. Было бы любопытно ввести ее в круг московских художников и поэтов.

Я пообещал. Дункан согласилась сразу.

Студия Якулова помещалась на верхотуре высокого дома где-то около «Аквариума», на Садовой.

Появление Дункан вызвало мгновенную паузу, а потом — начался невообразимый шум. Явственно слышались только возгласы: «Дункан!»

Якулов сиял. Он пригласил нас к столу, но Айседора ужинать не захотела, и мы проводили ее в соседнюю комнату, где она, сейчас же окруженная людьми, расположилась на кушетке.

Вдруг меня чуть не сшиб с ног какой-то человек в светло-сером костюме. Он промчался, крича: «Где Дункан? Где Дункан?»

— Кто это? — спросил я Якулова.

— Есенин...— засмеялся он.

Я несколько раз видал Есенина, но тут я не сразу успел узнать его.

Немного позже мы с Якуловым подошли к Айседоре. Она полулежала на софе. Есенин стоял возле нее на коленях, она гладила его по волосам, скандируя по-русски:

— За-ла-тая га-ла-ва...

(Это единственный верно описанный Анатолием Мариенгофом эпизод из эпопеи Дункан — Есенин в его нашумевшем «Романе без вранья».) Трудно было поверить, что это первая их встреча, казалось, они знают друг друга давным давно, так непосредственно вели они себя в тот вечер.

Якулов познакомил нас. Я внимательно смотрел на Есенина. Вопреки пословице: «Дурная слава бежит, а хорошая лежит»,— за ним вперегонки бежали обе славы: слава его стихов, в которых была настоящая большая поэзия, и «слава» о его эксцентрических выходках.

Роста он был небольшого, при всем изяществе — фигура плотная. Запоминались глаза — синие и как будто смущающиеся. Ничего резкого — ни в чертах лица, ни в выражении глаз.

...Есенин, стоя на коленях и обращаясь к нам, объяснял: «Мне сказали: Дункан в «Эрмитаже». Я полетел туда...»

Айседора вновь погрузила руку в «золото его волос»... Так они «проговорили» весь вечер на разных языках буквально (Есенин не владел ни одним из иностранных языков, Дункан не говорила по-русски), но, кажется, вполне понимая друг друга.

— Он читал мне свои стихи,— говорила мне в тот вечер Айседора,— я ничего не поняла, но я слышу, что это музыка и что стихи эти писал génie! *

Было за полночь. Я спросил Айседору, собирается ли она домой. Гости расходились. Айседора нехотя поднялась с кушетки. Есенин неотступно следовал за ней. Когда мы вышли на Садовую, было уже совсем светло. Такси в Москве тогда не было. Я оглянулся: ни одного извозчика.

* Гений *(фр.)*.

Вдруг вдали задребезжала пролетка, к счастью, свободная. Айседора опустилась на сиденье, будто в экипаж, запряженный цугом. Есенин сел с нею рядом.

— Очень мило,— сказал я.— А где же я сяду?

Айседора смущенно и виновато взглянула на меня и, улыбаясь, похлопала ладошками по коленям. Я отрицательно покачал головой. Есенин заерзал. Потом похлопал по своим коленкам. Он не знал ни меня, ни того, почему Айседора приехала на вечер со мной, ни того, почему мы уезжаем вместе. Может, в своем неведении даже... приревновал Айседору.

Я пристроился на облучке, почти спиной к извозчику. Есенин затих, не выпуская руки Айседоры. Пролетка тихо протарахтела по Садовым, уже освещенным первыми лучами солнца, потом за Смоленским свернула и выехала не к Староконюшенному и не к Мертвому переулку, выходящему на Пречистенку, а очутилась около большой церкви, окруженной булыжной мостовой. Ехали мы очень медленно, что моим спутникам, по-видимому, было совершенно безразлично. Они казались счастливыми и даже не теребили меня просьбами перевести что-то...

Мне вспоминается сейчас, как много позднее мы ехали с Айседорой в пролетке. Дункан, не выносившая медленной езды, просила меня сказать извозчику, чтобы ехал побыстрее, что я и сделал. Но возница, дернув вожжами, причмокнул и, протянув знаменитое «но-о-о», успокоился. Айседора снова попросила поторопить его. Вся «процедура» повторилась с прежним результатом.

— Вы не то говорите ему,— рассердилась Айседора.— Вот Езенин (она так произносила его фамилию) говорит им всегда что-то такое, после чего они сразу едут быстро...

Я попробовал применить все традиционные старые средства понукания извозчиков, он-де «не кислое молоко везет», и даже поинтересовался, «не крысу ли он удавил на вожжах», но и это не помогло.

— Нет, нет,— сказала Айседора,— это не те слова. Езенин говорит что-то очень короткое, энергичное... Я не могу вспомнить... Ну, вот как при игре в шахматы... После этого они сразу гонят лошадей...

Помнится, я все же не рискнул применить этот «лексикон» в присутствии Айседоры.

Но в то первое утро ни Айседора, ни Есенин не обращали никакого внимания на то, что мы уже в который раз объезжаем церковь. Дремлющий извозчик тоже не замечал этого.

— Эй, отец! — тронул я его за плечо.— Ты что, венчаешь нас, что ли? Вокруг церкви, как вокруг аналоя, третий раз едешь.

Есенин встрепенулся и, узнав в чем дело, радостно рассмеялся.

— Повенчал! — раскачивался он в хохоте, ударяя себя по колену и поглядывая смеющимися глазами на Айседору.

Она захотела узнать, что произошло, и, когда я объяснил, со счастливой улыбкой протянула:

— Mariage... *

Наконец извозчик выехал Чистым переулком на Пречистенку и остановился у подъезда нашего особняка.

Айседора и Есенин стояли на тротуаре, но не прощались.

Айседора глянула на меня виноватыми глазами и просительно произнесла, кивнув на дверь:

— Иля Илич... ча-ай?

— Чай, конечно, можно организовать,— сказал я, и мы все вошли в дом. 〈...〉

Вечерами, когда собирались гости, Есенина обычно просили читать стихи. Читал он охотно и чаще всего «Исповедь хулигана» и монолог Хлопуши из поэмы «Пугачев», над которой в то время работал. В интимном кругу читал он негромко, хрипловатым голосом, иногда переходившим в шепот, очень внятный; иногда в его голосе звучала медь. Букву «г» Есенин выговаривал мягко, как «х». Как бы задумавшись и вглядываясь в какие-то одному ему видные рязанские дали, он почти шептал строфу из «Исповеди»:

Бедные, бедные крестьяне!
Вы, наверно, стали некрасивыми,
Так же боитесь бога...

«И болотных недр...» — заканчивал он таинственным шепотом, произнося «о» с какой-то особенной напевностью.

Со сцены он, наоборот, читал громко, чуть-чуть «окая». В монологе Хлопуши поднимался до трагического пафоса, а заключительные слова поэмы читал на совсем замирающих тонах, голосом, сжатым горловыми спазмами:

Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

* Свадьба *(фр.)*.

Он так часто читал монолог Хлопуши, что и сейчас я явственно вижу его и слышу его голос:

Сумасшедшая, бешеная кровавая муть!
Что ты? Смерть? Или исцеленье калекам?

...Брови сошлись, лицо стало серо-белым, мрачно засветились и ушли вглубь глаза. С какой-то поражающей силой и настойчивостью повторялось:

Проведите, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека.

Существующая запись голоса Есенина (монолог Хлопуши из «Пугачева») не дает полного представления о потрясающем таланте Есенина-чтеца. Слишком несовершенна тогда была техника записи, и Есенина, очевидно, заставили сильно повысить голос.

Много написали и наговорили о Есенине — и творил-то он пьяным, и стихи лились будто бы из-под его пера без помарок, без труда и раздумий...

Все это неверно. Никогда, ни одного стихотворения в нетрезвом виде Есенин не написал.

Он трудился над стихом много, но это не значит, что мучительно долго писал, черкал и перечеркивал строки. Бывало и так, но чаще он долго вынашивал стихотворение, вернее, не стихи, а самую мысль. И в голове же стихи складывались в почти законченную форму. Поэтому, наверно, так легко и ложились они потом на бумагу.

Я не помню точно его слов, сказанных по этому поводу, но смысл их был таким: «Пишу, говорят, без помарок... Бывают и помарки. А пишу не пером. Пером только отделываю потом...»

Я не раз видел у Есенина его рукописи, особенно запомнились они мне, когда он собирал и сортировал их перед отъездом в Берлин. Они все были с «помарками» (он вез в Берлин и беловые автографы, и гранки, и вырезки — «для сборников»).

Разбирая как-то тонкую пачку, в которой был и листок со стихотворением «Не жалею, не зову, не плачу...», тогда уже опубликованным, Есенин, зажав листок между пальцами и потряхивая им, сказал: «О, моя утраченная свежесть!..» —и вдруг дважды произнес: «Это Гоголь, Гоголь!» Потом улыбнулся и больше не сказал ни слова, погрузившись в разборку рукописей. На мою попытку расшифровать его слова ответил: «Перечитайте «Мертвые души».

Я вспомнил об этом разговоре много лет спустя, наткнувшись во вступлении к 6-й главе «Мертвых душ» на следующие строчки: «...то, что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!»

Над «Пугачевым» Есенин работал много, долго и очень серьезно. Есенин очень любил своего «Пугачева» и был им поглощен. Еще не кончив работу над поэмой, хлопотал об издании ее отдельной книжкой, бегал и звонил в издательство и типографию и однажды ворвался на Пречистенку торжествующий, с пачкой только что сброшюрованных тонких книжечек темно-кирпичного цвета, на которых прямыми и толстыми буквами было оттиснуто: «Пугачев».

Он тут же сделал на одной из них коротенькую надпись и подарил книжку мне. Но у меня ее очень быстро стащил кто-то из есенинской «поэтической свиты». Я заметил эту пропажу лишь тогда, когда Есенин и Дункан уже колесили по Европе. Было очень досадно, тем более что я не запомнил текста дарственной надписи. Такая же участь постигла и книжку, подаренную Есениным Ирме Дункан.

Айседоре на экземпляре «Пугачева» Есенин сделал такую дарственную надпись: «За все, за все, за все тебя благодарю я...»[1] (Есенин любил Лермонтова, прекрасно знал его стихи, и такая интерпретация лермонтовской строки шла не от незнания текста).

В этом экземпляре Есенин подчеркнул заключительные строки:

Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...

Я только один раз видел Есенина пишущим стихи. Это было днем: он сидел за большим красного дерева письменным столом Айседоры, тихий, серьезный, сосредоточенный.

Писал он в тот день «Волчью гибель». Когда я через некоторое время еще раз зашел в комнату, он, без присущих ему порывистых движений, как будто тяжело чем-то нагруженный, поднялся с кресла и, держа листок в руках, предложил послушать... ⟨...⟩

На письменном столе Айседоры лежали «Эмиль» Жан-Жака Руссо в ярко-желтой обложке и крохотный томик «Мыслей» Платона. Томик этот она часто брала в руки и, почитав, надолго задумывалась.

Однажды я видел, как Айседора Дункан, сидя с книжкой на своей кровати, отложила ее и, нагнувшись к полу, чтобы надеть туфлю, подняла руку и погрозила кулаком трем ангелам со скрипками, смотревшим на нее с картины, висевшей на стене.

Впрочем, может быть, этот жест имел свою причину: Айседора утверждала, что один из трех ангелов — вылитый Есенин. Действительно, сходство было большое.

А Есенин, сидя в комнате Айседоры, за ее письменным столом, в странном раздумье, подул несколько раз на огонь настольной лампы и, зло щелкнув пальцем по стеклянной груше, погасил ее.

С Есениным иногда было трудно, тяжело.

Вспоминаю, как той, первой их весной я услышал дробный цокот копыт, замерший у подъезда нашего особняка, и, подойдя к окну, увидел Айседору, подъехавшую на извозчичьей пролетке.

Дункан, увидев меня, приветливо взмахнула рукой, в которой что-то блеснуло. Взлетев по двум маршам мраморной лестницы, остановилась передо мной все такая же сияющая и радостно-взволнованная.

— Смотрите,— вытянула руку. На ладони заблестели золотом большие мужские часы.— Для Езенин! Он будет так рад, что у него есть теперь часы!

Айседора ножницами придала нужную форму своей маленькой фотографии и, открыв заднюю крышку пухлых золотых часов, вставила туда карточку.

Есенин был в восторге (у него не было часов). Беспрестанно открывал их, клал обратно в карман и вынимал снова, по-детски радуясь.

— Посмотрим,— говорил он, вытаскивая часы из карманчика,— который теперь час? — И удовлетворившись, с треском захлопывал крышку, а потом, закусив губу и запустив ноготь под заднюю крышку, приоткрывал ее, шутливо шепча: — А тут кто?

А через несколько дней, возвратившись как-то домой из Наркомпроса, я вошел в комнату Дункан в ту секунду, когда на моих глазах эти часы, вспыхнув золотом, с треском разбились на части.

Айседора, побледневшая и сразу осунувшаяся, печально смотрела на остатки часов и свою фотографию, выскочившую из укатившегося золотого кружка.

Есенин никак не мог успокоиться, озираясь вокруг и крутясь на месте. На этот раз и мой приход не подействовал. Я пронес его в ванную, опустил перед умывальником

и, нагнув ему голову, открыл душ. Потом хорошенько вытер ему голову и, отбросив полотенце, увидел улыбающееся лицо и совсем синие, но ничуть не смущенные глаза.

— Вот какая чертовщина...— сказал он, расчесывая пальцами волосы,— как скверно вышло... А где Изадора?

Мы вошли к ней. Она сидела в прежней позе, остановив взгляд на белом циферблате, докатившемся до ее ног. Неподалеку лежала и ее фотография. Есенин рванулся вперед, поднял карточку и приник к Айседоре. Она опустила руку на его голову с еще влажными волосами.

— Холодной водой? — Она подняла на меня испуганные глаза.— Он не простудится?

Ни он, ни она не смогли вспомнить и рассказать мне, с чего началась и чем была вызвана вспышка Есенина. ⟨...⟩

Чувство Есенина к Айседоре, которое вначале было еще каким-то неясным и тревожным отсветом ее сильной любви, теперь, пожалуй, пылало с такой же яркостью и силой, как и любовь к нему Айседоры.

Оба они решили закрепить свой брак по советским законам, тем более что им предстояла поездка в Америку, а Айседора хорошо знала повадки тамошней «полиции нравов», да и Есенин знал о том, что произошло в Соединенных Штатах с М. Ф. Андреевой и А. М. Горьким только потому, что они не были «повенчаны».

Ранним солнечным утром мы втроем отправились в загс Хамовнического Совета, расположенный по соседству с нами в одном из пречистенских переулков [2].

Загс был сереньким и канцелярским. Когда их спросили, какую фамилию они выбирают, оба пожелали носить двойную фамилию — «Дункан-Есенин». Так и записали в брачном свидетельстве и в их паспортах. У Дункан не было с собой даже ее американского паспорта — она и в Советскую Россию отправилась, имея на руках какую-то французскую «филькину грамоту». На последней странице этой книжечки была маленькая фотография Айседоры, необыкновенно там красивой, с глазами живыми, полными влажного блеска и какой-то проникновенности. Эту книжечку вместе с письмами Есенина я передал весной 1940 года в Литературный музей.

— Теперь я — Дункан! — кричал Есенин, когда мы вышли из загса на улицу.

Накануне Айседора смущенно подошла ко мне, держа в руках свой французский «паспорт».

— Не можете ли вы немножко тут исправить? — еще более смущаясь, попросила она.

Я не понял. Тогда она коснулась пальцем цифры с годом своего рождения. Я рассмеялся — передо мной стояла Айседора, такая красивая, стройная, похудевшая и помолодевшая, намного лучше той Айседоры Дункан, которую я впервые, около года назад, увидел в квартире Гельцер.

Но она стояла передо мной, смущенно улыбаясь и закрывая пальцем цифру с годом своего рождения, выписанную черной тушью...

— Ну, тушь у меня есть... — сказал я, делая вид, что не замечаю ее смущения. — Но, по-моему, это вам и не нужно.

— Это для Езенин, — ответила она. — Мы с ним не чувствуем этих пятнадцати лет разницы, но она тут написана... и мы завтра дадим наши паспорта в чужие руки... Ему, может быть, будет неприятно... Паспорт же мне вскоре не будет нужен. Я получу другой.

Я исправил цифру.

Насколько быстро были выполнены все паспортные формальности советскими учреждениями, настолько долго тянули с визами посольства тех стран, над которыми Дункан и Есенину предстояло пролетать.

Отлет с московского аэродрома был назначен на ранний утренний час[3]. ⟨...⟩

Есенин летел впервые и заметно волновался. Дункан предусмотрительно приготовила корзинку с лимонами:

— Его может укачать, если же он будет сосать лимон, с ним ничего не случится.

В те годы на воздушных пассажиров надевали специальные брезентовые костюмы. Есенин, очень бледный, облачился в мешковатый костюм, Дункан отказалась.

Еще до посадки, когда мы все сидели на траве аэродрома в ожидании старта, Дункан вдруг спохватилась, что не написала никакого завещания. Я вынул из военной сумки маленький голубой блокнот. Дункан быстро заполнила пару узеньких страничек коротким завещанием: в случае ее смерти наследником является ее муж — Сергей Есенин-Дункан.

Она показала мне текст.

— Ведь вы летите вместе, — сказал я, — и, если случится катастрофа, погибнете оба.

— Я об этом не подумала, — засмеялась Айседора и, быстро дописав фразу: «А в случае его смерти моим наследником является мой брат Августин Дункан», — поста-

вила внизу странички свою размашистую подпись, под которой Ирма Дункан и я подписались в качестве свидетелей.

Наконец супруги Дункан-Есенины сели в самолет, и он, оглушив нас воем мотора, двинулся по полю. Вдруг в окне (там были большие окна) показалось бледное и встревоженное лицо Есенина, он стучал кулаком по стеклу. Оказалось, забыли корзину с лимонами. Я бросился к машине, но шофер уже бежал мне навстречу. Схватив корзинку, я помчался за самолетом, медленно ковылявшим по неровному полю, догнал его и, вбежав под крыло, передал корзину в окно, опущенное Есениным.

Легонький самолет быстро пробежал по аэродрому, отделился от земли и вскоре превратился в небольшой темный силуэтик на сверкающем голубизной небе. ⟨...⟩

* * *

Когда белые фартуки носильщиков рассыпались вдоль перрона цепочкой белых пятнышек, встречающие, как по команде, двинулись по платформе: поезд подходил к перрону.

Мы сразу увидели их. Есенин и Дункан, веселые, улыбающиеся, стояли в тамбуре вагона. Спустившись со ступенек на платформу, Айседора, мягко взяв Есенина за запястье, привлекла к себе и, наклонившись ко мне, серьезно сказала по-немецки: «Вот я привезла этого ребенка на его Родину, но у меня нет более ничего общего с ним...»

Но чувства оказались сильнее решений.

Школа отдыхала в Литвинове. Решено было ехать туда.

Раздобыли открытую легковую машину, и обе Дункан, Есенин и я отправились в Литвиново.

По дороге нам попалось коровье стадо. Есенин, увидав стадо, вытянул шею:

— Коровы...

Потом, оглядываясь на нас, быстро заговорил:

— А вот если бы не было коров? Россия и без коров! Ну, нет! Без коровы нет деревни. А без деревни нельзя себе представить Россию.

Все шло благополучно, пока мы мчались по шоссе вдоль железной дороги, но, свернув на Литвиново, машина то и дело стала останавливаться на проселке и наконец, въехав уже в сумерках в лес, села дифером на горб колеи, а затем и совсем отказалась двигаться дальше. Стемнело окончательно. До Литвинова оставалось около трех кило-

метров, и я предложил идти пешком. Так и сделали. Идти в темноте было трудно. Неожиданно далеко впереди забрезжили какие-то розовые отблески, резко обозначились черные стволы деревьев.

Это розовое сиянье быстро надвигалось на нас и вдруг прорезало лесную тьму языками пламени, перебегавшими и плясавшими в руках невидимых гномов, несомненно несших в хрустальном гробу Белоснежку... Факелы приближались и, внезапно ринувшись прямо на нас, образовали огненный круг, шумевший, и кричавший, и осветивший радостные лица и сияющие глаза «дунканят» в их красных туниках и со смоляными факелами в руках. Они направились навстречу нам, обеспокоенные долгим отсутствием машины, везшей к ним их Айседору.

А она, как завороженная, смотрела расширившимися, счастливыми глазами на этих загорелых эльфов, окруживших ее в ночном лесу Подмосковья.

Как было хорошо идти всем вместе до Литвинова, войти в просторный дом, убранный пахучими березовыми лозами, сесть за стол, украшенный гирляндами полевых цветов, сплетенными детьми. Как хорошо было утром, когда мы не дали долго спать Айседоре и Есенину: потащили их в парк.

Взволнованно смотрела Айседора на танцующих детей, по-детски радовался их успехам Есенин, хлопая руками по коленкам и заливаясь удивленным смехом.

В Литвинове мы прожили несколько дней. Есенин и Дункан рассказывали о своей поездке. Иногда, вспоминая что-то, взглянув друг на друга, начинали безудержно хохотать.

Когда рассказывали о первом посещении берлинского Дома искусств в «Кафе Леон», Айседора вдруг, восторженно глядя на Есенина, воскликнула:

— Он коммунист! [4]

Есенин усмехнулся:

— Даже больше...

— Что? — переспросил я.

— В Берлине, в автобиографии, написал, что я «гораздо левее» коммунистов... Эх хватил! А вступлю обязательно! [5]

Каждый день Есенин с удовольствием присутствовал на уроке танца, который Ирма устраивала на зеленой лужайке возле дома. Иногда уходили далеко гулять, возвращались голодные, как волки.

Начались дожди. На дорожках вытянулись, затопив все вокруг, огромные желтые лужи; настроение сразу упало.

Иногда казалось, сейчас посветлеет, вырвется из туч золотой шар и зажжет на деревьях зеленые искры, но дождь затянул косой сеткой парк, белые развалины барского дома, серые сараи и намокшие, потемневшие крыши деревенских изб. Через три дня мы с зонтами молча усаживались в раздобытые экипажи, чтобы ехать на станцию.

Но в сухом, светлом и теплом вагоне все снова ожили и проговорили до самой Москвы. Радостные, оживленные, вернулись Дункан и Есенин на Пречистенку. Казалось, ничто не предвещало бурю.

Но случилось так, что через несколько дней между Есениным и Дункан произошла размолвка. Есенин исчез.

Айседора затихла и безропотно подчинилась взбунтовавшейся Ирме, которая настойчиво потребовала от меня, чтобы мы втроем немедленно отправились в Кисловодск: «Айседора серьезно больна, и ей необходимо курортное лечение».

Потрескивали ремни и хлопали сундучные крышки — Ирма хозяйничала, собирая Айседору в дорогу.

Айседора была обижена на Есенина. Ею опять овладела мысль о неизбежном конце их отношений...

Я объявил «моим дамам», что смогу выехать в Кисловодск только через три дня, а они вдвоем выедут в Минеральные Воды завтра к вечеру скорым поездом. Сам я был занят мыслью: как и где разыскать Есенина? Не знаю, было ли это сентиментальностью или отзвуком чего-то пережитого, но я буквально страдал в этот вечер за Есенина, представляя, что он почувствует, явившись через несколько дней, найдя комнаты опустевшими и узнав, что Айседора где-то на Кавказе. Но главное было в другом: ведь Есенина, собственно говоря, не уберегли...

Мы, люди, жившие так близко рядом с Есениным, мы, конечно, понимали, что он большой, выдающийся поэт, но всего величия Есенина, всего его будущего значения для всей русской литературы мы еще не осознавали. Повторяю — слишком близко общались с ним, а «большое видится на расстоянье...». Но интуитивно, не только такие рядовые люди, как я, но и такие, как Маяковский, всегда старались как-то оградить его, уберечь... Так же было и в этом случае.

Я попросил дворника, швейцара и завхоза помочь мне и разослал их во все места, где только мог быть Есенин, дав задание во чтобы то ни стало привезти его.

Дамы ничего об этом не знали и продолжали укладываться. Ирма заявила мне, что, если Есенин и появится,

Айседора не должна его видеть. Айседора молчала, по-видимому, соглашаясь и с этим тяжелым требованием.

Первым возвратился дворник Филипп Сергеевич, имевший почему-то обыкновение разговаривать со мной, присев на корточки и подперев лицо кулаками.

— Нашел... Тверезый...— И, опустившись на корточки, удовлетворенно добавил: — Сейчас будут,— после чего последовал длинный выдох и устремленный на меня снизу вверх выжидательный взгляд.

Я пошел посмотреть, что делает Айседора, но едва я вошел в ее комнату, как кто-то прибежал с сообщением о том, что приехал Есенин.

Айседора метнулась в комнату Ирмы, и та тотчас же заперла за ней дверь. Но она забыла о двери из «гобеленового коридора».

Я встретил Есенина в вестибюле. Он выглядел взволнованным.

— Айседора уезжает,— сказал я ему.

— Куда? — нервно встрепенулся он.

— Совсем... от вас.

— Куда она хочет ехать?

— В Кисловодск.

— Я хочу к ней.

— Идемте.

Я тихо нажал бронзовую ручку и так же тихо отворил дверь. Айседора сидела на полукруглом диване, спиной к нам.

Она не услыхала, как мы вошли в комнату.

Есенин тихо подошел сзади и, опершись о полочку на спинке дивана, наклонился к Дункан:

— Я тебя очень люблю, Изадора... очень люблю,— с хрипотцой прошептал он.

...Было решено, что Есенин поедет в Кисловодск вместе со мной через три дня. Ему были предъявлены «твердые требования»: ночевать эти дни здесь, на Пречистенке. Он принял их, не задумываясь, беспечно улыбаясь и не сводя с Айседоры радостных глаз:

— Завтра проводим вас в Кисловодск, а там и мы с Ильей Ильичем подъедем!

На другой день мы с Есениным проводили Айседору и Ирму в Кисловодск [6]. Айседора собиралась выступить в Минеральных Водах, а потом совершить небольшое турне по Закавказью.

В первый вечер Есенин в самом деле рано вернулся домой, рассказывал мне о непорядках в «Лавке писателей»,

ругал своего издателя, прошелся с грустным лицом по комнате, где все напоминало об Айседоре, поговорил со мной и о деле, владевшем его мыслями: он считал крайне необходимым, чтобы поэты сами издавали собственный журнал.

На следующий день прибежал в возбужденном состоянии и объявил:

— Ехать не могу! Остаюсь в Москве! Такие большие дела! Меня вызвали в Кремль, дают деньги на издание журнала!

Он суматошно метался от ящиков стола к чемоданам:

— Такие большие дела! Изадоре я напишу. Объясню. А как только налажу все, приеду туда к вам!

Вечером он опять не пришел, а ночью вернулся с целой компанией, которая к утру исчезла вместе с Есениным, сильно облегчившим свои чемоданы: он щедро раздавал случайным спутникам все, что попадало под руку.

На следующий день Есенин пришел проститься — чемоданы были почему-то обвязаны веревками...

— Жить тут один не буду. Перееду обратно в Богословский,— ответил он на мой вопрошающий взгляд.

— А что за веревки? Куда девались ремни?

— А черт их знает! Кто-то снял.

И он ушел. Почти навсегда. ⟨...⟩

1949—1965—1973

Г. А. БЕНИСЛАВСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЕСЕНИНЕ

1920 г. Осень. «Суд над имажинистами» [1]. Большой зал консерватории. Холодно и нетоплено. Зал молодой, оживленный. Хохочут, спорят и переругиваются из-за мест (места ненумерованные, кто какое займет). Нас целая компания. Пришли потому, что сам Брюсов председатель. А я и Яна — еще и голос Шершеневича послушать, очень нам нравился тогда его голос. Уселись в первом ряду. Но так как я опоздала и место занятое для меня захватили, добываю где-то стул и смело ставлю спереди слева, перед креслами первого ряда.

Наконец на эстраду выходят. Подсудимые садятся слева группой в пять человек. Шершеневич, Мариенгоф и еще кто-то *.

Почти сразу же чувствую на себе чей-то любопытный, чуть лукавый взгляд. Вот ведь нахал какой, добро бы Шершеневич — у того хоть такая заслуга, как его голос. А этот мальчишка, поэтишка какой-нибудь. С возмущением сажусь вполоборота, говорю Яне: «Вот нахал какой».

Суд начинается. Выступают от разных групп: неоклассики, акмеисты, символисты — им же имя легион. Подсудимые переговариваются, что-то жуют, смеются. (Я на ухо Яне сообщила, что жуют кокаин; я тогда не знала, что его — нюхают или жуют.) В их группе Шершеневич, Мариенгоф, Грузинов, Есенин и их «защитник» — Федор Жиц. Слово предоставляется подсудимым. Кто и что говорил — не помню, даже скучно стало. Вдруг выходит тот

* Есенина видела я в первый раз в жизни в августе или сентябре в Политехническом музее на вечере всех литературных групп. Кто-то читал стихи, и в это время появились Мариенгоф и Есенин в цилиндрах. Есенину цилиндр — именно как корове седло. Сам небольшого роста, на голове высокий цилиндр — комичная кинематографическая фигура.

самый мальчишка: короткая, нараспашку оленья куртка, руки в карманах брюк, совершенно золотые волосы, как живые. Слегка откинув назад голову и стан, начинает читать:

Плюйся, ветер, охапками листьев, —
Я такой же, как ты, хулиган [2].

Он весь стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, о котором он говорит, да нет, что ветер, ветру бы у Есенина призанять удали. Где он, где его стихи и где его буйная удаль — разве можно отделить. Все это слилось в безудержную стремительность, и захватывают, пожалуй, не так стихи, как эта стихийность.

Думается, это порыв ветра такой с дождем, когда капли не падают на землю и они не могут и даже не успевают упасть.

Или это упавшие желтые осенние листья, которые нетерпеливой рукой треплет ветер, и они не могут остановиться и кружатся в водовороте.

Или это пламенем костра играет ветер и треплет и рвет его в лохмотья, и беспощадно треплет самые лохмотья.

Или это рожь перед бурей, когда под вихрем она уже не пригибается к земле, а вот-вот, кажется, сорвется с корня и понесется неведомо куда.

Нет. Это Есенин читает «Плюйся, ветер, охапками листьев...». Но это не ураган, безобразно сокрушающий деревья, дома и все, что попадается на пути. Нет. Это именно озорной, непокорный ветер, это стихия не ужасающая, а захватывающая. И в том, кто слушает, невольно просыпается та же стихия, и невольно хочется за ним повторять с той же удалью: «Я такой же, как ты, хулиган».

Потом он читал «Трубит, трубит погибельный рог!..» [3].

Что случилось после его чтения, трудно передать. Все вдруг повскакивали с мест и бросились к эстраде, к нему. Ему не только кричали, его молили: «Прочитайте еще что-нибудь». И через несколько минут, подойдя, уже в меховой шапке с собольей оторочкой, по-ребячески прочитал еще раз «Плюйся, ветер...».

Опомнившись, я увидела, что я тоже у самой эстрады. Как я там очутилась, не знаю и не помню. Очевидно, этим ветром подхватило и закрутило и меня.

Когда Шершеневич сказал, что через полторы недели

они устраивают свой вечер, где они будут судить поэзию, я сразу решила, что пойду.

Что случилось, я сама еще не знала. Было огромное обаяние в его стихийности, в его полубоярском, полухулиганском костюме, в его позе и манере читать, хотелось его слушать, именно слушать еще и еще.

А он вернулся на то же место, где сидел, и опять тот же любопытный и внимательный, долгий, так переглядываются со знакомыми, взгляд в нашу сторону. Мое негодование уже забыто, только неловко стало, что сижу так на виду, перед первым рядом.

Эти полторы недели прошли под гипнозом его стихов.

Второй вечер был в Политехническом музее. Тоже не топлено и тоже молодая, озорная, резвая публика, тоже ненумерованные места. Первые ряды захватили те, кто пришел в 6 часов вечера, за два часа до начала.

Всего вечера я уж не помню. С этих пор на всех вечерах все, кроме Есенина, было как в тумане. Помню только, как во время суда имажинистов над современной поэзией из зала раздался зычный голос Маяковского о том, что он кое-что знает о незаконном рождении этих эпигонов футуризма (что-то в этом роде). Через весь зал шагнул Маяковский на эстраду. А рядом с ним, таким огромным и зычным, Есенин пытается перекричать его: «Вырос с версту ростом и думает, мы испугались,— не запугаешь этим». В конце вечера Сергей Александрович читал стихи, кажется, «Исповедь». Читал так же, как и первый раз. Он раньше, до «Страны негодяев», читал всегда с буйством, с порывом [4]. ⟨...⟩

В Политехническом музее объявлен конкурс поэтов.

Я и Яна ждем его с нетерпением. Пришли на вечер, заняли наши места (второй ряд, посередине).

Наивность наша в отношении Есенина не знала пределов. За кого же нам голосовать? Робко решаем — за Есенина; смущены, потому что не понимаем — наглость это с нашей стороны или мы действительно правы в нашем убеждении, что Есенин первый поэт России. Но все равно голосовать будем за него.

И вдруг — разочарование! Участвует всякая мелюзга, а Есенин даже не пришел. Скучно и неинтересно стало. Вдруг поворачиваю голову налево к входу и... внизу у самых дверей виднеется золотая голова! Я вскочила с места и на весь зал вскрикнула:

— Есенин пришел!

Сразу суматоха и переполох. Начался вой: «Есенина, Есенина, Есенина!» Часть публики шокирована. Ко мне с насмешкой кто-то обратился: «Что, вам про луну хочется послушать?» Огрызнулась только и продолжала с другими вызывать Есенина.

Есенина на руках втащили и поставили на стол — не читать невозможно было, все равно не отпустили бы. Прочел он немного, в конкурсе не участвовал, выступал вне конкурса, но было ясно, что ему и незачем участвовать, ясно, что он, именно он — первый. Дальше, как и обычно, я ничего не помню.

Я и Яна идем мимо лавки на Никитской. Прошли. Яна, взглянув в окно, увидела, что там Есенин без шапки, в костюме. Нечаянно я оглядываюсь на улице: за нами — Есенин, идет без шапки, со связкой книг. Мы несколько дней его не видели. Яну он не узнал. Пришлось знакомить вторично.

— Ну, как живете, что делаете?

И я, вероятно от смущения, отвечаю:

— Ничего, за билетами на концерты ходим.

Только когда почувствовала толчок Яниным локтем, поняла, что сморозила глупость.

Заговорили о критике. Сергей Александрович очень интересовался статьями о литературе в зарубежных газетах. Яна обещала ему доставать. Больше всего интересовался статьями и заметками о нем самом и об имажинистах вообще. Поэтому я и Яна доставали ему много газет. Я добывала в информационном бюро ВЧК, а для этого приходилось просматривать целые комплекты «Последних новостей», «Дня» и «Руля».

И с того дня у меня в «Стойле» щеки всегда как маков цвет. Зима, люди мерзнут, а мне хоть веером обмахивайся. И с этого вечера началась сказка. Тянулась она до июня 1925 года. Несмотря на все тревоги, столь непосильные моим плечам, несмотря на все раны, на всю боль — все же это была сказка. Все же это было такое, чего можно не встретить не только в такую короткую жизнь, но и в очень длинную и очень удачную жизнь.

Как-то раз Яна достала какие-то газеты. Передали их Есенину. (Мы по-прежнему всегда ходили вместе — таким образом легче было скрыть правду наших отношений к Сергею Александровичу.) Заходим за этими газетами. Оказы-

вается, Мариенгоф передал их Шершеневичу. Мы рассердились, так как газеты были нужны. Есенин погнал Мариенгофа к Вадиму Габриэлевичу. Потом оделся и вместе со мной и Яной пошел туда же.

Это был первый ласковый день после зимы. Вдруг всюду побежали ручьи. Безудержное солнце. Лужи. Скользко. Яна всюду оступается, скользит и чего-то невероятно конфузится; я и Сергей Александрович всю дорогу хохочем. Весна — весело. Рассказывает, что он сегодня уезжает в Туркестан. «А Мариенгоф не верит, что я уеду». Дошли до Камергерской книжной лавки.

Пока Шершеневич куда-то ходил за газетами, мы стоим на улице у магазина. Я и Яна — на ступеньках, около меня — Сергей Александрович, подле Яны — Анатолий Борисович. Разговариваем о советской власти, о Туркестане. Неожиданно, радостно и как будто с мистическим изумлением Сергей Александрович, глядя в мои глаза, обращается к Анатолию Борисовичу.

— Толя, посмотри,— зеленые. Зеленые глаза!

Но в Туркестан все-таки уехал — подумала я через день, узнав, что его нет уже в Москве. Правда, где-то в глубине знала, что теперь уже запомнилась ему.

С тех пор пошли длинной вереницей бесконечно радостные встречи, то в лавке, то на вечерах, то в «Стойле». Я жила этими встречами — от одной до другой. Стихи его захватили меня не меньше, чем он сам. Поэтому каждый вечер был двойной радостью: и стихи, и он. ⟨...⟩

Точная копия записки Сергея Александровича:

«Юбилей Есенина.

10-го декабря исполняется 10 лет поэтической деятельности Сергея Есенина. [Союз] Всероссийский союз поэтов, группа имажинистов и [группа Росс] группа писателей и поэтов из крестьян ходатайствуют перед Совнаркомом о почтении деятельности...»

Списано с поправками, сделанными им же самим (его почерком).

Это было в декабре (может, в конце ноября) 1923 г. Сергей Александрович в «Стойле» рассказывал друзьям — 10 декабря десять лет его поэтической деятельности [5]. Десять лет тому назад он первый раз увидел напечатанны-

ми свои вещи. Сам даже проект записки в Совнарком составил.

Придя домой, рассказывал, что Союз поэтов и пр. собираются организовать празднование юбилея. Мы (я, А. Назарова и Яна) отнеслись очень сдержанно к этой идее — мне было ясно, что у нас, как, впрочем, и на всей планете, венчают лаврами только «маститых», когда из человека уже сыплется песок. Сергей Александрович стал с раздражением доказывать свое право на чествование.

— А, да. Когда умрешь, тогда — памятники, тогда — чествования, тогда — слава. А сейчас я имею право или нет... Не хочу после смерти, на что тогда мне это. Дайте мне сейчас, при жизни. Не памятник, нет. Пусть Совнарком десять тысяч мне даст. Должен же я получать за стихи.

Наше молчаливое отношение его очень сердило. Пару дней поговорил. Потом никогда не вспоминал о своем юбилее.

В делах денежных после возвращения из-за границы он очень запутался (недаром к юбилею он именно денег ждал от Совнаркома). Иногда казалось, что и не выпутаться из этой сети долгов. Приехал больной, издерганный. Ему бы отдохнуть и лечиться, а деньги только из «Стойла». ⟨...⟩ По редакциям ходить, устраивать свои дела, как это писательские середняки делают, в то время он не мог, да и вообще не его это дело было.

Часто говорят про поэтов «он не от мира сего», и при этом рисуется слащавый образ с длинными волосами и глазами, устремленными в небеса — в мечтах и грезах, мол, живет. Не знаю, как вообще полагается поэтам. Знаю одно — Сергей Александрович не был таким слащавым мечтателем с неземными глазами, но вместе с тем трудно передать, насколько мучительно было для него это добывание денег. Его гордость не мирилась с неудачами, с получением отказа. Поэтому, направляясь в редакцию, он напрягал все нервы, чтобы не нарваться на отказ. Для этого нужно было переводить свою психику на другой регистр.

Говорят, пишут, вспоминают про него — какой он был хитрый, изворотливый, как умел войти в душу всесильного редактора, издателя и пр. Но при этом забывают случаи, когда Сергей Александрович пасовал, неудачно отстаивал свои интересы, как, например, с продажей своих сочинений Госиздату, когда он, почти не глядя, собирался подписать договор и, только благодаря сестре, Екатерине Алексан-

дровне, и поэту Наседкину (в этом отношении очень практичному и бывалому), получил от Госиздата 10 тысяч вместо 6 тысяч, на которые он уже почти согласился.

Такая же история была с «Анной Снегиной» (или «Персидскими мотивами» — точно не помню). Я условилась с частным издателем И. Берлиным продать ему эту вещь за 1000 рублей. Предупредила об этом Сергея Александровича. Пришел Берлин к Сергею Александровичу и опять завел разговор об этом издании. В конце разговора предлагает за книжку не 1 тысячу рублей, а всего 600 рублей. И Сергей Александрович робко, неуверенно и смущенно соглашается. Пришлось вмешаться в разговор и напомнить о том, что уже условлено за эту вещь 1000 рублей. Тогда Сергей Александрович неопределенно заявляет:

— Да, мне все-таки кажется, что шестьсот рублей мало. Надо бы больше!

Выпроводив поскорее Берлина, чтобы переговоры о гонораре вести без Сергея Александровича, возвращаюсь в комнату.

— Спасибо вам, Галя! Вы всегда выручаете! А я бы не сумел и, конечно, отдал бы ему за шестьсот. Вы сами видите — не гожусь я, не умею говорить. А вы думаете, не обманывали меня? Вот именно, когда нельзя — я растеряюсь. Мне это очень трудно, особенно сейчас. Я не могу думать об этом. Потому и взваливаю все на вас, а теперь Катя подросла, пусть она занимается этим! Я буду писать, а вы с Катей разговаривайте с редакциями, с издателями!

Одно он знал и понимал: за стихи он должен получать деньги. Заниматься же изучением бухгалтеров и редакторов — с кем и как разговаривать, чтобы не водили за нос, а выдали, когда полагается, деньги,— ему было очень тяжело, очень много сил отнимало. ⟨...⟩

Нам пришлось жить втроем (я, Катя и Сергей Александрович) в одной маленькой комнате, а с осени 1924 года прибавилась четвертая — Шурка. А ночевки у нас в квартире — это вообще нечто непередаваемое. В моей комнате — я, Сергей Александрович, Клюев, Ганин и еще кто-нибудь, в соседней маленькой холодной комнатушке на разломанной походной кровати — кто-либо еще из спутников Сергея Александровича или Катя. Позже, в 1925 году, картина несколько изменилась: в одной комнате — Сергей Александрович, Сахаров, Муран и Болдовкин, рядом в той же комнатушке, в которой к этому времени жила ее хозяйка,— на кровати сама владелица комнаты, а на полу: у окна — ее сестра, все пространство между стенкой и кро-

ватью отводилось нам — мне, Шуре и Кате, причем крайняя из нас спала наполовину под кроватью.

Ну а как Сергею Александровичу трудно было с деньгами — этого словами не описать. ⟨...⟩ «Прожектор», «Красная нива» и «Огонек» платили аккуратно. Но в журналы сдавались только новые стихи, а этих денег не могло хватить. «Красная новь» платила кошмарно. Чуть ли не через день туда приходилось ездить (а часто на трамвай не было), чтобы в конце концов поймать тот момент, когда у кассира есть деньги. Вдобавок не раз выдавали по частям, по 30 руб., а долги тем временем накапливались, деньги нужны в деревне, часто Сергей Александрович просил выслать. Положение было такое, что иногда нас лично спасало мое жалованье, а получала я немного, рублей 70. Всего постоянных «иждивенцев» было четверо (мать, отец и две сестры), причем жили в разных местах, родители — в деревне, сестры — в Москве, а сам Сергей Александрович — по всему СССР. ⟨...⟩

Еще хуже положение было во время пребывания Сергея Александровича в Москве. Расходы увеличивались в десять раз, и мы изнемогали от вечного добывания денег. Вместе с тем было ясно, что это бремя нельзя взваливать на Сергея Александровича. Иногда бывало, у Сергея Александровича терпение лопалось, он шел сам в какую-либо редакцию, но кончалось это плачевно. Нанервничавшись от бесконечного ожидания денег или попав в компанию «любителей чужого счета», он непосредственно из редакции попадал в пивную или ресторан. В конце концов приезжал ночью пьяный и без денег. Вместе с тем уходить и оставлять его одного дома тоже было страшно: зайдет какой-нибудь из этих забулдыг или по телефону вытащит и не знаешь, в какой пивной или где еще искать.

Правда, уже с лета 1924 года (после санатория и больницы) мы за пим не ходили, объяснив, что если раньше бегали и искали его каждый вечер по всем «святым местам», то это потому, что надо было его какими бы то ни было чудесами в целости сохранить до санатория, а вообще так бегать — это значит вконец испортить его. И он все вожжи распустит в надежде, что Галя или Катя выручат.

В добывании денег была еще осложнявшая все сторона. Получение гонорара во многих редакциях — это не то что получение жалования на службе: обязаны выдать такого-то числа, и все. Нет, гонорар у них выдается почти как милость, потому что, при хронической нехватке денег, любезность бухгалтера и редактора — выдать их сегодня, а не

через неделю. Вот тут, если придешь и пустишь слезу,— скорее получишь. Но ни я, ни Катя не умели приходить с жалобным видом, да если бы кто-нибудь из нас и сумел, то воображаю, как Сергей Александрович, с его гордостью, был бы взбешен. А когда приходишь с независимым видом, то ох как трудно иногда выцарапать этот гонорар. Редакторов тут, конечно, винить не приходится — на их попечении слишком много более нуждающихся. И всех удовлетворить им трудно. Никогда в жизни до этого и после я не знала цены деньгам и не ценила всей прелести получения определенного жалованья, когда, в сущности, зависишь только от календаря. ⟨...⟩

Сергей Александрович очень страдал от своей бездеятельности. Нечем стало жить. Много, очень много уходило и ушло в стихи, но он сам говорил, что нельзя ему жить только стихами, надо отдыхать от них. Отдыхать было не на чем. Оставались женщины и вино. Женщины скоро надоели. Следовательно — только вино, от которого он тоже очень хотел бы избавиться, но не было сил, вернее, нечем было заменить, нечем было заполнить промежутки между стихами.

— Не могу же я целый день писать стихи. Мне надо куда-то уйти от них, я должен забывать их, иначе я не смогу писать,— пе раз говорил он в ответ на рассуждения, что нельзя такое дарование губить вином.

Ясно — не мог он работать в каком-либо учреждении завом, но, думаю, многие помнят, как он носился с идеей организовать журнал, как он цеплялся за эту мысль. Помню ⟨...⟩, Сергей Александрович восторженно мечтал об этом журнале. Тогда не удалось это осуществить. Есенин уже был болен, его надо было поставить на ноги, а потом привлечь к работе в каком-либо журнале. Ясно, что сам он, конечно, не смог бы организовать. Не знаю, в чем вина — в обычной есенинской неудачливости (у него всегда так складывалось, что при всяких обстоятельствах, при самой большой, иногда неправдоподобной удаче, для себя лично он получал лишь плохие и вредные результаты этой удачи). Ну так вот, в этом ли невезении вина, или вина в том, что никто из имевших возможность поддержать его по-настоящему до конца и не заинтересовался. ⟨...⟩

Конечно, большую роль сыграла здесь болезнь. Благодаря обостренному восприятию он осознал и благодаря этому же не мог спокойно разобраться, «где нас горько

обидели по чужой и по нашей вине» [6]. Вот эти границы чужой и собственной вины смешались. Ему надо было помочь разобраться, и был бы выход из тупика, и было бы чем жить [7].

Взять хотя бы те краткие периоды, когда он попадал в руки Вардина, Ионова, Чагина. Не важны их какие-либо сверхчеловеческие достоинства, важно твердое осознание, при котором можно было говорить с Сергеем Александровичем. Хотя бы Вардин. Он при всей узости его взглядов дал Сергею Александровичу очень много. Благодаря ему Сергей Александрович попробовал посмотреть на мир другими глазами, отбросив свою личную обиду. Такое же влияние было со стороны Ионова — его горение заставило Сергея Александровича над чем-то в нашей общественной жизни задуматься (он его натолкнул на «Поэму о 36»). Чагина я не видела, но чувствуется, что он тоже как-то вовлекал Сергея Александровича в общественную струю.

Зато, к большому сожалению, влияние Воронского было часто отрицательным. Задерганный Лелевичем, Родовым и прочими «напостовцами», и по ряду других причин, он сам довольно пессимистически смотрел на окружающее. Бодрые фразы и унылые мысли. Но что Воронскому — здорово, то Есенину — смерть. Нельзя было давать Сергею Александровичу прикасаться к этой унылости. Воронский этого не понимал. Не понимал, что Есенина борьба мужиков с господами могла воодушевлять. А всякую борьбу после революции он принимал как обиду,— ведь после революции, по его представлению, все должно идти гладко. Поэтому товарищеские и полуоткровенные беседы Воронского действовали на Сергея Александровича угнетающим образом. После них он опять начинал вопить об обидах, о «напостовцах», захвативших русскую литературу и хозяйничающих в ней.

Надо сказать, что «политическую ориентацию» (как выразился он один раз, ругая Катю: «Никакой у тебя политической ориентации нет»,— это в связи с историей с «Октябрем») [8] ему мог дать только мужчина. Было у него в психике чисто мужицкое — самая умная женщина час должна потратить, чтобы убедить его в чем-либо, мужчине же достаточно сказать несколько фраз, и Сергей Александрович скорее согласится. Бывали случаи, что Анна Абрамовна Берзина при всем ее красноречии не могла объяснить того, что Вардин сухим, чуждым Есенину языком растолковывал в пять минут. ⟨...⟩

После заграницы Дункан вскоре уехала на юг (на Кавказ и в Крым). Не знаю, обещал ли Сергей Александрович приехать к ней туда. Факт то, что почти ежедневно он получал от нее и Шнейдера телеграммы. Она все время ждала и звала его к себе. Телеграммы эти его дергали и нервировали до последней степени, напоминая о неизбежности предстоящих осложнений, объяснений, быть может трагедии. Все придумывал, как бы это кончить сразу. В одно утро проснулся, сел на кровати и написал телеграмму: «Я говорил еще в Париже, что в России я уйду. Ты меня очень озлобила. Люблю тебя, но жить с тобой не буду. Сейчас я женат и счастлив. Тебе желаю того же. *Есенин*».

Дал прочесть мне. Я заметила — если кончать, то лучше не упоминать о любви и т. п. Переделал: «Я люблю другую. Женат и счастлив. *Есенин*». И послал.

Так как телеграммы, адресовавшиеся на Богословский переулок (а Сергей Александрович жил уже на Брюсовском), не прекращались, то я решила послать телеграмму от своего имени, рассчитывая задеть чисто женские струны и этим прекратить поток телеграмм из Крыма: «Писем, телеграмм Есенину не шлите. Он со мной, к вам не вернется никогда. Надо считаться. *Бениславская*».

Хохотали мы с Сергеем Александровичем над этой телеграммой целое утро. Еще бы, такой вызывающий тон не в моем духе, и если бы Дункан хоть немного знала меня, то, конечно, поняла бы, что это отпугивание, и только. Но, к счастью, она меня никогда не видела и ничего о моем существовании не знала. Поэтому телеграмма, по рассказам, вызвала целую бурю и уничтожающий ответ: «Получила телеграмму, должно быть, твоей прислуги Бениславской. Пишет, чтобы писем и телеграмм на Богословский больше не посылать. Разве переменил адрес? Прошу объяснить телеграммой. Очень люблю. *Изадора*».

Сергей Александрович сначала смеялся и был доволен, что моя телеграмма произвела такой эффект и вывела окончательно из себя Дункан настолько, что она ругаться стала. Он верно рассчитал, что это последняя телеграмма от нее. Но потом вдруг испугался, что она по приезде в Москву ворвется к нам на Никитскую, устроит скандал и оскорбит меня.

— Вы ее не знаете, она на все пойдет,— повторял он. ⟨...⟩

Близился срок возвращения Дункан. Сергей Александрович был в панике, хотел куда-нибудь скрыться, исчезнуть. Как раз в это время получил слезное письмо от

Клюева — он, мол, учитель, погибает в Питере. Сергей Александрович тотчас укатил туда. Уезжая, просил меня перевезти все его вещи с Богословского ко мне, чтобы Дункан не вздумала перевезти их к себе, вынудить таким образом встретиться с ней. Я сначала не спешила с этим. Но как-то вечером зашла Катя. По обыкновению начав с пустяков, она в середине разговора ввернула, что завтра приезжает в Москву Дункан. Мы решили сейчас же забрать вещи с Богословского, и через час они были здесь. В четверг приехали Сергей Александрович с Клюевым и Приблудный из Петрограда. В дальнейшей истории с Дункан немалую роль сыграл опять тот же Клюев. Поэтому сначала о нем.

О Клюеве от Есенина я слышала самые восторженные отзывы. Ждала, правду сказать, его приезда с нетерпением.

Вошел «смиренный Миколай», тихий, ласковый, в нашу комнату и в жизнь Есенина. С первой минуты стал закладывать фундамент хороших отношений. Когда я вышла, сообщил Сергею Александровичу свое впечатление: «Вишневая», «Нежная: войдет — не стукнет, выйдет — не брякнет». Тогда я это за чистую монету принимала. На «Сереженьку» молился и вздыхал, только в отношении к Приблудному вся кротость клюевская мигом исчезла. К Приблудному проникся ревнивой ненавистью. И Приблудный, обычно доверчивый, Клюеву ни одного уклона не спускал, злобно высмеивал и подзуживал его, играя на больных струнах. Спокойно они не могли разговаривать, сейчас же вспыхивала перепалка, до того сильна была какая-то органическая антипатия. А Сергей Александрович слушал, стравливал их и покатывался со смеху. 〈...〉

Сначала я и Аня Назарова были очарованы Клюевым. Почва была подготовлена Сергеем Александровичем, а Клюев завоевал нас своим необычным говором, меткими, чисто народными, выражениями, своеобразной мудростью и чтением стихов, хотя и чуждых внутренне, но очень сильных. Впрочем, он всю жизнь убил на совершенствование себя в области обморачивания людей. И нас, тогда еще доверчивых и принимавших все за чистую монету, нетрудно было обворожить. Мы сидели и слушали его, почти буквально развесив уши. А стихи читал он хорошо. Вместо обычного слащавого, тоненького, почти бабьего разговорного тембра, стихи он читал каким-то пророческим «трубным (как я называла) гласом». Читал с пафосом, но это гармонировало с голосом и содержанием. Его чтение я, вероятно, и сейчас слушала бы так же, как и тогда.

Пришла Катя, поздоровалась и вышла в кухню. Я и Аня

пошли к ней. «Что это за старик противный, отвратительный такой»,— спросила нас. (Внешность Клюева — лобазник лоснящийся, прилизанный, носил вылинявшую ситцевую синюю рубаху с заплатой во всю спину — прибеднивался для сохранения стиля.) Мы на Катю зашикали, сказали, что она маленькая, еще ничего не понимает, объяснили, что это сам Клюев. Она полюбопытствовала поглядеть его еще, но свое мнение о нем не изменила.

Уже через несколько дней мы убедились, что непосредственное чутье ее не обмануло. Действительно, отвратительным оказался он. Ханжество, жадность, зависть, подлость, обжорство, животное себялюбие и обуславливаемые всем этим лицемерие и хитрость — вот нравственный облик, вот сущность этого, когда-то крупного, поэта. Изумительно сказал про него Сергей Александрович: «Ты душу выпеснил избе (т. е. земным благам), но в сердце дома не построил» [9].

В чем дело, почему в Клюеве умерло все остальное человеческое (не может быть, чтобы никогда и не было), осталась только эта мерзость и ничего человеческого? Быть может, прав Сергей Александрович: «Клюев расчищал нам всем дорогу. Вы, Галя, не знаете, чего это стоит. Клюев пришел первым, и борьба всей тяжестью на его плечи легла». Быть может, потому, несмотря на брезгливое и жалостное отношение, несмотря на отчужденность и даже презрение, Сергей Александрович не мог никак обидеть Клюева, не мог сам окончательно избавиться от присосавшегося к нему «смиренного Миколая», хотя и хотел этого. Быть может, из благодарности, что не пришлось ему, Есенину, бороться с этим отвратительным оружием, ханжеством и притворством, в руках; что благодаря Клюеву не испоганилась вконец и его душа, а что эта борьба коверкала душу — это и Сергей Александрович сам по себе почувствовал, об этом не раз он с болью вспоминал в последние годы, когда стал подводить итоги, когда понял, что нет ничего дороже, как прожить жизнь «настоящим», «хорошим», когда видел в себе, что все это гнусное все же не захлестнуло подлостью душу, и с детской радостью и гордостью говорил: «Я ведь, все-таки, хороший. Немножечко — хороший и честный». И не случайно в конце сказаны им слова:

Жить нужно легче, жить нужно проще... [10]

Только тогда пришел к сознанию, что все-таки слишком много крутил, слишком много сил отдано на борьбу за «суету сует».

И на самом деле Сергей Александрович по существу был хорошим, но его романтика, его вера в то, что он считал добром, разбивались о бесконечные подлости окружавших и присосавшихся к его славе проходимцев, пройдох и паразитов. Они заслоняли Есенину все остальное, и только, как сквозь туман, сквозь них виделся ему остальной мир. Иногда благодаря этому туману казалось, что тот остальной мир и не существует. И он с детской обидой считал себя со своими хорошими порывами дураком. И решал не уступать этому окружению в хитрости и подлости. И почти до конца в нем шла борьба этих двух начал — ангела и демона. А «повенчать розу белую с черною жабой» [11] он не сумел, для этого надо очень много мудрости, ее не хватило. ⟨...⟩

Только я приехала из Крыма (22 сентября 1924 г.), как Соня Виноградская рассказала, что Есенин сдал «Песнь о великом походе» в журнал «Октябрь»; все возмущены его поступком, смотрят на это как на предательство, тем более что сейчас как раз ведется поход против Воронского, которого, вероятно, снимут из «Красной нови» [12].

— Понимаешь, и в такой момент Есенин дал одну из своих крупных вещей «Октябрю». Конечно, ему многие руки не подадут,— сказала С. Виноградская.

До отъезда я знала, что «Песнь» восторженно встретил отдел массовой крестьянской литературы Госиздата. И вещь была продана туда. Группу журнала «Октябрь» Сергей Александрович ненавидел, его иногда буквально дрожь охватывала, когда этот журнал попадал ему в руки. Травля «Октябрем» «попутчиков» приводила Сергея Александровича в бешенство, в бессильную ярость. Не раз он начинал писать статьи об этой травле, но так и не кончал, так как трудно было писать в мягких тонах, резкую статью не было надежды опубликовать [13]. В чем же дело, как «Песнь» могла попасть в этот журнал? Катя рассказала следующее: Сергей Александрович продал «Песнь» отделу массовой литературы. Все переговоры велись главным образом через Анну Абрамовну Берзинь. Одновременно «Октябрь» стал просить поэму для помещения в октябрьском номере. Сергей Александрович колебался. Было очень много разговоров, но согласие не было дано. Однажды он послал в Госиздат Катю за деньгами к Анне Абрамовне. Она получила больше, чем предполагал Сергей Александрович ⟨...⟩. А причиной было то, что деньги из «Октября» через Анну Абрамовну были выданы в виде аванса за поэ-

му. Поскольку часть денег была уже потрачена, нельзя было сейчас же вернуть их (денег в тот момент у Сергея Александровича не было ни копейки). Кроме того, одно дело не дать им поэму, а другое — взять ее обратно. Это означало идти на скандал, объявить открытую войну. У Сергея Александровича не хватило бы нервов. А он сам в это время понимал, что ему надо их укреплять и беречь. Кое-какие угрозы «Октябрем» были даны. Сергей Александрович мучился, но потом, закрыв глаза, смирился, получил деньги и уехал на Кавказ. Больше всего энергии на получение поэмы для «Октября» было затрачено Анной Абрамовной. ⟨...⟩

Узнав обо всем этом, я долго ломала голову, как исправить случившееся. Но хороший способ трудно было найти. Написала о создавшемся положении Сергею Александровичу на Кавказ. Но, очевидно, он махнул рукой, тем более что на Кавказе, вдалеке от Москвы, он понял цену всему этому литературному политиканству. Непосредственно на мое письмо не ответил, но кое-что есть в его письме от 20 декабря 1924 года: «Разбогатею, пусть тогда покланяются. Печатайте все, где угодно. Я не разделяю ничьей литературной политики. Она у меня своя собственная — я сам».

Но с тех пор при всем своем уважении и расположении к Анне Абрамовне Сергей Александрович всегда был с ней настороже [14]. ⟨...⟩

Через неделю после пореза руки, когда было ясно, что опасности никакой нет, я обратилась к Герштейну с просьбой, запугав Сергея Александровича возможностью заражения крови, продержать его возможно дольше [15]. И Герштейну удалось выдержать Сергея Александровича в больнице еще две недели. Вообще в Шереметевской больнице было исключительно хорошо, несмотря на сравнительную убогость обстановки. Там была самая разнообразная публика, начиная с беспризорника, потерявшего ногу под трамваем, кончая гермафродитом, ожидавшим операцию. Сергей Александрович, как всегда в трезвом состоянии, всеми интересовался, был спокойным, прояснившимся, как небо после слякотной, серой погоды. Иногда появлялись на горизонте тучи, после посещения Сергея Александровича его собутыльниками, кажется умудрявшимися приносить ему вино даже в больницу. Тогда он становился опять взбудораженным, говорил злым низким голосом, требовал, чтобы его скорей выписывали.

Заботы Анны Абрамовны не прекратились и в Кремлев-

ской больнице. Она часто навещала, прекрасно умела занять Сергея Александровича, развеселить его. По выходе из Кремлевской больницы она же настояла, чтобы Сергей Александрович переехал на квартиру к Вардину, где он, разумеется, стеснялся пить по-прежнему и откуда Вардин, со своей кавказской прямотой, как хозяин квартиры легко выставлял всех литературных собутыльников Есенина и прощелыг. Как сейчас помню, Вардин попросил дать ему список всех собутыльников, собирался принять меры, каким бы то ни было способом выслать их из Москвы и, во всяком случае, в его квартиру им было невозможно попасть. ⟨...⟩ Вардин же, несмотря на узость его взглядов, благотворно подействовал на Сергея Александровича в смысле определения его «политической ориентации». Во время пребывания у Вардина было написано стихотворение «Письмо матери», явившееся началом цикла трезвых, здоровых стихов. Здесь вообще была здоровая атмосфера. Тяготило Сергея Александровича только одно: ему все казалось, что с ним возятся, надеясь сделать из него «казенного» советского поэта. Но хорошее отношение к Вардину у него осталось навсегда. Даже в письме с Кавказа к Кате, упоминая, что с Вардиным ему не по пути, он отзывался о Вардине как о прекрасном человеке[16]. ⟨...⟩

После заграницы Сергей Александрович почувствовал в моем отношении к нему что-то такое, чего не было в отношении друзей, что для меня есть ценности выше моего собственного благополучия. Носился он со мной тогда и представлял меня не иначе как: «Вот, познакомьтесь, это большой человек» или «Она — настоящая» и т. п. Поразило его, что мое личное отношение к нему не мешало быть другом; первое я почти всегда умела спрятать, подчинить второму. И поверил мне совсем. «Другом» же представил меня и Сахарову. Сахаров, очевидно, тогда же решил, что лучше отстранить меня. До сих пор он себя считал единственным другом.

Помню, осенней ночью шли мы по Тверской к Александровскому вокзалу. Так как Сергей Александрович тянул нас в ночную чайную, то, естественно, разговор зашел о его болезни (Есенин и Вержбицкий шли впереди). Это был период, когда Сергей Александрович был на краю, когда он иногда сам говорил, что теперь уже ничто не поможет, и когда он тут же просил помочь выкарабкаться из этого состояния и помочь кончить с Дункан. Говорил, что если я и Аня его бросим, то тогда некому помочь и тогда будет конец. ⟨...⟩

Через несколько дней я с Сергеем Александровичем всю ночь разговаривала. Говорили на самые разные темы. Я стала спрашивать о Дункан, какая она, кто и т. д. Он много рассказывал о ней. Рассказывал, как она начинала свою карьеру, как ей пришлось пробивать дорогу. Говорил также о своем отношении к ней:

— Была страсть, и большая страсть. Целый год это продолжалось, а потом все прошло и ничего не осталось, ничего нет. Когда страсть была, ничего не видел, а теперь... Боже мой, какой же я был слепой, где были мои глаза. Это, верно, всегда так слепнут.

Рассказывал, какие отношения были. Потом говорил про скандалы, как он обозлился, хотел избавиться от нее и как однажды он разбил зеркало, а она позвала полицию. ⟨...⟩

— А какая она нежная была со мной, как мать. Она говорила, что я похож на ее погибшего сына. В ней вообще очень много нежности.

Во время этого разговора я решила спросить, любит ли он Дункан теперь. Может быть, он сам себя обманывает, а на самом деле мучится из-за нее. ⟨...⟩ Когда я сказала, что, быть может, он, сам того не понимая, любит Дункан и, быть может, оттого так мучается, что ему в таком случае не надо порывать с ней, он твердо, прямо и отчетливо сказал:

— Нет, это вовсе не так. Там для меня конец. Совсем конец. К Дункан уже ничего нет и не может быть,— повторил опять.— Да, страсть была, но все прошло. Пусто, понимаете, совсем пусто.

Я рассказала ему все свои сомнения.

— Галя, поймите же, что вам я верю и вам не стану лгать. Ничего там нет для меня. И спасаться оттуда надо, а не толкать меня обратно. ⟨...⟩

Когда Сергей Александрович переехал ко мне, ключи от всех рукописей и вообще от всех вещей дал мне, так как сам терял эти ключи, раздавал рукописи и фотографии, а что не раздавал, то у него тащили сами. Он же замечал пропажу, ворчал, ругался, но беречь, хранить и требовать обратно не умел. Насчет рукописей, писем и прочего сказал, чтобы по мере накопления все ненужное в данный момент передавать на хранение Сашке (Сахарову):

— У него мой архив, у него много в Питере хранится. Я ему все отдаю.

С Сашкой он считался, как ни с кем из друзей, верил ему и его мнению. Вскоре, отобрав все, что можно было сдать в «архив», я отдала Сахарову. Но когда я хотела это

сделать в следующий раз, Сергей Александрович сказал, что больше Сахарову ничего не давать и, наоборот, от Сашки надо все забрать и привезти сюда.

Надо сказать, что в отношении стихов и рукописей распоряжения Есенина были для меня законом. Я могла возражать ему, стараясь объяснить ту или иную ошибку, но если Сергей Александрович не соглашался с возражениями, то я всегда подчинялась и слепо исполняла его распоряжения. ⟨...⟩

Исключительные нежность, любовь и восхищение были у Сергея Александровича к беспризорникам.

Это запечатлелось в стихотворении «Русь бесприютная».

Характерный штрих. Идем по Тверской. Около Гнездниковского восемь-десять беспризорников воюют с Москвой. Остановили мотоциклетку. В какую-то «барыню», катившую на лихаче, запустили комом грязи. Остановили за колеса извозчика, задержав таким образом автомобиль. Прохожие от них шарахаются, торговки в панике, милиционер беспомощно гоняется за ними, но он один, а их много. «Смотрите, смотрите,— с радостными глазами кричит Сергей Александрович,— да они все движение на Тверской остановили и никого не боятся. Вот это сила. Вырастут — попробуйте справиться с ними. Посмотрите на них: в лохмотьях, грязные, а все останавливают и опрокидывают на дороге. Да это ж государство в государстве, а ваш Маркс о них не писал». И целый день всем рассказывал об этом государстве в государстве.

2 ноября 1925 г., 8 часов вечера.

— Галя, приезжайте на Николаевский вокзал [17].

— Зачем?

— Я уезжаю.

— Уезжаете? Куда?

— Ну это... Приезжайте. Сопя приедет.

— Знаете, я не люблю таких проводов. ⟨...⟩

⟨1926⟩

А. К. ВОРОНСКИЙ

ПАМЯТИ ЕСЕНИНА

(Из воспоминаний)

Осенью 1923 года в редакционную комнату «Красной нови» вошел сухощавый, стройный, немного выше среднего роста человек лет двадцати шести — двадцати семи. На нем был совершенно свежий, серый, тонкого английского сукна костюм, сидевший как-то удивительно приятно. Перекинутое через руку пальто блестело подкладкой. Вошедший неторопливо огляделся, поставил в угол палку со слоновым набалдашником и, стягивая перчатки, сказал тихим, приглушенным голосом:

— Сергей Есенин. Пришел познакомиться.

Хозяйственный и культурный подъем тогда еле-еле намечался. Люди еще не успели почиститься и приодеться. Поэтам и художникам жилось совсем туго, как, впрочем, живется многим и теперь, и потому весь внешний вид Есенина производил необычайное и непривычное впечатление. И тогда же отметилось: правильное, с мягким овалом, простое и тихое его лицо освещалось спокойными, но твердыми голубыми глазами, а волосы невольно заставляли вспоминать о нашем поле, о соломе и ржи. Но они были завиты, а на щеках слишком открыто был наложен, как я потом убедился, обильный слой белил, веки же припухли, бирюза глаз была замутнена и оправа их сомнительна. Образ сразу раздвоился: сквозь фатоватую внешность городского уличного повесы и фланера проступал простой, задумчивый, склонный к печали и грусти, хорошо знакомый облик русского человека средней нашей полосы. И главное: один облик подчеркивал несхожесть и неправдоподобие своего сочетания с другим, словно кто-то насильственно и механически соединил их, непонятно зачем и к чему. Таким Есенин и остался для меня до конца дней своих не только по внешности, но и в остальном.

Есенин рассказал, что он недавно возвратился из-за границы, побывал в Берлине, в Париже и за океаном, но когда я стал допытываться, что же он видел и вынес оттуда, то скоро убедился, что делиться своими впечатлениями он или не хочет, или не умеет, или ему не о чем говорить. Он отвечал на расспросы односложно и как бы неохотно. Ему за границей не понравилось, в Париже в ресторане его избили русские белогвардейцы, он потерял тогда цилиндр и перчатки, в Берлине были скандалы, в Америке тоже. Да, он выпивал от скуки,— почти ничего не писал, не было настроения. Встречаясь с ним часто позже, я тщетно пытался узнать о мыслях и чувствах, навеянных пребыванием за рубежом: больше того, что услыхал я от него в первый день нашего знакомства, он ничего не сообщил и потом. Фельетон его, помещенный, кажется, в «Известиях», на эту тему был бледен и написан нехотя [1]. Думаю, что это происходило от скрытности поэта.

Тогда же запомнилась его улыбка. Он то и дело улыбался. Улыбка его была мягкая, блуждающая, неопределенная, рассеянная, «лунная».

Казался он вежливым, смиренным, спокойным, рассудительным и проникновенно тихим. Говорил Есенин мало, больше слушал и соглашался. Я не заметил в нем никакой рисовки, но в его обличье теплилось подчиняющее обаяние, покоряющее и покорное, согласное и упорное, размягченное и твердое.

Прощаясь, он заметил:

— Будем работать и дружить. Но имейте в виду: я знаю — вы коммунист. Я — тоже за Советскую власть, но я люблю Русь. Я — по-своему. Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду. Это не выйдет.

Он сказал это улыбаясь, полушутя, полусерьезно.

Еще от первого знакомства осталось удивление: о нетрезвых выходках и скандалах Есенина уже тогда наслышано было много. И представлялось непонятным и неправдоподобным: как мог не только буйствовать и скандалить, но и сказать какое-либо неприветливое, жесткое слово этот обходительный, скромный и почти застенчивый человек!

Недели через две я принимал участие в одной писательской вечеринке, когда появился Есенин. Он пришел, окруженный ватагой молодых поэтов и случайно приставших

к нему людей. Он был пьян, и первое, что от него услыхали, была ругань последними, отборными словами. Он задирал, буянил, через несколько минут с кем-то подрался, кричал, что он — лучший в России поэт, что все остальные — бездарности и тупицы, что ему нет цены. Он был несносен, и трудно становилось терпеть, что он делал и говорил. Он оскорблял первых подвернувшихся под руку, кривлялся, передразнивал, бил посуду. Вечер был сорван. Писатель, читавший свой рассказ, свернул рукопись и безнадежно махнул рукой. Сразу обнаружилось много пьяных, как будто Есенин с собой принес и гам и угар. Кое-кто поспешил одеться и уйти. Тщетно пытались выпроводить Есенина. Но кто-то предложил уговорить поэта читать стихи. Есенин с готовностью взобрался на стул, произнес сначала заносчивую, бессвязную, бахвальную «речь», а потом начал читать «Москву кабацкую». Он читал на память, покачиваясь, осипшим и охрипшим от перепоя голосом, скандируя и растягивая по-пьяному слова. Но это было мастерское чтение. Есенин был одним из лучших декламаторов в России. Чтение шло от самого естества, надрыв был от сердца, он умел выделять и подчеркивать ударное и держал слушателей в напряжении. Больше же всего поражало на том вечере, что он вопреки своему состоянию ничего не забыл, не спутался, не запнулся. Память ни разу не изменила ему. Неоднократно я убеждался и позже, в последующие годы, что стихи он мог читать в самом нетрезвом состоянии почти всегда без запинок и заминок. Только в самые последние месяцы, незадолго до конца, он как будто стал сдавать. Но, может быть, это происходило оттого, что читал он еще не вполне отделанные вещи.

Окончив чтение, Есенин снова забуянил.

Пил он еще дня два. За это время к обычным протоколам милиции прибавился новый.

Морозной зимней ночью, кажется, у «Стойла Пегаса» на Тверской, я увидал его вылезающим из саней. На нем был цилиндр и пушкинская крылатка, свисающая с плеч почти до земли. Она расползалась, и Есенин старательно закутывался в нее. Он был еще трезв. Пораженный необыкновенным одеянием, я спросил:

— Сергей Александрович, что все это означает и зачем такой маскарад?

Он улыбнулся рассеянной, немного озорной улыбкой, просто и наивно ответил:

— Хочу походить на Пушкина, лучшего поэта в мире.— И расплатившись с извозчиком, прибавил: — Очень мне скучно.

Он показался мне капризным и обиженным ребенком.

Любимым прозаиком его был Гоголь. Гоголя он ставил выше всех, выше Толстого, о котором отзывался сдержанно. Увидев однажды у меня в руках «Мертвые души», он спросил:

— Хотите, прочту вам место, которое я больше всего люблю у Гоголя,— и прочитал наизусть начало шестой главы первой части.

Напомню главу в отрывке и с пропусками:

«Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка,— любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе напечатление какой-нибудь заметной особенности,— все останавливало меня и поражало...

...Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприютно, мне пе смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои неподвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!..»

Эти слова из Гоголя, думается, могли бы служить лучшим эпиграфом ко всему написанному Есениным.

Очень ценил он Клюева и считал себя его учеником. Из молодых прозаиков я удержал в памяти высокую оценку вещей Всеволода Иванова. Как будто больше всего ему у него нравилось «Дитё» и «Цветные ветра».

Иронически Есенин рассказывал о Гиппиус и Мережковском. В первые годы своей поэтической деятельности он посещал их литературные вечера.

— Попал я как-то к ним на вечер в валенках. Ко мне подошла Гиппиус и спросила:

— Вы, кажется, в новых гетрах?

— Нет, это — простые деревенские валенки...— Знала ведь, что на мне валенки...

О технике в поэзии Есенин отзывался в последние годы неодобрительно и враждебно:

— Знаем мы все эти штуки. Они думают, что все эти формальные приемы и ухищрения нам неизвестны. Не меньше их понимаем и в свое время обучились достаточно всему этому. Писать надобно как можно проще. Это трудней.

Его «простое» мастерство было высоким. Поэтический лексикон Есенина с первого взгляда незатейлив и даже беден, но проследите, что он делает в своих стихах с черемухой, с садом, с березкой: они у него всегда наши, родные и всегда выглядят по-иному. Даже избитое, шаблонное и трафаретное освежалось у него напором чувств и подкупающей искренностью.

Ранней весной 1925 года мы встретились в Баку. Есенин собирался в Персию: ему хотелось посмотреть сады Шираза и подышать воздухом, каким дышал Саади. Вид у Есенина был совсем не московский: по дороге в Баку, в вагоне у него украли верхнее платье, и он ходил в обтрепанном с чужих плеч пальтишке. Ботинки были неуклюжие, длинные, нечищеные, может быть, тоже с чужих ног. Он уже не завивался и не пудрился. Друзей, бережно и любовно относившихся к нему, у него было довольно. Жил он у тов. Чагина, следившего за его лечением, но показался в те дни одиноким, заброшенным, случайным гостем, неведомо зачем и почему очутившимся в этом городе нефти, копоти и пыли, словно ему было все равно куда приткнуться и причалить.

Мы расстались на набережной. Небо было свинцовое. С моря дул резкий и холодный ветер, поднимая над городом едкую пыль. Немотно, как древний страж веков, стояла Девичья башня. Море скалилось, показывая белые клыки, и гул прибоя был бездушен и неприютен. Есенин стоял, рассеянно улыбался и мял в руках шляпу. Пальтишко распахнулось и неуклюже свисало, веки были воспалены. Он простудился, кашлял, говорил надсадным шепотом и запахивал то и дело шею черным шарфом. Вся фигура его казалась обреченной и совсем ненужной здесь. Впервые я остро почувствовал, что жить ему недолго и что он догорает.

На загородной даче, опившийся, он сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошел и увидел: он сидел на кровати и рыдал. Все лицо его было залито слезами. Он комкал мокрый платок.

— У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я все отдал им, понимаешь, все. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это отступилось от меня.

Он плакал больше часа.

«Пусть вся жизнь за песню продана» [2], — это из последних его стихов.

Озорное в нем было. Только в обычном, то есть в трезвом состоянии оно походило на остроумную шутку. Рассказывают, что совсем незадолго до своей смерти он навестил своего старого приятеля. Заметив теплящуюся перед иконами лампадку, он вынул папиросу и, не найдя спичек, попросил разрешения прикурить от «божьего огонька». Хозяин предложил ему этого не делать и ушел зачем-то в другую комнату, возможно, за спичками. Есенин поднялся, прикурил от лампадки, а потом попросил своего знакомого, с которым пришел, потушить ее:

— Вот увидишь — не заметит, честное слово. Это он так, задается.

Приятель возвратился и в самом деле не заметил, что лампадка потушена [3].

В одно из более ранних посещений он принес ему же в подарок... живого петуха.

Иногда он говаривал по поводу своих заграничных скандалов: «Ну, да, скандалил, но ведь я скандалил хорошо, я за русскую революцию скандалил». И повторял рассказ о том, как в Берлине на вечере белых писателей он требовал «Интернационал», а в Париже стал издеваться над врангелевцами и деникинцами, в отставке ставшими ресторанными «шестерками». И там и здесь его били [4].

Некоторые шутки его в последнее время были странны и непонятны. Явившись как-то ко мне навеселе, он принес с собой пачку коробок со спичками, бросил их на стол и сказал улыбаясь:

— Иду и думаю: чего бы купить в подарок. Понимаешь, оказывается, воскресенье, все закрыто. Вот нашел на лотке только спички, бери — пригодятся. Или лучше: отдай своей дочурке, пусть поиграет.

Есенин был дальновиден и умен. Он никогда не был таким наивным ни в вопросах политической борьбы, ни в вопросах художественной жизни, каким он представлялся иным простакам. Он умел ориентироваться, схватывать нужное, он умел обобщать и делать выводы. И он был сметлив и смотрел гораздо дальше других своих поэтических сверстников. Он взвешивал и рассчитывал. Он легко добился успеха и признания не только благодаря своему мощному таланту, но и благодаря своему уму.

О нашем «мужичке» он иногда говорил с хитрецой и с намеками: не так, мол, просто, товарищи коммунисты: около мужичка вам придется попыхтеть да попыхтеть, не все у вас с ним благополучно. Возвратившись из родной деревни, он жаловался, что город обижает деревню: за сапоги и несколько аршин мануфактуры и за налоги идет весь урожай. Обижают крестьян и местные власти. Он собирался идти к М. И. Калинину искать заступы. Но основное впечатление было иное: после этой поездки Есенин некоторое время ходил притихший и как будто потерявший что-то в родимых краях.

— Все новое и непохожее. Все очень странно.

Впрочем, об этом лучше рассказал сам поэт в своих стихах.

В последние два года Есенин все собирался поехать в деревню и как следует пожить там. Он знал, что болен, и казалось, что болезни своей он серьезно боялся. Он тосковал по простой и несложной жизни, по простым людским отношениям и простым вещам. Хорошо бы заняться житейским, обычным, каждодневным, явственным и ощутимым, чтобы был сад, липы, разговоры о сенокосе, об урожае, чтобы был вечер тихий и благостный. Или уехать куда-нибудь, в Ленинград, что ли, и зажить по-новому, работать регулярно, заняться журналом, романом, повестью, сидеть дома, изредка видеться с друзьями. У него был замысел — написать повесть в восемь-десять листов. Тема — уличные мальчики бездомные и беспризорные, дети-хулиганы. Однажды он показал мне несколько листков из этой повести, правда, было всего две-три страницы, но через некоторое время Есенин сознался, что «не пишется» и «не выходит» [5].

Писатель Никитин сказал в личном разговоре: «Сережа жил в последнее время с зажмуренными глазами, зажму-

рившись, он пьянствовал и скандалил». Это очень верно и метко. Он часто жмурился, особенно в нетрезвом состоянии.

> И я сам, опустясь головою,
> *Заливаю* глаза вином,
> Чтоб *не видеть* в лицо роковое,
> Чтоб подумать на миг об ином [6].

Это «иное» было простое, интимное, личное, а кругом было сложное, запутанное, общественное и далекое. И он знал, что возврата нет. Когда его убеждали по-серьезному взяться за лечение, он с неизменной своей улыбкой ссылался на то, что вот ему нужно подготовить для Госиздата собрание своих сочинений и тогда он возьмется как следует за лечение. Потом оказалось, что никакой серьезной работы над этим собранием он не проделал. И в отговорки свои он едва ли верил.

Перед последним отъездом в Ленинград я спрашивал его по телефону, зачем он едет туда, но внятного ответа не получил. Правда, он был нетрезв.

О самоубийстве со мной Есенин никогда не вел разговора. Я думал, что жить Есенину оставалось мало, но никогда не предполагал, что он может наложить на себя руки: он очень любил жизнь. Надо еще раз сказать, что Есенин был очень скрытен.

Несомненно, он болел манией преследования. Он боялся одиночества. И еще: передают — и это проверено,— что в гостинице «Англетер», перед своей смертью, он боялся оставаться один в номере. По вечерам и ночью, прежде чем зайти в номер, он подолгу оставался и одиноко сидел в вестибюле. Но лучше об этом не думать, ибо кто знает, что скрывалось у Есенина за этой манией преследования и что это была за болезнь. 〈...〉

Конец каждого человека переживается по-особому. Смерть Есенина пробуждает великое чувство, которое источает мать, сестра, брат и о котором сказано: «Глас в Раме слышан бысть: Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо нет ей утешения» [7].

В Раме российской его проводили как свое дитя, родное и любимое.

〈*1926*〉

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Я переехал в Москву. Почему-то мне кажется, что в первые же дни своего приезда я познакомился с Есениным. Меня с ним познакомил поэт Э. Герман. Есенин зашел к нему вместе с Мариенгофом. Это было поздно вечером. Сразу же, с квартиры Германа, который жил тогда в Кисловском переулке, мы направились в ресторан «Стойло Пегаса». В ресторане посетителей было немного. Есенин и Мариенгоф отвели заведующего рестораном куда-то в сторону и, не стесняясь меня нисколько, приняли от него всю выручку дня. Есенин спокойно положил деньги в карман и сказал:

— А отсюда мы пойдем к Пронину.

Мы спустились в подвал. Стены подвала были покрыты квадратными кусками серебряной и золоченой бумаги, посетители сидели на некрашеных скамьях за столами без скатертей.

Есенина попросили читать.

Читал он всегда очень охотно и с необыкновенной выразительностью. Голос у него был чуть сипловатый, но сильный. Говорили, что у него горловая чахотка. Он и сам подтверждал это. Но так как он тогда исповедовал ту же самую религию «рекламизма», которую так прямо и подчеркнуто проводил Сорокин и которую я считал справедливой, но которая мне не нравилась,— то трудно было сказать, в чем здесь правда и где тут наигрыш...

Если у А. Сорокина «реклама» была несколько фанатична [1], то у С. Есенина — баловством, шуткой, производила впечатление необоримого веселья.

Беззаботно и весело он спрашивал:

— Реклама? Реклама, чтоб продавать? Меня и без того покупают. Я пишу для того, чтобы людям веселее жилось, поэтому я хочу обратить на себя внимание. Им полезней читать меня, чем Маяковского.

Когда я жил в двадцатом году в Омске, в гостинице, занимаемой газетой «Советская Сибирь», в магазинах продавалось много стихов Есенина и Маяковского. Я дружил тогда с поэтом Иваном Ерошиным, который знал Есенина и любил его. Маяковский ему не нравился. Я прочитал Маяковского и стал учить его наизусть. Он был близок мне. Теперь же не было ближе Есенина.

Есенин жил в Брюсовском переулке, во дворе, против дома, в котором живут сейчас работники Большого театра, в небольшой квартирке из двух комнат, принадлежавшей Гале Бениславской, которая потом, позже, застрелилась на могиле Есенина. Он вставал рано, ровно в девять. На стол ему подавали самовар и белые калачи, которые он очень любил.

— Потчую по-приятельски, а гоню по-неприятельски.

— Теперь, после нашего рязанского чая, попробуй-ка кавказского,— и он доставал из-под стола бутылку с красным вином.

Лицо у него было задумчивое, глаза чуть припухшие, и было такое впечатление, словно он работал всю ночь. Наверное, так оно и было. Гонимый какой-то страстью, он ходил по знакомым из квартиры в квартиру всю ночь, читал стихи, пил, напивался, возвращался на рассвете, и в то же время сознание, как ни странно, не переставало работать. Много раз я был свидетелем, как он на краешке стола своим ровным почерком, точно вспоминая, без особой устали, точно давно известное, записывал свои стихи. Записав стихотворение, он читал его иногда два-три раза подряд, как бы сам удивляясь самому себе. Тут он любил рассуждать, особенно об издательской деятельности. Ему хотелось открыть издательство и печатать журнал, который он предполагал назвать «Москвитянин», а издательство «Москвитяне». К концу завтрака этот великолепный разговор кончался. Есенину приносили еще бутылку красного вина, он не спеша выпивал ее, и передо мной снова возникал тот «черный человек», который ночью так легко сливался с темнотою города.

Стоя перед зеркалом, Есенин любил повторять:

— Как поприумоюсь, да поприоденусь, да попричешусь, так что твой барин стану.

— Люблю кривые зеркала,— как тобой кто залюбуется, ты и думаешь: «А что, взял?»

— А ты веселый,— сказал я с удивлением.

Есенин ответил:

— Не я веселый, а горе мое весело.

С. Есенин не казался мне мрачным, обреченным. Это был человек, который пел грустные песни, но словно не его сочинения. Казалось, он много сделал и очень доволен.

Он очень подвижен. Огонь в нем вспыхивал сильно и внезапно: действие этого внутреннего пламени тотчас же отражалось на его лице, во всех его поступках, во всем поведении.

Во мне же это пламя разгоралось медленно, не было заметно ни мне, ни другим.

Рапповцы считали себя вправе распоряжаться не только мыслями Есенина, но и чувствами его,— он смеялся над ними, и ему была приятна мысль вести их за собой магией стиха:

— А я их поймал!

— В чем?

— Это они — хулиганы и бандиты в душе, а не я. Оттого-то и стихи мои им нравятся.

— Но ведь ты хулиганишь?

— Как раз ровно настолько, чтобы они считали, что я пишу про себя, а не про них. Они думают, что смогут меня учить и мной руководить, а сами-то с собой справятся, как ты думаешь? Я спрашиваю тебя об этом с тревогой, так как боюсь, что они совесть сожгут; мне ее жалко: она и моя!

Шутит он со мной, что ли? Пожалуй что и нет!

— Мне нравятся люди дела, а не только слова. Это — самый опасный род мещан. Я советовал бы тебе отказаться. Ведь поприобучить человека к пакостям легко.

— Да я ничего...

Он пристально взглянул на меня:

— Ну, раз ты ничего, то и я — ничего.

— Знаешь, я записывал слова; складывал в письменный стол, брал их оттуда; сооружал сравнения. Ну, а затем плюнул. Зачем подчиняться случайности?

Он посмотрел в пространство.

— А ты знаешь, как называется гладкая лента воды в море или река, освещенная солнцем?

— Нет.

— Лоса. «Лоса», созвездие Большой Медведицы, которая в воде — полосе воды — отражается: «Лоса в лосах!» — И добавил поговорку: — Хотелось лося, да не удалося. Правда, красиво?

Я не нашел в этом ничего красивого, но смолчал.

Подумав, он сказал не с грустью, а с задором:

— А я никогда не был на море.

Потом продолжал:

— Есть очень красивое слово — водомоина. А есть еще красивей — водоросина, воде рост! Я — бунтовщик и крамольник, это-то пора бы понять!

Был такой поэт, скажем, Дмитрий Псарев, и был, скажем, хирург Наум Иванович М.

Поэт сутуловат, плечи большие, длинные ступни, волнистые волосы, ему около тридцати, но на вид можно дать и сорок. Холодные темные глаза под тонкими бровями, словно случайно попавшими на это грубое лицо.

— Холоден, резок, в поэзии несчастлив, но женщины его любят, а ему бы нужна только слава!

— Жалко тебе его, Сережа?

— Жалко.

— Стихи его любишь?

— Стихи-то средние. А просто жалко — из соседней губернии он. Жалость необъяснима.

А поэт болен. Есенин томится, как бы помочь товарищу. Решает, что надо идти к Воронскому, уговорить, чтобы тот вмешался и именно этот хирург М. сделал бы нужную поэту операцию. Пошел к хирургу один — «посоветоваться»,— горло, оно у него, действительно, больное. Стал пробовать читать стихи и зачаровал. Тот сделал операцию Псареву сам: он спас человека.

Есенин спросил меня тогда:

— Можно ли стихом спасти человека?

Пьесу «Бронепоезд» я написал в своей собственной трехкомнатной квартире в полуподвале дома на Тверском бульваре. Квартира была сумрачная и пасмурная. Я оклеил ее очень дорогими моющимися обоями, потратив на это все

деньги, спал на полу, а рукописи писал на фанерке, которую держал на коленях. Когда Есенин впервые пришел ко мне в эту квартиру и увидел меня на полу перед печкой, он сказал:

— Когда узнал, что ты переехал на собственную квартиру, я испугался. Писатель не должен иметь квартиры. Удобнее всего писать в номере гостиницы. А раз ты спишь на полу, то ты, значит, настоящий писатель.

Поэт должен жить необыкновенно.

Ничего не было в квартире. Я смущался. А он пришел в восторг и сел на полу, перед печью:

— Боже, как хорошо! Мотя, беги за Костей [2] в Дом Герцена.

Он лежал на спине, читал стихи.

Есенин ищет идеала в писателях. Оп — рассудителен, развит и понимает, насколько далеко до идеала.

— Да, есть благородные помыслы, даже душевные движения, но этим все и кончается. А нужен подвиг! Подвиг!

ИЗ «ИСТОРИИ МОИХ КНИГ»

ВЕЧЕР В «КРУГЕ»

Из Петрограда приехали писатели, члены правления «Круга». Прошло собрание, утвердили годовой отчет, разработали план, и, когда писатели взяли было шапки, кто-то предложил складчину — три рубля. Устроим вечер — москвичи будут угощать петроградцев, петроградцы москвичей, и надо же наконец собираться не только членам правления, но и всем, надо же посмотреть наконец пристально друг на друга!

Я переехал в Москву в 1923 году, когда было открыто издательство «Круг». Оно находилось в одном из переулков между Мясницкой и Покровкой. Некоторое время я жил при издательстве в крошечной комнатушке, где почему-то стояла классная доска. Здесь, на вечерах «Круга», я познакомился с многими писателями. Здесь я впервые увидел Фадеева, Малышкина, Маяковского. С Пастернаком и Есениным я познакомился еще раньше.

Когда Воронский подсчитал складчину, он, поглядев на меня, ухмыльнулся и сказал:

— Романтики, думаю, больше в колбасе понимают, а реалисты — в хлебе.— И добавил: — На тебе лежит колбаса, на мне — хлеб.

— А вино?

— Вино ремеслу не товарищ, у нас же предстоит встреча по ремеслу. И, во-вторых, мало денег.

Моросил мельчайший дождичек. Я нес в «Круг» мимо розово-бронзовой башни Меншикова несколько кругов колбасы, завернутых в бумагу. Несмотря на дождичек и запах колбасы, душистый и сильный запах хлеба преследовал меня. Боже мой, как прекрасно будет, жуя хлеб с колбасой, говорить об искусстве!

В моей комнате на досках, заменявших мне стол, Воронский с наслаждением резал хлеб большим кухонным ножом. Нож сверкал. Я клал на куски хлеба розово-слоистые ломти вареной колбасы. В передней уже кипел большой самовар.

К нам вошла машинистка «Круга» Р. М. Сорнова и спросила:

— Почему хлеб не намазан маслом?

Воронский негодующе вскричал:

— Да вы с ума сошли, Раиса Марковна! Вам что — царское время: масло, а на него еще колбасу? — И он сказал решительно: — То и другое отдельно. Революция продолжается!

Когда Раиса Марковна ушла, он спросил, указывая на классную доску:

— Это, собственно, зачем? На время гостей можно бы и вынести.

— А вдруг какие-нибудь мысли появятся.

— При чем тут мысли?

— Я на ней пишу.

— Как?!

Я объяснил. Воронский поднял на меня глаза, всегда немножко грустные, погладил коротко остриженную голову и воскликнул:

— Ага! Вот откуда у тебя стиль. Ты понимаешь, Всеволод, что у тебя уже обнаружился свой собственный стиль и ты, стало быть, уже настоящий писатель. Это, черт возьми, приятно!

Ему приятно, а мне стало слегка страшно.

И не напрасно я страшился.

По олимпийски большим комнатам шаркало, смеялось, курило множество писателей. Блестели стаканы, которые разносил низкорослый, с пушистыми волосами, доброжела-

тельный сторож Матвей. В руках Матвея круглый поднос кажется особенно круглым, а бутерброды — особенно вкусными. За вымытыми стеклами окон по-прежнему моросил дождичек, и паркет, в котором иногда отражались окна, казался дрожащим, даже зябким. Но, в общем, и это приятно. Все приятно! Воронский прав.

Возле шведских бюро, сдвинутых вместе, стоял Б. Пильняк, писатель в те дни почти уже знаменитый. Он только что приехал из-за границы,— заграничные поездки писателей были еще очень редки; черепаховые его очки, под рыжими волосами головы и бровей, особенно велики,— мы еще носили крошечные пенсне; он — в сером, и это тоже редкость. Бас Б. Пастернака слышался рядом. К ним подошел Бабель, в простой толстовке, начал шутить, и они засмеялись. В другом конце комнаты, вокруг Демьяна Бедного, превосходного и остроумного рассказчика,— Безыменский, Киршон, Веселый, Светлов.

Фадеев и Герасимова проходят мимо. Они очень красивы, и особенно хорош Фадеев, в длинной темной суконной блузе. Они разговаривают с Маяковским и Асеевым о Сибири. Асеев сильно размахивает руками, но в комнате такой гул, что я не слышу его слов. Через всю комнату светятся большие глаза Фурманова, и кажется, что он-то слышит всех.

А рядом кто-то из Лефа отрицает шутку: не те времена. Переходя на крайне серьезный тон, он, крошечный, тощий, поднимает извечный спор. Что важнее — искусство конструкции или полное отсутствие конструкции. Его собеседник — длинный, с тонкой бородой и скверными редкими волосами, в решетчатом костюме, которому лет, наверное, двадцать, утверждает, что очерк тоже имеет свою конструкцию, только почтенный оппонент не замечает ее. Держа крошечного осторожно за рукав, решетчатый долго развивает высказанное им соображение.

Один, а затем трое подходят ко мне:

— Да, стиль вами найден, надо его укреплять, развивать.

— Да. «Экзотические рассказы» очень хороши.

Хотя их слова кажутся мне несколько наигранными и, возможно, они всего лишь повторяют Воронского, но все равно озноб восторга потрясает меня. Я уже воображаю себя то издающим Собрание сочинений, то получающим множество писем от читателей и любезно отвечающим на них, то лежащим в могиле, под громадным памятником, то разговаривающим с критиком, который принес мне книгу

обо мне. Прошел мимо Воронский, что-то мурлыча про себя и легонько хлопая в ладоши, видимо, очень довольный. Он поглядел в мое лицо и вдруг громко, на все комнаты, сказал:

— Я хочу вам показать, как писатель совершенствует стиль.

Он привел тех, кто пошел за ним, в мою комнату и, показывая на классную доску, объяснил, как я пишу рассказы. Странно, но классная доска никого не удивила, а некоторые, как мне подумалось, просто решили, что я рисуюсь. Один только Есенин похвалил меня, но он не успел объяснить, почему ему нравится писание на классной доске: его стали просить прочесть стихи.

Уселись на книгах, на принесенных стульях и просто на полу, а самые отважные, несмотря на мои предупреждения, сели даже на диван. Есенин читал свои стихи слегка хрипловатым, головокружительно, неимоверно выразительным голосом, а молодой поэт Приблудный, постоянно сопровождавший Сергея Александровича, черточкой отмечал на классной доске каждое прочитанное стихотворение. Есенин краем глаза наблюдал за ним, а когда кончил читать, рукавом стер эти отметки, схватил мел и поставил единицу.

— Кол! — воскликнул он, оглядывая слушателей веселыми, смеющимися глазами. И неизвестно было: кол ли это в спину старой поэзии или — на кол тех, кому не нравятся его стихи.

Он добавил, уходя из комнаты,— впрочем, его слова мало что разъяснили:

— Воевать — так не горевать. А начал горевать, уж лучше не воевать!

Писатели ушли. Дождик по-прежнему моросил нежно и мерцающе. Я стоял возле длинного некрашеного стола в прихожей. Большие листы серой бумаги с отпечатками донышков стаканов покрывали стол. Ваза с сахаром опустела, пакетики чая тоже пусты и брошены под стол, но бутербродов осталось еще много, и они пахнут теперь чуть суховато. Сторож Матвей дремал в старинном оборванном кресле, и у него было торжественно ласковое выражение лица. Перед ним белая разграфленная бумага: список приглашенных писателей. Против каждого «птичка». Нет ни одной фамилии без птички.

И глядя на этот список, я понял, что я встретился сегодня ни больше ни меньше как со всей великой советской литературой.

А. Л. МИКЛАШЕВСКАЯ

ВСТРЕЧИ С ПОЭТОМ

Сложное это было время, бурное, противоречивое... Во всех концах Москвы — в клубах, в кафе, в театрах — выступали поэты, писатели, художники, режиссеры самых разнообразных направлений. Устраивались бесчисленные диспуты. Было в них много и надуманного и нездорового.

Сложная была жизнь и у Сергея Есенина — и творческая и личная. Все навязанное, наносное столкнулось с его настоящей сущностью, с настоящим восприятием всего нового. И тоже и бурлило и кипело.

Познакомила меня с Есениным актриса Московского Камерного театра Анна Борисовна Никритина, жена известного в то время имажиниста Анатолия Мариенгофа. Мы встретили поэта на улице Горького (тогда Тверской). Он шел быстро, бледный, сосредоточенный... Сказал: «Иду мыть голову. Вызывают в Кремль». У него были красивые волосы — пышные, золотые... На меня он почти не взглянул.

Это было в конце лета 1923 года, вскоре после его возвращения из поездки за границу с Дункан.

С Никритиной мы работали в Московском Камерном театре. Нас еще больше объединило то, что мы обе не поехали с театром за границу: она потому, что Таиров не согласился взять визу и на Мариенгофа, я из-за сына.

С Никритиной мы были дружны и связаны новой работой. У них-то по-настоящему я и встретилась с Есениным. Он жил в этой же квартире.

В один из вечеров Есенин повез меня в мастерскую Коненкова. Обратно шли пешком. Долго бродили по Москве. Он был счастлив, что вернулся домой, в Россию. Радовался всему, как ребенок. Трогал руками дома, деревья... Уверял, что все, даже небо и луна, другие, чем там, у них. Рассказывал, как ему трудно было за границей.

И вот, наконец, он все-таки удрал! Он — в Москве.

Целый месяц мы встречались ежедневно. Очень много бродили по Москве, ездили за город и там подолгу гуляли. Была ранняя золотая осень. Под ногами шуршали желтые листья...

— Я с вами, как гимназист...— тихо, с удивлением говорил мне Есенин и улыбался.

Часто встречались в кафе поэтов «Стойло Пегаса» на Тверской, сидели вдвоем, тихо разговаривали. Есенин трезвый был очень застенчив. На людях он почти никогда не ел. Прятал руки, они казались ему некрасивыми.

Много говорилось о его грубости с женщинами. Но я ни разу не почувствовала и намека на грубость.

Все непонятнее казалась мне дружба Сергея Есенина с Анатолием Мариенгофом. Такие они были разные.

— Анатолий все сделал, чтобы поссорить меня с Райх (жена Есенина). Уводил меня из дому, постоянно твердил, что поэт не должен быть женат: «Ты еще ватные наушники надень». Развел меня с Райх, а сам женился и оставил меня одного...— жаловался Сергей.

Очень не нравились мне и многие другие «друзья», окружавшие его. Они постоянно твердили ему, что его стихи, его лирика никому не нужны. Прекрасная поэма «Анна Снегина» вызывала у них иронические замечания: «Еще понюшку туда — и совсем Пушкин!» Они знали, что Есенину больно думать, что его стихи не нужны. И «друзья» наперебой старались усилить эту боль.

«Друзей» устраивали легендарные скандалы Есенина. Эти скандалы привлекали любопытных в кафе и увеличивали доходы.

Трезвый Есенин им был не нужен. Когда он пил, вокруг него все пили и ели на его деньги.

Как-то сидели в отдельном кабинете ресторана «Медведь» Мариенгоф, Никритина, Есенин и я.

Он был какой-то притихший, задумчивый...

— Я буду писать вам стихи.

Мариенгоф смеялся:

— Такие же, как Дункан?

— Нет, ей я буду писать нежные...

Первые стихи, посвященные мне, были напечатаны в «Красной ниве»:

Заметался пожар голубой,
Позабылись родимые дали.
В первый раз я запел про любовь,
В первый раз отрекаюсь скандалить.

Есенин позвонил мне и с журналом ждал меня в кафе.

Я опоздала на час, задержалась на работе. Когда я пришла, он впервые при мне был нетрезв. И впервые при мне был скандал.

Есенин торжественно подал мне журнал. Мы сели. За соседним столом что-то громко сказали по поводу нас. Поэт вскочил. Человек в кожаной куртке схватился за наган. К удовольствию окружающих, начался скандал...

Казалось, с каждым выкриком Есенин все больше пьянел. Вдруг появилась сестра его Катя. Мы обе взяли его за руки. Он посмотрел нам в глаза и улыбнулся. Мы увезли его и уложили в постель. Я была очень расстроена. Да что там! Есенин спал, а я сидела над ним и плакала. Мариенгоф «утешал» меня:

— Эх вы, гимназистка! Вообразили, что сможете его переделать! Это ему не нужно!

Я понимала, что переделывать его не нужно! Просто надо помочь ему быть самим собой. Я не могла этого сделать. Слишком много времени приходилось тратить, чтобы заработать на жизнь моего семейства.

О моих затруднениях Есенин ничего не знал. Я зарабатывала концертами.

Мы продолжали встречаться, но уже не каждый день. Начались репетиции в театре «Острые углы».

Чаще всего встречались в кафе, каждое новое стихотворение он тихо читал мне.

В стихотворении «Ты такая ж простая, как все...» больше всего самому Есенину нравились строчки:

Что ж так имя твое звенит,
Словно августовская прохлада?..

Он радостно повторял их.

Как-то сидели Есенин, я и С. Клычков. Есенин читал только что напечатанные стихи:

Дорогая, сядем рядом,
Поглядим в глаза друг другу.
Я хочу под кротким взглядом
Слушать чувственную вьюгу.

С. Клычков похвалил, но сказал, что они заимствованы у какого-то древнего поэта. Есенин удивился: «Разве был такой?» А минут через десять стал читать стихи этого поэта и хитро улыбался. Он знал этого поэта наизусть. Есенин очень хорошо знал литературу, поэзию. С большой любовью

говорил о Лескове, о его замечательном русском языке. Взволнованно говорил о засорении русского языка, о страшной небрежности к нему в те годы. Он был очень образованным человеком, и мне было непонятно, когда и как он стал таким, несмотря на свою сумбурную жизнь.

Третьего октября 1923 года, в день рождения Есенина, я зашла к Никритиной. Мы все должны были идти в кафе. Но еще накануне Есенин пропал, и его везде искали. В. Шершеневич случайно увидел его на извозчике и привез домой. Сестра Катя увела его, не показывая нам.

Он объяснял свое исчезновение тем, что «мама мучалась еще накануне с вечера».

Читая «Роман без вранья» Мариенгофа, я подумала, что каждый случай в жизни, каждый поступок, каждую мысль можно преподнести в искаженном виде.

И вспомнилось мне, как в день своего рождения, вымытый, приведенный в порядок после бессонной ночи, Есенин вышел к нам в крылатке и широком цилиндре, какой носил Пушкин. Вышел — и сконфузился. И было в нем столько милого, детского. И ничего кичливого, заносчивого.

Взял меня под руку, чтобы идти, и тихо спросил: «Это очень смешно? Но мне так хотелось хоть чем-нибудь быть на него похожим».

За большим, длинным столом сидело много разных его друзей, и настоящих и мнимых. Мне очень хотелось сохранить Есенина трезвым на весь вечер, и я предложила всем желающим поздравить Есенина чокаться со мной: «Пить вместо Есенина буду я!»

Это всем понравилось, а больше всего самому Есенину.

Он остался трезвым и очень охотно помогал мне незаметно выливать вино.

В театре «Острые углы» я играла в инсценированном рассказе О'Генри «Кабачок и роза». Я сыграла женщину, абсолютно не похожую на меня в жизни. За кулисы Есенин прислал корзину цветов и маленькую записочку: «Приветствую и желаю успеха. *С. Есенин.* 27.X.23 г.».

Очень не понравился мне самый маститый его друг — Клюев. По просьбе Есенина он приехал в Москву. Когда мы пришли в кафе, Клюев уже ждал нас с букетом. Встал навстречу. Волосы прилизанные. Весь какой-то ряженый, во что-то играющий. Поклонился мне до земли и заговорил елейным голосом. И опять было непонятно, что было общего у них, как непонятна и дружба с Мариенгофом. Такие они оба были не настоящие.

И оба они почему-то покровительственно поучали Сергея, хотя он был неизмеримо глубже, умнее их. Клюев опять говорил, что стихи Есенина сейчас никому не нужны. Это было самым страшным, самым тяжелым для Сергея, и все-таки Клюев продолжал твердить о ненужности его поэзии. Договорился до того, что, мол, Есенину остается только застрелиться. После встречи со мной Клюев долго уговаривал Есенина вернуться к Дункан.

Есенин познакомил меня с Михаилом Кольцовым, Литовским и его женой, с Борисовым. Встречи с ними всегда были интересными и носили другой характер, чем встречи с его «друзьями».

В один из свободных вечеров большой компанией сидели в кафе Гутман, Кошевский и актеры, работавшие со мной. Есенин был трезвый, веселый. Разыскивая меня, пришел отец моего сына. Все его знали и усадили за наш стол. Через секунду Есенин встал и вышел.

Вскоре он вернулся с огромным букетом цветов. Молча положил мне на колени, приподнял шляпу и ушел.

Через несколько дней опять сидели в кафе. Ждали Есенина, но его все не было.

Неожиданно он появился, бледный, глаза тусклые... Долго всех оглядывал. В кафе стало тихо. Все ждали, что будет.

Он чуть улыбнулся, сказал: «А скандалить пойдем к Маяковскому». И ушел.

Я знала, что Есенина все больше и больше тянет к Маяковскому, но что-то еще мешает им сблизиться.

С Маяковским я встречалась раза три, почти мельком. Но у меня осталось чувство, что он умеет внимательно и доброжелательно следить за человеком. В жизни он был другой, чем на эстраде.

Я жила в комнате вдвоем с сыном. Как-то вечером сидела у себя на кровати и что-то шила. В дверь постучали, и вошел Маяковский (он был в гостях у соседей). Попросил разрешения поговорить по телефону.

— Вы — Миклашевская?

— Я.

— Встаньте, я хочу посмотреть на вас.

Он сказал это так просто, серьезно, что я спокойно встала.

— Да... — сказал он.

Поговорил немного о театре и так, не дотронувшись до телефона, ушел. И хотя он ни словом не обмолвился о Есе-

нине, я понимала, что интересовала его только потому, что мое имя было как-то связано с именем Есенина.

Маяковский думал о нем. Его волновала судьба Есенина.

Второй раз, увидев меня в антракте на каком-то спектакле, подошел, поздоровался и сказал:

— Дома вы гораздо интересней. А так я бы мог пройти и не заметить вас.

Режиссер Н. М. Фореггер предложил мне за какой-то соблазнительный паек участвовать в его концертах в Доме печати на Никитском бульваре. Приготовил со мной акробатический танец. Когда я вышла на сцену в розовой пачке, я увидела Маяковского. Он стоял, облокотившись на эстраду. У него были грустные глаза. Я танцевала и чувствовала, что ему жалко меня. Кое-как закончив свой злосчастный танец, я сказала Фореггеру: «К черту твой паек! Больше выступать я не буду».

По совету Мариенгофа и Никритиной (я об этом не знала) Есенин хотел меня устроить в театр Мейерхольда. Очень возбужденный пришел к Всеволоду Эмильевичу и заявил: «Если не примешь Миклашевскую, буду бить». И хотя Мейерхольд всегда неплохо говорил обо мне как об актрисе, я не смогла пойти к нему разговаривать о работе. Я очень была огорчена тем, что оказалась вне театра.

Мы встречались с Есениным все реже и реже.

Увидев меня однажды на улице, он соскочил с извозчика, подбежал ко мне.

— Прожил с вами уже всю нашу жизнь. Написал последнее стихотворение:

Вечер черные брови насопил.
Чьи-то кони стоят у двора.
Не вчера ли я молодость пропил?
Разлюбил ли тебя не вчера?

Как всегда, тихо прочитал все стихотворение и повторил:

Наша жизнь, что былой не была...

Встречали Новый год у актрисы Лизы Александровой Мариенгоф, Никритина, Соколов (в то время — актер Камерного театра). Позвонила Дункан. Звала Лизу и Соколова приехать к ней. Лиза ответила, что приехать не могут:

— Мы не одни, а ты не захочешь к нам приехать — у нас Миклашевская.

— Миклашевская? Очень хочу! Сейчас приеду!

Я впервые увидела Дункан близко. Это была очень крупная женщина, хорошо сохранившаяся. Я, сама высокая, смотрела на нее снизу вверх. Своим неестественным, театральным видом она поразила меня. На ней был прозрачный бледно-зеленый хитон с золотыми кружевами, опоясанный золотым шнуром с золотыми кистями, на ногах — золотые сандалии и кружевные чулки. На голове — зеленая чалма с разноцветными камнями. На плечах — не то плащ, не то ротонда, бархатная, зеленая. Не женщина, а какой-то очень театральный король.

Она смотрела на меня и говорила:

— Есенин в больнице, вы должны носить ему фрукты, цветы!..— И вдруг сорвала с головы чалму.— Произвела впечатление на Миклашевскую — теперь можно бросить!..— И чалма полетела в угол.

После этого она стала проще, оживленнее. На нее нельзя было обижаться: так она была обаятельна.

— Вся Европа знайт, что Есенин был мой муш и вдруг — первый раз запел про любоф — вам, нет, это мне! Там есть плохой стихотворень: «Ты такая ж простая, как все...» Это вам!

Болтала она много, пересыпая французские фразы русскими словами, и наоборот. То как Есенин за границей убегал от нее. То как во время ее концертов (напевает Шопена), танцуя, она прислушивалась к его выкрикам, повторяя с акцентом русские ругательства. То как белогвардейские офицеры — официанты в ресторане — пытались упрекать его за то, что он, русский поэт, остался с большевиками. Есенин резко одернул их: «Вы здесь находитесь в качестве официантов! Выполняйте свои обязанности молча».

Уже давно пора было идти домой, но Дункан не хотела уходить. Стало светать. Потушили электричество. Серый, тусклый свет все изменил. Айседора сидела согнувшаяся, постаревшая и очень жалкая.

— Я не хочу уходить, мне некуда уходить... У меня никого нет... Я одна...

Есенин уехал в Баку. Я выезжала со спектаклями и концертами в разные подмосковные города. Сезон 1924/25 года работала в Московском театре сатиры.

Есенин прислал с поэтом Приблудным «Москву кабацкую» с автографом «Милой Августе Леонидовне со всеми нежными чувствами, выраженными здесь». В сборнике было напечатано семь стихотворений, собранных в цикл «Любовь хулигана», с посвящением мне.

Приблудный надолго задержал книгу. Галя Бениславская заставила его принести ее и потом приходила проверить. Приблудный извинялся, что присланное мне письмо он передал Толстой. Так я и не получила письма [1].

Третьего октября 1924 года [2] меня разбудили в восемь часов утра. Пришел Есенин. Мы уже встречались очень редко, но тревога за него была еще сильней. Он стоял бледный, похудевший.

— Сегодня день моего рождения. Вспомнил этот день прошлого года и пришел к вам... поздравить... Меня посылают в Италию. Поедемте со мной. Я поеду, если вы поедете.

Вид у него был измученный, больной. Голос — хриплый.

Мы шли по улице, и у нас был нелепый вид. У него на затылке цилиндр (очевидно, опять надел ради дня рождения), на одной руке — лайковая перчатка, и я — с непокрытой головой, в накинутом на халат пальто, в туфлях на босу ногу. Но он перехитрил меня. Довел до цветочного магазина, купил огромную корзину хризантем и отвез домой.

— Извините за шум.— И ушел неизвестно куда.

Уезжая в 1922 году за границу, Есенин просил Мариенгофа позаботиться о сестре Кате: выдавать ей деньги — пай Есенина в кафе поэтов и в книжной лавке на Никитской. Мариенгоф не выполнил обещания. Когда Есенин узнал об этом, они поссорились. И все-таки, когда Мариенгоф с Никритиной были за границей и долго не возвращались, Есенин пришел ко мне и попросил: «Пошлите этим дуракам деньги, а то им не на что вернуться. Деньги я дам, только чтобы они не знали, что это мои деньги».

Подолгу пропадал и опять появлялся. Неожиданно, окруженный какими-то людьми, приходил за кулисы на репетиции. Смирно сидел. Чаще — все бросали репетировать и просили его читать стихи.

Опять приехал ко мне на Никитскую и повез меня куда-то, за кем-то мы заезжали и ехали дальше, куда-то на окраину Москвы. Сидели в комнате с низким потолком, с небольшими окнами. Как сейчас вижу: стол посреди комнаты, самовар. Мы сидели вокруг стола. На окне сидела какая-то женщина, кажется, ее звали Анна. Есенин стоял у стола и читал свою последнюю поэму — «Черный человек».

Он всегда хорошо читал свои стихи, но в этот раз было даже страшно. Он читал так, будто нас никого не было и как будто «черный человек» находился здесь, в комнате.

Я видела, как ему трудно, плохо, как он одинок. Понимала, что виноваты и я, и многие ценившие и любившие его. Никто из нас не помог ему по-настоящему.

В последний раз я видела Есенина в ноябре 1925 года, перед тем как он лег в больницу.

Был болен мой сын. Я сидела возле его кроватки. Поставила ему градусник и читала вслух.

Вошел Есенин и, когда увидел меня возле моего сына, прошел тихонько и зашептал:

— Я не буду мешать...

Сел в кресло и долго молча сидел, потом встал, подошел к нам.

— Вот все, что мне нужно, — сказал шепотом и пошел.

В дверях остановился:

— Я ложусь в больницу, приходите ко мне.

Я ни разу не пришла. Думала, там будет Толстая...

О смерти Есенина мне позвонили по телефону.

Всю ночь мне казалось, что он тихо сидит у меня в кресле, как в последний раз сидел.

Помню, как из вагона выносили узкий желтый гроб, как мы шли за гробом.

И вдруг за своей спиной я услышала голос Клычкова:

— Ты видел его после больницы?

— Я встретил его на вокзале, когда он ехал в Питер. Ох и здорово мы выпили!

Мне хотелось ударить его.

Когда я шла за закрытым гробом, казалось, одно желание было у меня — увидеть его волосы, погладить их. И когда потом я увидела вместо его красивых, пышных, золотых волос прямые, гладко причесанные, потемневшие от глицерина волосы (смазали, снимая маску), мне стало его безгранично жалко.

Есенин был похож на измученного, больного ребенка. Все время, пока гроб стоял в Доме печати на Никитском бульваре, шли гражданские панихиды. Качалов читал стихи. Зинаида Райх обнимала своих детей и кричала: «Ушло наше солнце». Мейерхольд бережно обнимал ее и детей и тихо говорил: «Ты обещала, ты обещала...»

Мать Есенина стояла спокойно, с каким-то удивлением оглядывая всех. В день похорон нашли момент, когда не было чужих, закрыли двери, чтобы мать могла проститься, как ей захочется.

После похорон начались концерты, посвященные Есенину. В Художественном театре пел Собинов, читал стихи Качалов.

Но потом пошла спекуляция на смерти Есенина. Очень уговаривали и меня выступать на этих концертах. Читать стихи, посвященные мне. Я, конечно, отказалась. Но устроители все-таки как-то поместили мою фамилию на афише.

В день концерта Галя Бениславская привела ко мне младшую сестру Есенина — Шуру, почти девочку. Ей тогда, наверно, не было и пятнадцати лет. Галя сказала, что Шура хочет идти на концерт послушать, как я буду читать.

— Я не хочу, чтобы Шура ходила на эти концерты. Вот я и привела ее к вам, чтобы вы почитали ей здесь.

— Галя, я не буду читать на концерте. Я не поеду.

Как просияла Галя, как вся засветилась!

...Вскоре после смерти Есенина я уехала работать в Брянский театр.

⟨1960⟩

ВЛ. ПЯСТ

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

⟨...⟩

Осень 1923 года я провел в Москве и под Москвой и, когда прочел о выступлении в ЦЕКУБУ на Пречистенке группы крестьянских поэтов (Есенин, Клюев и Ганин), решил на этот вечер пойти [1]. Всех троих исполнителями своих стихотворений слышал я тогда впервые, о Ганине же и вообще ничего не слыхал. От этого вечера в памяти остались: колоритная фигура в длинном зипуне (Клюев) — и еще ярче — кудрявая есенинская голова, с выражением несколько сонным, и его правая рука, в двух пальцах которой была зажата папироска и которою он как бы дирижировал своему музыкально модулирующему инструменту (голосу).

В такой позе он читал с эстрады постоянно. В этот раз он, может быть, еще не читал тех своих (напечатанных гораздо позднее) стихов, которые производили сильное впечатление на многих впоследствии (впоследствии слышал от него эти стихи и я), стихов о предчувствуемой поэтом близкой своей смерти:

Положите в русской рубашке
Под иконы меня умирать [2].

Не стихи Есенина, вообще, запечатлелись в моей памяти ярче всего из того вечера, нет,— а его импровизованная речь, с которой он неожиданно обратился к «ученой» (в большинстве) публике. Речь вот какая, настолько же неожиданная, насколько приятно прозвучавшая моему слуху. Речь — о Блоке.

— Блок,— говорил молодой поэт, предводитель послефутуристических бунтарей,— к которому приходил я в Петербурге, когда начинал свои выступления со стихами (в печати), для меня, для Есенина, был — и остался, покойный,— главным и старшим, наиболее дорогим и высоким, что только есть на свете.

(Я стараюсь передать смысл и стиль речи Есенина *точно;* эти слова врезались в память, хотя вся речь была бессвязна, как принято выражаться, гениально-косноязычна.)

— Разве можно относиться к памяти Блока без благоговения? Я, Есенин, так отношусь к ней, с благоговением.

— Мне мои товарищи были раньше дороги. Но тогда, когда они осмелились после смерти Блока объявить скандальный вечер его памяти, я с ними разошелся.

— Да, я не участвовал в этом вечере и сказал им, моим бывшим друзьям: «Стыдно!» Имажинизм ими был опозорен, мне стыдно было носить одинаковую с ними кличку, я отошел от имажинизма.

— Как можно осмелиться поднять руку на Блока, на лучшего русского поэта за последние сто лет!

Вот смысл и стиль застенчивой, обрывистой, неожиданной (не связанной ничем с программою вечера) речи Сережи Есенина. Чувствуя всю ее искренность, я полюбил молодого поэта с тех пор. Она прозвучала в унисон с опубликованною мною весной 1922 года в журнале «Жизнь искусства» статьею «Кунсткамера» [3], где я *отплевывался*, так сказать, от московских поэтов гуртом за тот исключительно гнусный вечер «Чистосердечно о Блоке!», — афиши о котором висели тогда на улицах Москвы. Имена участников этого паскудства я не предам печати на сей раз; достаточно знаменит за всех них Герострат, в психологии коего дал себе сладострастный труд копаться один, крепко теперь, по счастью, забытый, русский стихотворец.

А вот что Есенин пылал таким негодованием по поводу этого вечера — это значительно, важно; это очень характерно для quasi * хулигана. Кстати, неужели непонятно, что не может быть «шарлатаном» (есенинское слово!) тот, который себя таким объявляет!

Один мой приятель, бывший со мною на том же «крестьянском» вечере в ЦЕКУБУ, так описывает свои впечатления (в письме ко мне после смерти поэта):

«У Есенина был франтоватый вид. Костюм и шляпа с заграничным шиком — и под шляпой слегка помятое, точно невыспавшееся слегка, простецкое русское лицо с милой добродушно-рассеянной улыбкой. По-приятельски, но без фамильярности улыбается каждому. Каждому готов сказать «ты», но иногда брови сдвигаются и он очень важен, важен как молодая мать, прислушивающаяся к движению внутри себя зачинающейся новой значительной жизни».

---

* Квази *(лат.)* — как будто, мнимый.

Это очень верно. Русский народ так и называет оленьих самок — «важенками». В Сергее Есенине было нечто «ланье», как за девятнадцать лет до того в юном Андрее Белом.

А вот и другое выступление Есенина в ту же пору — в «Стойле Пегаса». Предоставляю слово тому же письму:

«Помните кафе «Пегас»? У Есенина свое особое там было место — два мягких дивана, сдвинутых углом супротив стола, стульями отгороженного от публики. Надпись: «Ложа Вольнодумцев». Это все еще они, «орден имажинистов», как окрестили себя его друзья, от которых он уже несомненно, хоть и незаметно, но вполне удаляется. Есенин много пьет. Всех угощает. Вокруг него кормится целая стая юных, а теперь и седеющих, и обрюзгших уже птенцов. Это всё «пишущие» — жаждущие и чающие славы или уже навсегда расставшиеся с ней.

Вот он опять на эстраде. Замолкают столики. Даже официанты прекращают суетню и толпятся, с восторгом, в дверях буфетной. Он читает знаменитые стихи, где просит положить его под русские иконы — умирать. Голос срывается. Может быть, навсегда! Это предчувствие. Все растроганы и тяжело дышат. А вот он внезапно встает и через всю залу идет к незнакомому с ним поэту, известному импровизациями, сидящему в стороне. Об этом поэте, за его спиной, но достаточно громко был «пишущими» послан гнусный, ни на чем не основанный слух. Есенин подходит, опирается на его стол руками, вглядывается в него и говорит: «С таким лицом подлецов не бывает!» Обнимает, целует его,— и вот — еще одно сердце, завоеванное им навеки».

В Ленинграде, в Городской думе, летом 1924 года был я свидетелем триумфа волшебства есенинской поэзии [4]. ⟨...⟩ Начав пение своих стихотворений, срывался, не доводил иных до конца, переходил к новым. Но мало-помалу столь естественные при данных обстоятельствах крики возмущения и иронические замечания публики становились все реже. По мере того как поэт овладевал собою (влияние волшебства творчества!) все более, он перестал забывать свои стихи, доводил до конца каждое начатое. И каждое обжигало всех слушателей и зачаровывало! Все сразу, как-то побледневшие, зрители встали со своих мест и бросились к эстраде и так обступили, все оскорбленные и завороженные им, кругом это широкое возвышение в глубине длинно-неуклюжего зала, на котором покачивался

в такт своим песням молодой чародей. Широко раскрытыми неподвижными глазами глядели слушатели на певца и ловили каждый его звук. Они не отпускали его с эстрады, пока поэт не изнемог. Когда же он не мог уже выжать больше ни звука из своих уст, — толпа схватила его на руки и понесла, с шумными восклицаниями хвалы,— вон из зала, по лестнице вниз, до улицы.

На следующий день или, может быть, через день я утром пошел к Сергею Есенину в гости — выразить свое восхищение и посоветоваться об издателях. Он жил у названного Сахарова, бывшего издателя, которого в это время в городе не было. Жили они в прекрасной, «довоенной» квартире со всей сохранившейся обстановкой особняков на Набережной. В первых комнатах меня встретили «имажинята» последнего призыва. Черноволосые мечтательные мальчики, живущие как птицы небесные, не заботящиеся о завтрашнем дне. 〈...〉 Помню радушную встречу и вкусный завтрак с чаем, приготовленный на всю братию и сервированный с некоторым кокетством, то есть с салфетками, вилками, ножами, скатертью.

После завтрака все отправились в Госиздат. В это лето я был свидетелем и того, как в Госиздате, только что получив небольшую сумму в счет собрания стихотворений, Есенин сунул половину ее — рублей 35 — в руку одного своего товарища, в то время и болевшего, и непечатавшегося. Это позволило последнему совершить неблизкий путь на родину.

Наконец, в это же лето плавали мы с Есениным и другими писателями на специально зафрахтованном Союзом писателей пароходе в Петергоф [5]. Надо ли рассказывать, как оба рейса — туда и обратно — поэты и беллетристы сменяли друг друга на рубке, читая свои произведения. Как, с каким восторгом встречались и провожались публикой, заплатившей по два рубля за прогулку в среде «писателей у себя»? Надо ли говорить, что ничей успех при этом нельзя было и сравнить с покорявшим всех есенинским? Только еще ученик и продолжатель Сережи юный Ив. Приблудный привел публику тоже в большой восторг, но не столько своими стихами, как артистическим темпераментом, умением быть «душою общества».

Жалею, что в следующую осень, когда Есенин снова приехал к нам, случая увидеться с ним я не имел. Никогда не предполагал, что «петергофский рейс» будет нашим последним на земных морях совместным плаванием.

ВС. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

...Я люблю родину,
Я очень люблю родину! [1]

С. Есенин

Весна 1915 года была ранняя, дружная — не в пример многим петербургским веснам. Город дымился синеватым, хмельным отстоем свежести и тревожных ожиданий.

Я с трудом открыл тяжелую дубовую дверь редакции и начал подниматься по лестнице, с каждым этажом замедляя шаги. Мне казалось, что все спускающиеся навстречу подозрительно поглядывают на карман моего студенческого пальто, откуда предательски торчит аккуратно свернутая в трубочку рукопись.

В просторной комнате «толстого» журнала было уже немало народу. На двух низких кожаных диванах, на десятке венских стульев сидели и начинающие и привычные, терпеливо ожидая редакторского приема. Хлопотливо и деловито торопились проследовать в кабинет маститые. Их узнавали, с любопытством оборачивались им вслед. Табачный дым, пронизанный солнцем, слоился и плыл вдоль стены. Прямо против входа горела в пятне заката тяжелая рама, из которой сумрачно и строго глядело скуластое длиннобородое лицо желчного и чем-то недовольного великого сатирика.

Изредка бесшумно приоткрывалась дверь редакторского кабинета, и юркая фигурка секретаря делала еле уловимый знак кому-нибудь из присутствующих. Счастливец тотчас же поднимался с места. Минуты тянулись как часы. Все молчали. Казалось, что находишься на приеме у знаменитого врача, где надо терпеливо и чинно дожидаться своей очереди.

Я отыскал свободный стул и сел в стороне. Прошло полчаса, а может быть, и больше. Входили и выходили посетители. Число ожидающих почти не убывало. Скрипнула дверь. Посередине комнаты остановилась странная фигура.

Это был паренек лет девятнадцати, в деревенском тулупчике, в тяжелых смазных сапогах. Когда он снял высокую извозчичью шапку, его белокурые, слегка вьющиеся волосы на минуту загорелись в отсвете вечереющего солнца. Серые глаза окинули всех робко, но вместе с тем и не без некоторой дерзости.

Он стоял в недоумении. Сесть было некуда. Никто из находившихся на диване не пожелал дать ему места. На него поглядывали равнодушно. Очевидно, приняли за рассыльного или полотера.

Паренек заметил мою потертую студенческую тужурку и решительно направился ко мне через всю комнату.

— Не помешаю? — спросил он просто.— Может, вдвоем поместимся? А?

Я подвинулся, и мы уселись рядом на одном стуле. Мой сосед неторопливо размотал пестрый домотканый шарф и покосился на меня. Широкая приветливая улыбка раздвинула его губы, сузила в веселые щелочки чему-то смеющиеся, чуть лукавые глаза.

— Стихи? — спросил он шепотом и ткнул пальцем в рукопись, оттопыривавшую мой карман.

— Стихи,— ответил я, тоже почему-то шепотом и не мог удержать ответной улыбки.

— Ну, и я того же поля ягода. С сукопным рылом да в калашный ряд.

И он подмигнул в сторону ожидающих.

Начался разговор.

Так как на моем лице, видимо, написано было удивление, сосед поторопился рассказать, что в городе он совсем недавно, что ехал на заработки куда-то на Балтийское побережье и вот застрял в Петербурге, решив попытать литературного счастья. И добавил, что зовут его Есениным, а по имени Серега, и что он пишет стихи («Не знаю, как кому, а по мне — хорошие»). Вытащил тут же пачку листков, исписанных мелким, прямым, на редкость отчетливым почерком. И та готовность, с которой он показывал свои стихи, сразу же располагала в его пользу. Некоторая свойственная ему самоуверенность отнюдь не казалась навязчивой, а то, что он сам хвалил себя, выходило у него так естественно, что никто не мог бы заподозрить автора

в излишнем самомнении. Да это и не вязалось бы с его простонародным, как сказали бы тогда, видом.

Я отвечал Есенину откровенностью на откровенность. Не прошло и нескольких минут, как мы разговорились по-приятельски.

А время между тем текло. Уже несколько раз выглядывал из двери секретарь и быстро обегал глазами оставшихся в комнате. На нас он даже не взглянул.

Вошел редакционный сторож с огромным подносом и привычно обнес сотрудников стаканами чаю и легкой закуской. Есенин протянул было руку к соблазнительному бутерброду с ветчиной, но сторож ловким ныряющим движением отвел поднос в сторону.

Нас не хотели замечать. Есенин вздохнул и с покорным видом уселся обратно. Комната постепенно пустела.

— Ну вот наконец и наша очередь,— сказал мой сосед и подтолкнул меня в бок. Появившийся секретарь остановился около стола и начал собирать какие-то папки.

— Теперь мы? — спросил Есенин неожиданно оробевшим голосом.

Секретарь поглядел недовольно и устáло.

— Господа, на сегодня прием закончен. Редактор уже уехал. Если хотите видеть его лично, приходите в пятницу.

И тотчас же снова уткнулся в свои бумаги.

Мы минуту постояли молча, взглянули друг на друга и пошли прочь.

Когда были уже на лестнице, Есенин не выдержал и фыркнул себе в ладонь.

— Ловко! — сказал он почти в восхищении.— И выходит, вправду — «в калашный ряд». А мы-то сидели, мы-то ждали рая небесного! Вот тебе и рай! Ну да ладно! Я еще своего добьюсь. Стихи у меня хорошие. Будут Есенина печатать! Слово даю!

Мы шли к Неве, и упругий порывистый ветер бил нам в лицо. Небо казалось широко развернутым алым парусом. Темная глыба Исаакия, синея, висела в воздухе.

— Люблю, когда просторно! — вздохнул Есенин.— В Москве теснота и сутолочь! А здесь — во как! — И он обвел рукою полгоризонта.

Перешли Николаевский мост. Начался бесконечный ряд еще оголенных деревьев Конногвардейского бульвара. Не помню, как разговор снова вернулся к стихам.

— Хочешь, свои почитаю? — спросил мой спутник (он сразу же стал говорить мне «ты», и это, видимо, было его привычной манерой).— Неужели *таких* стихов они печа-

тать не будут? Нет, шалишь, напечатают. Это ведь о России. В самую сердцевину сейчас — на второй-то год войны.

И он начал читать — сначала тихо, а потом с бо́льшим и бо́льшим одушевлением:

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!»
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою» [2].

Стихи действительно были непривычно свежими, живыми. Но я все же не удержался от критического глубокомыслия:

— Хорошо-то хорошо, но уж очень иконописно — «рать святая», «рай»... Ладаном пахнет.

— А что, это плохо?

— Как кому. Вот у Блока тоже о России, но совсем иначе — мужественнее, проще.

— Да ведь то Блок! Он передо мною игумен. Не удивляйся «божественным» сравнениям — меня в церковно-приходской школе грамоте учили. Он игумен, а я кто? Послушник, да и то расстрига.

Он лукаво подмигнул мне:

— Божественности во мне мало. Вот увидишь, утеку из монастыря, а тогда поминай как звали! Это я так, притворяюсь только смиренником. Что, не веришь? — И неожиданно, вложив два пальца в рот, залился оглушительным озорным свистом. Два-три прохожих, испуганно вздрогнув, обернулись в нашу сторону. Есенин засмеялся.

— Ну,— кивнул он на соседнюю улицу,— мне сюда. Будь здоров. Не поминай лихом. А встретимся — стихи почитаем. К тому времени новые будут. Я теперь, как скворец, с утра на ветке горло деру. ⟨...⟩

* * *

В те дни я несколько раз встречал Есенина на литературных выступлениях. Держался он в стороне, но ко всему, что происходило, приглядывался жадно. Охотно знакомился с новыми людьми и почти сразу же находил с ними дружеский, непринужденный тон. Одет был по-прежнему, по-деревенски. Бледно-голубая русская рубаха очень шла к его белокурым легким волосам. Маленькие узкие глаза светились не то насмешливо, не то хитровато. Свои стихи Есенин читал неторопливо, сдержанно и с большой долей скромности, напускной или искренней — трудно было по-

нять. Он уже получил некоторую известность в литературных кругах. Его печатали. О нем говорили. «Самородок», «из народных недр» — стало привычным эпитетом к его имени. ⟨...⟩

Однажды я затащил Есенина в кружок наших университетских поэтов [3]. Он пошел неохотно, с видом некоторого снисхождения. Ему уже успели прискучить подобные выступления и в более льстивших его самолюбию кругах. Но здесь, среди горячей молодежи, которая не обнаруживала перед ним и тени почтительной лести, Есенин неожиданно оживился и с глубоким интересом стал вслушиваться в общий разговор. Читали в этот вечер много, с увлечением, спорили больше, чем обычно. Есенин не отставал от других. Я не узнавал его. Словно волною смыло с него всякую нарочитость. Впервые я услышал его непритворную и свободную речь о стихах. Он критиковал и восхищался совершенно так же, как и мы, его безвестные сверстники. Ему не перед кем было притворяться, и он с улыбкой сбросил свой оперный кафтан. Нашлась у кого-то гитара, Есенин сел боком на стул, задорно тряхнул кудрями и уверенно тронул струны. Мягко, вполголоса, пел он песни, свои и чужие, а лицо его было задумчивым и строгим. Когда попросили прочесть стихи, он так же просто отставил гитару в сторону и начал читать, постепенно все более и более увлекаясь движением собственной речи.

Я слышал многих поэтов, но никто из них не читал с такой предельной выразительностью, с таким самоупоением. Каждая фраза была гибкой и точной в есенинской передаче. Чувствовалось, что иначе и не могло быть произнесено, что найдены именно те слова, которые подсказывает подлинное волнение. Когда Есенин, кончив, вытирал лоб темно-малиновым платком, лицо его светилось широкой, рвущейся наружу радостью. И он был незабываемо красив в ту минуту. Зачем ему было рисоваться перед нами, щеголять нарочитыми славянизмами? Мы подняли бы его на смех. Он и сам не прочь был посмеяться над своими «высокими покровителями». Надушенный воздух великосветских салонов давно уже неприятно щекотал ему ноздри. Там ему все же было душновато. И, только повинуясь Клюеву, тогдашнему своему наставнику, соглашался он ездить на эти званые вечера.

Уже много лет спустя рассказали мне любопытный случай, относившийся к этой эпохе. Клюев с Есениным были приглашены на один из «четвергов» графини Клейнмихель, представительницы одного из крайних монархи-

ческих течений. В великолепном особняке на Сергиевской собралось общество, близкое к придворным кругам. За парадным ужином, под гул разговоров, звон посуды и лязг ножей, Есенин читал свои стихи и чувствовал себя в положении ярмарочного фигляра, которого едва удостаивают высокомерным любопытством. Он сдерживал закипавшую в нем злость и проклинал себя за то, что согласился сопутствовать Клюеву. Когда они собрались уходить и надевали в передней свои тулупы, важный старик дворецкий с густыми бакенбардами вынес им на серебряном подносе двадцать пять рублей.

— Это что? — спросил Есенин, внезапно багровея.

— По приказанию ее сиятельства, вам на дорожку-с!

— Поблагодарите графиню за хлеб-соль, а деньги возьмите себе! На пюхательный табак!

И ушел, хлопнув дверью.

Но такая независимость проявлялась у Есенина сравнительно редко. В основном он ничуть не старался разрушить творимую вокруг него легенду о «представительстве от народа». А это необходимо было поддерживать соответствующей линией литературного поведения и даже внешним обликом. Но было уже новое в отношении Есенина к такому — им самим избранному стилю. Он начинал им тяготиться.

А война шла своим неуклонным путем и приближала время великих потрясений, начисто зачеркнувших многое, что волновало тогда узкие литературные круги.

* * *

Шел декабрь 1916 года. Я уже давно сменил студенческое пальто на шинель вольноопределяющегося. Жить приходилось в казарме, но в предпраздничные дни, с увольнительной запиской в кармане, я свободно бродил по улицам города, стараясь, впрочем, по возможности меньше попадаться на глаза офицерам, чтобы не подвергать их соблазну сделать мне какое-либо замечание. Особенно сторонился я новоиспеченных прапорщиков. Все же, гуляя по городу, трудно было не заглянуть на Невский. А в толпе на его тротуарах то и дело поблескивали золотые и серебряные погоны. Тут уж приходилось держать ухо востро. И вот, торопясь миновать Морскую, я неожиданно столкнулся с такой же робкой и быстрой фигурой в серой солдатской шинели. На меня поглядели знакомые насмешливые глаза.

— Сергей!

— Я самый. Разрешите доложить: рядовой санитарной роты Есенин Сергей отпущен из части по увольнительной записке до восьми часов вечера.

Мы оба расхохотались — так необычна была наша встреча — и тут же свернули на Мойку, чтобы никто не мог помешать нашему разговору.

Я глядел на Есенина и не узнавал его. В грубой, не по росту большой шинели с красными матерчатыми крестиками на солдатских погонах, остриженный наголо, осунувшийся и непривычно суетливый, он казался мальчиком-подростком, одетым в больничный халат. Куда девались его лихие кудри, несколько надменная улыбка?

Он рассказал мне, что ему удалось устроиться санитаром в дворцовом госпитале Царского Села.

— Место неплохое,— добавил он,— беспокойства только много. И добро бы по работе. А то начнешь что налаживать — глядь, какие-то важные особы пожаловали. То им покажи, то разъясни — ходят по палатам, путают, любопытствуют, во все вмешиваются. А слова поперек нельзя сказать. Стой навытяжку. И пуще всего донимают царские дочери — чтоб им пусто было. Приедут с утра, и весь госпиталь вверх дном идет. Врачи с ног сбились. А они ходят по палатам, умиляются, образки раздают, как орехи с елки. Играют в солдатики, одним словом. Я и «немку» два раза видел. Худая и злющая. Такой только попадись — рад не будешь. Доложил кто-то, что вот есть здесь санитар Есенин, патриотические стихи пишет. Заинтересовались. Велели читать. Я читаю, а они вздыхают: «Ах, это все о народе, о великом нашем мученике-страдальце...» И платочек из сумочки вынимают. Такое меня зло взяло. Думаю — что вы в этом народе понимаете? [4]

Так разговаривая, шли мы по темнеющим улицам.

— Да,— протянул задумчиво Есенин,— какие-то стихи будем мы писать после войны? Опять начнутся «розы» и «мимозы»? И неужели нельзя будет говорить о народе так, как он этого заслуживает? Я так думаю, что ему никто и спасибо за эту войну не скажет.

Мы долго бродили в тот день в зимних морозных сумерках. Заходили погреться в какую-то чайную, слушали заливистого гармониста. Есенин пел мне вполголоса заунывные рекрутские частушки. Уже при свете вспыхнувших вдоль Загородного проспекта фонарей я проводил его на Царскосельский вокзал.

Вторично встретились мы уже после февральской революции, и тоже на Невском, в праздничной, шумной суете.

На этот раз мы шли свободно и весело, чувствуя себя полными хозяевами города. Мимо нас проходила какая-то часть, по-видимому, недавно прибывшая с фронта. Есенин долго вглядывался в серые, утомленные лица солдат. Он заметно помрачнел.

— Когда же кончится эта проклятая война! Здесь по улицам с песнями и флагами ходят, а раненых все везут и везут. Керенский таким воякой оказался, что не дай боже.

Мы невесело помолчали. Проклятый вопрос, как кончить с войной, мучил в то время каждого, кто имел возможность хоть на минуту выключить себя из стихийного ликования, бушевавшего на улицах, и внимательно оглядеться вокруг. В сущности, исчезли только полицейские шинели и царские флаги. Многое осталось по-старому, и толстый Родзянко с балкона Государственной думы призывал продолжать войну почти в тех же выражениях, как это делалось и в старой казарме.

Мы продолжали молчать, пока не поравнялись с большим книжным магазином Вольфа.

— Зайдем! — предложил Есенин.

В огромном помещении, до потолка заполненном книгами, было пусто. Широкие прилавки пестрели свежими обложками. В огромных папках, на специальных стеллажах, пухло покоились гравюры и литографии. Томный, с иголочки одетый приказчик почтительно наклонял гладко расчесанный пробор над грузным черепом какого-то старика, утонувшего в низком кожаном кресле. Старик, сдвинув очки на широкий лоб и приблизив к самым глазам маленький старинный томик, тоненьким капризным голосом ворчал на что-то и изредка постукивал по странице сухим, костлявым пальцем. Какая-то дама лениво перелистывала желтые французские книжки.

Мы подошли к прилавку. У нас в глазах зарябило от множества цветных обложек.

— Нет, ты только послушай, как заливается этот индейский петух!

И, раскрыв пухлый том Бальмонта, громко и высокопарно, давясь подступавшим смехом, Есенин прочитал нараспев и в нос какую-то необычайно звонкую и трескучую строфу, подчеркивая внутренние созвучия. И тут же схватился за лежавший рядом сборник Игоря Северянина.

— А этот еще хлестче! Парикмахер на свадьбе!

Мы так увлеклись, что и не заметили выросшего рядом приказчика.

— Молодые люди,— сказал он вежливо и спокойно,—

вы шли бы прогуляться. Погода хорошая, и вам на улице будет гораздо интереснее. А тут вы только книги ворошите. Ведь все равно ничего не купите. Денег-то, вероятно, нет?

Есенин вскипел:

— Денег нет, это верно. Тут уж ничего не скажешь. Да зато есть вот это!

И он выразительно хлопнул ладонью по собственному лбу.

— А если я, как курица, везде по зернышку клюю, то это уж мое дело. Никому от этого убытка нет.

И, презрительно вздернув голову, направился к выходу. Но когда мы очутились за дверью, не выдержал и рассмеялся на всю улицу.

— А ведь он и вправду думал, что мы книжки украдем. Это я-то Бальмонта буду красть? Чудеса!

Веселое настроение не покидало его всю дорогу.

* * *

Эта встреча была последней перед несколькими годами разлуки. 〈...〉

Есенин вернулся домой после разрыва с Дункан летом 1923 года. Он, видимо, решил прочно обосноваться в Москве, с которой его связывали литературные интересы. Но захотелось ему побывать и в городе, видевшем его первые поэтические успехи.

Однажды сидели мы небольшой компанией у режиссера театра Гайдебурова — бывшего есенинского приятеля. Спектакль только что кончился. Зрительный зал был почти пуст. Над сценой опускали пожарный занавес, рабочие убирали декорации.

В тесной каморке за кулисами все плавало в густом табачном дыму. Вяло шел разговор о театральных делах. Вдруг кто-то постучал в жидкую фанерную дверь. На пороге выросла необычайно элегантная фигура, типичный персонаж западноевропейской пьесы. Но улыбка была добродушно русской, а белокурые волосы совсем по-ямщицки выбивались из-под легкой сероватой шляпы.

— Сергей! — ринулись мы к вошедшему.

Есенин радостно обнимал приятелей. Лицо его озарилось почти ребяческим восторгом.

И только тогда, когда он подвинулся ближе к свету, стало ясно, как разительно изменился он за эти годы. На нас глядело опухшее, сильно припудренное лицо, глаза были мутноваты и грустны. Меня поразили тяжелые есе-

нинские веки и две глубоко прорезанные складки около рта. Раньше этого не было.

Выражение горькой усталости не покидало Есенина ни на минуту, даже когда он смеялся или оживленно рассказывал что-нибудь о своих заграничных странствиях.

В пылу разговора он вытащил из кармана свежую коробку папирос и попытался разрезать бандероль острием ногтя. Руки его настолько заметно дрожали, что кому-то из присутствующих пришлось прийти ему на помощь.

Есенин говорил в тот вечер без конца. Он читал свои новые стихи, и тут я впервые ощутил их трагическую ноту. Все в них свидетельствовало о какой-то внутренней растерянности, о мучительном желании найти себя в новом и непривычном мире. Наконец, оборвав на полуслове, Сергей махнул рукой и свесил белесую голову.

— Нет,— сказал он трудным и усталым голосом.— Все это не то. И не так нужно говорить о том, что я здесь увидел. Какого черта шатался я по заграницам? Что мне там было делать? Россия! — произнес он протяжно и грустно.— Россия! Какое хорошее слово... И «роса», и «сила», и «синее» что-то. Эх! — ударил он вдруг кулаком по столу.— Неужели для меня все это уже поздно?

Слезы перехватили ему горло, и как-то по-детски — неловко и грузно — он упал всею грудью на спинку стоявшего перед ним стула. Тело его сотрясалось от глухих, рвущихся наружу рыданий.

* * *

В один из ясных июньских дней ленинградский Литфонд организовал прогулку в Петергоф морем [5]. С этой целью был откуплен рейс одного из пароходов. Предполагалось устроить в пользу Литфонда выступление писателей с участием недавно вернувшихся из-за границы А. Н. Толстого и С. Есенина. Это начинание, заранее возвещенное афишами, имело большой успех. Задолго до отхода палуба была переполнена любителями литературы. По трапу один за другим поднимались приглашенные писатели и их семьи. Вскоре все участники были в сборе. Не хватало одного Есенина. Наш администратор обнаруживал признаки крайнего беспокойства. До отплытия оставались считанные минуты, и он, толстый, комически важный человек, с резвостью ребенка бегал вдоль борта, вглядываясь в каждого проходящего по набережной. Наконец у него вырвался вздох облегчения. В глубине улицы показался Есенин,

сопровождаемый своими приятелями, ленинградскими имажинистами. Двое из них тащили довольно объемистый ящик. Когда они поднимались по трапу со своей ношей, в ящике отчетливо звякнуло бутылочное стекло.

— Сергей Александрович! К чему это? На пароходе есть буфет.

— Буфет буфетом, а я хочу в свое удовольствие. Чудесное пиво. Приглашаю.

Администратор только рукой махнул.

Пароход отчалил. Медленно пробирался он среди каких-то баржей на середину Невы и только там дал полный ход. Стал отходить вправо берег Васильевского острова с большим собором, Морским корпусом. Прошли строгие дорические колонны Горного института. Затянутая дымом, мутно обрисовывалась тяжелая громада старинного завода. Пароход неторопливо, но старательно шлепал колесами. За поворотом потянул свежий ветерок со взморья, раздувая легкие летние платья, играя кормовым флагом. Солнце сверкало на медных поручнях, прыгало слепящими шариками на спинах глянцевитых, тяжело переваливающихся волн. Все шире и шире расходились берега, и уже где-то сзади смутно маячили подъемные краны Лесного порта. Есенин сидел, опираясь локтями на поручни, и, положив на скрещенные пальцы подбородок, пристально и бездумно смотрел на дымную панораму удаляющегося города.

Кто-то из приятелей подошел к нему с только что откупоренной бутылкой пива.

— Отстань! — недовольно повел плечом Сергей.— Я пить не буду!

— Как не будешь?

— А вот так! — почти зло улыбнулся Есенин.— Не буду — и все. И вообще не приставай. Уходи, пока я тобою палубу не вытер.

Приятель что-то хмыкнул в ответ и отошел в сторону. А Есенин взъерошил и без того спутанные волосы и, ни к кому не обращаясь, процедил сквозь зубы:

— Дурак! Стоит ли пить в такое утро!

И радостно одними ноздрями втянул в себя воздух.

Уже с полчаса, как пароход шел по ровной, спокойной глади Финского залива.

Стая белых чаек вилась за кормой. Волнистым треугольником расходился теряющийся из глаз след. Монотонно похлопывали колеса.

Администратор решил, что пора начинать обещанный литературный концерт. Он хлопотливо собирал участни-

ков, что было далеко не легким делом, потому что все разбрелись кто куда по палубе и каютам.

Подбежал он и к Есенину.

Сергей долго отказывался и не дал себя уговорить.

Программа шла, постепенно оживляясь, — особенно после мастерского чтения А. Н. Толстым сатирических рассказов, живописующих быт российской эмиграции в Париже. Завязалась очень оживленная общая беседа. Вспомнили и о Есенине. Бросились искать его по пароходу. Но он словно в воду канул. Наконец вспотевший, запыхавшийся администратор, проходя мимо приподнятой створки матросского кубрика, услышал звуки баяна и знакомый голос. Заглянув сверху в полутемное помещение, он увидел, что на одной из коек, окруженный свободными от вахты матросами и кочегарами, сидел Есенин. Он сбросил свой модный пиджак, расстегнул ворот рубашки и старательно выводил на баяне всем знакомый деревенский мотив. Он пел свои стихи с необычайным увлечением и жаром. Голос звучал приятной хрипотцой, как всегда выговаривая русское «г» с мягким придыханием. Пропев строфу, Есенин бойко разливался в переборах, очевидно тут же сочиняя все свои вариации. Чувствовалось, что баян был для него любимым и привычным делом.

Я теперь скупее стал в желаньях,
Жизнь моя? иль ты приснилась мне?
Словно я весенней гулкой ранью
Проскакал на розовом коне [6].

Понемногу на палубе столпилась публика, покинувшая салон. Все стояли молча, боясь проронить хотя бы слово. А Есенин, не чувствуя над собой уже прискучившего любопытства, изливал душу в горячем затейливом напеве.

После этого он охотно выступил и на палубе, и хорошее настроение не покидало его до самого Петергофа.

* * *

По возвращении из своего заграничного путешествия Есенин на некоторое время остановился в нашем городе и охотно принимал участие в групповых выступлениях поэтов перед молодежной аудиторией [7]. Но не очень любил он, когда обращались к нему с вопросами о московском периоде его жизни, о содружестве с имажинистами.

Вспомнилась одна беседа с Сергеем, в которой, впрочем, я был только слушателем. Главным собеседником и зачина-

телем был в ней Илья Садофьев, непременный организатор и руководитель всех литературных вечеров в рабочих клубах Петрограда.

Мы возвращались с одного из таких собраний, где-то на окраине, возбужденные удачно проведенным вечером, светлым сумраком белой ночи и, разумеется, собственной молодостью. Шли вдоль Невы, по почти пустынной набережной — час был поздний — и обменивались впечатлениями, вспоминали прочитанные стихи, повторяли запомнившиеся из них строчки. Словом, продолжалась уже ранее начатая жаркая беседа. Есенин шел как-то сбоку, был непривычно задумчив, неразговорчив, хотя до этого видели мы его и веселым и общительным, тем более что каждое прочитанное им стихотворение вызывало бурный и восторженный отклик всего зала.

Илья Садофьев, человек настойчивого, прямолинейно устремленного характера, продолжал донимать Есенина:

— Нет, ты все-таки скажи, Сергей, что это за штука твой московский имажинизм? С чем его едят? Писал ты о нем разные там статьи, подписывал декларации, а я никак не возьму в толк, для чего все это тебе нужно было. Просвети меня, невежду, пожалуйста...

Есенин досадливо обернулся, хотел, видимо, отделаться какой-то шуткой, но по упрямому тону своего вопрошателя, видимо, понял, что уйти от назойливой любознательности будет ему нелегко.

— Имажинизм? А разве был такой? Я, право, и думать о нем забыл...

— Но все-таки?..— продолжал настаивать Садофьев.

— Все-таки, все-таки,— начинал уже сердиться Сергей.— Ну, сам знаешь, была Москва, шумные, пестрые, сумасбродные годы литературного нэпа. Молоды мы были, озорничали в свое удовольствие. «Стойло Пегаса»... дым коромыслом... Многое у нас шло от злости на поднимающее голову мещанство. Надо было бить его в морду хлестким стихом, непривычным ошарашивающим образом, скандалом, если хочешь,— пусть чувствует, что поэты — люди беспокойные, неуживчивые, враги всякого болотного благополучия.

— А что же, ты и сам думал так в то время?

— Так или не так, какое сейчас это имеет значение? И кому он нужен сейчас, этот имажинизм? Стал бы я и думать о нем, если бы ты не напомнил. И совсем некстати. Я на нем давно уже крест поставил. Потому что все это чушь собачья. Скатертью ему и дорога!

Может быть, Есенин говорил и не теми словами, но его раздражение мне очень памятно, потому что в своей запальчивости бывал он столь же широк и раскидист, как и в присущей ему доброте и щедрости душевной.

А Есенин продолжал, уже заметно оживляясь. И слова его были примерно такими:

— Навязали мне этот имажинизм на шею — словно сам я его и выдумал. Это Кусиков с Шершеневичем придумали, озорства ради. А Мариенгоф им поддакивал — тоже, конечно, из озорства. Образ в поэзии, видишь ли, во главе всего. Даже важнее основного смысла. И должен выпирать, лезть в глаза буквально в каждой строчке. А как все это складывается в целом, вокруг чего все и навертелось — дело десятое. Я поначалу тоже поверил, потому что, конечно, без образа поэзии нет. Думал, что и сам-то я с мальчишеских лет имажинист. Да еще какой — в самом библейском размахе, там ведь все подано по-великански: ноги на земле, а голова в облаках. Но ведь вот в чем дело: образы образами, самые смелые, неожиданные, дерзкие, но к чему они, если рассыпаны без толку, не служат поддержкой заветной твоей мысли, строю твоей души.

А у моих друзей-имажинистов было совсем по-другому. Выдергивали они из стихотворения нить, рассыпали свои образы и сравнения, как раскатившиеся бусины, и поди догадайся, к чему было огород городить.

Вот как изощрялся Вадим Шершеневич в тысяча девятьсот девятнадцатом году. До сих пор помню. Слушай, Садофьев!

По пням вчерашних недомолвок
И мыслей муравьи ползут.
И полдень запрокинулся, неловок.
Вдали авто сверлит у полдня зуб.

Шмель — пестрый почтальон цветочный,
Он сеет зерна тени в мху,
Где пруд в кувшинках облаков и непроточно,
Спит солнечный карась вверху.

И робость летних непривычек,
У воздуха веснушки мошкары.
И тишина вся в дырьях криков птичьих,
Стволы стреляют в небо от жары [8].

Что, здорово? Что ни строчка, то бах из пушки. Только все же я всех вас надул — прочел эти стихи сзаду наперед, снизу доверху. А что от этого изменилось? Да ровно ничего.

Читай и так и этак — все одно. А почему? Чего ради было такое рожать? К тому же и название придумано заковыристое: «Динамостатика». Понимай как знаешь! Хоть и сам я чудачил в то время, а понял в конце концов, что все это мне ни к чему. Разругался я тогда со своими спутниками. Правда, остались приятелями, только они при своей вере, я — при своей. Да и разные мы, если глубже взглянуть. У них вся их образность от городской сутолоки, а у меня — от родной Рязанщины, от природы русской. Они скоро выдохлись в своем железобетоне, а мне на мой век всего хватит. Зерно я люблю в колосе, в хлебе, а не вразброс, где попало. И ты мне, Илья Иваныч, об имажинизме лучше не поминай. Пишу не для того, чтобы что-нибудь выдумать, а потому, что душа того просит. Никого ничему не учу, а просто исповедуюсь перед всем миром, в чем прав и в чем виноват. Принимай меня таким как есть, каким меня мать и родина на свет произвели...

Есенин замолчал так же неожиданно, как и вспыхнул в споре. Ниже надвинул шляпу и шел теперь уже молча, погруженный в прежнюю, несколько меланхолическую задумчивость. И его никто уже не тревожил расспросами.

С глубокой тоской рассказывал всегда Есенин о родном селе Константинове на берегах Оки и, вероятно, из патриотического пристрастия, преувеличивал его красоты. Выходило, что другого такого места нет на земле. По крайней мере, он уверял меня в этом неоднократно. И с такой же любовью перечислял животных, памятных с детства, не забывая ни единого щенка или котенка. А в городе не мог равнодушно пройти мимо извозчичьей клячи, дворового пса. Сидя на скамеечке московского бульвара, любил подсвистывать птицам. С лохматыми собаками разговаривал на каком-то особом, вполне понятном им языке. И любое существо платило ему дружеской приязнью. Однажды возвращались мы вместе из гостей по одной из линий Васильевского острова. Над Невой поднималось чистое, омытое морской свежестью утро. Весь противоположный берег колыхался в светлой дымке. Дышалось легко и весело. С Есенина постепенно сходил хмель. Глаза его отражали синеющее июльское небо.

Где-то у Академии художеств к нам пристал бездомный пес. Он шел робко, виновато, волоча понурый хвост. Есенин обернулся к нему и тихо свистнул.

— Что, собачка, колбаски хочешь?

Пес понимающе шевельнул хвостом. Сергей толкнул

меня под локоть: «Смотри, улыбается!» И я действительно увидел подобие улыбки на унылой собачьей морде.

Мы проходили в это время мимо мелочной лавчонки. Продавец только что снял болты со ставней. Есенин легко взбежал по ступенькам и потребовал целый круг дешевой колбасы и порядочную горбушку белого хлеба. Колбаса была разрезана на аккуратные мелкие кусочки.

Пес ожидал нас у крыльца, заранее облизываясь. Сергей присел перед ним на корточки, и началась непередаваемая беседа. Трудно сказать, кто из них был более доволен. Пес, несмотря на весь свой голод, брал кусочки деликатно и не отказывался от промежуточных ломтиков хлеба. С той же, видимо, охотой выслушивал он и шутливые есенинские поучения.

Затем мы двинулись дальше. Собака не отставала ни на шаг. Скоро к ней присоединилась другая. Не успели мы дойти до моста, прибавилась третья. Все они получили свою долю и бежали за нами, весело облизываясь. Милиционер покосился на нас подозрительно, потому что теперь мы шли в сопровождении шести — восьми собак разных пород и темпераментов.

— Ну, однако, довольно,— сказал Есенин, разделив остатки хлеба и колбасы.— Позавтракали — и ладно. А теперь по домам!

И он, остановившись, свистнул каким-то особенным образом. Не отстававшие до тех пор псы сразу же рассыпались в разные стороны.

Сергей, довольный, сдвинул картуз на затылок и улюлюкнул им вслед.

— Понимают! — добавил он с усмешкой.— Всякая тварь меня понимает. Я им свой человек!

* * *

В начале июля в здании Сестрорецкого курзала был назначен литературный вечер. Собрались все ленинградские поэты, в том числе и Есенин [9]. Всю дорогу в вагоне он был весел и по-мальчишески сидел на подножке, подставляя свежему ветру растрепанные пушистые волосы. Добродушно огрызался на замечания кондуктора, соскакивал на остановках, рвал в ближайшей канавке жалкие болотные цветы.

Вечер открывался вступительным словом Ильи Садофьева, который был избран нами «хозяином». Начались выступления поэтов. Их было много, но публика оказалась

терпеливой. Она ждала Есенина. И вот, когда подошла его очередь, оказалось, что Есенина нет на месте. Срочно пришлось разыскивать его по всему парку. Всем была известна манера Сергея исчезать совершенно неожиданно и в самый неподходящий момент. Но успокоил нас Садофьев: «В каком бы состоянии ни был Сергей, а про то, что надо читать стихи, он никогда не забудет».

И действительно, когда уставшая ждать публика начала выказывать нетерпение, Есенин, нетвердо держась на ногах, слегка покачиваясь, появился за кулисами. Его уговаривали «поостыть немного», но без всякого результата. Вырвавшись из дружеских рук, он ринулся на ярко освещенную сцену. Зал затих мгновенно. Мы беспокойно наблюдали из-за кулис, что будет дальше.

Есенин шел, с трудом передвигая ноги, направляясь прямо к рампе, и, казалось, еще движение — и он перешагнет в пустоту оркестра. Но он остановился на самой грани и привычным, хотя и нетвердым жестом провел рукой по закинутым назад волосам. Мутноватым и как бы невидящим взглядом смотрел он в глубь зала и молчал. Пауза начинала мучительно затягиваться.

— Да верните же его назад! — прошептал кто-то в отчаянии из-за кулис. Есенин недовольно покосился в ту сторону и снова тряхнул головой. Наконец он начал.

Первые строки дошли до всех путано, неясно, но по мере того как следовала строфа за строфой, голос Есенина обретал уверенность и гибкость. Он читал, как всегда, самоупоенно и трезвел с каждой минутой. Движения становились уверенными, точными, есенинский жест вновь был свободным и широким. Закончил он в необычайном подъеме и захватил весь зал. Долго не умолкали аплодисменты, крики, а Есенин стоял улыбаясь, и лицо его вновь было юным и свежим.

В этот вечер он прочел весь свой цикл «Возвращение на родину» — и это было поистине незабываемое чтение. Когда он возвращался, разгоряченный, счастливый, со спутанными на лбу потными волосами, мы дружной толпой обступили его, жали ему руки.

День этот завершился беспечным товарищеским ужином. Есенин пил мало, но шумно участвовал в общем веселье. Мы так засиделись, что едва не опоздали на последний поезд.

В вагоне народу было немного. Все разбрелись по кучкам и продолжали беседу. Мы очутились с Сергеем на одной скамье, несколько поодаль от других. Где-то за нами

скупо горел единственный фонарь, едва очерчивая смутные фигуры дремлющих пассажиров.

После недавней веселости Есенин вдруг впал в элегический тон и, чуть склонясь ко мне, положив руку на мое колено, говорил, покачиваясь в такт движению поезда. Стук колес почти заглушал его тихий голос:

— Ты вот спрашиваешь, что делал я за границей? Что я там видел и чему удивился? Ничего я там не видел, кроме кабаков да улиц. Суета была такая, что сейчас и вспомнить трудно, что к чему. Я уже под конец и людей перестал запоминать. Вижу — улыбается рожа, а кто он такой, что ему от меня надо, так и не понимаю. Ну и пил, конечно. А пил я потому, что тоска загрызла. И, понимаешь, началось это с первых же дней. Жил я сперва в Берлине, и очень мне там скучно было...

Париж — совсем другое дело. В Париже жизнь веселая, приветливая. Идешь по бульварам, а тебе все улыбаются, точно и впрямь ты им старый приятель. Париж — город зеленый, только дерево у французов какое-то скучное. Уж и так и сяк за ним ухаживают, а оно стоит надув губы. Поля за городом прибранные, расчесанные — волосок к волоску. Фермы беленькие, что горничные в наколках. А между прочим, взял я как-то комок земли — и ничем не пахнет. Да и лошади все стриженые, гладкие. Нет того, чтобы хоть одна закурчавилась и репейник в хвосте принесла! Думаю, и репейника-то у них там нет.

— Ну а люди?

— Да что люди! Разве ты поймешь, что они про тебя думают? Любезны очень, так и рассыпаются, а все не русская душа. Ну, а про наших эмигрантов и говорить нечего. Они все конченые, выдуманные. Даже и шипят на нас не талантливо, по-жабьи. Один из них — рыхлый такой толстяк — спрашивает меня: «А правда, что вы пастухом были?» — «Правда, говорю, что же тут удивительного? Всякий деревенский парнишка в свое время пастух».— «Ну, тогда понятно, что вы большевиком стали. Вы, значит, их действия одобряете?» — «Одобряю», говорю. И взяла меня тут такая злость, что наговорил я ему такого... И вообще скажу тебе — где бы я ни был и в какой бы черной компании ни сидел (а это случалось!), я за Россию им глотку готов был перервать. Прямо цепным псом стал, никакого ругательства над Советской страной вынести не мог.

И они это поняли. Долго я у них в большевиках ходил. А потом перебрались мы с Айседорой в Нью-Йорк. Америки я так и не успел увидеть. Остановились в отеле. Выхожу

на улицу. Темно, тесно, неба почти не видать. Народ спешит куда-то, и никому до тебя дела нет — даже обидно. Я дальше соседнего угла и не ходил. Думаю — заблудишься тут к дьяволу, и кто тебя потом найдет? Один раз вижу — на углу газетчик, и на каждой газете моя физиономия. У меня даже сердце екнуло. Вот это слава! Через океан дошло.

Купил я у него добрый десяток газет, мчусь домой, соображаю — надо тому, другому послать. И прошу кого-то перевести подпись под портретом. Мне и переводят:

«Сергей Есенин, русский мужик, муж знаменитой, несравненной, очаровательной танцовщицы Айседоры Дункан, бессмертный талант которой...» и т. д. и т. д.

Злость меня такая взяла, что я эту газету на мелкие клочки изодрал и долго потом успокоиться не мог. Вот тебе и слава! В тот вечер спустился я в ресторан и крепко, помнится, запил. Пью и плачу. Очень уж мне назад, домой, хочется. И тут подсаживается ко мне какой-то негр. Участливо так спрашивает меня. Я ни слова не понял, но вижу, что жалеет. Хорошая у нас беседа пошла.

— Постой, как же вы с ним говорили? Ведь ты же английского языка не знаешь.

— Ну уж так, через пятое в десятое. Когда человек от души говорит, все понять можно. Он мне про свою деревню рассказывает, я ему про село Константиново. И обоим нам хорошо и грустно. Хороший был человек, мы с ним потом не один вечер так провели. Когда уезжать пришлось, я его все в Москву звал: «Приедешь, говорю, родным братом будешь. Блинами тебя русскими накормлю». Обещал приехать.

В Америке только он мне и понравился. Да мы недолго там и пробыли. Скоро нас вежливо попросили обратно, и все, должно быть, потому, что мы с Дунькой не венчаны. Дознались какие-то репортеры, что нас черт вокруг елки водил.

А когда вернулись в Европу, тут уж новый туман пошел. Я прямо с ума спятил. Не могу смотреть на все иностранное. С души воротит. Домой хочу. Хоть бы березу корявую, думаю, увидеть. Так бы ее в грудь и поцеловал, так бы и обнял покрепче!

О последних этапах жизни Есенина за границей, о темных и громких его скандалах мне уже было кое-что известно и не хотелось возвращать его к этим грустным воспоминаниям. Да и сам он помрачнел в эту минуту и глубже прижался в угол, плотнее надвинув на лоб шляпу.

— Ты извини,— сказал он добродушно,— устал я сегодня. Попробую подремать немного.

Минут десять мы сидели молча. Вагон успокоительно покачивало. Свечка в фонаре догорала.

Есенин вдруг вздрогнул и потянулся мягким, кошачьим движением.

— Нет,— сказал он,— не могу заснуть. Уж лучше стихи читать!

Он снова наклонился ко мне и прочел около десятка стихов, которых я никогда не слышал от него с эстрады. Читал он тихо, необычайно проникновенно, подолгу задумываясь и снова продолжая. Все это вместе было горькой повестью его скитаний, бесприютного одиночества и болезненно острой любви к родной стороне. И за каждым словом стояло трагическое сознание невозможности вернуться к утраченному, быть снова молодым, веселым, беспечным. Постепенно Есенин от размеренной речи перешел к легкому напеву, и последнее, что я услышал от него, прозвучало как старая русская песня:

Годы молодые с забубенной славой,
Отравил я сам вас горькою отравой.

Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли,
Были синие глаза, да теперь поблекли...

Поезд замедлил ход и застучал по стрелкам. Подходили к Финляндскому вокзалу. Нас встретила пустая привокзальная площадь. Была бледная северная ночь. В ее холодной ясности отчетливо виднелись каждый булыжник на мостовой, каждая трещина дома. Спящие окна чуть отсвечивали белесой пустотой. Дворники дремали у ворот. Уже давно отошли последние трамваи.

Попрощались. «А где же Есенин?» — спросил кто-то.

И тут все увидели, как несколько в стороне он стоял перед клячей уныло спящего на козлах извозчика и, стащив тугую перчатку, задумчиво трепал ее челку. Он говорил что-то шепотом, чуть наклоняясь к настороженно поднятому лошадиному уху.

* * *

В середине лета 1924 года случилось так, что нам с Есениным надо было ехать вместе в Детское Село. Санаторий научных работников пригласил Есенина почитать стихи, а я должен был сделать небольшой доклад о его

творческом пути. Я долго отказывался от несвойственной мне роли докладчика, но Сергей сам настойчиво принялся меня упрашивать:

— Критиков я не очень люблю, они меня путают, и чувствуешь себя перед ними всегда в чем-то виноватым. А ты ведь не критик. Стихи мои знаешь вон еще с каких пор, а об остальном мы по дороге договоримся.

Но по дороге договариваться нам не пришлось. Как только в окне вагона показались очертания Пулковской горы, обоих нас охватили давние царскосельские воспоминания. Мы вернулись к годам нашей литературной юности, припомнили прежних товарищей, первые успехи и неудачи. Есенин оживился, но ненадолго. Глубокая задумчивость опять охватила его. Лицо посерело, словно от непреодолимой усталости.

За ним вообще после возвращения из-за границы стали замечаться некоторые странности. Он быстро переходил от взрывов веселья к самой черной меланхолии, бывал непривычно замкнут и недоверчив. Сколько раз говорил он, что жизнь опережает его и что он боится оказаться лишним, остаться где-то в стороне. Он ясно понимал трагичность своего положения, но с каким-то непонятным упорством держался за прежние иллюзии и с некоторым вызовом подчеркивал иногда свои пристрастия к старой — дедовской и отцовской — деревне, хотя и считал себя «самым яростным попутчиком» Советской страны.

Тягостным было для него и то, что, несмотря на всю свою славу, он чувствовал себя бесконечно одиноким. Из чувства гордости он никому не позволил бы жалеть себя, но со свойственной ему чуткостью не мог не понимать, что именно такое отношение все чаще и чаще встречает на своем пути. Начинала сказываться и давняя пресыщенность беспокойной известностью и всеобщей литературной жизнью.

В вагоне мы много говорили о Москве, и меня удивило, что на этот раз он отзывался о многих своих московских приятелях с оттенком горечи и даже некоторого раздражения. Тем охотнее возвращался он к беспечальным временам юности, когда еще никому не ведомым парнем приехал в Петроград в поисках литературной славы.

Вот что рассказывал он мне о своей первой встрече с Александром Блоком:

«Блока я знал уже давно, но только по книгам. Был он для меня словно икона, и еще в Москве я решил: доберусь до Петрограда и обязательно его увижу. Хоть и робок был

тогда, а дал себе зарок: идти к нему прямо домой. Приду и скажу: вот я, Сергей Есенин, привез вам свои стихи. Вам только одному и верю. Как скажете, так и будет.

Ну, сошел я на Николаевском вокзале с сундучком за спиной, стою на площади и не знаю, куда идти дальше,— город незнакомый. А тут еще такая толпа, извозчики, трамваи — растерялся совсем. Вижу, широкая улица, и конца ей нет: Невский. Ладно, побрел потихонечку. А народ шумит, толкается, и все мой сундучок ругают. Остановил я прохожего, спрашиваю: «Где здесь живет Александр Александрович Блок?» — «Не знаю,— отвечает,— а кто он такой будет?» Ну, я не стал ему объяснять, пошел дальше. Раза два еще спросил — и все неудача. Прохожу мост с конями и вижу — книжная лавка. Вот, думаю, здесь уж наверно знают. И что ж ты думаешь: действительно раздобылся там верным адресом. Блок у них часто книги отбирал, и ему их с мальчиком на дом посылали.

Тронулся я в путь, а идти далеко. С утра ничего не ел, ноша все плечи оттянула. Но иду и иду. Блока повидать — первое дело. Все остальное — потом. А назавтра, надо сказать, мне дальше ехать. Пробирался я тогда на заработки в Балтийский порт (есть такое место где-то около Либавы) и в Петрограде никак дольше суток оставаться не рассчитывал. Долго ли, коротко ли — дошел до дома, где живет Блок. Поднимаюсь по лестнице, а сердце стучит, и даже вспотел весь. Вот и дверь его квартиры. Стою и руки к звонку не могу поднять. Легко ли подумать,— а вдруг сам Александр Александрович двери откроет. Нет, думаю, так негоже. Сошел вниз, походил около дома и решил наконец — будь что будет. Но на этот раз прошел со двора, по черному ходу. Поднимаюсь к его этажу, а у них дверь открыта, а чад из кухни так и валит.

Встречает меня кухарка. «Тебе чего, паренек?» — «Мне бы,— отвечаю.— Александра Александровича повидать». А сам жду, что она скажет «дома нет» и придется уходить несолоно хлебавши. Посмотрела она на меня, вытирает руки о передник и говорит: «Ну ладно, пойду скажу. Только ты, милый, выйди на лестницу и там постой. У меня тут, сам видишь, кастрюли, посуда, а ты человек неизвестный. Кто тебя знает!»

Ушла и дверь на крючок прихлопнула. Стою. Жду.

Наконец дверь опять настежь. «Проходи, говорит, только ноги вытри!»

Вхожу я в кухню, ставлю сундучок, шапку снял, а из комнат идет мне навстречу сам Александр Александрович.

«Здравствуйте! Кто вы такой?»

Объясняю, что я такой-то и принес ему стихи. Блок улыбается.

«А я думал, вы из Шахматова. Ко мне иногда заходят земляки. Ну пойдемте!» — и повел меня с собой.

Не помню сейчас, как мы тогда с ним разговор начали и как дело до стихов дошло. Памятно мне только, что я сижу, а пот с меня прямо градом, и я его платком вытираю.

«Что вы? — спрашивает Александр Александрович.— Неужели так жарко?»

«Нет,— отвечаю,— это я так». Хотел было добавить, что в первый раз в жизни настоящего поэта вижу, но поперхнулся и замолчал.

Говорили мы с ним не так уж долго. И такой оказался хороший человек, что сразу меня понял. Почитал я ему кое-что, показал свою тетрадочку. Поговорили о том о сем. Рассказал я ему о себе.

«Ну хорошо,— говорит Александр Александрович,— а чаю хотите?»

Усадил меня за стол. Я к тому времени посвободнее стал себя чувствовать. Беседую с Александром Александровичем и между делом — не замечая как — всю у него белую булку съел. А Блок смеется.

«Может быть, и от яичницы не откажетесь?»

«Да, не откажусь»,— говорю и тоже смеюсь чему-то.

Так поговорили мы с ним еще с полчаса. Хотелось мне о многом спросить его, но я все же не смел. Ведь для Блока стихи — это вся жизнь, а как о жизни неведомому человеку, да еще в такое короткое время, расскажешь?

Прощаясь, Александр Александрович написал записочку и дает мне.

«Вот, идите с нею в редакцию (и адрес назвал): по-моему, ваши стихи надо напечатать. И вообще приходите ко мне, если что нужно будет».

Ушел я от Блока ног под собою не чуя. С него да с Сергея Митрофановича Городецкого и началась моя литературная дорога. Так и остался я в Петрограде и не пожалел об этом. И все с легкой блоковской руки!» [10]

Так беседовали мы с Есениным всю дорогу, и время пролетело для нас незаметно. Поезд подошел к перрону. Мы вышли на широкую привокзальную улицу, осененную свежей листвой старых дубов, свидетелей моего детства. Сколько раз бегал я здесь маленьким мальчишкой, собирая желуди, стреляя ими из рогатки по грузным, неповоротливым воронам! Многое напомнили они и Сергею о той поре,

когда в солдатской шинели возвращался он из Петрограда и бегом торопился поспеть в свой госпиталь к вечерней поверке.

Мы шли не торопясь мимо дачек, спрятанных в чащах садов, по узким плитам тротуаров. Вот и санаторий ЦКУБУ — двухэтажный деревянный особняк, почти весь закрытый с улицы густо разросшейся сиренью. Тяжелые гроздья осыпали нас своими лепестками, когда мы проходили в калитку. Сергей сорвал ветку, хлопнул ею себя по рукаву и заметил с горькой усмешкой:

— А «счастья» и здесь все-таки не найдешь! Нет — ищи не ищи!

Нас поджидали. На просторной застекленной веранде вокруг длинного стола собралось немало отдыхающих — всё петроградские научные работники и литераторы. Преобладали люди седовласые, почтенные. Несколько особняком держалась кучка молодежи, раскрасневшейся, оживленной после только что покинутой партии крокета. Низкое солнце пронизывало широкие стекла и жидким золотом расплывалось по полу. Из сада тянуло предзакатной свежестью, сырым запахом земли и цветочных клумб. Неистово перекликались воробьи. Нас окружили веселые лица. На синей скатерти появилось огромное блюдо тяжелой и сочной павловской клубники. Есенин отбросил в сторону шляпу, взъерошил волосы, снял пиджак и в белой рубашке с широко распахнутым воротом стал похож на мальчика-подростка, приехавшего домой на каникулы. С веселыми прибаутками болтал он с хозяевами, нещадно поглощал клубнику, передразнивал забежавшую из комнат собачонку, рисовал что-то цветными карандашами в тетрадке двенадцатилетней девочки с толстыми косами, и ни единой тени недавнего горького раздумья не было на его внезапно помолодевшем лице. Как-то сразу, с первой же минуты, нашел он нужную свободу и непринужденность.

Зашло солнце. Сгущались сумерки. Сад потемнел и расширился до бесконечности. За общей беседой не заметили, как наступила ночь и около вынесенной на стол лампы закружились, заплясали мелкие мотыльки.

— Глядите, какая луна! — сказал кто-то в глубине комнаты.

Из-за деревьев медленно поднимался оранжевый, постепенно бледнеющий диск. Еще сильнее запахло клумбами, потянул легкий туман.

Сергей встал и погасил лампу. Бледный свет вошел на веранду, положив на полу длинные, переплетающиеся

тени. Все разместились на ступеньках крыльца. Луна поднималась все выше и выше. Тяжелой и пряной духотой обвевало дыхание сирени. Лягушки тянули долгую серебряную трель с ближнего пруда.

Есенин сел на одной из ступенек и просто, без всякого предисловия, начал читать стихи. Это была исключительно лирика — мягкая и бестревожная, как и этот вечер. Кто-то положил Сергею на колени тяжелую росистую гроздь, сломленную с соседнего куста сирени.

Есенин читал тихо, без всякого жеста, и каждое его слово приобретало от этого особую выразительность. В белесом отсвете северной ночи чуть поблескивали его глаза.

Мы разошлись поздно. Проходя по влажным, похрустывающим дорожкам сада, Есенин вдруг схватил мою руку и приложил ее к своему сердцу: «Слышишь, как ровно бьется? Ей-богу, мне сейчас восемнадцать лет. Я все забыл — и ничего не было».

Мне показалось, что в его глазах блеснуло что-то похожее на слезу. Но он тут же рассмеялся, поднял камешек и высоко пустил его в сияющую, трепещущую ночными шорохами тишину.

Для ночлега нам отвели комнату с двумя кроватями в первом этаже. Мы еще долго разговаривали, прежде чем погасить свечу. Но нужно было и спать. Сразу же после раннего завтрака нам предстояло возвращаться в Петроград. Засыпая, я еще видел, как Есенин сидел на подоконнике и глядел на сонную, залитую бледным туманом улицу.

Утром меня разбудил стук в дверь. Есенина в доме не было. Не нашли его и в саду. По своему обыкновению, он пропал бесследно, так и не прикоснувшись к завтраку. Пришлось извиниться и отправиться на поиски.

Как и следовало ожидать, я нашел Сергея за столиком вокзального буфета, и нашел вовремя. Он уже затевал очередной скандал с директором ресторана. Большого труда стоило мне увлечь его на перрон и уговорить сесть в поезд. Движение вагона несколько успокоило его, и он рассказал мне события этого утра:

— Проснулся я ни свет ни заря и открыл окошко. Проклятая сирень так и лезет в лицо. Сколько ее тут — уму непостижимо! Посмотрел я, посмотрел — и потянуло меня на волю. Вылез из окошка прямо на улицу. Иду — ни души. Только грачи возятся в гнездах. И захотелось мне повидать Пушкина, сказать ему: «Доброе утро!» Первому в этот день прийти к его скамейке в лицейском саду.

Прохожу Московской улицей и вижу вывеску: «Фотограф». Ага, думаю, это-то мне и нужно! А час еще ранний, окна и двери закрыты. Стучу, барабаню — никакого толку. Наконец открывается форточка, а в ней заспанная узкая рожа с козлиной бородкой... «Вам кого? Зачем так стучите?»

Оказывается, сам фотограф. Еле умолил его пойти со мной, даже треногу на своем горбу волочил. А он идет и ругается: «Сумасшедший человек!» — «Ну да,— отвечаю,— сумасшедший! Я Есенин».— «А, Есенин! Ну тогда понятно!» Впрочем, что ему оставалось делать? Я ему вперед все деньги свои отдал.

Ну ладно. Пришли. Залез я на памятник, сел рядом с Пушкиным на скамейке, обнял его за плечо и говорю: «Сними меня с Сашей. Мы друзья».

Фотограф даже плюнул. Ехидный был старикашка.

«Да меня за такую фотографию в милицию поволокут!»

«Ничего, говорю, не поволокут. Отругаемся!»

А старикашка опять за свое:

«Так-то так. Снимок действительно любопытный. Сюжет, достойный объектива! Да вот неудобно, свету мало. В такую рань меня подняли. Придется большую экспозицию дать. С минуту посидеть спокойно можете?»

«Ладно,— отвечаю ему,— постараюсь. Ты вот лучше Сашу попроси. Он непоседа».

Щелкнул старичок грушей. Готово! Соскочил я на траву и хотел его обнять, а он, дурак, подхватил свою треногу и бегом [11].

«В пятницу,— кричит,— зайдете!»

Посидел я еще немножко, поклонился Саше и пошел шататься по паркам. Однако скоро надоело, тоска стала забирать. Вот люблю деревья, а долго с ними не могу — всю душу переворачивает. Стоит каждое, думает и на тебя смотрит: «Ну и дурной же парень, чего даром по свету мечется». И пошел я на вокзал, туда, где людей побольше. Выпил там, конечно. За Сашу. Кто его знает, когда опять увидимся!

* * *

Есенин последнее время мало говорил о литературе, и если уж заходил разговор, охотнее всего обращался ко временам давно прошедшим.

Пушкина он читал наизусть с упоением. От некоторых стихов Лермонтова готов был плакать и неподражаемо

умел напевать вполголоса на какой-то собственный мотив его «Завещание»:

Наедине с тобою, брат,
Хотел бы я побыть,
На свете мало, говорят,
Мне остается жить.

Любил Есенин и Кольцова: «У этого и сердце и песня! Жаль только — робок уж очень. Каждому в пояс кланяется. Так и вижу его в узко застегнутом сюртучке, с гладко приглаженными височками. «Да-с, Виссарион Григорьевич! Нет-с, Виссарион Григорьевич!» Но зато уж и пел — на всю степь русскую. И незачем было ему в Москву поучаться ездить, разные философские «думы» писать. Места своего от робости не знал человек. А парень хороший, душевный».

Особенной любовью Есенина пользовался А. К. Толстой, даже во всех своих оперных, костюмерных балладах на былинные русские темы. Помнится, однажды завязался у нас по этому поводу дружеский спор.

— Нет! — кричал Есенин. — Не прав Чехов, когда говорит, что Толстой как надел боярскую шубу па маскараде, так и забыл ее снять, выйдя на улицу. Это не шуба, это душа у него боярская. Он своей Руси не выдумывал. Была, должно быть, такая.

Широкого он сердца человек! Ему бы тройку, да вожжи в руки, да в лунную ночь с откоса, по Волге, — так, чтобы только колокольчики да снежная пыль кругом!

Есть такая штучка у Толстого, «Сватовство»:

По вешнему по складу
Мы песню завели,
Ой ладо, диди-ладо!
Ой ладо, лель-люли! —

так я за эту штучку сердце отдам! А «Алеша Попович»! А «Садко»! Помнишь, там на дне, у царя водяного, готов Садко от всех сокровищ отказаться

За крик перепелки во ржи,
За скрып новгородской телеги!

А то, что он был выдумщик и мечтатель, это совсем не плохо. Поэту надо тосковать по несбыточному. Без этого он не поэт.

Книжную, опосредствованную поэзию Есенин недолюбливал, или, лучше сказать, не понимал ее. Его пугала всякая философская подоснова, и в особенности там, где все это сочеталось с мотивами пейзажа.

— Ну да,— говорил он,— природа, все это прекрасно. Но к чему мудрить над этим? Береза — она береза и есть. К чему ей свою душу навязывать, да еще с университетским образованием? Умнее она от этого не станет.

С символистами и акмеистами у него были старые счеты. В молодости Есенин, несомненно, прошел через увлечение символизмом и, как ни отрицал этого впоследствии, стихи первых лет революции выдавали его с головой, но сам он предпочитал отказываться от этого родства.

— Ну к чему они мне? Я этот «символизм» еще в школе мальчишкой постиг. И знаешь откуда? Из Библии. Школу я кончал церковноприходскую, и нас там этой Библией, как кашей, кормили. И какая прекрасная книжища, если ее глазами поэта прочесть! Мне понравилось, что там все так громадно и ни на что другое в жизни не похоже. Было мне лет двенадцать — и я все думал: вот бы стать пророком и говорить такие слова, чтобы было и страшно, и непонятно, и за душу брало. Я из Исайи целые страницы наизусть знал. Вот откуда мой «символизм». Он у меня своим горбом нажит.

* * *

Тяжела и незабываема была последняя наша встреча. Уже осенью 1925 года стали доходить из Москвы тревожные слухи. Есенин пугал окружающих сосредоточенной мрачностью, подавленным состоянием, склонностью к бредовым самобичующим разговорам. Его черная меланхолия уже граничила с психическим расстройством. Незадолго перед этим он женился, и его жена, С. А. Толстая, внучка Л. Н. Толстого, женщина редкого ума и широкого русского сердца, внесла в его тревожную, вечно кочевую жизнь начало света и успокоения. Но, видимо, было уже поздно. Есенин неуклонно шел к своему роковому концу. Ничто не могло его спасти.

В морозные мглистые дни конца декабря Сергей неожиданно появился в Ленинграде [12]. Он говорил, что бежал из Москвы от рассеянной жизни, что он хочет работать и именно здесь, на невских берегах, найдет наконец так настойчиво ускользающий от него покой.

Впоследствии оказалось, что он действительно бежал, не сказав ни слова ни жене, ни друзьям, и чуть ли не из

лечебницы, где находился последние дни. О его приезде знали немногие. Есенин решительно отказался от всяких литературных выступлений и не заходил в редакции.

Было туманное колючее раннее утро, более похожее на сумерки. Все кругом скрипело от мороза, а в гулких пустынных комнатах Госиздата люди сидели в шубах и валенках. Я только что поднялся в верхний этаж Дома книги, как на столе затрещал телефон. Никого из сотрудников поблизости не было. Трубку взял оказавшийся рядом литературовед П. Н. Медведев. По выражению лица я увидел, что произошло что-то необычайное: звонили из гостиницы «Англетер», сообщали о том, что ночью в своем номере повесился С. А. Есенин. Просили сказать это друзьям. Мы ринулись к выходу. Почти не обмениваясь ни словом, бежали мы по Невскому и Морской к мрачному зданию гостиницы на Исаакиевской площади.

Начиналась метель. Сухой и злой ветер бил нам в лицо.

Дверь есенинского номера была полуоткрыта. Меня поразили полная тишина и отсутствие посторонних. Весть о гибели Есенина еще не успела облететь город.

Прямо против порога, несколько наискосок, лежало на ковре судорожно вытянутое тело. Правая рука была слегка поднята и окостенела в непривычном изгибе. Распухшее лицо было страшным,— в нем ничто уже не напоминало прежнего Сергея. Только знакомая легкая желтизна волос по-прежнему косо закрывала лоб. Одет он был в модные, недавно разглаженные брюки. Щегольской пиджак висел тут же, на спинке стула. И мне особенно бросились в глаза узкие, раздвинутые углом носки лакированных ботинок. На маленьком плюшевом диване, за круглым столиком с графином воды, сидел милиционер в туго подпоясанной шинели и, водя огрызком карандаша по бумаге, писал протокол. Он словно обрадовался нашему прибытию и тотчас же заставил нас подписаться как свидетелей. В этом сухом документе все было сказано кратко и точно, и от этого бессмысленный факт самоубийства показался еще более нелепым и страшным.

Обстановка номера поражала холодной, казенной неуютностью. Ни цветов на окне, ни единой книги. Чемодан Есенина, единственная его личная вещь, был раскрыт на одном из соседних стульев. Из него клубком глянцевитых переливающихся змей вылезали модные заграничные галстуки. Я никогда не видел их в таком количестве. В белесоватом свете зимнего дня их ядовитая многоцветность резала глаза неуместной яркостью и пестротой.

В окне мелькал косой летящий снег, и на фоне грязновато-белого неба темная глыба Исаакия казалась огромным колоколом, медленно раскачивающимся в холодном тумане.

Комната понемногу наполнялась людьми. Осторожный шепот пробегал по ней. Передавались подробности, ставшие несколько часов позднее известными всему городу. В первые минуты много было противоречивого, неясного, тем более что Есенин не оставил никакой объясняющей записки, кроме известного четверостишия: «До свиданья, друг мой, до свиданья,//Милый мой, ты у меня в груди...»

Через сутки тело Есенина, усыпанное цветами, лежало в маленькой комнатке тогдашнего Союза писателей на Фонтанке. Все кругом было строго, торжественно. Один за другим проходили прощавшиеся, иногда подолгу задерживаясь около гроба. Газеты называли Есенина талантливейшим лириком эпохи, печатали его неизданные стихи, окружали его имя уже ненужной ему теперь славой. Москва готовила торжественные похороны. Я глядел на строгое, вновь помолодевшее лицо Сергея. Теперь он был почти таким, как при жизни, только суровая складка неизгладимо легла между бровями.

Было много цветов. Были речи. Кто-то положил в изголовье несколько тоненьких книжек — стихи его молодости...

⟨1945—1974⟩

Н. Н. НИКИТИН

О ЕСЕНИНЕ

Сколько было знакомых, приятелей, друзей в кавычках, сближений с женщинами, и обо всем этом Есенин писал в своих стихах: «легкие друзья», «легкие подруги», «вспыльчивые связи». А вот истинной дружбы и, быть может, истинной любви, как он ее понимал, мне кажется, ему не хватало... И не потому ли он так часто тосковал об этом: «Друзей так в жизни мало...», «Ни друга, ни жены» — эта тема кочевала у Есенина из одного стихотворения в другое еще с 1922 года... Его предсмертное обращение к другу («До свиданья, друг мой, до свиданья») мне представляется просто поэтическим и отчасти «бытовым» приемом. Как в «Черном человеке». Я думаю, что тот, кто получил эту предсмертную записку поэта, написанную кровью, как сообщали газеты того времени, не был истинным другом поэта. Быть может, только в бакинском стихотворении («Прощай, Баку!») есть настоящее, а не только прием: «В последний раз я друга обниму...»

И до смерти Есенина, и после мне неоднократно приходилось слышать о его невероятной общительности. Да, он был очень общителен. Я это видел сам. Мы, люди его поколения, это помним. Но в этой общительности была в то же время и сдержанность. На мой взгляд, Есенин вовсе не был так прост, как думается. Он был человек по-своему и сложный и простой. И до известной степени замкнутый, как это ни странно говорить о нем, прожившем свои дни среди шума. Но недаром же Есенин писал еще в 1922 году: «Средь людей я дружбы не имею...»[1]

Последней его женой была С. А. Толстая, ныне тоже покойная. И хоть бесцельно теперь гадать, каким бы руслом пошла их жизнь, но, когда думаешь о близких людях, трудно не высказать предположений. В жизни случается

всякое. Кто знает, если бы Есенин остался жив, если бы он еще пережил несколько лет, если бы перешагнул через эти критические житейские перевалы, быть может, его судьба сложилась бы по-иному? Хотя, откровенно говоря, мне трудно себе представить есенинскую судьбу обычной судьбой.

Но встреча с замечательным человеком, С. А. Толстой, была для Есенина не «проходным» явлением. Любовь Софьи Андреевны к Есенину была нелегкой. Вообще это его последнее сближение было иным, чем его более ранние связи, включая и его роман с Айседорой Дункан. Однажды он сказал мне:

— Сейчас с Соней другое. Совсем не то, что прежде, когда повесничал и хулиганил...

— Но что другое?..

Он махнул рукой, промолчал.

С. А. Толстая была истинная внучка своего деда. Даже обликом своим поразительно напоминала Льва Николаевича. Она была человеком широким, вдумчивым, серьезным, иногда противоречивым, умела пошутить, всегда с толстовской меткостью и остротой разбиралась в людях.

Я понимаю, *что* привлекло Есенина, уже уставшего от своей мятежной и бесшабашной жизни, к Софье Андреевне. Это были действительно уже иные дни, иной период его биографии. В этот период он стремился к *иной жизни*. В 1924 году были написаны «Песнь о великом походе», «Поэма о 36» (о «клокочущем пятом годе»). В том же году появилась баллада о двадцати шести комиссарах, стихотворение о Ленине: «Еще закон не отвердел...» Тогда же (1925 г.) было опубликовано большое «программное» стихотворение «Мой путь». Это был взгляд в будущее и в то же время оглядка на прошлое.

Ну что же?
Молодость прошла!
Пора приняться мне
За дело,
Чтоб озорливая душа
Уже по-зрелому запела.

И пусть иная жизнь села
Меня наполнит
Новой силой...

Но в этом же самом 1925 году Есениным была написана поэма «Черный человек» (трагическое содержание ее известно) [2].

Я не претендую на звание «друга» Есенина прежде всего потому, что у меня такое же понятие о дружбе, какое было и у него. Но я знал Есенина главным образом в течение последних трех лет его жизни, и мне захотелось кое-что дополнить к появившимся уже биографическим материалам о нем. ⟨...⟩

За все годы встреч с ним, если между нами затевался литературный разговор, мы говорили большей частью о поэзии.

Он не любил «прю...», то есть «прений». Длинных разговоров. Его вполне устраивали короткие реплики, и больше всего — эмоциональное отношение слушателя. Этим мы и довольствовались. В этом смысле чуткость его была феноменальной.

Однажды, приехав в Ленинград, он прочитал мне только что написанную «Анну Снегину» [3]. Строфы звонко раскатывались по большой комнате бывшей барской квартиры двухэтажного особняка у Невы на Гагаринской улице.

И вот эта поэма словно прокатилась мимо меня по паркету. Есенин кончил, а я молчал.

— Ну и молчи! — сердито буркнул он.

Вечером мы снова встретились, гуляли по набережной Невы, неподалеку от Зимней канавки. Есенин любил это место. Оно ему напоминало пушкинские времена.

Я попытался объяснить свое молчание после «Анны Снегиной», но Есенин мгновенно перебил меня жестом.

— Да ладно... Не объясняй. Чего там... На твоем лице я вижу больше, чем ты думаешь. И даже больше, чем скажешь.

— Ну, я еще ничего не сказал! Не торопись. А если хочешь, так выслушай...

Есенин приготовился слушать.

Я говорил, что «Снегина» хорошая поэма, что Есенин не может написать дурно. Но что фон ее эпический. И вот это обстоятельство все меняет. Говорил я главным образом о том, что мне многое ново в поэме. Например, картины революции в деревне. Что по всем строфам и в ряде сцен рассыпаны социальные страсти.

— Этого раньше у тебя не было. Здóрово даны образы... Но ведь Оглоблин Прон все-таки недописан. Как его расстреляли деникинские казаки, дошедшие до Криушей... А как он умирал? Разве это не важно? Как мужики из-за земли убили «офицера Борю», мужа Анны?

В общем у меня был свой взгляд на поэму. Я чувствовал за ней большой классический роман в стихах.

Есенин метнулся в мою сторону.

— «Евгения Онегина» хочешь? Так, что ли?.. «Онегин»?

— Да.

Может быть, эти мои мысли были абсурдны. Быть может, кое-что я уже прибавил сейчас, ведь воспоминания не протокол. Но я твердо помню, что мы долго разговаривала на гранитной набережной, гуляя взад и вперед. Мне помнится, как я говорил, что «Снегина» стала бы шедевром, если бы...

Критика в общем признала ее и до сих пор считает одним из лучших революционных произведений Есенина. Возможно, она и права, и я субъективен. Но в тот вечер мы еще не знали, что скажут критики, и руководствовались лишь своими мнениями.

Помню, как Есенин стал задумчив. Он умел слушать, а не только соглашаться с благожелательными, эмоциональными, вкусовыми оценками.

Мы вернулись на квартиру на Гагаринской. В передней на подоконнике были небрежно брошены черный плащ, черный мятый цилиндр. При мне Есенин никогда не надевал этого наряда. Я тут же вспомнил литературное общество «Колос» и «кафтанчик»...

Есенин перехватил мой взгляд, иронически усмехнулся.

— Привез зачем-то из Москвы эту дрянь! Цилиндр надеть, конечно, легче, чем написать «Онегина». Ты прав... Но... Нет уж... Что делать? Пусть останется в «Снегиной» все так, как было.

На искренности всегда держались наши отношения. Не помню, чтобы он лицемерил, чтобы своим товарищам он говорил дежурные любезности.

Кстати, он с откровенностью проявлял свое отношение к Маяковскому. Таким же откровенным был с ним и Маяковский. Они, конечно, не были друзьями, они были полярны, но через год после смерти Есенина, по-моему, лишь один Маяковский высказал истинное отношение к поэту Есенину в стихотворении «Сергею Есенину». Мне подчас кажется, что стихи «Сергею Есенину» — не стихи... Это воистину —

> В горле
> горе комом...

О Есенине, при его шумной жизни, ходили всякого рода «легенды». Вернее, «лыгенды», как называл всякого рода сплетни Лесков. Ходят они и теперь. Я предпочел бы не распространяться на эту тему. Есенин, конечно, не был ангелом, но я предпочитаю следовать не за распространителями «дурной славы», которая сама бежит, а за Анатолем Франсом. Франс очень верно и мудро говорил о Верлене: «...нельзя подходить к этому поэту с той же меркой, с какой подходят к людям благоразумным. Он обладает правами, которых у нас нет, ибо он стоит несравненно выше и вместе с тем несравненно ниже нас. Это — бессознательное существо, и это — такой поэт, который встречается раз в столетие» [4].

Я верю в то, что это же самое вполне приложимо к Есенину.

Мне трудно писать о Есенине в хронологическом порядке. Сейчас я перейду к тому, с чего мне и хотелось начать этот рассказ.

Шла империалистическая война. Собственно говоря, она уже почти «прошла». Кончалась, по крайней мере, для России.

Я только что вернулся в Петроград с Рижского фронта. Там, на участке батальона, которым командовал мой близкий товарищ, я случайно попал в бой. Он начался на рассвете... На болотной полосе в долине, засыпанной мокрым снегом, которая разделяла наши передовые позиции от немецких, полз туман. Одна цепь наших стрелков за другой, спускаясь в долину, исчезала в нем. Там мутным сплошным огнем вспыхивали разрывы. Немцы били из тяжелых орудий. За три дня боев от батальона осталась пятая часть. Оставшиеся отказались идти в бесплодные атаки. Начались репрессии. Многих солдат арестовали, отправили в арестантские роты, а несколько десятков человек тут же на фронте расстреляли.

Подавленный виденным, я вернулся в Петроград. Один приятель, «грешивший» стихами, привел меня «рассеяться» на Жуковскую улицу. Там, в одном из домов возле Греческой церкви, помещалось общество крестьянских поэтов под названием «Колос». В «Колосе» был вечер поэзии [5]. Участвовали Есенин и Клюев. В ту пору эти имена мне ничего не говорили.

Дородный Клюев, с пшеничными усами, с кудрявой шевелюрой ямщика, читал свои стихи, нелепо шаманя, кривляясь. Крестьян-поэтов в «Колосе» я что-то не увидел. Вместо них я приметил двух-трех молодых людей, весьма

отглаженных, с удивительными проборами, да небольшую группу молоденьких танцовщиц из Мариинского театра. Когда Клюеву из благожелательности поаплодировали, на эстраде появился другой поэт, обряженный так же, как и Клюев, в кафтан. Что-то прекрасное чувствовалось в его глазах и в молодом голосе, и поэзия этого поэта показалась мне очень самобытной. Почуялось, что в поле запела свирель.

После «вечера» я не мог удержаться и, ни о чем не раздумывая, отправился за кулисы, в так называемую артистическую. Не помню, как я «представился» Есенину. Не помню, о чем мы стали разговаривать...

Оказалось, что мы одногодки, сверстники.

— Ты что же, интересуешься стихами? — спросил меня Есенин.— Ты солдат?

— Нет, я студент университета. Я только что вернулся с фронта и не успел снять солдатскую форму. Я там был с подарками. Сюда же я попал случайно.

— Почему вы так одеваетесь? — вдруг после паузы бесцеремонно спросил я Есенина.— К чему этот кафтанчик и лаковые с набором сапожки? Святочный маскарад?

— Ты думаешь, только Маяковский может носить желтую кофту?.. Садись.

Я сел на диванчик. Мы продолжали разговор, и я рассказал Есенину все, что видел на фронте под Ригой.

— Вот когда вы читали вашу «Корову»:

Не дали матери сына,
Первая радость не впрок.
И на колу под осиной
Шкуру трепал ветерок,—

мне вспомнилось иное... Я видел разбросанные по болоту трупы молодых солдат. Еще и до сих пор они там лежат. Их тоже треплет ветер, засыпает снег.

— Ужас... Я этого не испытал,— сказал Есенин и встряхнулся всем телом.— Знаешь что? Поедем ко мне.

Я поехал.

С той поры мы не виделись до осени 1923 года, когда встретились в издательстве «Круг». Есенин вернулся из поездки по Америке, Франции, Германии, после разрыва с Айседорой Дункан. Я вернулся из Англии. Мы поделились пережитым за все минувшие годы. Наше знакомство возобновилось. ⟨...⟩

1924 год, разгар нэпа. Поздний летний вечер [6].

Есенин вместе со мной приехал в один из кварталов Москвы, который не славился своей безопасностью. По улицам и переулкам брели разные люди, одни о чем-то споря, другие со смехом, видимо, выпившие. Тут были всякого рода подонки, продажные женщины, воры, бездомники и беспризорники. Они направлялись к Ермаковке. Так называлась московская ночлежка. Когда и мы с Есениным вошли туда же, мне вспомнилась надпись над вратами дантовского ада: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

«Есенин... Есенин... Есенин» — послышался мне шепот. Я оглянулся. У обитателей Ермаковки наморщенные лица. В глазах светится холодное любопытство. Некоторые смотрят недружелюбно. Есенин чувствует это. Он идет по проходу между нарами, сутулясь, как писал о себе в одном из стихотворений, будто сквозь строй его ведут.

На Есенине заграничное серое пальто, заграничная серая шляпа с заломом, обычный, как всегда, белый шелковый шарф. Но вскакивает он на первые попавшиеся ему нары, и с него будто разом сдувает всю благоприобретенную «Европу».

Он начинает чтение «Москвы кабацкой». Этим он, очевидно, задумал «купить» своих новых слушателей. Но чем надрывнее становился его голос, тем явственнее вырастала стена между хозяевами и гостем-поэтом. На лице Есенина появилась синеватая бледность, он растерялся, а ведь он говорил, что ни к одному из своих выступлений он не готовился так, как к этому, никогда так не волновался, как отправляясь на эту встречу.

А ведь сюда его никто не приглашал. Здесь его вообще «не ждали». И когда он начал читать свой «кабацкий цикл», слушатели посматривали на Есенина одни с недоумением, другие неодобрительно.

Сейчас я думаю, что такой прием со стороны ермаковцев психологически совершенно понятен. Как могли они воспринять, да еще в стихах, весь тот «бытовой материал», где все так было близко им и в то же время, очевидно, ненавистно...

Шум и гам в этом логове жутком,
Но всю ночь напролет, до зари,
Я читаю стихи проституткам
И с бандитами жарю спирт [7].

Есенин мнет свой белый шарф, голос его уже хрипит, а «бандиты» и «проститутки» смотрят на Есенина по-прежнему бесстрастно. Не то что братья-писатели из Дома Герцена, в ресторане-подвальчике. Положение осложнялось. Все мрачнее становились слушатели.

И вдруг Есенин, говоря по-современному, резко поворачивает ручку штурвала.

Он читает совсем иные стихи — о судьбе, о чувствах, о рязанском небе, о крушении надежд златоволосого паренька, об отговорившей золотой роще, о своей «удалой голове», о милых сестрах, об отце и деде, о матери, которая выходит на дорогу в своем ветхом шушуне и тревожно поджидает любимого сына — ведь когда-то он был и «кроток» и «смиренен», — и о том, что он все-таки приедет к ней на берега Оки.

Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть [8].

Что сталось с ермаковцами в эту минуту! У женщин, у мужчин расширились очи, именно очи, а не глаза. В окружавшей нас теперь уже большой толпе я увидел горько всхлипывающую девушку в рваном платье. Да что она... Плакали и бородачи. Им тоже в их «пропащей» жизни не раз мерещились и родная семья, и все то, о чем не можешь слушать без слез. Прослезился даже начальник Московского уголовного розыска, который вместе с нами приехал в Ермаковку. Он «сопровождал» нас для безопасности. Он был в крылатке с бронзовыми застежками — «львиными мордами» — и в черной литераторской шляпе, очевидно, для конспирации.

Никто уже не валялся равнодушно на нарах. В ночлежке стало словно светлее. Словно развеялся смрад нищеты и ушли тяжелые, угарные мысли. Вот каким был Есенин... С тех пор я и поверил в миф, что за песнями Орфея шли даже деревья.

Второе превращение Сергея Есенина случилось в этот же вечер, после Ермаковки, у него на квартире.

Было поздно. Я приехал к нему ночевать. Сестра Есенина Катя радушно встретила нас и собралась готовить ужин.

— Погоди...— закричал ей Есенин.— Мы сперва должны принять ванну... Мы были знаешь где... Мы могли там подцепить черт знает что...

Утром за завтраком он сказал мне:

— Я долго, очень долго не мог вчера заснуть... А как ты? Ты помнишь, что сказал Лермонтов о людях и поэте:

Взгляни: перед тобой играючи идет
Толпа дорогою привычной;
На лицах праздничных чуть виден след забот,
Слезы не встретишь неприличной [9].

— Хорошо, что мы вчера встретили людей не праздных, а сраженных жизнью. Не с праздничными лицами, но все-таки верящих в жизнь... Никогда нельзя терять надежду, потому что...

Он намеревался прибавить еще что-то, однако, по своему обычаю, отделался лишь жестом. 〈...〉

На берега Невы приехал А. Я. Таиров с Камерным театром. Он позвонил мне из гостиницы «Англетер» и сказал, что ждет меня к обеду, на котором будет и Айседора Дункан. Мне очень захотелось пойти. Я никогда в жизни ее не видел. Но у меня сидел Есенин, и я сказал Таирову об этом.

— Хочешь прийти с ним? Ради бога, не надо. Не зови его, будет скандал. Изадора и он совсем порвали друг с другом.

Между прочим, все близкие Дункан, и Есенин тоже, всегда называли ее Изадорой... Это было ее настоящее имя.

Есенин, сидевший рядом с телефоном, очевидно, слышал весь мой разговор с Таировым и стал меня упрашивать взять его с собой. Я протестовал. Но в конце концов все вышло так, как он хотел.

В номере Таирова Есенин не подошел к Айседоре Дункан. Этому способствовало еще то, что кроме Таирова, А. Г. Коонен и Дункан за обеденным столом сидели некоторые актеры и актрисы Камерного театра. Среди них и затерялся Есенин.

Я смотрел на Дункан. Передо мной сидела пожилая женщина, как я понял впоследствии — образ осени. На Изадоре было темное, как будто вишневого цвета, тяжелое бархатное платье. Легкий длинный шарф окутывал ее шею. Никаких драгоценностей. И в то же время мне она представлялась похожей на королеву Гертруду из «Гамлета». Есенин рядом с ней выглядел мальчиком... Но вот что случилось. Не дождавшись конца обеда, Есенин таинственно и внезапно исчез. Словно привидение. Даже я вначале не

заметил его отсутствия. Неужели он приезжал лишь затем, чтобы хоть полчаса подышать одним воздухом с Изадорой?..

Быть может, нам кое-что подскажет отрывок из его лирики тех лет:

Чужие губы разнесли
Твое тепло и трепет тела.
Как будто дождик моросит
С души, немного омертвелой.

Ну что ж! Я не боюсь его.
Иная радость мне открылась.
. . . .
Так мало пройдено дорог.
Так много сделано ошибок [10].

Быть может, и этот роман был одной из его ошибок. Быть может, он приезжал в «Англетер», чтобы еще раз проверить себя, что кроется под этой *иной радостью,* о которой он пишет... Во всяком случае, я верю в то, что эта глава из жизни Есенина совсем не так случайна и мелка, как многие об этом думали и еще думают. 〈...〉

Вечером в конце ноября 1925 года в моей квартире раздался телефонный звонок. Звонил Есенин. Он говорил о встрече.

— Приходи сейчас, если можешь...

Я не мог.

Несколько позже, но в этот же вечер он ждал меня у Садофьева.

Когда я пришел, гости отужинали, шел какой-то «свой» спор, и Есенин не принимал в нем участия. Что-то очень одинокое сказывалось в той позе, с какой он сидел за столом, как крутил бахрому скатерти. Я подсел к нему. Он улыбнулся.

— Я только что, совсем недавно кончил «Черного человека»... [11] Послушай:

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль...

Уже этим началом он сжал мне душу, точно в кулак. Почему-то сразу вспомнился «Реквием» Моцарта. Я не могу сейчас воспроизвести весь наш разговор точно. Помню, что Есенин шутил и был доволен, что «проверил» поэму еще на одном слушателе. На следующий день мы решили снова встретиться. Он обещал приехать ко мне к обеду. Но я его так и не дождался. Мне сказали, что он уехал в Москву, будто сорвался.

Прошел почти месяц. Помню, как в «рождественский сочельник» (тогда праздновали рождество) кто-то мне позвонил, спрашивая — не у меня ли Есенин, ведь он приехал... Я ответил, что не знаю о его приезде. После этого два дня звонили, а я искал его, где только мог. Мне и в голову не пришло, что он будет прятаться в злосчастном «Англетере». Рано утром на третий день праздника из «Англетера» позвонил Садофьев. Все стало ясно. Я поехал в гостиницу.

Санитары уже выносили из номера тело Есенина. Вечером гроб с телом стоял в Союзе писателей на Фонтанке. Еще позднее дроги повезли Есенина на Московский вокзал. Падал снег. Толпа была немногочисленной. Еще меньше было народа на железнодорожной платформе возле товарного вагона. Вот все, что я помню... Нет, еще два слова.

Через некоторое время пошли разговоры, статьи: кто виноват в происшедшем? Поздно было искать, когда уже все случилось. Стихи Есенина и его жизнь не раз могли внушить тревогу, но почему-то все это воспринималось лишь в поэтическом аспекте. Справедливее всех написал А. В. Луначарский: «Все мы виноваты более или менее, надо было крепко биться за него...»

Немало «лишнего», немало противоречий в своем образе создал он сам. Вспомним хотя бы его «Исповедь хулигана»... Но этот же человек всегда с подлинной глубиной, чистотой, романтизмом писал о любви. Он сам себя в своих стихах назвал «последним поэтом деревни» [12]. Но разве он мало писал просто о жизни? Разве, раскрывая свое собственное сердце, он не писал просто о человеке? Или, и это самое важное, о судьбах своего народа, Родины... Он же воспел ураган революции и *капитана* ее — Ленина. Это был превосходный русский поэт. Спор о нем будет вечен. Прав Горький, сказав о Есенине, что он пришел в наш мир либо запоздав, либо преждевременно.

Декабрь 1960 г.

Ю. Н. ЛИБЕДИНСКИЙ

МОИ ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

С поэзией Сергея Есенина познакомился я задолго до первой встречи с поэтом. Альманах «Скифы» № 2, где напечатана была поэма Сергея Есенина «Товарищ», я купил в книжном киоске городского Совета в начале 1918 года. Она начиналась словами:

Он был сыном простого рабочего,
И повесть о нем очень короткая...

И в ней, как и в «Двенадцати» Блока, появился примерно в такой же трактовке, что у Блока, Христос. У Есенина младенец Иисус «пал, сраженный пулей», на питерских улицах в феврале 1917 года.

Слушайте:
Больше нет воскресенья!
Тело его предали погребенью:
Он лежит
На Марсовом
Поле.

Поэма эта мне понравилась и легко запомнилась. Но выражение «железное слово: «Рре-эс-пуу-ублика!» — так кончается поэма — больше чем понравилось: именно таким, могучим, железным, воспринимался тот новый, советский строй, который возникал в огне и грохоте Октябрьского пожара. И так же вошло впоследствии в душу, как лозунг и народная поговорка, звучавшее кратко и гордо:

Мать моя — родина,
Я — большевик! [1]

С тех пор я уже сам отыскивал стихотворения Есенина, и почти все они нравились мне, хотя религиозные мотивы его творчества казались надуманными.

...Схимник-ветер шагом осторожным
Мнет листву по выступам дорожным

И целует на рябиновом кусту
Язвы красные незримому Христу [2].

Подобного рода строфы отзывались для меня риторикой и сочинительством. Странным казалось переплетение в одной стихотворной строфе кощунства и религиозности, душевной чистоты и грубо-похабных, словно назло кому-то сказанных слов.

Но, конечно, сильнее всего в стихах Есенина покоряла воплощенная в них поэтическая прелесть русской природы. Даже самое имя его казалось мне названием не то времени года: Осенин, Весенин,— не то какого-то цветущего куста...

Когда в 1921 году я приехал в Москву, она полна была слухов о приключениях и выходках Сергея Есенина. ⟨...⟩

«Неделя» была напечатана, я уже считал себя причастным к литературе и стал интересоваться жизнью писателей. В частности, я расспрашивал о кафе поэтов «Стойло Пегаса», и одна моя новая московская знакомая, также делавшая первые шаги в литературе, предложила вместе с ней сходить в это знаменитое кафе.

Я тогда носил еще военную форму, весьма бросавшуюся в глаза: это была форма Высшей военной школы связи — серые обшлага и черно-желтые, по роду войск, петлицы. Такие петлицы, обозначавшие род войск, красноармейцы называли «разговор». «Шинель с разговором...» — говорили тогда. Мне казалось, что прийти в «Стойло Пегаса» в военной форме — значило бросить на нее какую-то тень. Собеседница моя смеялась — по ее словам, в «Стойле Пегаса» бывали и военные.

Так, весело разговаривая, подошли мы к входу в кафе. Прямо навстречу нам вышли оттуда двое мужчин, одетых, как я тогда воспринял, по-буржуазному. Моя спутница познакомила нас. Мы назвались: передо мной были Пильняк и Есенин. Быстро оглядев меня и бросив взгляд на Пильняка, Есенин с каким-то веселым озорством сказал:

— Интересная игра получается...

Он имел в виду то, что Пильняк и я принадлежим к враждующим литературным направлениям.

Есенин был в черном, хорошо сшитом пальто, белесые кудри его мягко вились, выбиваясь из-под котелка, залихватски заломленного, его округлое и мягкое лицо привлекало шаловливым и добрым выражением.

Неужели этот простодушно-веселый молодой человек мог написать стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу...», прочитанное мною еще в начале 1922 года в журнале «Красная новь»? Пушкинская сила слышалась как в ритме этого стихотворения, так и в элегическом звучании его. «Словно я весенней гулкой ранью проскакал на розовом коне...» — так мог сказать только Есенин. Он уже и до этого писал прекрасно, но в этом стихотворении поистине превзошел самого себя!

Есенин мне понравился. Но тогда происходило формирование группы «Октябрь» — ядра будущих МАПП и РАПП[3]. Именуя себя пролетарскими писателями, мы кичливо отделяли себя от «мелкобуржуазных» — и в особенности от всяческой богемы, к которой не без основания причисляли и Есенина. После первого знакомства с Есениным я встреч с ним не искал, но они возникли сами собой у нашей общей упомянутой выше знакомой. Хозяйка любила литературу, с интересом и пониманием следила за ней, сама пробовала писать. В ее уютной и гостеприимной квартире встречались молодые писатели разных направлений. Бывал там и Сергей Есенин.

У него было много друзей-приятелей, его любили. В обращении он был прост и весел, в трезвом виде и при людях, которых он не знал или знал мало, подчас даже молчалив и застенчив. В нем была та притягательность, которую мы определяем словом «обаяние», с него не хотелось сводить глаз. Сохранившиеся портреты в общем передают прелесть его лица — его улыбку, то шаловливо-добродушную, то задумчивую, то озорную. Но ни один из его портретов не передает того особенного выражения душевной усталости, какой-то понурости, которое порой, словно тень, выступало на его лице. Только сейчас понимаю я, что выражение это было следствием того творческого напряжения, которое не покидало его всю жизнь.

«...Он пишет. Он не пишет. Он не может писать. Отстаньте. Что вы называете писать? Мазать чернилами по бумаге?.. Почем вы знаете, пишу я или нет? Я и сам это не всегда знаю». Эта дневниковая запись Александра Блока исчерпывающе применима к Есенину.

Взять хотя бы годы нашего знакомства — 1923, 1924, 1925 годы,— за это короткое время Есенин написал «Двадцать шесть» и «Песнь о великом походе», «Анну Снегину», «Ленин» и «Русь советскую».

Каждое из этих произведений хорошо по-своему, и каждое вошло в историю советской литературы, стало нашей

классикой. Эти произведения следует давать читать школьникам. А сколько замечательных стихов, небольших и блестяще отграненных, сверкающих, как драгоценные камни, создано за эти три года!

Правда, во многих из этих стихотворений — и чем ближе к концу Есенина, тем явственнее — слышим мы и болезненный надрыв, и ту особенную тоску, которую правильно называют смертной,— тоску, являющуюся симптомом подкрадывающейся душевной болезни. После трагической гибели поэта и до настоящего времени много писали о глубоких противоречиях в творчестве Сергея Есенина. При личном общении с поэтом наличие этих противоречий замечалось, что называется, невооруженным глазом. Ведь эти противоречия не были выдуманы поэтом, а являлись глубоким и серьезным отражением в его душе действительных явлений жизни, они были источником движения и развития его поэзии, достигшей именно в последние годы его жизни необычайной яркости и изобилия. Но садоводам известны случаи, когда после обильного цветения и плодоношения фруктовое дерево высыхает на корню.

Такое время изобильного цветения и плодоношения пережил Есенин в последние годы своей жизни.

Но при этом вид у него был всегда такой, словно он бездельничает, и только по косвенным признакам могли мы судить о том, с какой серьезностью, если не сказать — с благоговением, относится он к своему непрерывающемуся, тихому и благородному труду.

Так, однажды у него вырвалось:

— Зашел я раз к товарищу,— и он назвал имя одного литератора,— и застаю его за работой. Сам с утра не умывался, в комнате беспорядок...

И Сергей поморщился. Я вопросительно взглянул на него, и он, видимо отвечая на мой невысказанный вопрос, сказал:

— Нет, я так не могу. Я ведь пьяный никогда не пишу.

Жил Есенин в одном из переулков Тверской улицы, квартира его была высоко,— впрочем, в те годы проблема лифта для нас не существовала, и взбежать на девятый этаж ничего не стоило. Не очень часто, но я бывал у него дома. Жил он тесно,— кажется, к нему именно тогда приехали из деревни сестры,— в комнате были какие-то друзья его, шел громкий разговор.

У Есениных тогда было молодо и весело. Та же озорная сила, которая звучала в стихах Сергея, сказывалась в том,

как плясала его беленькая сестра Катя. Кто не помнит, как в «Войне и мире» вышла плясать «По улице мостовой» Наташа Ростова! Но в том, как плясала Катя Есенина. в ее взметывающихся белых руках, в бледном мерцании ее лица, в глазах, мечущих искры, прорывалось что-то иное: и воля, и сила, и ярость...

Младшая сестра Шура, если я не ошибаюсь, появилась в квартире у Сергея несколько позже. В ней, хотя она была совсем девочка, сказывалось то разумно-рассудительное начало, которое подмечено у Есенина: «И вот сестра разводит, раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»...» [4] — что-то совсем юное и уже очень новое, советское сказывалось в этой девочке. Такими были в те годы комсомолки, приезжавшие из маленьких городков и деревень учиться в Москву.

Самого же Сергея запомнил я с гитарой в руках. Под быстрыми пальцами его возникает то один мотив, то другой, то старинная деревенская песня, то бойкая частушка, то разухабистая шансонетка. А то вдруг:

...О друг мой милый,
Мы различны оба,
Твой удел — смеяться,
Мой — страдать до гроба...[5]

Всей песни в памяти моей не сохранилось, но были там еще слова:

...Он лежит убитый
На кровавом поле...

— Это у нас в деревне пели, а, слышишь, лексика совсем не деревенская, занесено из усадьбы, наверное. Это, думается мне, перевод из Байрона, но очень вольный и мало кому известный...— И, прищурив глаза, несколько нарочито, манерно, прекрасно передавая старинный колорит песни, он повторил:

...Твой удел — смеяться,
Мой — страдать до гроба...

И тут же, словно не желая вдаваться в разговор слишком серьезный, вдруг ударил по струнам и лихо запел какие-то веселые куплеты. Он напевал их и сам при этом весело хохотал, показывая красивые зубы.

Серьезные разговоры всегда возникали внезапно, как бы непроизвольно поднимались из глубины души.

— ...Вот есть еще глупость: говорят о народном творчестве, как о чем-то безликом. Народ создал, народ сотворил... Но безликого творчества не может быть. Те чудесные песни, которые мы поем, сочиняли талантливые, но безграмотные люди. А народ только сохранил их песни в своей памяти, иногда даже искажая и видоизменяя отдельные строфы. Был бы я неграмотный — и от меня сохранилось бы только несколько песен,— с какой-то грустью говорил он.

Сергей с охотой и в прекрасной манере читал стихи, написанные другими поэтами:

...Соловьи на кипарисах, и над озером луна;
Камень черный, камень белый, много выпил я вина...[6] —

отчетливо выделяя каждое слово этого стихотворения Гумилева, словно любуясь им, выговаривал он. Блока почитал он как учителя своего — и об этом говорил не раз. Множество стихов Блока он знал наизусть и произносил их в своей особой манере, отчетливо и поэтически.

Гармоника, гармоника!
Эй, пой, визжи и жги!
Эй, желтенькие лютики,
Весенние цветки!..[7] —

произнес он, делая ударение на рифме.

— Неправильная рифма, верно? Ассонанс? А ведь такого рода неправильные рифмы коренятся в самой природе нашего языка — здесь и бойкость и лихость, а?

Но некоторые стихотворения Блока он разбирал критически, обращая особенное внимание на отдельные эпитеты.

— Блок — интеллигент, это сказывается на самом его восприятии,— говорил он с горячностью.— Даже самая краска его образа как бы разведена мыслью, разложена рефлексией. Я же с первых своих стихотворений стал писать чистыми и яркими красками.

— Это и есть имажинизм? — спрашивал я.

— Ну да,— говорил он недовольно.— То есть все это произошло совсем наоборот... Разве можно предположить, что я с детства стал имажинистом? Но меня всегда тянуло писать именно такими чистыми, свежими красками, тянуло еще тогда, когда я во всем этом ничего не понимал.

И он тут же прочел — я услышал тогда впервые это маленькое стихотворение:

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Кленепочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

— Это я написал еще до того, как приехал в Москву. Никакого имажинизма тогда не было, да и Хлебникова я не знал. А сколько лет мне было? Четырнадцать? Пятнадцать? Нет, не я примкнул к имажинистам, а они наросли на моих стихах. Александр Блок — это мой учитель. Но я не могу принять его рефлексии, его хныканья полубарского, полународнического.

Память моя вперемежку с серьезными разговорами сохранила мелочи, забавные и выразительные пустяки.

Мы приходим в знакомый и дружественный нам дом. Входная дверь открыта, но в квартире, похоже, никого нет. Лето, и легкий ветер бродит из комнаты в комнату. В спальной на постели спит красивая девушка-армянка, мы оба знакомы с ней. Сергей сделал мне знак, чтобы я молчал, тихонько подошел к ней, поцеловал ее в губы — и тут же, мгновенно, утащил меня за портьеру, к окну, откуда открывался с восьмого или девятого этажа неправдоподобно широкий горизонт с подмосковными темно-зелеными лесами и Москвой-рекой, поблескивающей в синей дымке.

— Ты погоди. Что сейчас будет...— прошептал он.

Девушка поднялась на постели и, не совсем проснувшись, вопросительно и взволнованно оглядела комнату. Сергей громко заговорил со мной, делая вид, что мы продолжаем какой-то разговор. Она взглянула на меня, на него... Игра ее нежного девичьего лица вся была открыта и озорно отражалась на его лице.

В комнату кто-то вошел.

— Не может угадать. А кто же поцеловал все-таки? — посмеиваясь, сказал тихонько Сергей.

Она быстро взглянула на него и улыбнулась.

Серьезные разговоры вспыхивали непроизвольно и неожиданно быстро, как молния, и запоминались на всю жизнь.

— Сережа, у тебя вот сказано:

Мальчик такой счастливый
И ковыряет в носу.

Ковыряй, ковыряй, мой милый,
Суй туда палец весь,
Только вот с эфтой силой
В душу свою не лезь [8].

Ведь слово «эфтой» — это все-таки оборот не литературный, вульгаризм.

Он оставляет мою аргументацию без всякого внимания.

— А как иначе ты скажешь? С «этою» силой? — спрашивает он, смеется, и разговор прекращается, чтобы возобновиться спустя несколько дней.

— Помнишь, ты говорил о нарушении литературных правил? — напоминает он.— Ну, а тебе известны эти строки:

Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв...[9]

— Гумилев?

— Мастер, верно? А ведь тут прямое нарушение грамматики. По грамматическим правилам надо бы сказать: «И руки, которыми ты обняла свои колени, кажутся мне особенно тонкими». Ну, что-то в этом роде: «обняв» или «обнявшие»? Но «обнявшие колени» — ничего не видно, а «колени обняв» — сразу видишь позу...— И у него на лице такое же озорное выражение, с которым он подкрадывался к спящей девушке, чтобы ее поцеловать...

Через много лет после смерти поэта один литературный брюзга с целью доказать, что Есенин был не более чем безграмотный самоучка, привел известные строчки:

Остался в прошлом я одной ногою,
Стремясь догнать стальную рать,
Скольжу и падаю другою[10].

— Падаю ногою? Разве можно так сказать? — негодовал он.— Ведь это у него от небрежности, от неграмотности!

И тогда мне вспомнился давний наш разговор о Гумилеве. Есенин жил в стихии языка, как ласточки живут в стихии воздуха, и то, что ученым воронам могло казаться нарушением правил языка, было виртуозным владением им. Чтобы так «нарушать» правила языка, надо в совершенстве им владеть.

Иногда на Сергея находила какая-то детская, прямо ребячья веселость и дурашливость. Как-то я ближе к вечеру зашел к нему.

— Вот и хорошо,— сказал он весело.— Пойдешь с нами вместе к Мейерхольду смотреть «Мандат». Ты видел?

«Мандата» я еще не видел. Сергей наряжался перед зеркалом, примерял цилиндр и, похохатывая, рассказывал мне вкратце о том, что, видимо, больше всего интересовало его в «Мандате».

— Деревенскую девку нарядили, понимаешь, царицей, посадили в сундук, наша обывательская белогвардейщина вся с ума сошла, все ей кланяются,— царская дочь Анастасия вернулась на царствование в Москву!..— весело говорил он.

Не знаю, прочел ли он «Мандат», или уже видел его, или ему рассказывали о спектакле [11]. Сестры тоже собирались, младшая, серьезная Шура, все пыталась урезонить брата, которому, видно, как-то особенно хорошо было в этот летний городской вечер.

Мы шли по людной Тверской. «Есенин! Есенин!» — кричали кругом. Хохот, веселые аплодисменты... Уже на Садовой-Триумфальной Сергей повернулся, сорвал с моей головы летнего образца красноармейский шлем и надел на меня свой цилиндр. В военной гимнастерке и цилиндре я выглядел забавно, в этом было что-то карнавальное. Мне тоже стало весело, и так приятно было слушать, как Шура Есенина о чем-то рассуждает, стараясь казаться совсем взрослой.

Когда мы пришли в театр, первое действие уже шло, нас спешно рассаживали. Спектакль был тоже весь озорной и веселый. Вертелась граммофонная пластинка, церковные псалмы звучали из жерла старомодного граммофона, одурелая старуха крестилась на граммофон и била земные поклоны.

— С этим мандатом, маменька, я всю Россию переарестую! — кричал худенький подросток Гулячкин, которого играл Эраст Гарин, и публика смеялась, не чувствуя всего зловещего смысла гулячкинской угрозы.

В антракте Катя Есенина подошла к нам и сказала озабоченно:

— Сергей пропал куда-то!

Я уже сейчас не помню, почему нужно было искать Сергея,— как будто он раньше никогда не пропадал! Но Шура и Катя Есенины пошли искать его, я сопровождал их.

— Он наверняка у своего дружка, у художника Якулова,— сказала Катя.

Якулов жил где-то поблизости, чуть ли не на Триумфальной площади, рядом с театром. Высокого роста, черноусый и худощавый, в какой-то пестрой куртке, как

будто только что сошедший с картины какого-то «левого» художника, он встретил нас, таинственно посмеиваясь:

— Если найдете, будет ваш...

Но искать негде. Большая комната, если мне не изменяет память, мастерская Якулова, пуста. Посредине лежит ковер, свернутый в огромную трубку, — так свертывают ковры, когда уезжают на дачу.

И вдруг ковер стал медленно развертываться. Все быстрей, быстрей, совсем развернулся, и вот Сергей, весь взъерошенный, вскочил и здесь же, на ковре, исполнил какую-то буффонную пляску; сестры висли на нем, визжа от удовольствия.

— А я знал, что вы сюда придете.

— Почему ты ушел из театра? Ведь интересно!

— На сцене интересно, а в публике скучно!

Так познакомился я с Георгием Богдановичем Якуловым, которому Сергей Есенин не случайно посвятил балладу о двадцати шести бакинских комиссарах: оба этих знаменитых художника были в то время вдохновлены подвигом бакинских большевиков — Г. Б. Якулов увековечил легендарных комиссаров в памятнике, украшающем площадь двадцати шести комиссаров в городе Баку [12].

Не думал я в тот веселый вечер, что мне вместе с Г. Б. Якуловым и Б. А. Пильняком придется встретиться уже после смерти Сергея Есенина, в составе комиссии по его литературному наследству.

Мне могут поставить в вину, что я мало пишу о несчастной болезни Есенина — о его запоях, не касаюсь его кабацких разгулов, хулиганской поэзии и т. д. Но об этом много и даже слишком много писали. В этом направлении постарались и враги Есенина, и не очень умные друзья его. Этой больной и мрачной стороной его души, темными отходами его поэзии порою старались заслонить то светлое и прекрасное, что он дал нашей литературе.

На моей памяти Есенин не раз собирал писательскую молодежь и отправлялся в притоны, в ночлежные дома, чтобы читать там стихи ворам и проституткам, обращаясь к ним, как к своим братьям и сестрам. Но ведь Сергей Есенин был добрый и жалостливый человек. И в такой, может быть, несколько странной форме, он выражал свое сострадание униженному человеку. Есть в хулиганских стихах Есенина также и некоторое стремление эпатировать

обывателя, поддержать традиционную репутацию скандалезности, которая должна якобы окружать всякого поэта.

О Александр! Ты был повеса,
Как я сегодня хулиган [13].—

Так обращается он к Пушкину.

Хотя при встречах с Есениным случалось и мне сдвигать с ним бокалы с вином, но никак нельзя было сказать, чтобы Сергей был человек, который проводил все свое время в беспробудном пьянстве. Я запомнил его тихим и трезвым, когда он бывал особенно застенчив и скуп на слова. Если собиралось много людей, он с большим удовольствием и интересом слушал и подчас слышал в споре то, чего не понимали сами спорящие. ⟨...⟩

Умер Ленин, и тяжело упала эта потеря на сыновнюю душу Сергея Есенина. Получив пропуск из «Правды», он несколько часов простоял в Колонном зале, не сводя глаз с дорогого лица. Вместе с народом, бесконечной вереницей идущим мимо гроба, и зародились скорбные и полные животворной силы ямбы его «Ленина»:

И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.

Сын российской деревни, он относился к Ленину именно так, как мог относиться к нему русский крестьянин эпохи великой революции: Ленин спас русское крестьянство от помещичьего и царского гнета. Но у Есенина тема Ленина взята шире: Ленин спас русский народ от гнета капитализма и иностранного империалистического господства.

Произведение Есенина «Ленин», хотя и является всего лишь фрагментами ненаписанной поэмы «Гуляй-поле», это едва ли не самая высокая вершина всего творчества его. Позже придет Маяковский и, благодаря глубокому проникновению в произведения Ленина и в биографию его, вылепит монументальный образ великого учителя пролетариата, создателя первого в мире социалистического государства, национальную гордость русского народа.

Есенин, изображая Ленина, на первый план поставил те его черты, о которых мы слышали от всех, кто близко знал Владимира Ильича:

Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Изображая Ленина, Есенин сознательно отказывается от всякого стремления к монументальности. Чтобы усугубить свою иронию по поводу банальных и ходульных изображений героя, он к слову «в масках» («Мы любим тех, что в черных масках») подбирает рифму: «на салазках». «Застенчивый, простой и милый» — таким видит он Ленина, и тем сильнее действие его неожиданных, проникнутых восхищением, слов:

Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...

В Ленине Сергей Есенин подчеркнул скромность, доброту, доступность, любовь к детям. Но, показав эти черты, поэт не принизил образа великого учителя. И хотя смерть Ленина — это величайшее всенародное горе, Есенин понимает:

Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:
«Ленин умер!»
Их смерть к тоске не привела.
. . . .
Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...

Сейчас, оглядываясь в прошлое, поражаешься, с какой точностью поэт передал настроение миллионов людей России в те дни, когда мы осиротели.

«Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!» [14] — твердили тогда и стихи и плакаты. Такой ритм отбивало каждое сердце.

Но если настроение рабочего класса и революционной молодежи было видно явно, более скрыты и затаенны были

те глубокие сдвиги, которые после смерти Ленина происходили в среде интеллигенции, даже в тех слоях ее, которые находились далеко от партии. Многие большие ученые, выдающиеся деятели искусств в те дни впервые задумались о судьбах России, о том, что не случайно народ избрал ленинский путь, и о том, что иной путь для народа просто немыслим. А что происходило в те дни с советским крестьянством, об этом с чуткостью большого художника рассказал Есенин и в «Возвращении на родину», и в «Руси советской», и во многих других своих стихотворениях.

Мы в тот период довольно часто встречались с Сергеем Есениным на квартире одного из наших общих знакомых [15]. Эта уютная квартира каждым летом становилась пристанищем многочисленных приятелей хозяина. Здесь останавливался приезжавший из Ленинграда Иван Петрович Флеровский, большевик-журналист, видный участник Октябрьской революции в Петрограде. Сюда во время XIII съезда партии, летом 1924 года, приходили коммунисты, делегаты Закавказья. Часто бывали здесь и мы, молодые литераторы, примыкавшие к «напостовскому направлению».

Кажется, все тем же летом 1924 года мы вдвоем с Есениным сидели однажды за столом в этой квартире. Вопреки общепринятым представлениям о Есенине, мы... пили чай! Вдруг в комнату вошел Безыменский и, увидев нас, сидевших вдвоем в пустой комнате, словно остолбенел. В то время мы с Безыменским, оставаясь друзьями, несколько разошлись во взглядах на литературу. С Есениным же Безыменского разделяла принадлежность к различным направлениям поэзии. И я сказал, чтобы прекратить неприятную паузу:

— А вот и Саша Безыменский...

Есенин со свойственной ему легкой грацией быстро вскочил и с доброжелательной улыбкой протянул руку Безыменскому. Но в том крепком рукопожатии, которым ответил ему Безыменский, возможно, что и в улыбке, несколько принужденной, Есенин почувствовал что-то непростое и демонстративное. И Сергей сказал, многозначительно, хитро прищурившись:

— Тяжело пожатье каменной десницы.

Впоследствии Безыменский запечатлел эту встречу в одном из своих стихотворений [16].

О дружеских отношениях Есенина с коммунистами сказано мало, почти ничего. Глубокими и сердечными отношениями был, например, связан Есенин с П. И. Чаги-

ным, тогда редактором «Бакинского рабочего». А ведь, не зная о них, многого не поймешь в том, что происходило тогда с Есениным.

Да и немудрено, это были годы, когда Сергей не переставал раздумывать над судьбой России, над судьбой крестьянства русского. Он не умел и не любил осмысливать события теоретически. Когда он, имея в виду произведения Карла Маркса, сказал в стихотворении:

Ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал...— [17]

это было сущей правдой. Есенин смолоду не был охотником до теоретических книг. Но с большой охотой и интересом, особенно после смерти Ленина, слушал он разговоры на текущие политические темы.

Летом 1924 года Есенин уехал в деревню [18]. Вернувшись, он пришел к нашему общему знакомому. Там в то время как раз собралось много гостей, было весело и шумно.

Сергей мигнул мне, и мы вышли в соседнюю комнату. Это была спальня, с большим шкафом, зеркальная дверца которого была полуоткрыта и качалась. Разговор этот особенно запомнился мне потому, что я видел нас обоих, отраженных в этом движущемся стекле.

— Знаешь, я сейчас из деревни,— понижая голос, зашептал он.— Вот раньше, когда, бывало, я приезжал в деревню, то орал отцу, что я большевик, случалось, обзывал его кулаком — так, больше из задора... А теперь приехал, что-то ворчу насчет политики: то неладно, это не так... А отец мне вдруг отвечает: «Нет, сынок, эта власть нам очень подходящая, вполне даже подходящая...» Ты знаешь, чтобы из него такие слова вывернуть, большое дело надо было сделать. А все Ленин! Знал, какое слово надо сказать деревне, чтобы она сдвинулась. Что за сила в нем, а? А я что-то не то орал... пустяки.

И все, что он мне тут же рассказал о деревенских делах, потом, словно процеженное, превратилось в его знаменитых стихах о деревне и в «Анне Снегиной» в чистое и ясное слово поэзии.

Я никогда не видел Есенина обряженным в мужицкую одежду, назвать его «мужиковствующим» никак нельзя было — его социальная природа проявлялась непроизвольно и порой неожиданно.

Так, в разговоре о впечатлениях своей заграничной поездки он рассказал вдруг о встрече с русским бело-

эмигрантом, служившим официантом в ресторане и на вопрос Есенина чванливо назвавшим свой полный титул и тот гвардейский полк, где он в царское время служил офицером. И Есенин, в самом тоне этого ответа почувствовавший оскорбление своего плебейского чувства собственного достоинства, назвался: «А я поэт Сергей Есенин, рязанский мужик, и ты мне сейчас прислуживаешь!»

Конечно, это было не великодушно по отношению к поверженному врагу, но с какой непосредственностью в этой грубой выходке сказалось то, что Есенин, при некоторой идейной сумятице, чувствовал себя сыном революции, ясно сознававшим, где его враги и где его друзья.

Едва ли не с начала моего знакомства с Есениным шли разговоры о том, что он женится на Софье Андреевне Толстой, внучке писателя Льва Толстого. Сергей и сам заговаривал об этом, но по своей манере придавал этому разговору шуточный характер, вслух прикидывая: каково это будет, если он женится на внучке Льва Толстого! Но что-то очень серьезное чувствовалось за этими как будто бы шуточными речами.

Да и какие тут могли быть шутки! В облике этой девушки, в округлости ее лица и проницательно-умном взгляде небольших, очень толстовских глаз, в медлительных манерах сказывалась кровь Льва Николаевича. В ее немногословных речах чувствовался ум, образованность, а когда она взглядывала на Сергея, нежная забота светилась в ее серых глазах. Она, видно, чувствовала себя внучкой Софьи Андреевны Толстой. Нетрудно догадаться, что в ее столь явной любви к Сергею присутствовало благородное намерение стать помощницей, другом и опорой писателя.

Мы собрались на «мальчишник» у той нашей приятельницы, которая и познакомила меня с Есениным. Я мало кого знал из друзей Есенина, и некоторые из них мне не нравились — это была та среда литературной богемы, к которой я относился без всякой симпатии. Может быть, сейчас я на многих посмотрел бы более снисходительно, но тогда во мне сильна еще была пуританская и сектантская нетерпимость военного коммунизма. Сережа то веселился, то вдруг задумывался. Потом взял гитару...

Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке [19].

Как сейчас слышу я его немного глуховатый голос, простой и печальный напев, ту особенную русскую манеру пения, о которой Лев Толстой сказал, что поется с убеждением, что главное — это не песня, а слова.

Думы мои, думы! Боль в висках и темени.
Промотал я молодость без поры, без времени.

«А ведь ему совсем нелегко живется,— впервые подумал я тогда.— Болен он, что ли?..»

Сергей допел, все кинулись к нему, всем хотелось его целовать, благодарить за эту прекрасную песню, в которой необычайно переплелись и затаенная, глубокая тоска, и прощание со своей молодостью, и его заветы, обращенные к новой молодости, к бессмертной и вечно молодой любви...

«В молодости нравился, а теперь оставили»... Но его и сейчас любили. Что же это? Неужели кокетство?..

Он махнул рукой и вдруг ушел.

— Ну и оставьте его,— сказала хозяйка дома.

— Что же, все как полагается на мальчишнике,— сказал кто-то,— расставаться с юностью нелегко.

Заговорили на какие-то другие темы. Хозяйка дома незаметно вышла, потом показалась в дверях и поманила меня.

— Плачет,— сказала она,— тебя просил позвать.

Сергей сидел на краю кровати. Обхватив спинку с шишечками, он действительно плакал.

— Ну чего ты? — я обнял его.

— Не выйдет у меня ничего из женитьбы! — сказал он.

— Ну почему не выйдет?

Я не помню нашего тогдашнего разговора, очень быстрого, горячечного,— бывают признания, которые даже записать нельзя и которые при всей их правдивости покажутся грубыми.

— Ну, если ты видишь, что из этого ничего не выйдет, так откажись,— сказал я.

— Нельзя,— возразил он очень серьезно.— Ведь ты подумай: его самого внучка! Ведь это так и должно быть, что Есенину жениться на внучке Льва Толстого, это так и должно быть!

В голосе его слышались гордость и какой-то по-крестьянски разумный расчет.

— Так должно быть! — повторил он.— Да чего уж там говорить,— он вытер слезы, заулыбался,— пойдем к народу!

После того как Софья Андреевна вышла замуж за Есенина, я как-то был приглашен к ним. Странно было увидеть Сергея в удобной, порядливой квартире, где все словно создано для серьезного и тихого писательского труда. Там у нас произошел один из самых серьезных и страстных разговоров о пути крестьянства. По обыкновению, Сережа непосредственно в разговоре не участвовал, он слушал, как я спорил с одним из его друзей.

Друг его открыто выражал неверие в возможность социалистической переделки деревни, он приводил факты, свидетельствующие о возрастании веса кулачества в экономике деревни, предвещал дальнейший расцвет кулачества и видел в нем весьма осязательную угрозу пролетарской диктатуре.

Я, опираясь на одну из последних работ Ленина — «О кооперации» (1923 год) — и на недавние постановления правительства и партии, говорил о возможности другого, кооперативного, социалистического пути развития. Слово «колхоз» еще не было произнесено, но оно носилось в воздухе. Речь шла о «переходе» «к новым порядкам путем возможно более *простым, легким и доступным для крестьянина»* (курсив В. И. Ленина). Именно эта сторона процесса больше всего интересовала Есенина,— он вставлял в наш диалог вопросы о том, что предстоит пережить крестьянству при переходе к социализму, насколько мучительно отзовется на крестьянине этот процесс перехода, какими душевными изменениями ознаменуется для крестьянина этот переход.

В начале разговора Сергей сидел на другом краю стола, рядом с женой, возле самовара, потом перешел на наш конец. Он взял низенькую скамеечку и сел так, чтобы были видны наши лица. Помимо логических доказательств ему нужно было еще что-то.

Мне очень хотелось, чтобы он всегда жил так — тихо, сосредоточенно. Писателю его масштаба, его величины таланта следовало бы жить именно так. Но не помню, в этот ли раз или в другой, когда я зашел к нему, он на мой вопрос, как ему живется, ответил:

— Скучно. Борода надоела...

— Какая борода?

— То есть как это какая? Раз — борода,— он показал на большой портрет Льва Николаевича,— два — борода,— он показал на групповое фото, где было снято все семейство Толстых вместе с Львом Николаевичем.— Три — борода,— он показал на копию с известного портрета Репина.— Вот

там, с велосипедом,— это четыре борода, верхом — пять... А здесь сколько? — Он подвел меня к стене, где под стеклом смонтировано было несколько фотографий Льва Толстого.— Здесь не меньше десяти! Надоело мне это, и все! — сказал он с какой-то яростью.

Я ушел в предчувствии беды. Беда вскорости и стряслась: начался страшный запой, закончившийся помещением Сергея в психиатрическую лечебницу Ганнушкина.

По городу шли слухи, что Ганнушкин, выпуская Есенина, сделал его близким грозное предупреждение: не имея формальных оснований дольше задерживать Есенина в больнице, он должен обратить их внимание на то, что припадки меланхолии, ему свойственные, могут кончиться самоубийством.

И вот, когда мне пришлось нести на плечах гроб Есенина, я все вспоминал эту последнюю нашу встречу у него дома, наш горячий спор и милое, полное искреннего и самозабвенного волнения лицо его: ведь спор шел о самом для него дорогом — о судьбе родины, о социализме, о пути родного ему крестьянства — и когда говорил я, он смотрел в лицо мне, а когда его друг, он смотрел в его лицо...

Москва с плачем и стенанием хоронила Есенина. В скорби о нем соединилась вся, тогда разделенная на группы и враждебные направления, советская литература. Вряд ли есть поэт-современник, не посвятивший памяти Есенина хотя бы несколько строк. Стихотворение Маяковского возвышается над всеми прочими стихами, посвященными памяти Есенина, как достойный памятник собрату. Тогда еще состоявшее почти поголовно из юношей, пролетарское писательское движение выразило свое отношение к Сергею Есенину в хорошей статье Владимира Киршона, вышедшей тогда отдельной книжкой и по настоящее время представляющей известный интерес,— она вошла в однотомник Киршона, изданный в Гослитиздате.

Перед тем как отнести Есенина на Ваганьковское кладбище, мы обнесли гроб с телом его вокруг памятника Пушкину. Мы знали, что делали,— это был достойный преемник пушкинской славы.

31 января 1957 года.

Е. Е. ШАРОВ

НА ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ

В начале двадцатых годов в моем родном городе Твери было создано Литературно-художественное общество имени И. С. Никитина. Председателем этого общества был избран мой друг — местный поэт Матвей Дудоров, племянник Спиридона Дрожжина.

Это было в 1924 году, вскоре после смерти самобытного поэта Александра Ширяевца, и наше Никитинское общество решило отметить это горестное событие большим литературным вечером. Мне, как члену правления общества, лично знавшему многих московских поэтов, было поручено пригласить на наш вечер тех столичных писателей, кто был связан узами дружбы с Александром Ширяевцем.

Пользуясь своим знакомством с Есениным, я уговорил его приехать на наш концерт. Есенин не мог не откликнуться: Ширяевец был его большим другом, его памяти Сергей Александрович посвятил прекрасные стихи:

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать...

Есенин сдержал обещание и в назначенный для концерта день — 9 июня 1924 года — приехал, захватив с собой на концерт Петра Орешина, Сергея Клычкова и Николая Власова-Окского.

Они приехали около трех часов дня.

Не торопясь пообедали у меня. Я жил тогда на улице Урицкого, на втором этаже дома № 17. Узнав, что у меня есть маленький сын, Сергей попросил жену показать его. Она провела Есенина в спальню, где в кроватке спал двухлетний Игорь. Поэт долго смотрел на спящего ребенка, а потом осторожно поцеловал его в голову.

ЗДАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАБОЧЕГО КЛУБА

(КИНО „ГИГАНТ")

ПОНЕДЕЛЬНИК **9** ИЮНЯ.

ТВЕРСКОЕ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБЩЕСТВО ИМЕНИ И. С. НИКИТИНА

УСТРАИВАЕТ ВЕЧЕР

ПОНЕДЕЛЬНИК **9** ИЮНЯ.

КРЕСТЬЯНСКОЙ ПОЭЗИИ

ПАМЯТИ

АЛЕКСАНДРА

ШИРЯЕВЦА

С УЧАСТИЕМ ПОЭТОВ

Я. Власова-Окского, С. Д. Дрожжина, Матвея Пудерова, Сергея Есенина, Сергея Клычкова, Петра Орешина, Анатолия Степанова, Осипа Смольского, Петра Трошина, Ефима Шарова, Владимира Юренева и других.

I ОТДЕЛЕНИЕ

1. Поэт Александр ШИРЯЕВЕЦ — Доклад Петра Орешина.
2. Прочтут стихи, посвященные Александру ШИРЯЕВЦУ:

ВЛАСОВ-ОКСКИЙ Я., ЕСЕНИН СЕРГЕЙ, КЛЫЧКОВ СЕРГЕЙ, ОРЕШИН ПЕТР И ДР.

II ОТДЕЛЕНИЕ

ПРОЧТУТ СВОИ НОВЫЕ СТИХИ.

1. Власов-Окский Я.
2. Дрожжин С. Д.
3. Пудеров Матвей.
4. Есенин Сергей.
5. Клычков Сергей,
7. Орешин Петр.
8. Рогожин Н.,
9. Смольский Осип.
10. Степанов Анатолий.
11. Трошин Петр.
12. Шаров Ефим.
13. Юренев Владимир и другие

НАЧАЛО РОВНО В 8 ЧАСОВ ВЕЧЕРА.

Цены билетам на места от [illegible] коп. до 2 руб. Вход в зал 25 коп.

ПОДРОБНОСТИ ВЕЧЕРА В ПРОГРАММЕ

По свидетельству жены, в эту минуту на глазах Сергея появились слезы, и, обращаясь к ней, целуя у нее руку, поэт с тихой грустью сказал:

— А я своих детей растерял по свету.

Есенин, видимо, очень любил детей, но сложная судьба лишила его настоящего семейного счастья.

Несколько позже этот грустный мотив прозвучал в его стихах («Письмо от матери»):

Но ты детей
По свету растерял,
Свою жену
Легко отдал другому,
И без семьи, без дружбы,
Без причал
Ты с головой
Ушел в кабацкий омут.

Вечер должен был состояться в кинотеатре «Гигант» (ныне Дом офицеров). Кроме москвичей, на вечере предполагалось участие и молодых тверских поэтов — членов Никитинского общества. Распорядителем вечера был в афише объявлен Матвей Дудоров. Открылся вечер небольшим докладом Сергея Клычкова о самобытном творчестве рано умершего Ширяевца.

Первым на сцену вышел Есенин. Он был встречен громом аплодисментов и приветственными возгласами. Это ободрило всех нас, устроителей концерта, и, видимо, понравилось самому поэту. Восторженная встреча показала, что и наши горожане, особенно молодежь, знают и любят поэзию Есенина.

На этом вечере поэт был, как говорят, в ударе. Он читал изумительно, неподражаемо.

В первом отделении концерта Есенин читал стихи: «Мы теперь уходим понемногу...», «Русь советская», «Возвращение на родину», «Письмо матери», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Все живое особой метой...», «Дорогая, сядем рядом...»

Но публика не отпускала его со сцены: аплодисменты, шум, крики «бис».

Из-за кулис я видел многих знакомых, которые сидели в первых рядах. Эти люди в буквальном смысле слова плакали от восторга. Я видел возбужденное лицо старика профессора педагогического института М. П. Миклашевского, который, несмотря на почтенный возраст, видимо, не стеснялся своих восторженных слез.

Все первое отделение было отдано москвичам. Во втором выступали поэты-тверяки, а в конце вечера, как говорят, «под занавес», опять вышел Есенин. Он читал стихи «Мне грустно на тебя смотреть...», «Пускай ты выпита другим...» и многие другие.

Вечер непозволительно затягивался.

Молодежь в зрительном зале сошла со своих мест, приблизилась к рампе, чтобы лучше рассмотреть Есенина.

Вечер кончился очень поздно. По окончании, как это было раньше принято, поэты пошли, несмотря на очень поздний час, группой сфотографироваться к Е. Я. Элленгорну, в его художественную студию, в любое время открытую для служителей искусства [1].

А затем все участники концерта были приглашены ужинать в ресторан «Кукушка», который тогда находился в городском саду, на берегу Волги. Сейчас на месте того деревянного здания построен кинотеатр «Звезда».

Надо оговориться, что приезд Есенина в старую Тверь в 1924 году был не первым. За год до этого, в 1923 году, поэт, правда проездом, тоже был в нашей Твери. Точную дату первого приезда установить не удалось, но по некоторым данным можно предположить, что это было в августе [2].

После разрыва с Дункан Есенин в начале августа 1923 года вернулся из-за границы в Москву. У него не было тогда в Москве комнаты, и друзья посоветовали обратиться за содействием к Михаилу Ивановичу Калинину. Председатель ВЦИКа в это время отдыхал у себя в деревне, в селе Верхняя Троица Кашинского района.

Есенин уговорил американского писателя Альберта Риса Вильямса, друга покойного Джона Рида, поехать в Тверскую губернию к всесоюзному старосте.

Добравшись поездом до Твери, путешественники переночевали в гостинице. А на следующий день Есенин достал где-то тройку лошадей, и с бубенцами под дугой, по старому русскому обычаю, они помчались в Верхнюю Троицу.

Это путешествие А. Рис Вильямс описал в одном из своих очерков, который под заглавием «Поездка в Верхнюю Троицу» был напечатан в переводе с английского в № 12 журнала «Москва» за 1960 год.

Прошло сорок шесть лет с момента второго приезда Есенина в наш город. На публикуемой здесь афише вечера указаны участники его, и грустно сказать, что из них в живых сейчас лишь один автор этих строк...

1970

П. И. ЧАГИН

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН В БАКУ

В феврале 1924 года я был в командировке в Москве по партийным делам. Вечером, накануне дня отъезда в Баку, где я в то время работал вторым секретарем ЦК Азербайджана и редактором газеты «Бакинский рабочий», нагрянул в гости к Василию Ивановичу Качалову. Познакомился здесь с Сергеем Есениным [1]. Он с жадностью слушал мои рассказы о Баку, о том, что в этом городе еще много «золотой дремотной Азии» [2], но она «опочила» на нефтяных вышках. Расходились шумно. В прихожей была толчея.

Рано утром меня в гостинице разбудил энергичный стук в дверь. В неожиданном раннем посетителе я узнал Сергея Есенина. Застенчиво улыбаясь, он сказал:

— Простите, но, кажется, мы вчера с вами перепутали калоши.

Оказалось, действительно так и было. И Есенин не торопился после этого уходить, и я старался удержать его. Он остался и проводил меня на вокзал. Завязалась большая дружба. Он со своей стороны скрепил ее обещанием приехать в Баку. А я на его вопрос: «А Персию покажете?» — обещал и Персию показать, а если захочет, то и Индию.

— Помните: «Корабли плывут будто в Индию»? [3]

По буйной молодости (я был на три года моложе Есенина) это представлялось мне не таким уж трудным делом.

Шли месяцы. Я уж отчаялся ждать Есенина в Баку. Но вот 20 сентября, приехав вечером в редакцию, вижу на столе у себя записку:

«Т. Чагин!

Я приехал, заходил к Вам, но Вас не застал.

Остановился в отеле «Новая Европа» № 59.

Позвоните директору отеля и передайте, когда Вас можно видеть.

С. Есенин.

20. IX. 24.»

В тот же час Есенин был у меня. Отдав короткую дань излиянию дружеских чувств, я пожурил Есенина за то, что он так поздно приехал: ведь 20 сентября — священный для бакинцев день памяти 26 комиссаров. И если бы приехал дня на два раньше, он мог бы дать в юбилейный номер стихи. Есенин еще в Москве признавался мне, что тема гибели 26 комиссаров волнует его.

Быстро договорились поправить дело и поместить есенинские стихи по горячему следу в ближайшем номере газеты. Но их еще нет в природе. Как же быть?

Я вооружил Есенина материалами о 26 бакинских комиссарах — недостатка в них в Баку не было. Так, например, номер «Бакинского рабочего» к предшествующей годовщине с такого рода материалами был выпущен на двадцати восьми полосах. Есенин жадно набрасывается на эти материалы и запирается в моем редакторском кабинете.

Под утро приезжаю в редакцию и вижу: стихи «Баллада о двадцати шести» на столе. И творец этой жемчужины советской поэзии лежит полусонный на диване, шепча еще неостывшие строки:

Пой, поэт, песню,
Пой.
Ситец неба такой
Голубой...
Море тоже рокочет
Песнь.
26 их было,
26.

В ближайшем номере, 22 сентября, «Баллада о двадцати шести» была напечатана в «Бакинском рабочем».

Вскоре я перевез Сергея Есенина из гостиницы к себе на квартиру.

Просыпаюсь как-то утром, выхожу в соседнюю комнату, смотрю: Есенин сидит, углубившись в том избранных произведений Маркса, который он извлек из множества книг моей библиотеки. Удержавшись от напоминания о том, что «ни при какой погоде» он «этих книг, конечно, не читал» [4], я поинтересовался тем, что же он читает.

— Да я уже вычитал из вступительной статьи замечательные вещи,— сказал он.— Как здорово относился Маркс к Генриху Гейне! Вот как надо обращаться с поэтами! А потом,— как Маркс любил детей, даже, играючи с ними, их па себе катал.

Я посоветовал ему вчитываться дальше в самого Маркса. А он процитировал себя:

В стихию промыслов
Нас посвящает Чагин.—

и добавил:

Давай, Сергей,
За Маркса тихо сядем [5].

Потом усмехнулся:

— Опять наш общий друг Воронский будет брюзжать по твоему адресу: слишком форсируешь ты, мол, поворот Есенина к советской тематике.

А чуть попозже я увидел, как Есенин играл с моей шестилетней дочерью и, встав на четвереньки, катал ее на себе.

Одним из самых примечательных дней в бакинский период жизни Сергея Есенина был день 1 мая 1925 года.

Первомай того года мы решили провести необычно. Вместо общегородской демонстрации организовали митинги в промысловых и заводских районах, посвященные закладке новых рабочих поселков, а затем — рабочие, народные гулянья. Взяли с собой в машину, где были секретари ЦК Азербайджана, Сергея Есенина. Он не был к тому времени новичком в среде бакинских нефтяников. Он уже с полгода как жил в Баку. Часто выезжал на нефтепромыслы, в стихию которых, говоря его словами, мы его посвящали. Много беседовал с рабочими, которые знали и любили поэта.

Есенина на маевке встретили как старого знакомого. Вместе с партийными руководителями ходил он по лужайкам, где прямо на земле, на молодой весенней траве, расположились рабочие со своими семьями, читал стихи, пел частушки.

После этого поехали на дачу в Мардакянах, под Баку, где Есенин в присутствии Сергея Мироновича Кирова неповторимо задушевно читал новые стихи из цикла «Персидские мотивы».

Киров, человек большого эстетического вкуса, в дореволюционном прошлом блестящий литератор и незаурядный литературный критик, обратился ко мне после есенинского чтения с укоризной:

— Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзию Персии в Баку? Смотри, как написал, как будто был в Пер-

сии. В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, какие его могут подстеречь, и боясь за его жизнь. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку. Так создай! Чего не хватит — довообразит. Он же поэт, да какой!

Огромное впечатление произвела на Есенина эта встреча с Сергеем Мироновичем. Они встречались уже второй раз. Первый раз — осенью 1924 года, на вечере в честь приезда Михаила Васильевича Фрунзе в Баку. Как и тогда, Есенин сейчас без конца выведывал у меня все подробности боевой работы Кирова в Одиннадцатой армии, в Астрахани [6]. Признавался мне, что лелеет и нежит мечту написать эпическую вещь о гражданской войне, и чтобы обязательно в центре всего этого эпоса, который должен перекрыть и «Песнь о великом походе», и «Анну Снегину», и все написанное им, был Ленин.

— Я в долгу перед образом Ленина,— говорил Есенин.— Ведь то, что я писал о Ленине — и «Капитан земли» и «Еще закон не отвердел»,— это слабая дань памяти человека, который не то что как Петр Первый Россию вздернул на дыбы, а вздыбил всю нашу планету.

Летом 1925 года я перевез Есенина к себе на дачу. Это, как он сам признавал, была доподлинная иллюзия Персии — огромный сад, фонтаны и всяческие восточные затеи. Ни дать ни взять Персия.

Жил он здесь с женой Софьей Андреевной Толстой-Есениной и много работал.

— Вот и попал благодаря тебе,— говорил он, приводя строку из Пушкина,— «в обитель дальную трудов и чистых нег» [7].

Как-то в сентябре 1925 года, на даче, перед отъездом Есенина в Москву, я увидел его грустно склонившим свою золотую голову над желобом, через который текла в водоем, сверкая на южном солнце, чистая прозрачная вода.

— Смотри, до чего же ржавый желоб! — воскликнул он. И, приблизившись вплотную ко мне, добавил: — Вот такой же проржавевший желоб и я. А ведь через меня течет вода даже почище этой родниковой. Как бы сказал Пушкин — кастальская! Да, да, а все-таки мы оба с этим желобом — ржавые.

В его душе уже тогда, видимо, бродили трагические, самобичующие строки «Черного человека».

В конце ноября 1925 года он прислал мне из Москвы, из больницы, письмо с рукописью «Черного человека»: «Прочти и подумай, за что мы боремся, ложась в постели?..»

В конце декабря я приехал в Москву на Четырнадцатый съезд партии [8]. В перерыве между заседаниями Сергей Миронович Киров спросил меня, не встречался ли я с Есениным в Москве, как и что с ним. Сообщаю Миронычу: по моим сведениям, Есенин уехал в Ленинград. «Ну что ж,— говорит Киров,— продолжим шефство над ним в Ленинграде. Через несколько дней будем там». Недоумеваю, но из дальнейшего разговора узнаю: состоялось решение ЦК — Кирова посылают в Ленинград первым секретарем губкома партии, Ивана Ивановича Скворцова-Степанова — редактором «Ленинградской правды», меня — редактором «Красной газеты».

Но, к величайшему сожалению и горю, не довелось Сергею Мироновичу Кирову продолжить шефство над Сергеем Есениным, а по сути дела, продлить животворное влияние партии на поэта и на его творчество.

На следующий день мы узнали, что Сергей Есенин ушел из жизни.

⟨1965⟩

В. А. МАНУЙЛОВ

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Сергея Есенина я увидел впервые 4 августа 1921 года в Москве, в кафе имажинистов «Стойло Пегаса», на Тверской улице. Ему было тогда около двадцати шести лет. Я увидел его полного сил и молодого задора. Еще не было встречи Есенина с Дункан и поездки за границу.

В Москву я приехал с путевкой Новочеркасского отдела народного образования, чтобы поступить на факультет общественных наук Московского университета, но опоздал. Зачисление уже было закончено, и я усердно посещал всевозможные литературные вечера. Стихи Есенина я, конечно, знал и мечтал увидеть и услышать его.

В шумном, дымном «Стойле Пегаса», на небольшой эстраде, сменяя друг друга, появлялись молодые, никому не известные поэты, иногда выступали актеры с чтением стихов и певицы, а к концу программы — такие разные, такие не похожие один на другого поэты-имажинисты: Вадим Шершеневич, Анатолий Мариенгоф, Александр Кусиков и Сергей Есенин.

Публику, располагавшуюся за небольшими столиками, можно было резко разделить на два разряда: юных любителей и любительниц поэзии и спекулянтов-нэпманов, появлявшихся в кафе со своими случайными спутницами, чтобы провести вечер, а иногда и для того, чтобы встретиться с каким-нибудь дельцом и обсудить очередную торговую сделку. Первые внимательно следили за всем происходящим и бурно реагировали на выступления поэтов, вторые бесцеремонно переговаривались, гремя ножами и вилками, мало обращая внимания на эстраду.

Молодежь легко знакомилась, обсуждая только что прозвучавшие стихи. Не помню, как завязался разговор с сидевшими по соседству Рюриком Роком, Сусанной Мар и Наталией Бенар — молодыми, но в литературных кругах тогда уже известными поэтами. В перерыве к их столику своей удивительной крылатой походкой подошел Есенин. Среднего роста, широкий в плечах, он поэтому казался ниже, чем был на самом деле. Подвижный, ладно сложенный,

Есенин производил впечатление здорового, уверенного в своей силе человека, очень красивого русского человека, в живом, светлом взгляде которого было много доброжелательности, но вместе с тем иногда загорались огоньки веселого озорства. В нем было что-то притягивающее, необыкновенно привлекательное. Это чувствовали все, и, конечно, его магнетическое обаяние особенно действовало на детей и женщин, распространялось оно также и на животных. Однако присущие ему нервная возбудимость, впечатлительность и ранимость, почти всегда сопутствующие художественно одаренным натурам, заметны были не сразу.

Беседуя с моими новыми знакомыми, Есенин с любопытством поглядывал на меня. Потом первый заговорил: «А ты, братик, откуда?» Я отвечал. Есенин присел рядом на красный диванчик и спросил, пишу ли я стихи и нет ли у меня их с собой. Так мне посчастливилось не только познакомиться с Есениным, но и в тот же вечер дать ему посмотреть бывшую со мной тетрадочку моих стихов.

Стихи были мальчишеские, несамостоятельные. Через несколько дней я расхрабрился и показал их В. Я. Брюсову, который в школьные годы был для меня непререкаемым метром. Я был подавлен его совершенно справедливым приговором, обрушившимся на меня откуда-то с далеких вершин, как гром небесный из облаков. Валерий Яковлевич говорил тихим, глухим голосом, замораживая своей сдержанностью и воспитанностью, но его эрудиция и безапелляционность уничтожали и оглушали дерзнувшего приблизиться неофита. Совсем иначе отнесся к провинциальному юноше Есенин. Он прочел, нет, просмотрел бегло и зорко несколько стихотворений и заговорил не о мелочах, а о самом главном, о том, что составляет поэзию. Доброжелательно, никак не подчеркивая своего превосходства, сказал, что стихи пока еще такие, как пишут многие, но продолжать стоит, может быть, что-нибудь получится, главное же — овладеть своим голосом, ничего не выдумывать, а писать свое и о себе, чтобы ни на кого не было похоже. Вспомнил свою раннюю поэму «Марфа Посадница»: «Я эту вещь чуть ли не шестнадцати лет задумал, а написал в первые месяцы после начала войны. Теперь так бы не написал, другой стал. Хоть и раннее сочинение, а мне дорого. Бывает, что и ранние стихи без стыда потом вспоминаешь».

Я спросил, над чем он работает сейчас. Есенин отвечал, что только недавно закончил драматическую поэму «Пугачев», на днях будет впервые читать ее на публике в литературном особняке на Арбате. Сказал, что там я смогу

увидеть многих московских поэтов, это мне будет интересно, и тут же написал записку администратору, чтобы меня пропустили на его чтение.

Обрадованный вниманием Есенина, я попросил разрешения выступить со своими стихами с эстрады в «Стойле Пегаса». Мне позволили, и Есенин даже пообещал весьма скромный, но заманчивый для меня гонорар за выступление — 25 тысяч рублей. Кажется, Есенин несколько превысил свои права, потому что финансовыми делами «Стойла Пегаса» ведал не он, и платное выступление, вероятно, следовало согласовать с Анатолием Борисовичем Мариенгофом. Как бы то ни было, я был в совершенном восторге. Я полюбил Есенина с первого взгляда, и его внимание меня окрылило.

По требованию публики Вадим Шершеневич прочел в тот вечер свое известное тогда стихотворение, начинавшееся так:

Другим надо славы, серебряных ложечек,
Другим стоит много слез,—
А мне бы только любви немножечко
Да десятка два папирос.

А мне бы только любви вот столечко,
Без истерик, без клятв, без тревог,
Чтоб мог как-то просто какую-то Олечку
Обсосать с головы до ног.

И, право, не надо злополучных бессмертий,
Блестяще разрешаю мировой вопрос,—
Если верю во что — в шерстяные материи,
Если знаю — не больше, чем знал Христос.

Вадим Шершеневич, несомненно, был самым образованным из всех имажинистов. Теперь его стихи представляются мне более значительными и интересными, чем стихи Мариенгофа. Но прочитанное стихотворение мне не понравилось. Я сочинил и прочел экспромт «Самогимн» — дерзкий ответ Шершеневичу:

Тебе бы любви немножечко
Да десятка два папирос,
А мне вот узка дорожечка,
По которой пришел Христос...

И так далее в этом роде.

В «Стойле Пегаса» произошло что-то вроде литературного скандала. Публика требовала повторения стихов

и дружно меня приветствовала. Самым неожиданным в этой истории было то, что Есенин остался доволен моим выступлением, ему понравились мои озорные стихи (а вскоре я понял, что его отношения с Мариенгофом и Шершеневичем в то время стали осложняться и далеко не во всем Есенин был их единомышленником). Однако, вручая мне обещанные 25 тысяч рублей, Есенин ласково, но вместе с тем и строго сказал, что мои выступления в «Стойле Пегаса» в дальнейшем вряд ли возможны, так как я позволил себе слишком много.

Мы вместе вышли на улицу. Я спросил: «Разве вы не останетесь, ведь вечер еще не кончен?» «А ну их!» — ответил Сергей Александрович. И мы пошли по Тверской, а потом по каким-то незнакомым для меня тогда переулкам, разговаривая о стихах. Накрапывал дождик, но мы как-то не обращали на него внимания.

Участие Есенина очень поддержало меня. Так завязалось наше знакомство, продолжавшееся до последних месяцев его жизни. По рекомендации Есенина тогда же, в августе 1921 года в Москве, я был записан в Союз поэтов и получил членский билет. Я был в «Стойле Пегаса» еще несколько раз. Иногда Есенин подсаживался ко мне и приветливо расспрашивал о моих делах. Но с эстрады в кафе имажинистов я больше уже не выступал.

Встречаться и ближе узнать В. Шершеневича мне не довелось. А вот с Анатолием Борисовичем Мариенгофом, уже много лет спустя, в Ленинграде, завязались добрые и дружеские отношения. Он был женат на очаровательной, милой, сердечной Анне Борисовне Никритиной, актрисе Ленинградского Большого драматического театра. В годы блокады я преподавал в студии этого театра курс русской литературы, и одной из моих учениц была Нина Алексеевна Ольхина, которая дружила с Анной Борисовной. Мариенгоф никогда не вспоминал нашего первого знакомства и столкновения. Он сильно изменился, исчезла присущая ему в 20-е годы фатоватость, теперь он не пытался особо выделяться по одежде и поведению, держался скромно. Стихи свои читал редко и неохотно. Мне кажется, что не совсем справедливо критики и многие читатели резко отрицательно встретили его «Роман без вранья». Возможно, что к его воспоминаниям примешивается скрытая или даже подсознательная неприязненность к Есенину, может быть, даже зависть. Но в романе много любопытных и верных деталей. Еще в 1921 году я замечал, что Есенина раздражало снисходительно-покровительственное отноше-

ние к нему имажинистов, от которых он уже отходил в своем творчестве. И, конечно, уже тогда Шершеневич и Мариенгоф понимали, насколько Есенин талантливее их. Порой несовершенные стихи Есенина все же имели неизмеримо больший успех у слушателей и читателей. Шершеневич и Мариенгоф более нуждались в сотрудничестве с Есениным, чем он в их поддержке. А. Б. Никритина была тоньше, культурнее, духовнее Мариенгофа и, несомненно, оказывала на него благотворное влияние. Возможно, что под ее воздействием Мариенгоф сосредоточился на работе для театра и кино.

Но возвращаюсь к августу 1921 года. По записке Есенина меня беспрепятственно пропустили в Дом литераторов имени А. С. Грибоедова на Арбате. Это был закрытый клуб писателей, и на литературные вечера туда можно было попасть только по рекомендации членов Дома. Дата 7 августа мне запомнилась на всю жизнь, потому что в этот вечер я впервые услышал о смерти Александра Блока. Но последовательность событий с годами забылась, и в своих воспоминаниях о Есенине, напечатанных в 1972 году в журнале «Звезда» (№ 2), я передал их не совсем точно. Сейчас я нашел самый ранний вариант своих воспоминаний о встречах с Есениным, относящийся к 1925 году, и теперь у меня есть возможность более точно восстановить, как это было.

Есенин читал «Пугачева» с редким воодушевлением и мастерством, слегка задыхаясь, но звонко и буйно,— так через два года, когда я снова его услышал, он уже не читал.

Профессор С. И. Бернштейн несколько позднее записал на фонограф отрывок из монолога Хлопуши:

Уж три ночи, три ночи, пробиваясь сквозь тьму,
Я ищу его лагерь, и спросить мне некого.
Проведите ж, проведите меня к нему,
Я хочу видеть этого человека!

Несовершенная запись, сделанная в лаборатории Ленинградского института истории искусств, чудом сохранилась и теперь переписана на граммофонные пластинки. Она не совсем точно передает тембр есенинского голоса, но интонации его и манера чтения мне слышатся именно такими, как в тот вечер в московском Доме литераторов на Арбате. Есенин читал горячо, темпераментно жестикулируя, скакал на эстраде, но это не выглядело смешным, и было что-то звериное, воедино слитое с образами поэмы в этом невысоком и странном человеке, сразу захватившем

внимание всех присутствовавших в зале. И была в его чтении какая-то исступленность, сплошной нажим на каждое слово, почти без понижения голоса, и это било по нервам и постепенно начинало притуплять восприятие.

Я сидел рядом с поэтессой Сусанной Мар и Николаем Прохоровым. Во время читки вошел Брюсов с Адалис, потом Рукавишников; пришел Маяковский с Лилей Брик и маленьким пушистым зверьком на плече. Сначала я подумал, что это лисица, оказалось — ручная белочка. Обычно появление таких известных поэтов, как Брюсов и Маяковский, в литературных собраниях вызывало всеобщее внимание и даже шум, но на этот раз их приход заметили немногие, настолько захватило всех чтение Есенина. Но вот он кончил читать. Вышел Брюсов, более бледный, чем всегда, и заметно взволнованный. В его руках была телеграмма. Наступило глубокое молчание. Очень тихо, но внятно Брюсов произнес: «Получена телеграмма из Петрограда. Скончался Александр Блок». Все были потрясены. Но даже это известие не остановило бурных обсуждений поэмы Есенина. Многие находили, что это лучшая вещь Есенина, большое литературное событие, еще не успели разобраться, понять, что драматическая поэма ему не далась, так сильно было впечатление от его чтения.

Известно, что работе над «Пугачевым» предшествовало внимательное изучение пушкинской «Истории Пугачева». Но никто и не требовал от Есенина исторической достоверности. Его «Пугачев» воспринимался как лирическая драма, вернее, драматизированная романтическая поэма, перенасыщенная имажинистскими метафорами и сравнениями. Никого не смущали слова губернатора Рейнсдорпа в пересказе Хлопуши:

И дворянские головы сечет топор —
Как березовые купола
В лесной обители.

Или в монологе Шигаева:

Около Самары с пробитой башкой ольха,
Капая желтым мозгом,
Прихрамывает при дороге.
Словно слепец, от ватаги своей отстав,
С гнусавой и хриплой дрожью
В рваную шапку вороньего гнезда
Просит она на пропитанье
У проезжих и у прохожих...

Такая перенасыщенность образами вполне соответствовала поэтике имажинизма и отвечала требованиям значительной части аудитории, а если и возникали во время чтения какие-то сомнения, то они отступали на второй план перед покоряющей силой есенинской эмоциональности.

Потом читали стихи Александр Кусиков, Брюсов и другие поэты. Кусиков запомнился тем, что был в зеленой гимнастерке, в галифе и в сапогах. Стихи его меня мало тронули и у публики особого успеха не имели. После «Пугачева» все казалось беспомощным и вялым. Даже Брюсов, перед которым еще недавно я преклонялся, разочаровал меня.

Маяковский в тот вечер не выступал. Его окружало множество знакомых людей, но казалось, что он чувствует себя не совсем в своей среде. Во время чтения Есенина я время от времени отвлекался от него и всматривался в Маяковского и его спутницу. Они слушали внимательно, не переговаривались, как это делали некоторые. В этом внимании была какая-то сдержанность и настороженность. Возбуждение Есенина вызывало в Маяковском подчеркнутую невозмутимость, быть может, чуть-чуть демонстративную. Они ни разу друг к другу не подошли, не заговорили.

Выступление Есенина имело успех, но он рано ушел из Дома литераторов с кем-то из друзей.

Иногда я заходил в книжную лавку имажинистов. Есенин не любил торговать книгами, но охотно их надписывал и, как мне вспоминается, порою вызывал недовольство своих компаньонов, когда брал с прилавка книжку стихов и дарил ее посетителю. «Этак ты нас совсем разоришь», — сказал ему как-то при мне Шершеневич. Впрочем, понятно, что именно Шершеневич не мог быть доволен тем, что в его присутствии Есенин подарил мне свои стихи.

До сентября 1924 года мне не пришлось встречаться с Есениным. Правда, однажды мы лишь ненамного разминулись, когда Есенин был в Ростове-на-Дону в гостях у поэтессы Нины Грацианской. Он предполагал ехать на юг, но почему-то вдруг раздумал и чуть ли не в тот же день вечером отправился обратно в Москву. Вероятно, было это в феврале 1922 года. Нина Грацианская передала мне потом, что Есенин спрашивал обо мне и весело рассказывал о моей выходке в «Стойле Пегаса».

20 сентября 1924 года Есенин из Тифлиса приехал в Баку. О его приезде я узнал в редакции газеты «Бакинский рабочий». Петр Иванович Чагин сказал мне, что Есенин остановился в лучшей гостинице города «Новая Европа» и будет выступать на торжественном открытии памятника 26-ти бакинским комиссарам. Я не смог освободиться от дежурства в Политотделе Каспийского военного флота, где в то время служил, и не присутствовал на митинге, который открывал С. М. Киров и где Есенин вдохновенно прочел свою «Балладу о двадцати шести».

На следующий день, 21 сентября, часов в 10 утра, я пришел в гостиницу и попросил коридорного проводить меня к Есенину. Его номер был на пятом этаже. Я постучался. Есенин открыл сам. В небольшой комнате с окнами на север были еще двое, но они тотчас ушли. Сергей Александрович, без пиджака, в расстегнутой у ворота голубой рубашке, до моего прихода делал гимнастику. Он был весел и приветлив, тотчас узнал меня и, усадив на стул, стал расспрашивать о моих делах за те три года, что мы не виделись. Я не раз замечал, что разлука не отчуждает, а сближает. Так случилось и в этот раз. Мы не сообщались и не переписывались, и тем не менее встретились более близкими, чем расстались.

В номере отвратительно пахло мастикой, которой натирали в гостинице паркетные полы. Есенин открыл окно и сказал, что хочет куда-нибудь переселиться. Потом стал показывать привезенный из Америки эспандер — «резиновую штуку», которую растягивал, упражняя мышцы. Предложил мне попробовать, но у меня не получилось. Тут он рассмеялся и с удивительной легкостью развел руки в стороны, растягивая тугую резину. «Я давно так силу развиваю. Теперь в деревню отвезу. Пусть поупражняются». Уже тогда я заметил, что в этой еще не угасшей, почти звериной силе и ловкости появилась какая-то нервность, усталость. Внешне Есенин переменился еще больше, чем внутренне; скука во взгляде и легкие подергивания горькой улыбки напомнили мне, что Москва кабацкая позади, что сейчас он убежал от нее.

Не упоминая об Айседоре Дункан и недавнем разрыве с ней, Есенин стал рассказывать о европейских и американских впечатлениях, показывал привезенные оттуда вещи, при этом непременно называлась цена в долларах, франках или марках: «Плачено столько-то!» В этом было какое-то наивное хвастовство, чуть-чуть высокомерное, пренебре-

жительное любование игрушками современной цивилизации Запада.

Игрушки западной цивилизации забавляли его. Помнится, однако, что в те дни Есенин рассказывал, как он рассердился на известного критика В. Л. Львова-Рогачевского, который упрекал его за строчку в стихотворении «Русь советская» — «Но некому мне шляпой поклониться».

— Этот педант уверял меня, что шляпой никто не кланяется, кланяются, мол, только головой. Не понял он, что тут все в этой шляпе!

В деревне Есенин должен был поклониться именно шляпой. Доброжелательно относившийся к нему Львов-Рогачевский не уловил существенного мотива в этом стихотворении: «Я гражданин села» и вместе с тем: «В своей стране я словно иностранец». Не случайно в «Исповеди хулигана» Есенин так настойчиво упоминает о цилиндре (в который раз!) и о лакированных башмаках. Думается, особый смысл есть в признании поэта:

Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.

(«Я обманывать себя не стану»).

В залитом солнцем номере гостиницы Есенин показывал «американские штуки», радуясь им, как дикарь радуется бусам, и презирая их и не дорожа ими.

Некоторая фатоватость авторских признаний Есенина не была подражанием Мариенгофу или Шершеневичу, в его стихах звучал иной подтекст: «Мечтатель сельский — я в столице стал первоклассснейший поэт» («Мой путь»).

Около двенадцати часов дня по широкой лестнице мы поднялись на крышу отеля в ресторан. Отсюда открывался вид на залитую полуденным солнцем Бакинскую бухту. В этот час в ресторане было совсем пусто.

Пока мы ожидали завтрака, Есенин говорил о новых стихах, о том, что почти все они уже пристроены в разных редакциях. И удовлетворенно отметил: «Кому у нас больше всего за стихи платят? Вот «Русский современник» только Ахматовой да мне по три рубля за строчку дает. Еще Маяковскому хорошо платят. Поэтов у нас много, а хороших почти нет!»

В этом наивном хвастовстве не было самодовольства, нет, просто ему было забавно говорить об этом; понимать его следовало примерно так: «Вот, мол, смотри, какие дураки нашлись, за стихи какие деньги платят!»

Заговорив о Маяковском, Есенин заметно помрачнел. Он очень был обижен стихотворением «Юбилейное», написанным в тот год к 125-летию со дня рождения Пушкина. Маяковский тоже сетовал на то, что «чересчур страна моя поэтами нища», и, перечисляя своих современников — Дорогойченко, Герасимова, Кириллова, Родова,— уничижительно отозвался и о Есенине:

Ну, Есенин,
                    мужиковствующих свора.
Смех!
        Коровою
                    в перчатках лаечных.
Раз послушаешь...
                    но это ведь из хора!
Балалаечник!

Быть может, тогда эти стихи Маяковского казались Есенину самой большой обидой во всей его жизни, и он не скрывал, что они его больно ранили. Есенин всегда благоговейно относился к Пушкину, и его особенно огорчало, что именно в воображаемом разговоре с Пушкиным Маяковский так резко и несправедливо отозвался о нем, о Есенине. Как будто эти слова Пушкин мог услышать, как если бы он был живым, реальным собеседником Маяковского. Свою обиду он невольно переносил и на творчество Маяковского.

— Я все-таки Кольцова, Некрасова и Блока люблю. У них и у Пушкина только и учусь. Про Маяковского что скажешь? Писать он умеет — это верно, но разве это поэзия? У него никакого порядку нет, вещи на вещи лезут. От стихов порядок в жизни быть должен, а у Маяковского все как после землетрясения, да и углы у всех вещей такие острые, что глазам больно.

Есенин как-то весь потускнел, от утренней свежести не осталось и следа. Грустные глаза, усталая опустошенность во взгляде, горькая улыбка.

Потом стал читать свое недавно написанное в Тифлисе стихотворение про Кавказ.

Подали завтрак. Есенин попросил бутылку цинандали. Заказал кофе по-турецки. Когда выпил, слегка повеселел... Вполголоса начал читать:

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком...

Между столиками стояли кадки с цветущими олеандрами. В большой клетке, на раскачивающемся кольце, нахохлившись, сидел зелено-розовый попугай. Есенин, обернувшись, заметил невеселую птицу и порывисто подошел к клетке. Попугай что-то болтал, это забавляло Есенина, и он тоже говорил, но вскоре вернулся к столику недовольный: «Жалкая птица, фальшивая, наши скворцы много лучше, до чего душевно и весело свистят, особенно на заре. Настоящая русская птица. Не дурачится, дело делает и жизни радуется».

Когда после завтрака спускались в номер, Есенина на лестнице остановил хозяин или арендатор гостиницы и довольно бесцеремонно напомнил, что он заплатил только за первые сутки и должен сегодня же к вечеру рассчитаться за несколько дней вперед.

— Знаю, знаю,— отвечал недовольный Есенин.— В номере мастикой воняет, повернуться негде, а ты с оплатой торопишь. В «Бакинском рабочем» деньги получу, тогда и рассчитаюсь.

Владелец гостиницы как будто согласился и хотел уже отойти от нас, но Есенин задержал его:

— А ты знаешь, милый человек, кто я, кого ты у себя принимаешь? Другой бы за честь считал... Потом бы рассказывал: «Вот в этом номере у меня поэт Есенин стоял». А ты о деньгах беспокоишься. За мной деньги не пропадут.

Хозяин гостиницы смущенно пробормотал: «Якши, якши... Я ведь так, я знаю, я своих постояльцев уважаю». И поспешил удалиться.

Потом мы отправились в редакцию «Бакинского рабочего», где Есенин передал П. И. Чагину несколько новых стихотворений и среди них «Отговорила роща золотая», которое было через два дня впервые опубликовано в этой газете. П. И. Чагин, умный, добрый человек, очень любил Есенина и многое сделал для утверждения его имени в нашей поэзии. В те дни почти в каждом номере «Бакинского рабочего» печатались новые стихи поэта.

В то время в нашей прессе уже возникло пренебрежительное слово «есенинщина». Многие критики не могли забыть «Москвы кабацкой» и наперебой упрекали Есенина в отсутствии выдержанной пролетарской идеологии. Немало вредили его репутации и многочисленные подражатели и ложные друзья.

Есенин остался диктовать машинистке свои стихи, а я ушел, договорившись встретиться на следующий день, чтобы пойти гулять. На другой день мы снова встретились

в редакции. Когда я пришел, Есенин был уже там. Какой-то рабкор бранил его за то, что он не признает Демьяна Бедного. Есенин отругивался.

Кажется, тогда же произошел при мне занятный разговор Есенина о гонораре в «Бакинском рабочем». Есенин долго доказывал, что стихи его очень хорошие, что теперь так никто не пишет, а Пушкин умер давно. «Если Маяковскому за Моссельпром монету гонят, неужели мне по рублю за строчку не дадите?»

Редакция сдалась. Выходило в общей сложности немало, так как в каждом номере печаталось по два-три больших стихотворения — они потом вошли в сборник, изданный в Баку,— «Русь советская».

Получив деньги, Есенин обычно шел на почту и отправлял большую часть матери в Константиново. Много раздавал беспризорным, среди которых у него было немало друзей.

В этот день нам опять не удалось погулять, так как приятели уговорили Есенина отправиться в духан. Я не пил и обычно от приглашений подобного рода уклонялся, хотя и понимал, что теряю многое, так как нигде Есенин так хорошо не читал, как в духане. Но мне было слишком тяжело видеть его нетрезвым. Я все более понимал, что это уже не прежний Есенин, который подобно барсу прыгал на эстраде литературного особняка на Арбате, энергически жестикулируя и выкрикивая Пугачева:

...Расскажи мне нежно,
Как живет здесь мудрый наш мужик?
Так же ль он в полях своих прилежно
Цедит молоко соломенное ржи?
Так же ль здесь, сломав зари застенок,
Гонится овес на водопой рысцой,
И на грядках, от капусты пенных,
Челноки ныряют огурцов?..

Теперь совсем иная интонация:

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава,
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком...
Скажите так... что роща золотая
Отговорила милым языком.

Как-то мы встретились в теплый осенний день. Есенин вспоминал о тифлисских друзьях, говорил о предполагавшейся поездке в Персию (осуществить которую ему, впрочем, так и не удалось). Неподалеку от почтамта, у остывших котлов, в которых варили кир, закопченные беспризорники играли в железку. Есенин подошел к ребятам, заинтересовался игрой, дал им немного денег и пообещал навестить их через несколько дней. Он рассказывал мне потом, что подружился с ними и даже водил их в бакинские бани. Правда, тифлисские серные бани нравились ему больше бакинских, и особенно его рассердила надпись у кассы одной из бакинских бань: «Баня работает...» — «Сразу видно, что нерусский человек писал. Так по-русски не говорят. Бани торгуют. По-интеллигентному можно сказать: «Бани открыты», а работают не бани, а банщики».

Есенин был очень чуток к слову, к малейшим оттенкам не только поэтической, но и повседневной бытовой речи, и если допускал в своих стихах отступления от норм современного литературного языка, то делал это сознательно, из определенных соображений, существенных для него, но не всегда понятных критикам.

Наша встреча оборвалась неожиданно. На почтамте Есенин встретился с двумя литераторами, и они увлекли его в далекую мне шумную компанию.

С юных лет я был противником спиртного и избегал участия в кутежах. Есенин прощал мне это, хотя иногда и подшучивал надо мной. Может быть, ему даже нравилось во мне это отличие от большей части его друзей и знакомых. И в моих воспоминаниях Есенин поэтому остался светлым, незамутненным, таким, каким я его видел и воспринимал в мои восемнадцать—двадцать лет. Глядя на меня, быть может, Есенин вспоминал свою юность, ведь между нами была разница в восемь лет. И он не сердился, не раздражался, когда я не скрывал своего сожаления о его загубленных вечерах и ночах среди случайных и часто чуждых ему собутыльников. Как знать, может быть, мне посчастливилось увидеть в Есенине что-то более существенное, более сокровенное, чем его попойки и шумные пьяные скандалы, о которых он так горько отзывался в своих стихах.

Уже тогда, при жизни Есенина, многие посвящали ему стихи. Вечером после нашей первой встречи в Баку я тоже написал посвященное Есенину стихотворение. Вероятно, не стоило бы его приводить, если бы оно не было написано

21 сентября 1924 года и не свидетельствовало бы о восторженном отношении к Есенину молодежи тех лет.

Вот это стихотворение:

СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ

Есенин, здравствуй! Снова, снова
Идущий впереди меня.
Ты даришь солнечное слово,
Российской удалью звеня!

Ты помнишь? Русой головою
Ты первый мне кивнул слегка,
Когда за строчкою кривою
Хромала каждая строка.

И вот твоей зарей разбужен,
Твоими строфами бурля,
Я сразу понял: ты мне нужен,
Как воздух, солнце и земля.

Ты знаешь сам — когда устанем
От суеты в пустой борьбе,
С какими жадными устами
Идем за песнями к тебе.

Будь навсегда благословенен
За каждую твою строку,
Тебя приветствует, Есенин,
Наш вечно пламенный Баку.

Есенин был избалован всевозможными посвящениями, но что-то понравилось ему в моем стихотворении, он похвалил последнюю строфу и в ответ сделал надпись на «Треряднице» (издания 1921 года). «Дорогому Вите Мануйлову *С. А. Есенин.* 23/IX 24. Баку». Подпись «С. А. Есенин» имела в данном случае особый смысл. Мне претило панибратское «Сережа, Сережка, Сереженька», как называли его многие уже после нескольких часов знакомства. Я всегда называл его Сергеем Александровичем. Обратив на это внимание, Есенин полушутя обозначил в подписи инициалы имени и отчества.

Служба в Политотделе и вечерние занятия в университете лишали меня возможности встречаться с Есениным ежедневно, да я и не решился бы посещать его так часто, видя, как надоедают ему и раздражают его многочисленные бесцеремонные почитатели. Но однажды с утра мы отправились на прогулку по старым кварталам Баку, еще

сохранившим восточный облик. Узкие улочки бакинской крепости, Ханский дворец, высокие минареты восхищали Есенина. Он был увлечен Востоком и сожалел, что мало читал о его истории, плохо представляет себе сущность мусульманства. Расспрашивал меня про суннитов и шиитов, про жестокую резню и самоистязания в священный день Шахсей-вахсей, которые я видел в 1922 году. Потом мы вышли к Девичьей башне и поднялись на ее верхние ярусы.

Наша прогулка завершилась посещением Кубинки, шумного азиатского базара. Мы заглядывали в так называемые «растворы» — лавки, в которых крашенные хной рыжебородые персы торговали коврами и шелками. Наконец мы зашли к одному старику, известному любителю и знатоку старинных персидских миниатюр и рукописных книг. Он любезно принял русского поэта, угощал нас крепким чаем, заваренным каким-то особым способом, и по просьбе Есенина читал нам на языке фарси стихи Фирдоуси и Саади. Уже под вечер мимо лавки прошел, звеня бубенцами, караван из Шемахи или Кубы, заметно похолодало и наступило время закрывать лавку, а мы все сидели и рассматривали удивительные миниатюры, украшавшие старинную рукопись «Шахнаме».

Как-то вечером небольшая компания моих друзей-студентов предложила отправиться на морской бульвар, к пристани, взять парусную лодку и выйти в море, чтобы показать Есенину огни ночного Баку. Мы долго ждали, пока Сергей Александрович освободится, наконец стали спускаться по лестнице, и тут, на беду, встретился хозяин гостиницы и начались бесконечные препирательства Есенина с ним по поводу неоплаченных счетов. Сергей Александрович убеждал его, что он большой поэт, которому «все надо даром давать, лишь бы он только согласился взять». «Я тебе, милый человек, откровенно говорю: я не какой-нибудь интеллигент, чтобы скромности строить. И не буржуй, не нэпман я, а ты с меня шкуру дерешь! Один я такой. Да я в Москву буду жаловаться! У буржуев в Европе все дешевле!» Хозяин махнул рукой и сделал уступку. Однако, к нашему огорчению, участвовать в прогулке на парусной лодке Есенин наотрез отказался. «Я воды боюсь,— сказал он.— Мне цыганка говорила, чтобы луны и воды боялся, я страшной смертью умру». И Есенин показал мне свою левую руку, на которой я увидел глубокую, прямую и чистую линию Солнца, перерезанную у кисти линией Сатурна. Я стал уверять, что море сегодня спокой-

ное, но все напрасно. Однако позднее я узнал, что однажды с группой сотрудников «Бакинского рабочего» Есенин все же выходил в море на паруснике, носившем курьезное название «Ай да Пушкин, ай да молодец!».

Есенину уже порядком надоели публичные выступления, но все же удалось уговорить его еще раз выступить в университете. В назначенный вечер самую большую аудиторию до отказа заполнили студенты и преподаватели. А Есенина не было. Как один из устроителей, я побежал за ним в гостиницу, благо она находилась неподалеку. Как ни в чем не бывало, вернувшись с дружеского обеда, Есенин крепко спал в своем номере. Разбудить его не было никакой возможности. Пришлось объявить собравшимся об отмене вечера из-за внезапной болезни поэта. Пошумели, поулыбались и разошлись.

Приближалось время возвращения Есенина к грузинским друзьям в Тифлис. Свободного вечера для студенческой аудитории найти так и не удалось. Вечер в университете состоялся позднее, в один из следующих приездов Есенина в Баку.

Впрочем, 3 октября, в день своего рождения, Есенин все же выступил в клубе имени Сабира. Я долго хранил записочку к администратору: «Прошу пропустить тов. Мануйлова на сегодняшний вечер моих стихов. *Сергей Есенин.* 3/X — 24». Вечер был шумный и многолюдный и прошел с большим успехом. Особенно запомнилось со всеми характерными есенинскими интонациями чтение стихотворений «Возвращение на родину» и «Русь советская». Но как графически передать его лукавую иронию, а может быть, и чуть-чуть пренебрежительную насмешку, иногда даже озорство, звучавшие в едва уловимых модуляциях его голоса? Все это будто сейчас звучит в слуховой памяти:

Ах, милый край!
Не тот ты стал,
Не тот.
Да уж и я, ка-нешно, стал не прежний.
Чем мать и дед грустней и безнадежней,
Тем веселей сестры смеется рот.
Ка-нешно, мне и Ленин не икона,
Я знаю мир...
Люблю мою семью...
Но отчего-то все-таки с поклоном
Сажусь на деревянную скамью.
«Ну, говори, сестра!»
И вот сестра разво-о-одит,

Раскрыв, как Библию, пузатый «Капитал»,
О Марксе,
Енгельсе...
Ни при какой погоде
Я этих книг, ка-нешно, не читал.

В зависимости от настроения и обстоятельств одни и те же стихи Есенин читал по-разному. В клубе Сабира в концовке «Возвращения на родину» не столько чувствовалось сожаление, сколько поддразнивание, подзадоривание некоторых требовательных критиков, сидевших в первых рядах. И вряд ли, конечно, следовало принимать всерьез чуть вызывающие интонации Есенина. Мы знаем, какое восхищение титанической деятельностью В. И. Ленина испытывал Есенин в те годы, еще при жизни Владимира Ильича, и в скорбные дни 1924 года. Об этом благоговейном отношении поэта к В. И. Ленину и его памяти свидетельствует прежде всего поэма о Ленине и стихотворение «Капитан земли».

Когда же речь шла о Демьяне Бедном, Есенин иной раз с подчеркнутым лукавством особо выделял псевдоним «Бедный», превращая его в эпитет:

С горы идет крестьянский комсомол,
И под гармонику наяривая рьяно,
Поют агитки Бе-едного Демьяна,
Веселым криком оглашая дол.

(«Русь советская»)

Едва ли не накануне отъезда, около 6 октября, Есенин читал стихи в небольшой узкой комнате литературных сотрудников «Бакинского рабочего». Народу было много. Сидели на стульях, столах, подоконниках, стояли в дверях. А Есенин, ни на кого не глядя, облокотившись на редакционный стол, совсем тихо, вполголоса читал свои недавно написанные стихи. Раньше я никогда не слышал, чтобы он читал так, замкнувшись в себе, как бы только для себя. Тут были и уже знакомые нам, недавно напечатанные стихи, но они звучали как-то иначе, по-новому. Ни озорства, ни улыбки уже не было.

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать,
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.

Милые березовые чащи!
Ты, земля! И вы, равнин пески!
Перед этим сонмом уходящих
Я не в силах скрыть моей тоски.

Или:

Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет...

В комнате стояла настороженная тишина. Никто бы не решился прервать Есенина каким-нибудь вопросом. Конечно, никто по окончании чтения не аплодировал. Мы не понимали причины глубокой депрессии Есенина, но все чувствовали, как ему трудно, в каком он состоянии.

Когда молча расходились, один из молодых журналистов обратился к Сергею Александровичу и стал в неумеренно восторженных выражениях сравнивать его с Пушкиным. Есенин не на шутку рассердился:

— Да ты о Пушкине понятия не имеешь! Пушкин был один из самых образованных писателей в Европе. Языки знал. Работать над стихами умел. А что я? Конечно, талантливый человек. Но невежественный. Работать над стихами так и не научился. До Пушкина мне, брат, далеко.

Есенин любил Пушкина больше всех поэтов в мире. И не только его поэзию, прозу, драматургию, он любил Пушкина-человека. Это был самый светлый, самый дорогой его идеал. Есенин ценил Тютчева, Фета, Полонского. «Песня цыганки» Полонского была одной из самых любимых песен Есенина. Строфа:

Вспоминай, коли другая.
Друга милого любя,
Будет песни петь, играя
На коленях у тебя! —

по своему настроению была близка Есенину и получила отклик в его стихотворении 1925 года «Цветы мне говорят — прощай...»:

И, песне внемля в тишине,
Любимая с другим любимым.
Быть может, вспомнит обо мне,
Как о цветке неповторимом.

Помнится, Сергей Александрович несколько раз по разным поводам вспоминал свою встречу с холодноватым и сдержанным Блоком — «самым петербургским поэтом». Есенин не отрицал, что в раннюю пору на него оказал значительное воздействие Клюев, впрочем, его отношение к Клюеву было сложным и противоречивым. И еще любил Есенин Лермонтова. Самым любимым стихотворением Лермонтова в последние годы было «Завещание» («Наедине с тобою, брат, хотел бы я побыть...»). Есенин, слегка перефразировав известные слова Лермонтова «Пускай она поплачет... Ей ничего не значит!», повторил их в своем стихотворении «Сыпь, тальянка, звонко, сыпь, тальянка, смело!..» (1925):

Пусть она услышит, пусть она поплачет.
Ей чужая юность ничего не значит.

Я не раз видел черновики стихов Есенина, написанные на бланках редакции «Бакинского рабочего» и даже на бланках ЦК Коммунистической партии Азербайджана. Ему доставляло особое удовольствие писать стихи на официальных бланках. И не только потому, что бумага была действительно хорошая, в этом чувствовалось какое-то почти детское бахвальство: «Вот на каких ответственных бланках я пишу стихи! Каково!» А вместе с тем тут проявлялась и наивная скромность Есенина, как будто стихи становились значительнее от того, что они написаны на этих бланках!

Чагин знал эту его слабость и охотно баловал Есенина. Однажды я наблюдал такой эпизод: в кабинет Чагина, когда он о чем-то беседовал с Есениным, вошел не то заведующий хозяйством редакции, не то кладовщик и принес Петру Ивановичу стопку свежих бланков, на которых сверху было напечатано: «Редактор газеты «Бакинский рабочий» и т. д. Есенин просительно взглянул на Чагина.

— Ну-ну, возьми малость,— улыбнулся Петр Иванович и протянул Сергею Александровичу десятка полтора бланков.

— Добрая бумага! — Есенин пощупал бланки и, бережно согнув пополам, положил во внутренний карман пиджака.

В двадцатых числах февраля 1925 года Есенин по пути из Тифлиса в Москву заезжал на несколько дней в Баку. Он вез с собой поэму «Анна Снегина» и несколько стихотворений, вошедших потом в цикл «Персидские мотивы». В этот

его приезд мы увиделись только мельком в редакции «Бакинского рабочего».

В этот последний год своей жизни Есенин еще несколько раз бывал в Баку, но больше мы не встретились.

Однажды он посетил мою университетскую приятельницу Елену Борисовну Юкель. Вот ее рассказ об этой встрече:

«Хотя я родилась в России, свое детство я провела в Персии, в провинции Хоросан, в городе Сабзеваре. Полюбила восточную музыку: персидскую, тюркскую, арабскую. Стихи любимых поэтов пела на мотивы известных песен, иногда сочиняла мотивы сама. Живя в Баку, я стала сочинять мотивы к русским стихам восточного содержания на восточный лад. Тогда этого еще никто не делал, и мне не у кого было учиться.

Когда появились «Персидские мотивы» Есенина, я сочинила мотив на стихотворение «Шаганэ ты моя, Шаганэ». Моя университетская подруга Ксения Колобова была знакома с Есениным и однажды, когда он был в Баку, привела его ко мне домой.

Есенин был немного навеселе и принес еще с собой пива, которое сам же и выпил. Песню о Шаганэ слушал раз восемь, так ему понравилось. Улыбка у Сергея Александровича была обаятельная и располагала к нему. Я похвасталась, что у меня есть песни на слова и других русских поэтов, и хотела их спеть. Но Сергей Александрович как будто обиделся и сказал, что он и сам известный поэт и чужих песен ему не надо. И попросил спеть «Шаганэ» еще и еще. Тогда это была моя единственная песня на его слова. Потом я сочинила еще. Когда был вечер памяти Есенина, я пела «Шаганэ» и «Менялу». Публике понравилось, пришлось бисировать. В 1973 году я была в Москве на могиле Есенина, положила 2 лилии и пропела «Шаганэ».

В последний раз я видел Есенина в Москве, в июне 1925 года, в квартире Софьи Андреевны Толстой, на Остоженке в Померанцевом переулке.

Софью Андреевну я знал и раньше, познакомился с ней еще в 1921 году совершенно независимо от моего знакомства с Есениным. Она в моем представлении была прочно связана с музеем Л. Н. Толстого, с Ясной Поляной.

Я приехал в столицу ненадолго на Пушкинские торжества и тотчас позвонил Софье Андреевне, к которой у меня было какое-то поручение от наших общих знакомых из Баку, людей толстовского круга. Она пригласила меня в тот же вечер к себе, сказав, что приготовила приятный сюр-

приз. Я не знал тогда еще о ее сближении с Есениным и о том, что он уже живет в ее квартире.

Когда я пришел к Софье Андреевне в десятом часу вечера, мне открыла двери ее мать Ольга Константиновна. «Ах, милый,— сказала она,— а у нас дым коромыслом, такая беда! Проходите, проходите, они там...» — и указала на комнату, примыкавшую к прихожей.

В небольшой столовой было накурено. Уже пили. Тут я сразу увидел Есенина и все понял. «Вы знакомы?» — спросила улыбаясь Софья Андреевна и указала на Есенина. Оказалось, это и был обещанный сюрприз.

Читали стихи. Говорили о стихах. Кроме Сергея Александровича, тут были поэт Василий Наседкин, И. Бабель и еще один не известный мне молодой человек. На диване лежал Всеволод Иванов, молча слушавший разговор за столом.

Когда, по-видимому, уже не в первый раз Есенин стал вспоминать свои детские годы в деревне, Бабель, хорошо знавший эти воспоминания, начал подсказывать ему, как все это было, и очень потешно передразнивал его, а затем стал изображать в лицах, как Есенин продает сразу десяти издательствам одну и ту же свою книгу, составленную из трех ранее вышедших, как издатели скрывают друг от друга «выгодную» сделку, а через некоторое время прогорают на изданной ими книге всем давно известных стихов. Конечно, в этом рассказе многое было преувеличено, но рассказывал он эту историю артистически и всех очень смешил.

Есенин пил много. На смену пустым бутылкам из-под стола доставались все новые, там стояла целая корзина. Устав рассказывать о своих неладах с отцом, о любви к деду и к матери, о сестрах, о драках и о первой любви, Есенин заговорил о присутствующих. Добродушно посмотрел на дремавшего после кутежа накануне Всеволода Иванова и на Василия Наседкина, который с увлечением поедал шпроты и деловито крякал, сказал о Приблудном: «Вот гляди, замечательная стерва и талантливый поэт, очень хороший, верь мне, я всех насквозь и вперед знаю». Приблудный в спортивном костюме, с оголенной могутной грудью, сидел на диване, что-то напевая.

Потом Есенин заговорил обо мне и о моих стихах. Сказал, что я «славный парень», что я «очень умный» — «умнее всех нас!» — и что ему «иногда бывает страшно» со мной говорить. А вот стихи я пишу, по его мнению, «слишком головные». Я возражал ему, не соглашался насчет

«головных стихов», сомневался по части ума, но Есенин настаивал на своем и начинал сердиться — он не любил, когда ему противоречили.

В этот вечер Есенин много читал, и особенно мне запомнилось, как он, приплясывая, напевал незадолго до того написанную «Песню»:

Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке,

Цвела — забубенная, росла — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

Думы мои, думы! Боль в висках и темени.
Промотал я молодость без поры, без времени.

Как случилось-сталось, сам не понимаю,
Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю...

Разгульный и лихой мотив этой песни напомнил мне, как в Баку Есенин читал мне отрывки из «Песни о великом походе», которую тогда писал. Читал нараспев, под частушки: «Эх, яблочко, куды катишься...» Я высказал тогда опасение, что вещь может получиться монотонной и утомительной, если вся поэма будет выдержана в таком размере. Есенин ответил: «Я сам этого боялся, а теперь вижу, что хорошо будет...»

Теперь увидел я совсем другого Есенина, и горькое предчувствие неотвратимой беды охватило, вероятно, не только меня.

Я отцвел, не знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли?
В молодости нравился, а теперь оставили.

Потому хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке.

Цвела — забубенная, была — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

В окнах уже проступал ранний июньский рассвет. Все приумолкли, но не спешили расходиться. Есенин подсел к Софье Андреевне и стал говорить о том, как они вот-вот поедут в Закавказье, в Баку и в Тифлис, где их ждут хорошие и верные друзья, а часть лета они проведут на Апшеронском полуострове, где спелые розоватые плоды инжира падают на горячий песок.

Всеволод Иванов уснул на диване. Я попрощался с погрустневшей хозяйкой. Есенин, прощаясь, подарил мне только что вышедшую свою маленькую книжечку стихов «Березовый ситец» с надписью: «Дорогому Вите Мануйлову с верой и любовью. *Сергей Есенин*».

Сам не зная, почему я это сделал, я поцеловал Есенина в шею, чуть пониже уха. Мне казалось, что никогда я не любил его так, как в эту минуту. Это редко со мной бывает — но мне хотелось плакать. И снова горькое предчувствие, что нам не суждено увидеться еще.

Лето 1925 года Есенин с Софьей Андреевной провел около Баку. Я был в это время в Новочеркасске и, когда в двадцатых числах сентября вернулся в Баку, уже не застал их.

27 сентября 1925 года я написал Сергею Александровичу письмо с просьбой прислать стихи для задуманного моими друзьями-поэтами из Ростова журнала «Жатва».

«Дорогой Сергей Александрович,— писал я.— Очень досадую на то, что я не застал Вас в Баку, приехав сюда через несколько дней после Вашего отъезда. У меня было к Вам поручение от моих ростовских друзей, которое исполняю хотя бы письменно.

Группа литераторов Ростова, при участии москвичей (Казин, Тренев, Серафимович) и ленинградцев (Рождественский, м. б. Клюев), в конце октября издают первый № краевого литературного журнала «Жатва». Обложку рисует Сарьян. Большая просьба к Вам — дать в первый же №-р свое имя в качестве сотрудника и 2-3 стихотворения. К сожалению, на первых порах материальное положение редакции таково, что гонорар, предложенный Вам, очень невелик — всего по одному рублю за строку...

Если Вы поддержите новое литературное начинание и решите стихи в журнал дать, пошлите их, пожалуйста, прямо на адрес: Ростов-Дон, Старопочтовая, 125, Михаилу Матвеевичу Казмичову. Это секретарь редакции. Очень интересный поэт, только теперь начинающий появляться в печати.

Вчера в редакции «Бакинского рабочего» Сеня Файнштейн при мне получил письмо Софьи Андреевны с Вашими стихами. Джавадян собирается их тиснуть в пятницу 2 октября на 4-х колонках. Сеня сегодня выезжает в Крым и будет в Москве в первых числах ноября.

Не знаю, получила ли Софья Андреевна мою открытку из Новочеркасска. Мне очень жаль, что перед отъездом из

Москвы я не успел забежать к ней, как это было условлено, проститься...

Есть в Баку Лена Юкель. Она переложила на персидские напевы «Глупое сердце, не бейся...», «Гелии» и еще несколько других Ваших персидских мотивов. Ее песенки звучат еще лучше уже известных Вам, жаль, что Вы не можете их послушать хотя бы по радио, а записать на ноты азиатские мелодии невозможно.

На всякий случай мой адрес: Баку. Лютеранский пер., 5...

Не забывайте ветреного и горячего Баку!

Крепко любящий Вас *Витя*».

Не получив ответа, я снова написал 9 ноября:

«Дорогой Сергей Александрович! Месяц тому назад я просил Вас дать несколько стихотворений для ростовского журнала «Жатва» — пока никакого ответа нет, тем не менее обращаюсь к Вам с вторичной просьбой уже несколько по иному поводу. «Жатва», еще не родившись, переродилась в бакинский «Норд» — с иными задачами. Там был журнал, сожительствующий с краеведением, экономикой и пр. «Норд» — затея ветреная, сиречь поэтическая... Дали уже материал из знакомых Ваших: Тихонов, Рождественский, Кс. Колобова, некий Виктор Мануйлов и проч.— все из литературной молодежи, м. б., Вам еще неведомые — но ребята добрые и веселые.

Ни на какие Гизы не рассчитываем, т. к. печатаем на свой счет — с деньгами дрянь: все идет на внешний вид издания — гонораров никому предложить не можем. Это не доходная «Жатва», кстати несжатая.

Ежели у Вас есть свободные стихи и охота порадовать молодежь своим добровольным и сердечным участием — дайте нам для «Норда» что-либо «Есенинское».

Привет Софье Андреевне.

У нас сейчас здесь Вс. Иванов.

Ваш *В. Мануйлов*».

Но и на это письмо ответа не было. Правда, через общих друзей до меня доходили приветы Сергея Александровича и просьбы простить за молчание. Я узнал, что 18 сентября 1925 года в Москве Есенин и Софья Андреевна Толстая зарегистрировали свой брак. Доходили слухи, что Есенин болен и находится в клинике профессора Ганнушкина. Есенинские стихи в «Бакинский рабочий» присылала же-

на, и я понял, что Сергею Александровичу было в ту пору не до наших литературных затей.

В декабре П. И. Чагин получил из Москвы текст последней редакции поэмы Есенина «Черный человек». Мы восприняли эти горькие строки как прощальный привет поэта:

Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.

И все же известие о смерти Есенина было для всех любивших его неожиданным ударом. 28 декабря 1925 года в редакцию «Бакинского рабочего» пришла телеграмма. В тот же вечер это известие подтвердилось по радио. На другое утро в бакинских редакциях, в университете, в библиотеках — всюду только и говорили о гибели Есенина. Все уже прочли объявление в траурной рамке:

Редакция и сотрудники
газ. «Бакинский рабочий»
с чувством глубокой скорби
извещают о трагической гибели поэта,
сотрудника газеты
Сергея Александровича
ЕСЕНИНА,
последовавшей 27 декабря
в Ленинграде.
Похороны состоятся в Москве.

1 января 1926 года в редакции «Бакинского рабочего» состоялась гражданская панихида...

Шли годы... Все глубже осознавалась трагическая гибель поэта. Мне встречались люди, знавшие его, и я узнавал новые случаи из его жизни, новые черты его характера. В этих посмертных встречах с Есениным и его современниками, в этих возвращениях в прошлое мне особенно за-

помнилось, как однажды весной 1928 года в Ленинграде я шел по Троицкому (ныне Кировскому) мосту на Петроградскую сторону. Почти на середине моста я повстречался с С. М. Кировым, который шел мне навстречу. В нескольких шагах за ним по мостовой медленно двигалась его машина. В Баку я дважды докладывал Кирову по вопросам, связанным с моей работой в Политотделе Каспийского военного флота. И, конечно, я поздоровался с Сергеем Мироновичем. Память на людей у Кирова была поразительная. Он остановил меня и предложил, если не спешу, немного вернуться и проводить его. Я с радостью согласился. Киров направлялся в Смольный после краткого дневного отдыха дома. Помнится, он сказал, что часто ходит пешком, чтобы немножко размяться и подышать воздухом.

Вспомнили Баку, его друга П. И. Чагина, которого Киров привлек к работе в ленинградских издательствах. Зашел разговор о Есенине. Сергей Миронович очень тепло вспоминал своего тезку и с горечью сказал, что, если бы тогда в начале сентября 1925 года удалось задержать Есенина и Софью Андреевну на два-три осенних месяца в Баку, может быть, декабрьской катастрофы не случилось бы.

— Уж мы за ним доглядели бы! — сказал Сергей Миронович.

Однако судьба распорядилась иначе...

1926—1985

Т. Ю. ТАБИДЗЕ

С. ЕСЕНИН В ГРУЗИИ

В своем «Путешествии в сказочную страну» Кнут Гамсун пишет, что русские императоры возвели в обычай ссылать опальных поэтов на Кавказ, но Кавказ из места ссылки превращался для поэтов в источник вдохновения. Нетрудно догадаться, что здесь говорится о Пушкине и Лермонтове.

Еще больше связана с Грузией судьба третьего поэта той же романтической эпохи — А. Грибоедова, похороненного в Тифлисе.

Пушкин имел, несомненно, очень поверхностное представление о тогдашней Грузии, его «Путешествие в Арзрум» полно курьезов, но зато в чистой лирике он оставил неувядаемой прелести образцы: «На холмах Грузии...», «Не пой, красавица, при мне...».

После Пушкина Грузия как бы по традиции вдохновляла многих русских поэтов. Во время войны потянуло в Грузию К. Бальмонта. Он еще до приезда в Грузию, в Океании на пароходе перевел пролог поэмы Руставели «Витязь в барсовой шкуре» [1]. Впоследствии Бальмонт и Валерий Брюсов как будто разделили «сферу влияния» на Кавказе: Бальмонт — переводом Руставели, а В. Брюсов — превосходной книгой «Поэзия Армении»...

В книге «Видение древа» Бальмонт продолжал песню Пушкина о Грузии [2].

По стопам предшественников шел и Сергей Есенин. Пример Пушкина влек и его на Кавказ. Из книги А. Мариенгофа об С. Есенине видно, что первое впечатление путешествия на Кавказ прошло для поэта не отмеченным особой силой. По поводу этой первой поездки С. Есенин пишет одной своей знакомой в Харьков:

«Сегодня утром мы из Кисловодска выехали в Баку, и, глядя из окна вагона на эти кавказские пейзажи, внутри сделалось как-то тесно и неловко. Я здесь второй раз в этих местах и абсолютно не понимаю, чем поразили они тех, которые создали в нас образы Терека, Казбека, Дарьяла и все прочее. Признаться, в Рязанской губ. я Кавказом был больше богат, чем здесь. Сейчас у меня зародилась мысль о вредности путешествий для меня. Я не знаю, что было бы со мной, если б случайно мне пришлось объездить весь земной шар? Конечно, если не пистолет юнкера Шмидта, то, во всяком случае, что-нибудь разрушающее чувство земного диапазона» [3].

Затем в письме описывается трогательный случай, как жеребенок около станции Тихорецкой хотел догнать поезд. Из этого эпизода вылилась впоследствии лучшая поэма Есенина «Сорокоуст»:

Милый, милый, смешной дуралей,
Ну куда он, куда он гонится?
Неужель он не знает, что живых коней
Победила стальная конница?..

В этот период Есенин приезжал в Тифлис, но мы с ним не встречались, и если бы не воспоминания А. Мариенгофа, то о первом пребывании поэта в Тифлисе мы так и не знали бы совершенно [4].

Но иным приехал в Грузию С. Есенин в сентябре 1924 года [5]. Тогда он безусловно находился в зените своего творчества.

До этого С. Есенин уже успел побывать в Европе и Америке. Но что могла дать его мятущейся душе иссушенная поэзия Запада? Он сам рассказывал, что никогда раньше не чувствовал такой суеты и холода, как именно в тот период.

Внешний успех на Западе не излечил его внутреннего кризиса, и он вместо успокоения чувствовал какое-то ожесточение. Ему хотелось сразу наверстать пропущенное вдохновение, он чувствовал неиссякаемый творческий голод. Из уже достаточно собранных материалов для биографии поэта можно уследить, что грузинский период творчества С. Есенина был одним из самых плодотворных: за это время он написал чуть не треть всех стихов последнего времени, не говоря уже о качественном их превосходстве. В первый же день приезда в Тифлис он прочел мне и Шалве Апхандзе свое «Возвращение на родину». И стихи и инто-

нации голоса сразу показали нам, что поэт — в творческом угаре, что в нем течет чистая кровь поэта.

В этот приезд С. Есенин сознательно стремился порвать со старым образом жизни. Видно было, что кабацкая богема ему до боли надоела, но он еще не находил сил вырваться из ее оков:

И я от тех же зол и бед
Бежал, навек простясь с богемой...[6]

Поэт благодарит Кавказ: он научил его русский стих «кизиловым струиться соком»,— и дает как бы клятву:

Чтоб, воротясь опять в Москву,
Я мог прекраснейшей поэмой
Забыть ненужную тоску
И не дружить вовек с богемой...

Ему не удалось сдержать своего слова, но зато отдельные строки из того же «На Кавказе» оказались пророческими:

А ныне я в твою безгладь
Пришел, не ведая причины:
Родной ли прах здесь обрыдать
Иль подсмотреть свой час кончины!

Кавказ, как когда-то для Пушкина, и для Есенина оказался новым источником вдохновения. В отдалении поэту пришлось много передумать, в нем происходила сильная борьба за окончательное поэтическое самоутверждение. Он чувствовал наплыв новых тем, он хотел быть «настоящим, а не сводным сыном в великих штатах СССР»[7]. Но для рождения новых тем нужно, чтобы старые темы и мотивы испепелились,— и вот именно в эту пору Есенин кончил свои крестьянские и деревенские напевы, он с кровавой болью расставался с старым своим деревенским миром, чтобы перейти к большой «эпической теме». Здесь, в Тифлисе, на наших глазах писались эти мучительные стихотворные послания «К матери», «К сестре», «К деду» и их воображаемые ответы[8]. Все эти стихи построены на контрастах: на юге в бесснежную тифлисскую зиму поэт почти с неприязнью вспоминает рязанскую зиму:

Как будто тысяча
Гнусавейших дьячков,
Поет она плакидой —
Сволочь-вьюга!

И снег ложится
Вроде пятачков,
И нет за гробом
Ни жены, ни друга! [9]

Здесь нет возможности описать все встречи с поэтом: много в них интимного, многое лишено широкого общественного интереса, многого просто не уместить, но есть и многое важное для советской общественности — я имею в виду взаимоотношение русских и грузинских поэтов. У меня со стенографической точностью воспроизведены для подготовляемой об С. Есенине книги [10] беседы на эту тему на банкете, устроенном в честь С. Есенина. Есенин вскоре ответил на эти беседы стихотворением «Поэтам Грузии».

В письмах ко мне из Москвы С. Есенин писал, что зима в Тифлисе навсегда останется лучшим воспоминанием. В следующую зиму он собирался опять засесть в Тифлисе и запасался охотничьим ружьем, чтобы ходить на кабанов и медведей. Этому не суждено было сбыться [11].

В Москве С. Есенин много рассказывал о тифлисской жизни. Об этом мы узнали через В. И. Качалова в его последний приезд в Тифлис (вместе с художественниками). Есенин не переставал думать о приезде в Тифлис и о встречах с друзьями. Грузинские поэты ответили ему взаимной любовью: Сандро Шаншиашвили и Валериан Гаприндашвили переводят Есенина на грузинский язык; выходит в переводе Цецхладзе поэма «Анна Снегина». Сам Есенин несколько раз собирался приняться за переводы грузинских поэтов, учитывая важность этого дела для обоюдного культурного сближения, но и этому не пришлось сбыться. Несомненно, для осуществления этого крупного культурного дела, кроме желания русских и грузинских поэтов, нужен более внушительный общественный почин.

Есенин был в Грузии в зените своей творческой деятельности, и нас печалит то, что он безусловно унес с собой еще неразгаданные напевы, в том числе и напевы, навеянные Грузией. Ведь он обещал Грузии — о ней «в своей стране твердить в свой час прощальный» [12].

⟨1927⟩

Н. А. ТАБИДЗЕ

ИЗ КНИГИ «ПАМЯТЬ»

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

... Был осенний, сверкающий, солнечный день в Тбилиси. Я вышла в город. В глаза мне бросилась афиша: «Вечер Сергея Есенина».

Я много слышала о нем от Тициана, знала его стихи, где есть чарующие строки и где переплетаются немыслимая нежность и буйная взволнованность, бунтарство.

С афиши улыбался Есенин своей очаровательной улыбкой.

В тот вечер он читал удивительно, вдохновенно...

В тот вечер мы с ним познакомились.

О его грандиозном успехе я говорить не буду и о том, что он создал эпоху в истории русской поэзии,— тоже. Я хочу рассказать о нем просто как о друге и человеке. Есенина я после этого вечера часто встречала. Тициан Табидзе и Есенин были очень дружны.

Читатель знает стихи Тициана, но, может быть, он не знает, как Тициан принимал гостей. У него вообще было открытое сердце, а при гостях он совсем таял. Так встретил он и Есенина, обворожив его своею душевностью, своим большим сердцем. Живя в Тбилиси, Есенин часто бывал у нас уже как свой и близкий человек.

Раз вечером я шла домой. Проходя мимо пивной, которая находилась в подвальном этаже дома на теперешней площади Руставели, где теперь стоит громадное здание Грузугля, я вдруг услышала знакомый голос. Среди людского шума, исходящего из подвала, я узнала голос Есенина... Спустившись вниз и схватив Есенина за руку, я быстро сказала:

— Идем со мной, Сережа!

Он посмотрел и очень удивился, увидев меня в таком месте, где, должно быть, ни одна женщина не бывала. Я взяла его за руку, и он покорно последовал за мной.

Скоро пришел домой Тициан и очень обрадовался Сереже; он и сам его, оказывается, искал,— и был рад, застав Сережу у нас дома.

Когда утром Есенин вышел из комнаты Тициана, где он спал, в столовую, моя трехлетняя дочурка, увидев его,— с волосами цвета спелой ржи, как бы обсыпанного золотою пылью,— воскликнула, всплеснув ручонками:

— Окрос пули!

«Золотая монета» — в нашем доме так за ним это прозвище и осталось. Видно было, что ему это нравилось, и, играя с моей девочкой, он все заставлял ее повторять: «Окрос пули» — «Золотая монета».

Андрей Белый в своей книге «Ветер с Кавказа», написанной уже после смерти Есенина, вспоминает, что будто бы это я назвала Есенина «Золотой монетой», но нет — не я, а моя маленькая дочурка.

Есенин подружился не только с Нитой, но и с моей мамой. Как-то я заметила, что он с мамой о чем-то шепчется. Это он говорил ей:

— Мама, вы очень вкусно угощаете, а вот русский красный борщ с гречневой кашей вы не умеете делать...

Мама засмеялась и сказала, что это не мудрено сготовить,— завтра к обеду у нас будет его любимое кушанье — борщ с кашей.

Узнав про этот разговор, Тициан сейчас же объявил, что приведет к обеду поэтов.

На другое утро Сережа что-то долго не выходил в столовую, я заглянула к нему в комнату и вижу: он лежит и кулаками вытирает глаза. Я забеспокоилась:

— Что с вами, Сережа? Вы чем расстроены?

Он ответил, что видел сон, очень плохой. Он видел во сне сестру Шуру, она плакала и жаловалась, что у нее нет денег.

— Я знаю, что у нее денег нет, и у меня тоже нет денег, чтобы ей послать, и где достать, не знаю...

Меня поразила его беспомощность, и я сказала:

— У вас же в «Заре Востока» стихи из рук рвут! Идите к Вирапу, он выдаст вам деньги.

Сережа страшно обрадовался, что я навела его на эту мысль, вскочил, оделся и побежал к редактору газеты «Заря Востока» за деньгами.

Стали собираться к обеду товарищи Тициана: Георгий Леонидзе, Сандро Шаншиашвили, Валериан Гаприндашвили, Шалва Апхаидзе, Николоз Мицишвили, Серго Клди-

ашвили, Лели Джапаридзе, остальных не помню. Не хватало только Сережи и Паоло Яшвили. Я стала у закусочного стола, возле буфета. Приоткрылась дверь, вбежал Сережа с блестящими глазами, золотоволосый и с большим букетом белых и желтых хризантем и осыпал ими меня и, радостный, сообщил:

— Вирап дал деньги!

Он перевел деньги сестре и был счастлив.

Появился и Паоло, посмотрел на развеселившегося Есенина и хитро улыбнулся. Я поняла: сейчас Паоло что-то натворит. И правда, он повернулся к Есенину и сказал:

— Знаешь, Сережа, я хочу тебя обрадовать. Приехала в Тбилиси Айседора Дункан, я ее встретил на Руставели, сказал ей, что ты здесь, и адрес дал. Она сюда скоро приедет.

Трудно описать, что произошло с Есениным, когда он услышал эти слова. Он побледнел. Он не мог произнести ни слова. Он стоял с минуту как громом пораженный, потом вбежал в свою комнату и стал, торопясь, укладывать вещи в чемодан. Махнув на все рукой, схватил свой чемодан и убежал. Паоло и Тициан бежали за ним и едва его догнали на улице. Паоло клялся, что он пошутил, что никакой Айседоры Дункан и в глаза не видел. Еле вернули его обратно. Есенин явно нервничал, каждый раз, когда открывали дверь, он вздрагивал и оборачивался,— он все-таки боялся, что она появится. Он готов был бежать на край света, лишь бы не встретиться с ней...

Дункан действительно появилась в Тбилиси вскоре после отъезда Сережи. Мы встречались с ней и обедали в кафе «Париж» на Дворцовой улице. Она же была изумительная танцовщица, создавшая свою школу. Узнав, что Есенина нет в Тбилиси, она тоже уехала вскоре.

Я прочла позднее у Горького поразившие меня слова — так это было верно — о Есенине и Айседоре Дункан: «Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно».

Я уже говорила, что у нас Есенин чувствовал себя по-домашнему. Один раз, когда он жил уже в гостинице, он пришел к нам в двенадцать часов ночи. В это время и Паоло Яшвили был у нас. Необычайно творчески взволнованный, Есенин достал свое новое стихотворение и прочитал друзьям. То было известное стихотворение «Поэтам Грузии»,

в котором, как и в стихотворении «На Кавказе», он пел о душевном братстве русских и грузинских поэтов.

Это был необычайный поэтический вечер.

Тициан достал книгу стихов Важа Пшавела и читал Есенину по-грузински, тут же слово в слово переводя. Восторгу Есенина не было границ. В ту минуту он был похож на человека, который впервые взглянул на незнакомый мир широко раскрытыми глазами, и красота ослепила его. До этого дня Есенин не слышал о Важа Пшавела. Теперь же он слушал его строки, волновался, кипел, не мог усидеть на месте. Его очаровывала доброта, струящаяся из строчек Важа: и то, как он ласкает траву, деревья, посевы, лань — и растения и животных. Вдруг Есенин вскочил и, как будто бы отвечая Важа, прочитал стихи, в которых он, словно предчувствуя близкую смерть, сожалел о прекрасном мире:

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать.
Может быть, и скоро мне в дорогу
Бренные пожитки собирать.
. . . .

Многое в поэзии Сергея Есенина перекликается с нежной любовью Важа Пшавела к лани, деревьям, птицам. Есенин и сам почувствовал это и обрадовался. Он поклялся, что переведет Важа Пшавела.

Когда вышла книга Есенина «Страна советская», он подарил ее мне, сделав на ней своей кровью надпись: «Люби меня и голубые роги». К сожалению, эту книгу у меня украли.

Другой экземпляр он надписал Тициану: «Милому Тициану в знак большой любви и дружбы. *Сергей Есенин.* Тифлис, фев. 21—25».

...Он ходил в сером костюме, в руках держал палку с круглым набалдашником. Шел по улице важно. Но стоило ему увидеть кого-нибудь из знакомых, как он сразу преображался: лицо освещалось улыбкой, и даже его золотые волосы как бы излучали свет. Я очень любила за ним наблюдать, когда он меня не видел...

Из Тбилиси Есенин уехал в Баку.

Я отдыхала в Боржоми. Тициан сообщил мне, что Сережа звонил из Баку, что он хочет приехать к нам. По просьбе Тициана я приготовила для Сережи комнату, но Есенин, к сожалению, к нам в этот раз не приехал, он уехал прямо в Москву.

Из Москвы он прислал письмо Тициану ⟨...⟩. Он мечтал об охоте на кабанов в Саингило. Тициан ответил ему, что мы все его ждем — не дождемся. Но увы, мы больше его не увидели.

Был декабрь.

Тициан проходил мимо редакции «Зари Востока».

Ему крикнули:

— Тициан! Тициан! Сергей Есенин в Ленинграде повесился!

Тициан вернулся домой ошеломленный, убитый. Мы все очень переживали эту смерть.

Приехав в Москву, я положила на могилу Есенина желтые и белые хризантемы, в память о том дне, когда он осыпал меня цветами.

Г. Н. ЛЕОНИДЗЕ

Я ВИЖУ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА

Бурная и дерзкая молодость наша осталась позади... Пришло время воспоминаний, и я все чаще тревожу свою память, вызывая из прошлого образы друзей и собратьев. Среди них встает передо мною человек чарующей силы и неотразимого обаяния — большой русский поэт Сергей Есенин. Я будто слышу его голос, звучавший сорок с лишним лет назад:

Я — северный ваш друг
И брат!
. . . .
Поэты Грузии,
Я ныне вспомнил вас,
Приятный вечер вам,
Хороший, добрый час!..

Товарищи по чувствам,
По перу,
Словесных рек кипение
И шорох,
Я вас люблю,
Как шумную Куру,
Люблю в пирах и в разговорах [1].

Вижу его ясное лицо, его улыбку, проникающую в стихи, озаряющую строчки...

Взволнованным откликом крепкой любви отвечали мы ему — поэту, объявшему музыку нашего времени и нашей молодости. С незапятнанной чистотой белой березы возникает он перед моими глазами — ясный, синеглазый, добрый товарищ по чувствам, по перу. ⟨...⟩

...Итак, в сентябре 1924 года бакинский поезд привез Сергея Есенина в Тбилиси. Каждого вновь прибывшего к нам поэтического гостя первыми встречали, как правило,

Паоло Яшвили и Тициан Табидзе. Паоло был гостеприимным хозяином, Тициан — подлинным Авраамом любого пиршества поэтов. И вряд ли кто из гостей мог миновать Тициана Табидзе. Он в этом отношении продолжал традицию прославленного поэта, друга и тестя Грибоедова — Александра Чавчавадзе, и знаменательно, что он по воле случая жил именно там, где когда-то стоял дом Александра Чавчавадзе. И не случайно, что Сергея Есенина первым встретил как раз Тициан, мгновенно с ним крепчайше сдружившийся. Как впоследствии вспоминал Тициан Табидзе, он и Шалва Апхаидзе были первыми грузинскими слушателями Есенина, с ходу прочитавшего им недавно написанное «Возвращение на родину».

Есенин остановился сначала в гостинице «Ориант» (нынешний «Интурист»), затем несколько дней гостил в семье Тициана и, наконец, перебрался к своему другу Николаю Вержбицкому — журналисту из газеты «Заря Востока». В «Orианте» и увидел я его впервые красивым, двадцатидевятилетним, с уже выцветшими несколько кудрями и обветренным лицом, по задорно-синеглазым и по-детски улыбчивым, хотя и не без складки усталости на этой доброй и доверчивой улыбке. О нем сразу создалось впечатление, вскоре навсегда закрепившееся, как о кристально-чистом человеке подлинно рыцарской натуры, тонкой и нежной души. Душевный контакт с ним установился мгновенно, и тогда исчезли все барьеры, дружба вспыхнула, как пламя, но не для того, чтобы погаснуть, а все сильнее и сильнее разгораться. Он очень мало и плохо знал Грузию до приезда к нам, но тем ненасытнее оказалась его любознательность и жажда познания распахнувшего ему дружеские объятия края и народа, поэтической среды. Известно, какие широкие и интересные замыслы лелеял Есенин, приписавший к одному из своих тбилисских стихотворений выношенный им «тезис» о необходимости дополнить «смычку рабочих и крестьян» «смычкой разных народов» [2]. Им были задуманы переводы из грузинской поэзии, он договаривался о редактировании литературного приложения к газете «Заря Востока» [3], он мечтал о создании особого цикла стихов о Грузии, поклявшись в стихах «твердить в свой час прощальный» [4] о ней. Но и ему, увы, как и Маяковскому, оставшемуся «в долгу перед багдадскими небесами» [5], не удалось осуществить многие свои такого рода обширные планы, впервые ими намеченные и осуществленные другими их собратьями из большой семьи русских советских поэтов.

Однако кроме больших и малых планов были большие и малые факты, события, происшествия, эпизоды, связанные с жизнью Сергея Есенина в Тбилиси, в своей совокупности и создавшие у него то настроение, которое продиктовало ему свое послание «Поэтам Грузии», свое письмо к Тициану Табидзе, свое заявление московским друзьям, что время, проведенное в Грузии, было для него одним из прекраснейших в жизни. И пусть несколько обрывков моих воспоминаний осветят хоть некоторые фрагменты картины, которую можно было бы назвать — «Есенин в Грузии».

1. СТИХИ, КОТОРЫМ 2000 ЛЕТ, И КИЗИЛОВЫЙ СОК

Мы выходим из известного лагидзевского магазина фруктовых вод и видим там же, у входа, примостившегося слепого чонгуриста, напевающего самозабвенно какую-то наивную грузинскую песенку:

Ну и что же, что я черна —
Я ведь солнцем опалена!
Я такой же, как все, человек —
Богом создана и рождена!..

— Что он поет? — спрашивает Есенин.
— Библию.
— Как? — поразился он.
— Песнь песней Соломона.

И я напоминаю ему: «Черна я, но красива, как шатры Кидарские... Не смотрите на меня, что я смугла; ибо солнце опалило меня!..» А он поет это как вчерашнюю любовную песенку, не подозревая, что ей две тысячи лет.

— Как это удивительно! — и, задумавшись, долго смотрит на меня улыбаясь.

В связи с водами Лагидзе я хочу вспомнить, что особенно привлекал нас как бы кровоточащий кизиловый сок. Есенин также пристрастился к нему, и мне кажется, что по какой-то, возможно, несознательной ассоциации именно этому лагидзевскому изделию обязан своим происхождением один образ из заключительной строфы есенинского «На Кавказе»:

Прости, Кавказ, что я о них
Тебе промолвил ненароком,
Ты научи мой русский стих
Кизиловым струиться соком.

2. ГДЕ СПАЛ БАРС

...Тициан Табидзе заинтересовал Есенина поэзией Важа Пшавела. Читал ему по-грузински и тут же делал устный подстрочный перевод. Есенин сходил с ума: волновался, метался, не находил себе места... А Тициан все подбавлял и подбавлял жару. У Есенина от восхищения на лоб лезли глаза. Он был рад совпадению своего и Важа отношения к зверю, к природе.

— Вот где спал барс! — воскликнул он. — Это я должен перевести! — поклялся Есенин.

Доживи он свой век — у нас были бы есенинские переводы Важа Пшавела. Я уже говорил, что Есенин собирался переводить грузинских поэтов.

— Я буду вашим толмачом в России,— говорил он.

3. НА ТБИЛИССКИХ УЛИЦАХ

Он любил бродить по тбилисским улицам. Почтительно беседовал с простым народом; расспрашивал о многом. Его с радостью встречали. Как свой человек, забредал он в тбилисские духаны, спускался в погреба. Как-то случайно я заметил его перед небольшим подвальчиком невдалеке от места, где ныне высится гостиница «Сакартвело». Он пытался вмешаться в какую-то драку. Я крикнул ему:

— Смотри, Сергей, Христофора Марло убили в кабацкой драке!

4. ТРАУР И ТОРЖЕСТВО ПОЭЗИИ

Влюбленный в русскую песню, сам отличный певец, он очень полюбил и наши напевы. Особенно нравилась ему «Урмули» (аробная). Не помню, слышал ли он божественное исполнение Вано Сараджишвили, но похороны этого «грузинского соловья» совпали с пребыванием Есенина в Тбилиси и потрясли его своей грандиозностью. Это был подлинно национальный траур. Но в тот же день был назначен есенинский вечер, и поэт был уверен, что вечер сорвется. Каково же было его удивление, когда зал Совпрофа, где он должен был читать стихи, оказался буквально переполненным. Публика восторженно приняла любимого поэта. Есенин читал великолепно. Траурный полдень и поэтический вечер этого дня надолго объединили

в сознании тбилисцев два редких самородных таланта — Сергея Есенина и Вано Сараджишвили [6].

После чтения стихов разгорелся диспут, как это часто бывало в те годы. На этом диспуте, между прочим, выступил какой-то заезжий критик — фразер и пошляк, обвинивший поэта в пристрастии к гитаре, тальянке, гармонике, а также в «эксплуатации скандалов». Эти надоедливые укусы длились довольно долго, но Есенин выслушал все с завидным терпением. Наконец он начал отвечать ему. Поднял голову, всмотрелся в потолок и затем обратился к оппоненту (слова Есенина со стенографической точностью записал журналист Г. Бебутов), указав на лепные украшения потолка: «Вот посмотрите на эти инкрустации. Их много, но они, по сути дела, украшения — не главное. Я не согласен с теми, которые в моих стихах видят только то, что я сам считаю случайным и наносным». Лично я помню и не столь сдержанную реплику Есенина по тому же адресу — «Фразер и пошляк!»

5. ЕСЕНИН И «ЗАРЯ ВОСТОКА»

...Как-то с особенной четкостью вспоминается Есенин на проспекте Руставели со своей легкой походкой, всегда гладко выбритый, в опрятном сером костюме, с тростью в руке и в кепи. Через шею перекинут полосатый шарф. Так он шествовал по нашему любимому проспекту, особенно часто встречаясь с нами именно там. Одной из причин такого «завсегдатайства» было и то, что именно на этом проспекте находились книжное издательство и редакция газеты «Заря Востока». Есенин носил туда свои стихи (ведь большинство его «болдинских» стихов публиковалось в «Заре Востока»), в Тбилиси же издал он книгу новых стихов «Страна советская». И наконец, «Заря Востока» была средоточием почти всех русских друзей Есенина в Тбилиси. Недаром он писал в одном из своих шуточных экспромтов:

Ирония! Вези меня! Вези!
Рязанским мужиком прищуривая око,
Куда ни заверни — все сходятся стези
В редакции «Зари Востока» [7].

И газета, и тем более издательство выручали Есенина в минуты финансовых «кризисов», которые в те времена были явлением нередким. Авансы и кредиты всегда были

там к его услугам. В «Заре» Есенина по-настоящему любили и ценили. Недаром собирался он стать редактором литературного приложения к «Заре Востока».

Когда скончался Есенин, газета «Заря Востока» в своем траурном объявлении назвала поэта своим «сотрудником и товарищем».

6. СОН ЕСЕНИНА

...В один из пасмурных ноябрьских дней, кажется, это было воскресенье, Паоло, Тициан, Есенин и я долго бродили по старому Тбилиси, в районе Метехской крепости и знаменитых серных бань. Потом там же пообедали и все вернулись во Дворец писателей. Все мы были навеселе. Вдруг Есенин заявил, что хочет прыгнуть с балкона вниз. Паоло испугался, начал умолять Сергея, чтобы он не делал этого. А тот и слушать не хотел. Тогда Паоло, разозлившись, крикнул ему:

— Пожалуйста, прыгай!

Есенин засмеялся и прыгать, конечно, не стал.

Опустились сумерки. Но нам было так хорошо вместе, что не хотелось расставаться. Решили не разлучаться и ночью. Далеко за полночь легли — Тициан в кресло, Паоло, Есенин и я — на полу, где был разостлан ковер. Под утро Есенин начал во сне плакать. Мы стали его будить, но безуспешно.

Утром, когда все мы проснулись, я спросил:

— Не сон ли дурной видел? Почему плакал?

Есенин грустно ответил:

— Да, действительно страшный сон видел. У меня две сестры — Катя и Шура. Один я о них забочусь. Помогаю как могу, всегда о них думаю. Привез я их в Москву. Сейчас они там, а кто знает, как живут... И вот вчера видел сон: им трудно, они ждут моей помощи, протягивают ко мне руки... Представляете?..

И на глазах у него выступили слезы.

— Сегодня же достану тебе денег! — воскликнул взволнованный Паоло. Он действительно мог помочь в беде товарищу. Все мы пошли в издательство «Зари Востока». Там Паоло все уладил: с Есениным заключили договор на издание книги его новых стихов и сразу же дали аванс. Помню, как Есенин послал по телеграфу деньги сестрам.

...К сожалению, мне не удалось встретиться с сестрами Есенина, чтобы рассказать им этот трогательный эпизод.

7. ХАШИ И КЕПКА. РУЖЬЕ ПО КАБАНАМ

А вот два веселых комментария к письму Есенина Тициану Табидзе.

Как-то всю ночь напролет кутили мы на тбилисской окраине Ортачала в знаменитом духане Чопурашвили. На рассвете, как полагалось, поехали опохмеляться в хашную. Есенин еще не знал вкуса хаши, и поэтому Паоло сильно нервничал из-за того, что заветное блюдо запоздало (мы явились слишком рано, и хаши еще варился). Наконец Паоло не выдержал и, ко всеобщей радости, бросил в кипящий котел кепку Валериана Гаприндашвили. Особенно ликовал Есенин. Об этом случае он и упоминает в своем письме. Этому же забавному эпизоду посвящены строки из стихотворения Тициана Табидзе.

Пьяный Паоло варил на рассвете
Кепку свою в прокопченном котле...[8]

Но строки эти там звучат в очень горьком контексте, и стихи написаны на смерть Есенина:

Ночью мы были у Чопурашвили.
Вспомнив тебя, надрывался орган.
Брату не скажешь о горестной были,
О горечи незарубцованных ран...

...А что касается просьбы Есенина к Тициану — выяснить у Паоло Яшвили номер ружья для охоты на кабанов, то, грешным делом, мне всегда чудились в этом отголоски тартареновых мечтаний...

8. ДУЭЛЬ

...Главное впечатление, которое оставлял Есенин в свою бытность в Тбилиси — это неуемная жизнерадостность, почти детская способность полностью отдаваться чистой радости. И чтобы веселее закончить эти мои отрывочные воспоминания, я перескажу один характерный случай.

Захожу к нему раз вечером в гостиницу «Ориант». Он был один, печален, но при виде меня вскочил и крикнул мне возбужденно:

— Гогла, я вызываю тебя на дуэль! Называй секундантов!

— В чем дело, почему?

— Завтра в шесть часов утра, на Коджорском шоссе!

— Я не понимаю, что за детский разговор!

— Не волнуйся, будем стреляться холостыми, а на другой день газеты напечатают, что дрались Есенин и Леонидзе, понимаешь? Неужели это тебя не соблазняет?

Я засмеялся, и вскоре мы переменили тему разговора. Он совершенно забыл о «дуэли». Позднее он, оказывается, с таким же предложением обратился к Сандро Шаншиашвили...

Такими были некоторые грани этого удивительного человека. Таким он остался в моем сознании, в моей памяти... И думая о нем, вороша прошлое, воскрешая дорогие образы моей молодости, я чаще, чем кого бы то ни было, вызываю навсегда дорогой облик Сергея Есенина. И как часто хочется мне крикнуть его же словами из одного его изумительного монолога: «Я хочу видеть этого человека!» [9]

⟨1965⟩

Н. К. ВЕРЖБИЦКИЙ

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

ПЕРВОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

⟨...⟩

Четырнадцатого сентября в Тифлисе состоялась многочисленная демонстрация в честь празднования Международного юношеского дня.

Мы с Есениным стояли на ступеньках бывшего дворца наместника, а перед нами по проспекту шли, шеренга за шеренгой, загорелые, мускулистые ребята в трусиках и майках.

Зрелище было внушительное. Физкультурники с красными знаменами печатали шаг по брусчатке мостовой. Сердце прыгало в груди при взгляде на них. Я не удержался и воскликнул, схватив Есенина за рукав:

— Эх, Сережа, если бы и нам с тобой задрать штаны и прошагать вместе с этими ребятами!

Есенин вздрогнул и внимательно посмотрел мне в глаза.

По-видимому, эта моя взволнованная фраза задержалась в его сознании. И спустя полтора месяца я прочел в стихотворении «Русь уходящая»:

Я знаю, грусть не утопить в вине,
Не вылечить души
Пустыней и отколом.
Знать, оттого так хочется и мне,
Задрав штаны,
Бежать за комсомолом.

— Вспоминаешь? — спросил у меня поэт, когда эти строки появились в «Заре Востока»...

Первый вечер Есенина состоялся в одном из рабочих клубов [1]. Сперва он прочел что-то печальное...

Этой грусти теперь не рассыпать
Звонким смехом далеких лет.
Отцвела моя белая липа,
Отзвенел соловьиный рассвет...

Переполненный зал слушал внимательно. Стояла полная тишина, навеянная музыкой печальных слов.

Поэт стоял на эстраде, красивый, задумчивый, в хорошем сером костюме, приятно сочетавшемся с его белокурыми волосами.

Голос у Есенина был негромкий, чуть хрипловатый, жесты — сдержанные. Руки двигались так, словно поддерживали у груди и поглаживали что-то круглое и мягкое. Кончив читать, поэт разводил руки, и тогда казалось, что это круглое медленно поднимается в воздух, а поэт взглядом провожает его.

Когда было прочитано три-четыре таких стихотворения, на сцену, словно сговорившись, поднялись молодые люди и стали критиковать эти стихи: одни — за «несозвучность эпохе», другие — за «богему», третьи — за «растлевающее влияние»...

Аудитория зашумела.

Тогда я, стоя возле кулис, шепнул:

— Прочти из «Гуляй-поля».

Есенин властно ступил к самому краю авансцены. Лоб его прорезала глубокая морщина, глаза потемнели.

Тихо бросив в зал: «Я вам еще прочту»,— он начал:

Россия —
Страшный, чудный звон.
В деревьях березь, в цветь — подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?
Суровый гений! Он меня
Влечет не по своей фигуре.
Он не садился на коня
И не летел навстречу буре.
Сплеча голов он не рубил,
Не обращал в побег пехоту.
Одно в убийстве он любил —
Перепелиную охоту.

Слушавшие стали переглядываться и пожимать плечами: «О ком это он?.. При чем здесь перепелиная охота?»

А Есенин продолжал, постепенно повышая голос:

Застенчивый, простой и милый,
Он вроде сфинкса предо мной.
Я не пойму, какою силой
Сумел потрясть он шар земной?
Но он потряс...

Он мощным словом
Повел нас всех к истокам новым.
Он нам сказал: «Чтоб кончить муки,
Берите все в рабочьи руки,
Для вас спасенья больше нет —
Как ваша власть и ваш Совет».
. . . .
И мы пошли под визг метели,
Куда глаза его глядели:
Пошли туда, где видел он
Освобожденье всех племен...

Теперь уже всем стало ясно, что речь идет о великом Ленине. Снова наступила полная тишина. В голосе поэта зазвучала скорбь.

И вот он умер...
Плач досаден.
Не славят музы голос бед.
Из меднолающих громадин
Салют последний даден, даден.
Того, кто спас нас, больше нет.
Его уж нет, а те, кто вживе,
А те, кого оставил он,
Страну в бушующем разливе
Должны заковывать в бетон.

Для них не скажешь:
«Ленин умер!»
Их смерть к тоске не привела.
. . . .
Еще суровей и угрюмей
Они творят его дела...

Есенин кончил и умолк, потупясь.

Словно холодным ветром пахнуло в намертво притихшем зале.

Несколько секунд стояла эта напряженная тишина.

А потом вдруг все сразу утонуло в грохоте рукоплесканий. Неистово били в ладоши и «возражатели». Да и нельзя было не рукоплескать, не кричать, приминая в горле ком подступающих рыданий, потому что и стихи, и сам поэт,

и его проникновенный голос — все хватало за самое сердце и не позволяло оставаться равнодушным.

У каждого жили в памяти скорбные дни января 1924 года, когда вся страна навсегда прощалась с великим вождем...

Потом просили читать еще и еще...

Многие встали с мест и обступили сцену, не сводя глаз с Есенина. Задние ряды тоже поднялись и хлынули... Несколько сот человек, потеряв волю над собой, полностью отдались то раздольным, то горестным, то жестоким, то ласковым словам, родившимся в душе поэта.

«Ну вот, — думал я, когда мы возвращались из клуба, — первая встреча поэта с Кавказом состоялась. Его приняли, поняли и, наверное, никогда не забудут...»

Есенин всю дорогу молчал.

Но когда мы поднимались по лестнице, он положил мне руку на плечо и охрипшим голосом произнес:

— Ты знаешь, ведь я теперь начал писать совсем по-другому...

«ЗАБЫТЬ НЕНУЖНУЮ ТОСКУ...»

〈...〉

Есенин перебрался на окраину города, где я снимал квартиру в доме № 15 по Коджорской улице. Здесь поэт и поселился — подальше от соблазнов, от шумных гостей, от городской сутолоки.

Коджорская улица круто изгибалась по склону горы. Сверху к ней сбегали узкие тропки, а еще выше вилось и петляло среди скал шоссе, по которому ездили в дачную местность Коджори.

С Коджорского шоссе открывался вид на весь город, расположившийся в длинном, широком, со всех сторон закрытом горами ущелье, по дну которого змеилась Кура.

Общий тон города был серовато-коричневый. По утрам его окутывала голубоватая дымка испарений. Ночью с высокого места город казался звездным небом, опрокинутым навзничь...

В моей квартире были две комнаты и просторный балкон.

Первую, небольшую комнатку с письменным столом и огромным уральским сундуком-укладкой, покрытым ковром, я отдал Есенину. Вторая комната служила спальней мне и моей жене. На балконе, по тифлисскому обычаю, готовили пищу, пользуясь жаровней — мангалом, ели, пили и беседовали.

Перед балконом росло несколько деревьев алычи и был разбит цветник. Садик казался больше, чем он был на самом деле, потому что по стенам дома и по забору сплошным ковром вились глицинии. Их фиолетовые кисти источали сладковатый аромат, напоминающий запах белой акации.

В первый же день после переселения Есенина мы вышли погулять на шоссе и встретили чернявого армянского мальчугана лет двенадцати. Он подошел к нам, поздоровался и сказал, что моя жена, незадолго до этого уехавшая отдыхать на черноморское побережье, перед отъездом поручила ему помогать мне по хозяйству.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Ашот.

— Кто твой отец?

— Сапожник.

— Что же ты можешь делать?

— Все! — не задумываясь, ответил Ашот.

— Ну например?

— Могу приготовить обед... вымыть пол... отнести белье прачке... налить керосин в лампу... купить что надо в лавочке... А еще... а еще могу петь!

— Петь? — радостно воскликнул Есенин.— Так это же самое главное!

И, взяв мальчика за локти, поднял его с земли и расцеловал.

Так началась у них дружба, которая продолжалась несколько месяцев и в которой было много и смешного и трогательного.

Хозяйственная помощь Ашота оказалась очень незначительной. Она сводилась к тому, что он бегал в лавочку за покупками, неукоснительно присваивая при этом сдачу.

Днем, а часто и ночью, я оставлял их вдвоем, уходя работать в редакцию.

Ашот, по моему распоряжению, ни на минуту не оставлял Есенина, даже если тот уходил в город, а вечером рассказывал мне — что произошло за день.

Сергей постоянно повторял, что лучшего товарища ему не нужно и что он первый раз видит такого неутомимого певуна, вечно занятого каким-нибудь делом — то мастерит свистульку из катушки для ниток, то клеит змея, то из старого ножа делает кинжал.

Ашот, как всякий тифлисский мальчишка, говорил на трех языках и поэтому был очень полезен во время прогу-

лок по городу, так как Есенин часто затевал разговоры с прохожими.

Через полмесяца вернулась жена и взяла хозяйство в свои руки. Мы зажили вчетвером. У Ашота дома была огромная семья. Мы устроили его у себя, и он спал на балконе.

Есенин довольно часто уходил вместе со мной в редакцию, где скоро стал своим человеком. Все полюбили его за простоту, спокойную веселость и незлобивое остроумие.

Конечно, кое-кому хотелось глубже покопаться в душе поэта, но он каждый раз вежливо отводил такого рода попытки.

Редакционные работники подобрались у нас хорошие. Однажды Есенин написал про них шуточное стихотворение «Заря Востока»: читая его, я всегда вспоминаю тифлисскую жизнь, веселую и ладную редакционную работу, когда мы дружным коллективом пускались на всякие газетные выдумки, привлекая к этому талантливых авторов и стремясь, чтобы печатный орган Закавказской федерации был не хуже столичных газет. 〈...〉

Однажды, часа в два ночи, когда я дежурил в типографии, мне сообщили, что в «проходной» сидит какой-то молодой человек в шляпе, хочет меня видеть.

Я велел пропустить.

В дверях показался Есенин.

Войдя в наборный цех, он начал как-то странно поводить носом, и на лице у него появилась довольная улыбка. А взгляд любовно скользил по наборным кассам, по печатным станкам, по талеру, на котором уже заканчивалась верстка очередной полосы газеты.

Вскоре я убедился, что Есенин довольно хорошо разбирается в типографском деле. Однако на мой вопрос — откуда у него такие знания — он ответил как-то невнятно.

Только впоследствии я узнал, что в молодые годы Сергей работал в одной из больших московских типографий.

Потом он еще много раз навещал меня в типографии и всегда говорил, что запах типографской краски напоминает ему юность и какие-то очень приятные и интересные события.

Есенин быстро сошелся со всеми рабочими, в особенности со старым метранпажем товарищем Хатисовым, которого ласково называл «папашей».

Однажды наборщики и печатники типографии «Зари Востока» на квартире у своего товарища устраивали вечеринку (это было в годовщину Октябрьской революции) и попросили, чтобы я привел с собой «Спрожу».

Почти все рабочие были грузины и армяне.

Поэт отлично чувствовал себя в этой компании, читал стихи, плясал лезгинку, подпевал «мравалжамиер»... Одного только не мог принять — некоторых чрезмерно острых для него кавказских кушаний домашнего приготовления.

И вот интересное сопоставление.

Спустя некоторое время мы были приглашены на именины к одному журналисту. Здесь Есенина встретили почтительно-ласково, отвели ему лучшее место за столом. Все гости были из местной русской интеллигенции. Среди присутствовавших было много интересных людей. Играли на рояле, пели романсы и хоровые песни.

Сергей весь вечер просидел рассеянный, ушедший в себя, нехотя пил, вяло отвечал на вопросы, читать стихи отказался наотрез, сославшись на то, что болит горло, и задолго до конца вечера шепнул мне:

— Давай смоемся!

Выбрав подходящий момент, мы улизнули.

Выйдя на улицу, Есенин облегченно вздохнул и сказал:

— За два часа ни одного человеческого слова! Все притворяются, что они очень умные, и говорят, словно из граммофонной трубы!..

Я и потом много раз замечал, что Есенина совершенно не тянет в так называемое «образованное общество», где он не встречал открытых, непосредственных слов, задушевной беседы. А они-то главным образом и привлекали Сергея.

ЛИ ПУ

Мы несемся на парном фаэтоне по Коджорскому шоссе. В гору, в гору!

Трещат камни под копытами тонконогих жилистых лошадей. Залихватски машет кнутом извозчик-молоканин. Фуражка у него с лакированным козырьком, а над левым ухом вьется по ветру завитой рыжий чуб.

Отчаянный народ — тифлисские извозчики! Есенин любит их быструю и шумную езду, с гиком и посвистом...

В двух километрах от города, на голом месте, стоит «Белый духан» — небольшой одноэтажный домик в две-три комнаты. Его окружает чахлый сад, обнесенный низ-

ким каменным забором. У входа на старом покосившемся столбе висит фонарь. К фонарю привязан железнодорожный колокол, в который бьют, когда подъезжает кутящая компания.

Над дверью голубая вывеска:

«ДАРЬЯЛ»
ВИНО. ЗАКУСКИ
И
РАЗНЫЙ ГОРЯЧИЙ ПИЩ»

Прислонившись к фонарю, стоит пожилой шарманщик. У него заломленная на затылок синяя фуражка блином, белый платок на шее, синяя залатанная чоха чуть не до пят, под ней красный архалук. Широчайшие штаны забраны в пестрые шерстяные носки. На ногах крючконосые чусты из мягкой кожи.

Завидев наш фаэтон, шарманщик начинает быстро крутить ручку своего гнусавого инструмента. Мы узнаем мелодию «Сама садик я садила...».

Входим в духан. Садимся. Заказываем. ⟨...⟩

Когда известное количество вина было выпито, а шашлык съеден, Сергей Есенин хитро взглянул на меня, подозвал к себе хозяина и, загадочно двигая руками, начал с ним вполголоса о чем-то договариваться.

Тот с серьезным видом понимающе кивал головой.

В результате этих переговоров через несколько минут наш столик перекочевал на самую середину дороги.

— Зачем это? — удивился я.

— Вот чудак! — воскликнул Есенин.— Как же ты не понимаешь? Ведь здесь мы будем хозяевами не только одного столика в духане, а всего мира!.. Здесь каждый в гости будет к нам, и запируем на просторе!..

Что и говорить,— тут было хорошо.

Тифлис урчал и дымился где-то глубоко внизу, а над нами висело огромное небо, такое просторное, какое можно увидеть только с вершины горы. В небе плавали большие черные птицы, словно нарисованные тушью на голубом шелку. А выше, над ними, спешили куда-то легкие тающие облака... Могучая тишина ласково обволакивала нас и звала дружить со всем, что существует прекрасного во вселенной...

По шоссе шли люди, пригородные крестьяне. У них была горная, легкая походка и прямо поставленные сухие головы. Приятно было смотреть на их открытые загорелые лица и светлые морщинки на висках.

Подгоняемые людьми ослы и буйволы тащили в город арбы с хворостом, углем, сыром, кислым молоком в глиняных кувшинах.

Есенин подходил к каждому крестьянину и жестом предлагал сесть за наш столик и выпить стакан вина. При этом у него было такое открытое и доброжелательное выражение лица, что трудно было отказаться.

И они присаживались, поднимали к небу стаканчики, наполненные золотым вином, произносили короткие тосты, медленно выпивали, а выпив, последние капли сбрасывали на горячую землю, произнося заклинание: «Пусть твой враг будет такой же пустой, как эта чара!»

Друг каждой затейливой выдумки — толстый и рослый хозяин духана — переводил нам тосты.

Здесь были пожелания жить еще столько лет, сколько листьев на дереве, быть таким же правдивым и правильным в своей жизни, как правая рука, которую протягивают в знак дружбы и которой наносят удар врагу.

— Сколько звезд на небе, пусть столько же будет у тебя в жизни счастливых дорог! — говорил один.

— Будь чистым, светлым и прозрачным, как вода в роднике,— говорил другой.

— Пусть в знойные дни тебя всегда осеняет тенью доброе облако! — провозглашал третий.

Сергея эти простодушные тосты приводили в восхищение. Он просил меня записывать их, сам пробовал говорить в этом же роде, но у него не получалось.

Он сердился на себя и спрашивал, как капризный ребенок:

— Почему? Ведь я же поэт!

Пришлось объяснить, что тосты у грузин — традиционные. Они, как пословицы и поговорки, насчитывают тысячи лет. В них каждое слово, каждый образ отшлифован многовековой практикой. Создать такой тост по первому желанию, одним махом, очень трудно.

— А то, что мы ни с того ни с сего расселись среди дороги и угощаем вином каждого проходящего мимо,— добавил я,— это, наверное, представляется крестьянам странным и ненужным, потому что они привыкли к выпивке относиться прежде всего как к обряду, и каждый свой обряд сопровождают вином. Ты тоже придумал какой-то необходимый тебе сейчас обряд — обряд дружбы.

Выслушав меня, Есенин сразу остыл, даже загрустил и уже хотел снова перебраться в помещение.

Но тут я рассказал ему о гениальном китайском лирике

VIII века Ли Бо (Ли Пу). Этот замечательный поэт был приглашен ко двору императора. Придворного поэта полюбила императрица. Ли Пу бежал от этой любви. Император в благодарность дал ему пятьдесят ослов, нагруженных золотом и драгоценными одеждами, которые надевались только в дни самых торжественных дворцовых празднеств.

Отъехав немного от столицы, поэт велел среди проезжей дороги накрыть стол с яствами и стал угощать проходящих и проезжавших крестьян, а угостив, на каждого надевал придворную одежду.

Когда золото было израсходовано, вино выпито, кушанья съедены, одежды розданы, Ли Пу пешком отправился дальше. Дошел до огромной реки Янцзы, поселился здесь и часто ночью на лодке выезжал на середину реки и любовался лунным отражением.

Однажды ему захотелось обнять это отражение, так оно было прекрасно. Он прыгнул в воду и утонул...

Есенина поразила эта легенда. Он просил еще подробностей о Ли Пу.

Я прочел ему отрывок из поэмы китайского лирика:

Грустная, сидела я у окна,
Наклонившись над шелковой подушкой,
Вышивая, уколола себе палец.

Капнула кровь,
И белая роза, которую я вышивала,
Сделалась красной...

Я думала о тебе —
Ты сейчас далеко, на войне.
Может быть, истекаешь кровью?..

Слезы брызнули из моих глаз...
Снова я, грустная, села к окну
И стала вышивать слезы на шелковой подушке.

Они были, как жемчуг,
Вокруг красной розы...

Спустя много месяцев, в течение которых никто из нас ни в письмах, ни в разговорах не вспоминал о Ли Пу, летом 1925 года я получил от Есенина из Москвы письмо с портретом Ли Пу (вырезка из какого-то английского журнала) — охмелевший поэт бредет куда-то, сопровождаемый юношей и девушкой. Он добродушен, счастлив и спокоен.

На портрете была надпись:

«Дорогому другу Коле Вержбицкому на память о Белом духане.

Жизнь такую,
Как Ли Пу, я
Не сменял бы
На другую
Никакую!

Сергей Есенин».

Но не только в этом проявилась у Есенина память о Ли Пу.

Есть у него стихотворение «Море голосов воробьиных». Там имеются такие строки:

Ах, у луны такое
Светит — хоть кинься в воду.
Я не хочу покоя
В синюю эту погоду.
Ах, у луны такое
Светит — хоть кинься в воду.

Первая и последняя фразы этой строфы непонятны, тем более что о воде в стихотворении не говорится ни слова. Но их смысл становится ясным, если связать его с легендой о Ли Пу. Видно, она глубоко запала в душу Есенина.

Это один из примеров того, как прочно овладевали поэтом некоторые образы, особенно образы неожиданные, поражающие воображение. Они для поэта до такой степени приобретали самостоятельное значение, что он, восприняв их органически и введя в свой поэтический обиход, даже не считал нужным расшифровывать.

〈...〉

НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА

На Коджорской улице нас часто навещал художник Илья Герасимович Рыженко. 〈...〉

По внешности Илья был типичный крестьянин, и было в нем что-то степное, калмыцкое. Лицо — словно вытесанное топором, глаза — зеленые, диковатые, жесты — резкие, а голос — низкий, проникновенный. В веселые минуты, обрадованный острым словцом или метким сравнением, он хохотал так, что чуть не падал со стула. Руки и пальцы у Ильи были корявые, неуклюжие, но, когда он брался за карандаш или кисть,— какие замечательные рисунки создавали они, какие тончайшие оттенки находи-

ли! Именно сказочным хотелось назвать искусство этого человека... Я никогда не забуду одну его акварель: дно кристально-прозрачного горного потока, с таинственными глубинами и разноцветными обкатанными камнями, то гладкими, то покрытыми бархатом водорослей, но явно согретыми лучом солнца, пронзившим холодную струю...

Бывая в гостях у Рыженко, Есенин подолгу рылся в его объемистых папках, расставлял этюды на стульях, на подоконнике, на столе... Смотрел, качал головой и говорил:

— У тебя, Илюша, прямо собачья любовь к природе!

— Почему же собачья? — удивлялся художник.

— Да как тебе сказать... Мне кажется, что по-настоящему любят и понимают природу только животные... И еще растения... А иные люди только притворяются, что любят,— им уже *нечем любить*... Ты тоже, по-моему, не человек, а большая, умная и добрая собака... И если тебя ласково погладить, ты растрогаешься и заплачешь собачьими слезами.

И правда, потом не раз приходилось мне видеть, как Рыженко «в открытую» плакал крупными слезами в ответ на ласковое слово, наверно потому, что в жизни таких слов немного пришлось на его долю...

Илья был прекрасный рассказчик. К тому же он всегда рассказывал только о том, что сам видел и испытал в жизни *.

Есенина в этих рассказах увлекало, как мне кажется, не одно только чередование любопытных фактов. Одновременно он прислушивался к языку Рыженко — сочному, выпуклому, многоцветному и живому. Художник хорошо знал яркую и образную народную речь и умело ею пользовался, часто давая такие меткие определения и характеристики, которые надолго оставались в памяти.

Иногда Рыженко, со свойственной ему прямотой, хватал Есенина за руку и говорил, пристально глядя на него своими зелеными неумолимыми глазами:

— Никто тебя, Сереженька, не выбирал печалиться и грустить о старом деревенском укладе! Да и не знаешь ты этого уклада. Небось ни разу за сохой не прогулялся!.. С богомолками по святым местам ходил!.. Про девок и про гармошку другие поэты не хуже тебя напишут, а ты лучше расскажи-ка, как в нашу деревню социализм просачивается,— вот о чем ты должен писать!.. Не бойся — березки

* В 1926 году в Тифлисе вышел сборник его рассказов и очерков из эпохи гражданской войны.

и закаты солнца никуда не денутся, они и при социализме останутся. А вот интересно показать души крестьян, которые на глазах меняются, да еще как!.. Не углядишь этого — потом досада возьмет!

Пререканий на эту тему обычно не возникало. Есенин в ту пору был уже не на распутье. Всем было видно, что он уже избрал себе определенную дорогу. И если еще писал: «С того я мучаюсь, что не пойму — куда несет нас рок событий», то это означало лишь, что еще не вызрели у поэта новые образы, еще не выкристаллизовались формулы нового отношения к бытию.

Что касается Рыженко — крестьянина по рождению и талантливого художника,— то он всегда говорил, что легко и радостно воспринимает в изображении Есенина хорошо знакомую природу Средней России. Это доставляло большое удовольствие поэту. Он понимал, что его хвалят не за виртуозно-придуманное и не за причудливую экзотику, а за то, что идет у него прямо из сердца.

Есенин мог часами читать свои стихи в присутствии Рыженко. Но тот иногда не выдерживал и, размахивая руками, кричал:

— Баста! Хватит! Ты меня задавил образами! Дышать нечем!.. Твои стихи, Сережа, тем и хороши, что их нужно медленно прихлебывать, как хорошее вино из хрустального бокала!

Был еще один интересный человек, с которым сблизился Есенин, живя у меня,— Вениамин Петрович Попов, из донских казаков.

Окончив Московский университет, Попов отправился путешествовать в Среднюю Азию. Пробыл там около двух лет и, очарованный искусством Востока, культурой древней Бухары, Хивы, Самарканда, уехал в Европу — искать отражения этих великолепных образцов в произведениях великих мастеров европейского средневековья. Жил в Мюнхене, в Геттингене, Дрездене. Целые дни проводил в библиотеках, картинных галереях и мастерских художников.

Во время первой мировой войны Попова задержали в Германии как военнопленного. Вернувшись в Россию, он избрал местом своего жительства Тифлис и здесь стал заниматься журналистикой.

Познакомившись с местными художниками и поэтами, он стал чем-то вроде неизбранного «арбитер элегантиа-

рум». При обсуждении каждой новой картины или литературного произведения высказывал тонкие и часто весьма глубокие замечания, отличавшиеся безупречной объективностью и прямотой.

Это был человек небольшого роста, ладный, чуть суховатый, с красивыми прядями седоватых волос на голове и с мягкими жестами маленьких рук. Говорил он всегда медленно, взвешивая свои слова...

В комнатке Попова на Хлебной площади стояли простой деревянный стол, хромая табуретка и кровать — три доски на деревянных козлах.

Зато стены были украшены редкими произведениями искусства, среди которых вы могли увидеть старинные гравюры, чеканные блюда, миниатюры на фарфоре, статуэтки из слоновой кости, инкрустированное оружие... На книжной полке стояло не более двухсот томиков, но каждая книга была шедевром и по содержанию, и по внешнему оформлению.

Вот тут-то, на этих полках, и подвернулся мне томик — «Персидские лирики X—XV веков» в переводе академика Корша.

Я взял его домой почитать.

А потом он оказался в руках Есенина, который уже не хотел расставаться с ним.

Что-то глубоко очаровало поэта в этих стихах.

Он ходил по комнате и декламировал Омара Хайяма:

Ты, книга юности, дочитана, увы!
Часы веселия, навек умчались вы!
О птица-молодость, ты быстро улетела,
Ища свежей лугов и зеленей листвы!..

Мы пьем не потому, что тянемся к веселью.
И не разнузданность себе мы ставим целью, —
Мы от самих себя хотим на миг уйти
И только потому к хмельному склонны зелью...

Не дрогнут ветки. Ночь. Я одинок.
Во тьме роняет роза лепесток.
И ты ушла. И горьких опьянений
Летучий бред развеян и далек...

Попов не стремился к знакомству с Есениным. Но когда я сообщил ему, что поэт с наслаждением читает и перечитывает Саади, Хайяма и Руми, он зашел к нам, и мы провели интересный вечер. Вениамин без конца рассказывал о Востоке, о Персии...

Попов любил искусство с какой-то особой непреклонной требовательностью. Он принимал и утверждал в душе своей только все безупречное, никогда, ничему и никому не делая скидок. В этом отношении он, как казалось некоторым, был даже слишком требователен. Но в ответ мы слышали от него:

— А разве вы забыли, что говорил Гёте: в смысле строгости оценок произведений искусства никогда ничего не может быть «слишком»! Только при этом условии мы будем идти вперед!

Вениамин Петрович приветствовал цельность творчества Есенина, прощая ему некоторую ограниченность, которая, по его мнению, выражалась, например, в том, что поэт, живя среди красочной природы Кавказа, словно не подпускает к себе ничего, кроме (как называл Попов) «левитановских лужков и бережков». И это была чистая правда.

Как-то вечером, за ужином, Есенин прочел нам свое первое стихотворение из будущего цикла «Персидские мотивы»:

Я спросил сегодня у менялы,
Что дает за полтумана по рублю,
Как сказать мне для прекрасной Лалы
По-персидски нежное «люблю»?..

Попов выслушал, подумал и сказал:

— А вот поверьте моему слову, Сергей Александрович, вы, конечно, и еще захотите писать про «персидское», но каждый раз (я готов голову отдать на отсечение) вы будете сворачивать на Рязань!

Это было точное предвидение... 〈...〉

ТИФЛИС ПОЕТ

〈...〉

Мы спустились в погребок. Здесь за одним из столиков сидел мой друг — журналист Шакро Бусурашвили. Это был истый тифлисец, уроженец Верхней Кахетии, изящный, как молодой гомборский медведь, упрямый, как буйвол, и лукавый, как тифлисская весна в марте. Но мечтательная душа Шакро скрадывала все эти недостатки. Кроме того, он знал каждый уголок, каждую щель этого удивительного города.

— Послушай, дружище,— сказал я.— Есенин подавлен обилием резких звуков. Ему начинает казаться, что Тифлис умеет только кричать. Скажи, где можно послушать тихую и мудрую песню?

— Идемте, я покажу вам певучее и доброе сердце Тифлиса,— сказал на это Шакро.

Мы вышли из подвальчика и пошли берегом Куры. Вскоре мы остановились перед невзрачным домом. Изнутри доносилось пение.

Шакро толкнул дверь, и мы вошли в полутемное помещение.

К правой стене был приперт двуногий стол. На тахте лежал старенький ковер с длинными подушками. В углу стояла табуретка, на ней — ведро с водой.

Среди этой бедной обстановки казались неожиданными большой портрет Шота Руставели, размашистой кистью написанный прямо на стене, и два больших букета каких-то крупных белых цветов в глиняных кувшинах.

Посреди комнаты стоял среднего роста пожилой мужчина с седоватой бородкой. Его карие глаза смотрели спокойно, умно и благожелательно.

Это был Иетим Гурджи, народный певец и народный поэт Грузии — так нам представил его Шакро.

Иетим поклонился нам и снова запел. Он пел и указательным пальцем наигрывал на трехструнном инструменте с длинным и тонким грифом — чонгури.

Перед ним на тахте, прислонившись к стене, сидели трое юношей. Они не спускали глаз со старика и, прослушав часть песни, вместе с ним повторяли ее. Если они ошибались, учитель останавливал их ударом ноги о пол и сам еще раз повторял трудное место.

Юноши заучивали с голоса собственные стихи и мелодии Иетима. Он говорил:

— Если что плохо сложилось в голове, всегда можно исправить. А напечатанное в книге — никогда.

Отсюда, из этой каморки, песни старого «молексе» разлетались во все стороны света, как пушинки одуванчика. Ветер жизни не выбирал для них ни места, ни направления — лови, кто хочет, бери и выращивай из этих крошечных семян пышные цветы любви, красоты и мудрости!

Голос у Иетима был слабый и немного дребезжал. Но в пении старика было так много сердечности и внимательной любви к каждому звуку, что нельзя было не заслушаться. Невольно хотелось вслед за ним повторять его песни, полные глубокого смысла и очарования.

Я записал одну из них. Вот она:

Посмотрите на этот мир —
Его не купишь за серебро.
Много было таких, которые погибли,

Думая завладеть им с помощью богатства.
А когда они умерли в одинокой роскоши,
Некому было даже закрыть глаза
Этим разжиревшим гордецам!

А я выбираю себе друзей
Не из тех, у кого много золота,
А из тех, кто всегда весел и бодр,
Кто верит, что счастье сбудется,
Счастье для всех!
Так поступает Иетим Гурджи,
Следуйте его примеру!

Кончив петь, старик пригласил нас сесть. Он сдержанно выразил удовольствие, узнав, что среди его гостей находится известный русский поэт. Достал из угла большой глиняный кувшин с вином, налил всем и сказал:

— Встреча двух поэтов — это встреча стали с кремнем. Она рождает свет и тепло!.. Я плохо знаю русский язык, но язык поэзии — один повсюду. Прошу моего брата прочесть что-нибудь!

И он еще раз чокнулся с Есениным.

Тот встал, долго молчал и, наконец, запел «Есть одна хорошая песня у соловушки...» [2].

Я еще не слышал и не читал этой песни. В ней было немного слов, но слова эти и мелодия произвели на меня потрясающее впечатление.

Хозяин стоял опустив голову.

— Не надо печали! — вдруг воскликнул он и толкнул ногою дверь.— Посмотрите, как хорошо на свете!

И перед нашими глазами возникло чудесное зрелище.

Город лежал внизу. На него падали последние лучи заходящего солнца. Длинные тени от домов, скал и деревьев наполнялись синеватой мглой.

Через минуту солнце скрылось, и город погрузился во мрак. Дома и улицы на какое-то мгновение совершенно исчезли из глаз, как будто утонули в этом мраке, но потом в нем начали проступать желтые дрожащие огоньки.

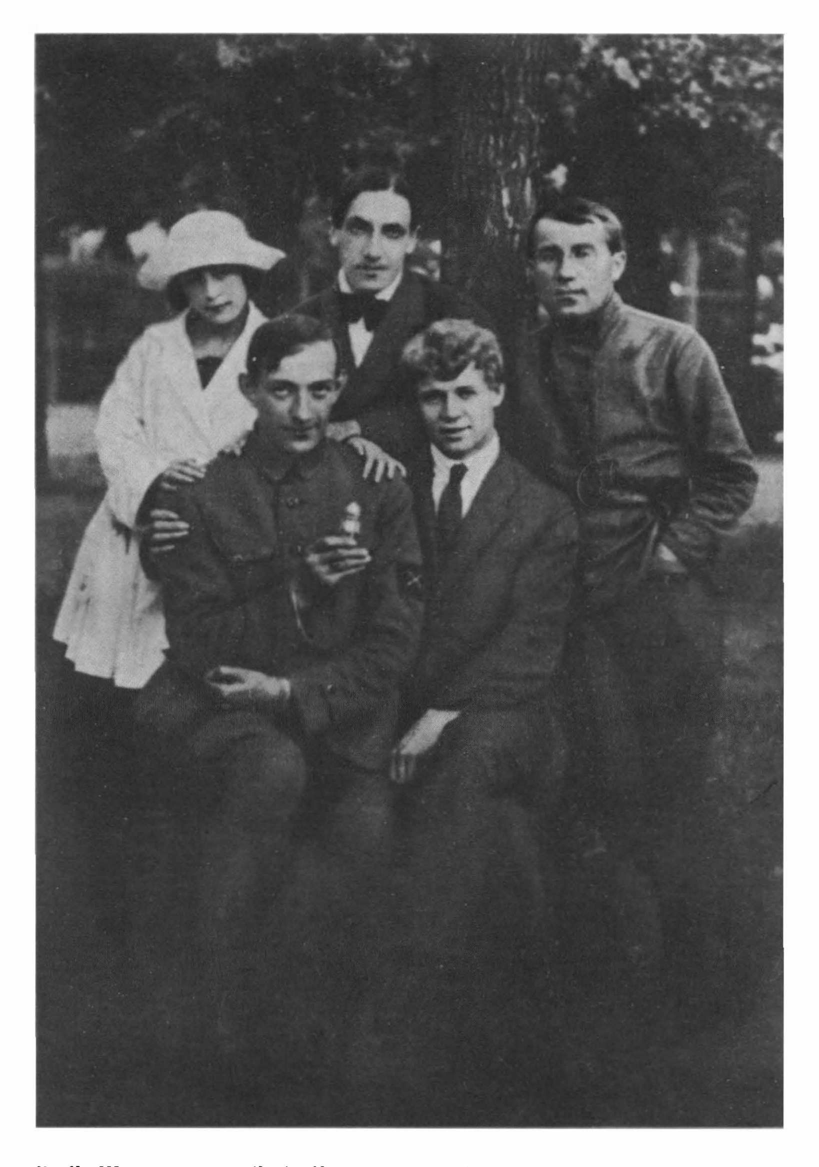
А наверху замигали звезды. Их сразу появилось такое множество, что можно было подумать, будто это не звезды, а отражение огоньков, вспыхнувших внизу.

Есенин не отводил глаз от чудесной картины — Тифлис продолжал жить, бодрствовать, он все еще пел, звуча как один огромный и сложный инструмент.

На просторных балконах зашевелились тени, открылись окна навстречу вечерней прохладе.



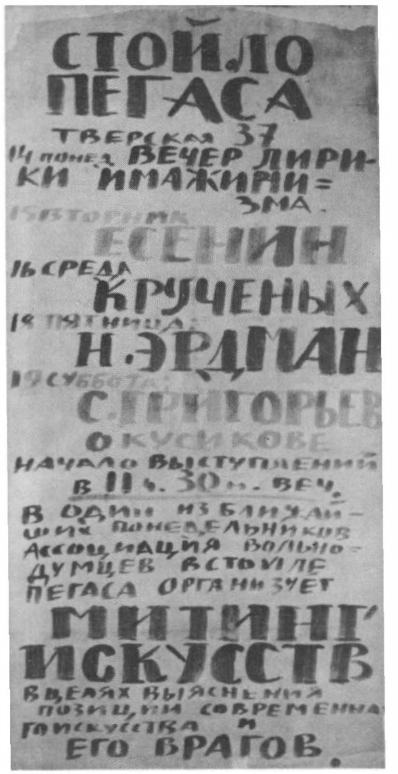
С. А. Есенин.
1922 г.



В. Г. Шершеневич, С. А. Есенин (сидят),
Шоршевская, А. Б. Мариенгоф, И. В. Грузинов (стоят)



Г. А. Бениславская.



Афиша кафе «Стойло Пегаса».
Июнь 1920 г.



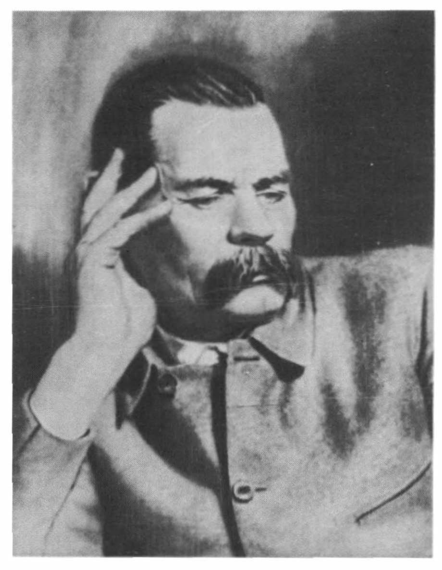
Ирма Дункан, Айседора Дункан, С. А. Есенин.
1922 г.



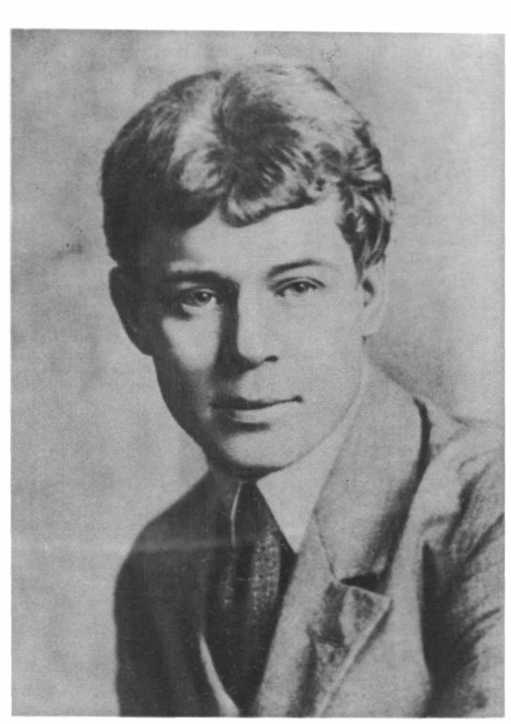
Айседора Дункан.



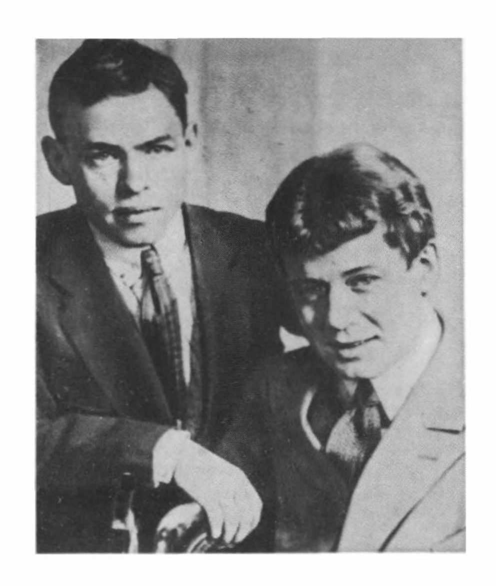
С. А. Есенин на пляже в Италии. 1922 г.



А. М. Горький.



С. А. Есенин.
1923 г.



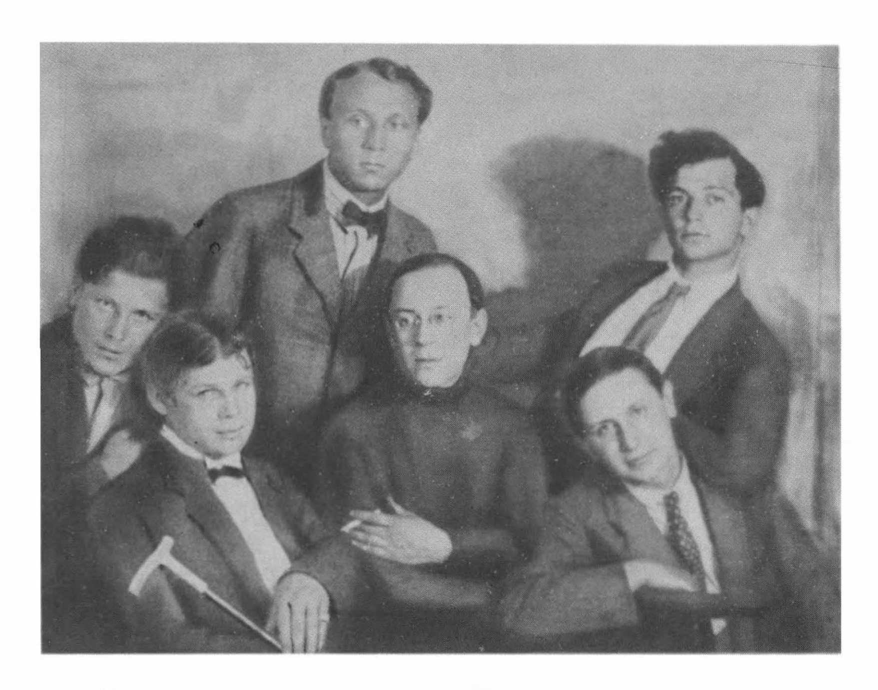
В. В. Казин
и С. А. Есенин.
1923 г.



С. А. Есенин
и Л. М. Леонов.
1925 г.

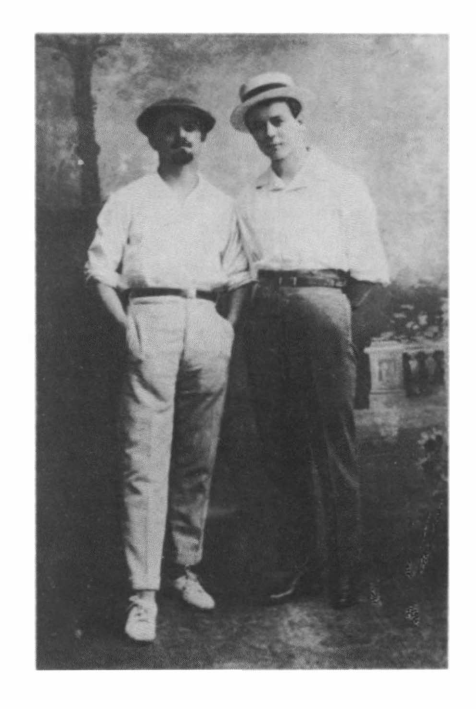


Н. А. Клюев, С. А. Есенин, Вс. В. Иванов.
1924 г.



Иван Приблудный, С. А. Есенин, Г. Б. Шмерельсон,
С. А. Полоцкий (сидят); В. В. Ричиотти, В. И. Эрлих (стоят).
1924 г.

С. А. Есенин среди участников литературного кружка при редакции газеты «Бакинский рабочий». 1925 г.



С. А. Есенин и В. И. Болдовкин. 1924 г.



С. А. Есенин и П. И. Чагин.
1924 г.



С. А. Есенин с сестрой Е. А. Есениной.
1925 г.



С. А. Есенин с матерью.
Март 1925 г.



:лева направо: В. Ф. Наседкин, А. А. Есенина, Е. А. Есенина,
\. М. Сахаров, С. А. Есенин, С. А. Толстая-Есенина
925 г.



С. А. Есенин.
1925 г.



Похороны С. А. Есенина. У памятника Пушкину.
31 декабря 1925 г.

Совсем близко из распахнувшейся двери вырвался наружу и понесся к звездному небу густой и согласный хор кейфующих людей.

Иетим Гурджи послушал, улыбнулся и сказал, обращаясь к Есенину:

— Всякая песня годится, лишь бы она шла от души!

И, помолчав, добавил:

— Царь Давид хвастался, что его песни больше всего нравятся богу. А бог посмотрел сверху, покачал головой и говорит: «Ишь ты, расхвастался!.. Каждая лягушка в болоте поет не хуже тебя! Посмотри, как она от всей души старается, хочет мне угодить!» И тогда царю Давиду стало стыдно.

Может быть, эта простодушная, но полная глубокого значения легенда вспомнилась потом Есенину, когда он писал:

Миру нужно песенное слово
Петь по-свойски, даже как лягушка [3].

⟨...⟩

В ГОСТЯХ У БЕСПРИЗОРНИКОВ

В газете появилась заметка о том, что в Тифлисе открылся коллектор для беспризорных, откуда их будут направлять в детские дома и колонии.

Есенин захотел во что бы то ни стало посетить это учреждение. И мы отправились на Авлабар *.

В большом, невзрачном, казарменного типа помещении находилось человек пятьдесят «пацанов», задержанных на железнодорожных путях, в пустых товарных вагонах, в пещерах, вырытых по берегу реки, на улицах.

Есенин оделся как обычно: ярко начищенные желтые туфли, новая серая шляпа, хороший, только что отглаженный серый костюм. Он даже сунул в верхний левый карман какую-то цветную батистовую тряпочку.

Я не видел смысла в этом принаряживании и говорил:

— Украшайся, украшайся! Смотри, как бы «пацаны» не встретили тебя свистом и камнями. Ведь они могут принять тебя за барина, за буржуя!

— Не беспокойся! — отвечал мне Сергей, делая аккуратный пробор на голове, как раз посредине.— Поверь мне, что не всегда так бывает, что «по платью встречают».

* Окраина Тбилиси, расположенная на высоком берегу Куры.

Когда мы пришли в коллектор, Есенин смело распахнул двери и быстрым шагом вошел в довольно грязное и неуютное помещение. Можно было подумать, что он уже не раз здесь бывал и все ему хорошо знакомо. Он сразу направился к широким и тоже не очень чистым нарам, на которых сидели и лежали полуголые, вымачканные угольной пылью, завшивевшие мальчишки в возрасте от шести до пятнадцати лет.

Я внимательно следил за каждым движением, за каждым жестом Есенина.

Он с серьезным деловым выражением лица сделал повелительное движение рукой, чтобы ему освободили место на нарах, прочно уселся, снял шляпу, велел положить ее на подоконник, подобрал одну ногу под себя и принял позу, которая удивительно напоминала обычную позу беспризорника: одновременно развязную и напряженную.

Сразу началась оживленная беседа. Она велась почти в товарищеском тоне.

Есенин начал с того, что очень правдиво рассказал, как он сам был беспризорником, голодал, холодал, но потом нашел в себе силы расстаться с бродяжничеством, подыскал работу, выучился грамоте и вот теперь — пишет стихи, их печатают, и он неплохо зарабатывает.

Кончив свой от начала до конца выдуманный рассказ, Есенин вытащил из кармана пачку дорогих папирос и стал угощать, однако не всех, а по какому-то своему выбору и без всякой навязчивости.

— А ты какие пишешь стихи? — спросил один мальчик.— Про любовь?

— Да, и про любовь,— ответил Есенин,— и про геройские дела... разные.

В разговоре он употреблял жаргонные слова, пользовался босяческими интонациями и жестами, но все это делал естественно и просто, без тени притворства.

В ответ на его «искреннее» признание ребята начали без всякого стеснения рассказывать о своих путешествиях, о не всегда благопристойных способах приобретения средств для пропитания. Внимательно слушали, когда Сергей начал объяснять им, что Советская власть никогда не даст им погибнуть, она оденет их, приютит, научит работать, сделает счастливыми людьми...

Мы пробыли в коллекторе около часа. За это время никто не позволил себе ни одной грубой шутки. А когда один совершенно голый и совершенно черный от грязи

мальчишка слишком близко подсел к Есенину, на него хором закричали остальные:

— Эй, дурошлеп! Разве не видишь — у человека хорошая роба?! А ты прислоняешься!

Другой мальчуган по просьбе Есенина с большой охотой спел чистым, как слеза, за душу берущим детским голоском песню беспризорников «Позабыт, позаброшен...».

Провожали нас до дверей всей оравой и кричали вдогонку:

— Приходите еще!

Мы вышли на улицу порядочно взволнованные.

Есенин шел большими шагами и все время говорил, как-то странно заикаясь и размахивая руками. Он говорил о том, что больше с этим мириться нельзя, невозможно дальше спокойно наблюдать, как у всех на глазах гибнут, может быть, будущие Ломоносовы, Пушкины, Менделеевы, Репины!

— Надо немедленно,— громко говорил Сергей, хватая меня за локоть,— немедленно очистить от монахов все до единого монастыри и поселить там беспризорных! Нечего церемониться с попами и монахами, тем более с такими, которые убивали красных воинов!

Как раз в те дни были опубликованы в газетах материалы о «святых отцах» Ново-Афонского монастыря около Сухума, которые с винтовками боролись против Красной Армии.

— Я завтра же пойду к Миха Цхакая и скажу ему об этом! — говорил Сергей.

Спустя три дня в «Заре Востока» появились его стихи — «Русь бесприютная» [4]. Там были такие строки:

Над старым твердо
Вставлен крепкий кол.
Но все ж у нас
Монашеские общины
С «аминем» ставят
Каждый протокол.

У них жилища есть,
У них есть хлеб,
Они с молитвами
И благостны и сыты.
Но есть на этой
Горестной земле,
Что всеми добрыми
И злыми позабыты...

...Я только им пою,
Ночующим в котлах,
Пою для них,
Кто спит порой в сортире,
О, пусть они
Хотя б прочтут в стихах,
Что есть за них
Обиженные в мире.

Был Есенин и у председателя Закавказского Центрального Исполнительного Комитета — Миха Цхакая.

В ответ на эмоциональное заявление поэта старый большевик-ленинец сказал, что правительство уже нашло для беспризорных хорошие помещения, где в самом ближайшем будущем должны быть организованы трудовые колонии... А в Новом Афоне, освобожденном от монахов, будут созданы отличная здравница и совхоз...

В последние два года жизни Есенин часто говорил о своем желании написать повесть о беспризорниках, которые в те годы буквально заполонили все большие города и железнодорожные узлы. Это была его неутолимая, горестная тема [5]. 〈...〉

ИЗ МОЕЙ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

〈...〉

Есенин быстро схватывал нужное, был довольно проницателен и предугадлив. Любил говорить:

— Не-ет, мужика и леший в лесу не обкрутит!

Я ни разу не заметил у Есенина ни одного заискивающего взгляда или жеста. Вместе с тем в нем не было и ничего такого, что говорило бы о высокомерии. Это был спокойный человек, уверенный в себе и во внутренней правоте своего призвания.

Есенин был далеко не красноречив, устная речь его, особенно во время спора, была нескладна, отрывиста, часто непоследовательна. Казалось, что слова и фразы вылетают у него, опережая и даже заслоняя мысль. Эта «бесталанность к гладкому разговору» иногда угнетала поэта, и он становился молчаливым.

Есенин прекрасно читал свои стихи, никогда не сбивался, ничего не забывал.

Если в отдельных местах произведения он читал, что

называется, «с нажимом», то это был «нажим», идущий от сердца, от переживания самого поэта, а не от законов декламации или от актерства.

Все знавшие и слыхавшие чтение Есенина тоже подтверждают, что память никогда ему не изменяла на стихи. Они словно жили в нем неотделимо, однажды родившись. ⟨...⟩

Есенин много раз и с большим простодушием спрашивал у меня:

— Что за человек — Горький?.. Как ты думаешь — что это за человек?

И до прозрачности ясно было, что он действительно никак не может постигнуть — откуда пришла к этому всегда взволнованному художнику этакая невероятная широта мысленного охвата жизни, такая редчайшая способность все время трудиться над разрешением множества житейских и творческих вопросов...

— Когда мы встретились в Берлине, я при нем чего-то смущался,— сказал однажды Есенин.— Мне все время казалось, что он вдруг заметит во мне что-нибудь нехорошее и строго прицыкнет на меня, как, бывало, цыкал на меня дед. Да еще каблуком стукнет о пол... От Горького станется!

По свидетельству современников, в 1925 году Есенин часто выражал свое желание поехать в Италию к Горькому. В июне он написал ему письмо, где говорил об этом.

Из поэтов Есенин активно не любил Надсона. Пушкина на Кавказе начал ценить выше Лермонтова, которого до этого считал непревзойденным. У Гоголя больше всего ему нравились лирические отступления в «Мертвых душах».

— Так мог написать только истинно любящий Россию человек! — говорил он.

От Достоевского Сергей быстро уставал и признавался, что после этого писателя ему «плохо спится».

Спросил я его как-то про Блока.

Есенин пожал плечами, как бы не зная, что сказать.

— Скучно мне было с ним разговаривать,— вымолвил он наконец.— Александр Александрович взирал на меня с небес, словно бог Саваоф, грозящий пальцем... Правда, я тогда был совсем мальчишкой и, кажется, что-то надерзил ему... Но как поэт я многому научился у Блока. ⟨...⟩

Иногда, оставаясь дома и забывая обо всем на свете, мы бросали на пол широкий войлок, подушки, ставили на низенький столик блюдо с пряной кавказской зеленью и острым овечьим сыром, нарезанным тончайшими ломтиками, раскупоривали бутылку светлого гурджаанского вина и, как выражался Вениамин Попов,— «предавались Пушкину».

Попов хорошо читал. Есенин слушал внимательно и взволнованно, а в наиболее захватывающих местах вздрагивал и хватал кого-нибудь за руку.

Особенно восхищали его миниатюры, вроде «На холмах Грузии...», «Делибаш», «Предчувствие», «Воспоминание», «Дружба», «Телега жизни» и другие. Их он мог слушать без конца.

По поводу стихотворения «Дар напрасный» он однажды сказал:

— Вот небось не говорят про эту вещь: «упадочное»! А у нас, как чуть где тоскливая нотка, сейчас же начинают кричать: «упадочный», «припадочный»!

Попов по этому поводу вспомнил запись в дневнике у Гёте: «Вчера,— сказано было там,— мои дочери вернулись из театра счастливые — им удалось немного поплакать».

А мне пришла в голову такая мысль: как бы ни был прекрасен наш поэтический оркестр, но, кроме щебетания скрипок, тромбонного громогласия и веселой переклички кларнетов, хочется иногда услышать и вздох задумчивой валторны, от которого душу охватывает сладкая тревога...

Пушкину мы предавались подолгу. Некоторые вещи перечитывали по нескольку раз, отыскивая все новые и новые замечательные подробности.

В один из таких вечеров Есенин признался мне, что он именно теперь, на Кавказе, начал читать великого поэта, как он выразился, «в полную силу», стал находить в нем «что-то просветляющее».

Есенин любил всякие литературные поиски.

Он часто говорил:

— Народу свойственно употреблять в самом обыкновенном разговоре образы, потому что он и думает образно. Мы все говорим: «след простыл», «глаз не оторвать», «слезу прошибло», «намозолили глаза» и тому подобное.

Даже одно такое слово, как «сплетня»,— сплошной образ: что-то гнусное, петлястое, лживое, плетущееся на хилых ногах из дома в дом... А возьмем пословицы и поговорки — ведь это же сплошная поэзия!

Вопросы формы всегда живо интересовали Есенина. Он постоянно обогащал свой словарь, часами перелистывал Даля, предпочитая первоначальное его издание с «кустами» слов; прислушивался к говору людей на улице, на рынке, сокрушался, что не знает грузинского и армянского языков.

Раз я застал его в подавленном состоянии. Он никак не мог простить себе плохой перенос в строках:

Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.

— «Лебеда»,— говорил он,— должна была войти в первую строку, обязательно! Но я поленился...

Мне пришло в голову такое построение:

Лебеды не мять в кустах багряных,
Не бродить и не искать следа.

Есенин подумал, потом сказал:

— Тоже не годится, слишком большое значение придается «лебеде». Ведь главное во фразе — «бродить». Второстепенное — «бродя, мять лебеду». И потом уже объяснение — зачем я это делал? «Искал след»... В общем, надо совсем переделать всю строфу!.. ⟨...⟩

⟨1958⟩

Л. И. ПОВИЦКИЙ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ

(По личным воспоминаниям)

В МОСКВЕ

Литературная студия московского Пролеткульта в 1918 году была притягательным местом для молодых поэтов и прозаиков из среды московских рабочих. Первыми слушателями студии были тогда Казин, Санников, Обрадович, Полетаев, Александровский и другие, вошедшие позднее в первое пролетарское литературное объединение «Кузница». Слушателем студии был и я.

Бродя однажды по широким коридорам особняка Морозова, в котором с удобством расположился Пролеткульт, я наткнулся на спускавшихся по внутренней лестнице дома двух молодых людей. Одного из них я знал. Это был недавно поступивший на службу в канцелярию Пролеткульта крестьянский поэт Клычков. Он остановился и, кивнув на стоявшего с ним рядом молодого парня в длиннополой синей поддевке, сказал:

— Мой друг — Сергей Есенин!

Рядом с высоким, черноволосым, с резко выраженными чертами лица Клычковым — худощавый, светлолицый, невысокого роста Есенин казался женственно-хрупким и слабым на вид подростком. Это первое впечатление еще более усилилось, когда он улыбнулся и певуче произнес:

— Сергей Антонович меня здесь приютил у вас,— и он указал куда-то неопределенно вверх.

Позднее я к ним заглянул. Они ютились в получердачном помещении, под самой крышей. Большая, с низким потолком комната была вся уставлена сборной мебелью: столами, тумбами, табуретками и мелкой древесной всячиной. По-видимому, эта комната служила складочным местом для ненужного и лежащего внизу хлама. Здесь,

у Клычкова, и поселился недавно переехавший из Петрограда Есенин. ⟨...⟩

По приезде в Москву Есенин очутился в затруднительном положении. С Зинаидой Николаевной Райх он разошелся, и собственного угла у него не было [1]. Толстые журналы были закрыты, и печататься было негде. Голод в Москве давал себя чувствовать все сильнее и сильнее. Надо было что-то предпринимать.

После одной долгой беседы мы пришли к мысли открыть собственное издательство. Мы разработали устав, согласно которому членами этого кооперативного издательства могут быть только авторы будущих книг. Из чистой прибыли двадцать пять процентов отчисляются в основной фонд издательства, а остальные семьдесят пять поступают в распоряжение автора книги. Есенин взял на себя подбор родственных по духу лиц для организации этого дела [2].

Первым он пригласил Андрея Белого. Как позднее он объяснил в своей автобиографии: «Белый дал мне много в смысле формы». В лице Белого он хотел продолжить связь с символистами, занимавшими тогда господствующее положение в русской поэзии. К символистам, в частности к Александру Блоку, он определенно тяготел в предоктябрьскую пору своих поэтических исканий:

О Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку,—
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.

Холодной скорби не измерить,
Ты на туманном берегу.
Но не любить тебя, не верить —
Я научиться не могу.

(«Запели тесаные дроги...»)

Конечно, эти строки — от Блока, а не от... Алексея Кольцова, которого он, ради «чести рода», называет своим старшим братом.

Кроме того, Белый, вместе с Блоком и Брюсовым, открыто приветствовал Октябрьскую революцию, которую Есенин в ту пору еще окрашивал в радужные цвета своей долгожданной «Инонии».

На первом организационном собрании будущего издательства нас было пять человек: Есенин, Клычков, Петр Орешин, Андрей Белый и я. Название издательству было

подобрано легко и без споров: «Трудовая артель художников слова». Роли членов «Артели» были распределены так: заботы о финансовой стороне дела были возложены на меня; ведение переговоров с типографией и книжными магазинами взяли на себя Есенин и Клычков; что-то было поручено Орешину, а Андрей Белый, восторженно закатывая глаза, взволнованно заявил:

— А я буду переносить бумагу из склада в типографию!

Есенин тихонько мне шепнул:

— Вот комедиант... И глазами и словами играет, как на сцене...

Когда возникли долгие споры и разговоры о том, как достать бумагу для первых двух книжек, Есенин вдруг решительно произнес:

— Бумагу я достану, потом узнаете как...

Все запасы бумаги в Москве были конфискованы и находились на строжайшем учете и контроле. Есенин все же бумагу добыл. Добыл тем же способом, какой он несколько позднее применял в новом своем издательстве «Имажинисты». Способ этот был очень прост и всегда давал желаемые результаты. Он надевал свою длиннополую поддевку, причесывал волосы на крестьянский манер и отправлялся к дежурному члену Президиума Московского Совета. Стоя перед ним без шапки, он кланялся и, старательно окая, просил «Христа ради» сделать «божескую милость» и дать бумаги для «крестьянских» стихов. Конечно, отказать такому просителю, от которого трудно было оторвать восхищенный взор, было немыслимо.

И бумагу мы получили.

Первой была напечатана книжка стихов Есенина «Радуница». В нее вошли циклы: «Радуница», «Песни о Миколе», «Русь» и «Звезды в лужах». Вслед за «Радуницей» вышли в свет «Голубень», «Сельский часослов», «Преображение», «Ключи Марии» *.

Намечены были к изданию, как гласило объявление на последней странице «Преображения», книжки стихов Клычкова, Орешина, Ширяевца, Повицкого, Кузько, Спасского и других. Однако даже ненапечатанные книги «имеют свою судьбу»: издательство неожиданно «лопнуло». Пришли ко мне Есенин и Клычков и объявили, что в кассе «Артели» нет ни копейки денег, купить бумаги не на что, и, следовательно, «Артель» ликвидируется.

---

* По предложению Есенина мы ввели новое летоисчисление и на обложках наших книжек можно было читать: «2-й год 1-го века».

Есенин взволнованно и резко обвинял во всем Клычкова, утверждая, что тот, будучи «казначеем», пропил или растратил весь наш основной фонд. Клычков не признавал за собой вины и приводил какие-то путаные объяснения. Так или иначе, но продолжать дело нельзя было. Издательство «Трудовая артель художников слова» перестало существовать. После распада «Артели» материальное положение Есенина снова ухудшилось. Он временами переживал подлинный голод.

Характерен в этом отношении следующий случай.

Однажды Есенин с Клычковым пришли ко мне на квартиру в «Петровских линиях», где я тогда проживал. Поговорили о том, о сем, и я предложил гостям поужинать. Оба охотно согласились. Я вышел в кухню для некоторых приготовлений. Возвращаюсь, «сервирую» стол и направляюсь к буфету за продуктами. Там хранился у меня, как особенно приятный сюрприз, довольно большой кусок сливочного масла, недавно полученный мною от брата из Тулы. Ищу масло в буфете и не нахожу.

Оборачиваюсь к гостям и смущенно говорю:

— Никак масла не найду...

Оба прыснули со смеху. Есенин признался:

— А мы не выдержали, съели все без остатка.

Я удивился:

— Как съели? Ведь в буфете хлеба не было!

— А мы его без хлеба, ничего — вкусно! — подтверждали оба и долго хохотали, любуясь моим смущенным видом.

Конечно, только буквально голодные люди могут наброситься на масло и съесть его без единого кусочка хлеба.

Я решил временно увезти Есенина из голодной Москвы. Я уехал с ним в Тулу к моему брату [3]. Продовольственное положение в Туле было более благополучным, чем в Москве, и мы там основательно подкормились. Для Есенина это была пора не только материального достатка, но и душевного покоя и отдыха. Ни один вечер не проходил у нас впустую.

Брат, человек музыкальный, был окружен группой культурных людей, и они тепло встретили молодого поэта. Ежевечерне Есенин читал свои стихи. Все написанное им он помнил наизусть. Читал он мастерски. Молодой грудной тембр голоса, выразительная смысловая дикция, даже энергичная, особая, чисто есенинская, жестикуляция придавали его поэтическому слову своеобразную значимость и силу.

Иногда он имитировал Блока и Белого. Блока он читал серьезно, с уважением. Белого — с издевкой, утрируя как внешнюю манеру читки Белого, так и содержание его потусторонних мистических «прорицаний».

Часто Есенин пускался в долгие филолого-философские споры с собравшимися, причем философические его искания были довольно туманного порядка, типа рассуждений об «орнаменте в слове», несколько позднее изложенных им в «Ключах Марии».

Доставляли огромное наслаждение музыка его речи, душевная взволнованность, напряженность мысли, глубокая убежденность в правоте своих исканий, необычная для того времени тема его откровений. Спорщики в конце концов затихали и сами с интересом вслушивались в густо насыщенную образностью и старорусской песенностью импровизацию на тему об орнаменте в слове и в быту. 〈...〉

Днем мы с Есениным шатались по базару. На это уходило время между завтраком и обедом. Есенин с азартом окунался в базарную сутолоку, вмешивался в дела базарных спекулянтов и завсегдатаев рынка.

— Да ты посмотри, мил человек, что за сало! Не сало, а масло! Эх, у нас бы в Москве такое сало!

— Отчего же не купишь, если так расхваливаешь? — спрашивали любопытные.

— А где мне такие «лимоны» достать? — отвечал Есенин к общему удовольствию публики.

«Лимонами» тогда на базаре называли миллионы.

За обедом он делился рыночными впечатлениями, тут же дополняя их собственными вымыслами и необычайными подробностями. Все слушали его с удовольствием.

Все нравилось Есенину в этом доме: хозяева, их гости, уютные небольшие комнаты, распорядок дня и ночи. Но в искренний восторг он приходил от одного, будто маловажного обстоятельства. К завтраку, обеду или ужину нас никогда не звали. Приглашение к столу заменяла музыка: сигналом к завтраку служила «Марсельеза», к обеду — «Тореадор», к ужину — какая-нибудь популярная ария из оперы или оперетты. Есенин уверял, что он только потому и ест с аппетитом, что он сам, как корова, очень отзывчив на «пастушью дудку».

Иногда мы посещали местный театр. Нам подавали заводские просторные сани-розвальни, и мы валились на них по 5—6 человек. Есенин стоя помогал возчику править. Он оглушительно гикал, свистел и восторженно оглашал улицу криками: «Эй, берегись! Право! Лево!»

Игра артистов доставляла ему меньшее удовольствие...

Вернувшись в Москву, он часто рассказывал друзьям о «тульских неделях», по обыкновению приукрашивая и расцвечивая недавнюю быль. ⟨...⟩

В 1919 году произошла встреча Есенина с Мариенгофом и возник их литературно-бытовой союз [4]. Мариенгоф романтику в стихе сочетал с трезвым реализмом в быту. Время было еще голодное, и Мариенгоф прежде всего позаботился о материальной базе молодого союза. Для этой цели очень пригодным оказался товарищ Мариенгофа по гимназии Молабух (он же «Почем соль»). Этот новоиспеченный железнодорожный чиновник получил в свое распоряжение салон-вагон, разъезжал в нем свободно по железным дорогам Союза и предоставлял в этом вагоне постоянное место Есенину и Мариенгофу. Мало того, зачастую Есенин с Мариенгофом разрабатывали маршрут очередной поездки и без особенного труда получали согласие хозяина салон-вагона на намеченный ими маршрут. ⟨...⟩

По пути предприимчивым поэтам удавалось наспех, на скорую руку, пользуясь случайными связями, отпечатать какую-нибудь тощую книжечку стихов и тут же прибыльно ее продать. Так в Харькове была ими напечатана «Харчевня зорь» — сборник нескольких стихов Есенина, Мариенгофа и Хлебникова *. Последний, теоретик и основоположник русского футуризма, получил место в сборнике за рекламное стихотворение «Москвы колымага...». Стихотворение в целом представляло собой сумбурный набор рифмованных строк психически больного человека, каковым в то время уже несомненно являлся Хлебников, но оно нужно было воинствующим имажинистам как знак их влияния даже в могущественном лагере футуристов.

В чем, собственно, состояла причина обостренных, резко враждебных, отношений между имажинистами и футуристами?

В «Ключах Марии» Есенин говорит: «Футуризм... крикливо старался напечатлеть нам имена той нечисти (нечистоты), которая живет за задними углами наших жилищ». И далее: «Он сгруппировал в своем сердце все отбросы чувств и разума и этот зловонный букет бросил, как «проходящий в ночи», в наше, с масличной ветвью ноевского голубя, окно искусства».

На мои неоднократные обращения к Есенину за разъ-

* Харьковская типография, боясь ответственности за неплановую трату бумаги, место издания обозначала «Москва».

яснениями по этому вопросу я получал от него другой, весьма лаконичный ответ: «Они меня обкрадывают».

Смысл этих слов заключался в том, что Есенин считал себя хозяином и монополистом образного слова в поэзии. Футуристы под иной вывеской прибегали, мол, к тому же имажинистскому методу, насыщая его «для отвода глаз» гиперболоурбанистским содержанием. Это Есенин считал этически недопустимым приемом. Никто и ничто не могло его разубедить в этом, созданном его воображением, своеобразном представлении о «литературной собственности», и вражда к футуристам жила в нем до последних дней. 〈...〉

К критике собственных стихов он прислушивался чутко, хотя внешне старался это не обнаружить. Я на материалах «Радуницы», «Голубени» и «Инонии» дал анализ творчества Есенина как по линии мотивов его поэзии, так и используемых им изобразительных средств. Доклад свой я прочитал на вечере в «Стойле Пегаса», в присутствии Есенина. Он слушал внимательно и по окончании заявил слушателям:

— Много правды сказал обо мне Лёв Осипович. Это я должен признать. Я только несогласен с тем, что революционное творчество будто бы нуждается в обновлении законов рифмы и ритма. Я очень люблю мою старую русскую рубашку, мне в ней легко и удобно,— зачем же мне ее менять?

После чтения он подошел ко мне и попросил рукопись:

— Мы ее скоренько отпечатаем, а у тебя она залежится.

Я отдал ему рукопись в присутствии Мариенгофа и... больше не видел ни рукописи, ни книжки. И Есенин, и Мариенгоф уверяли, что она затерялась не то в типографии, не то у них на квартире. 〈...〉

В начале своего возникновения творческий союз Есенина с Мариенгофом был плодотворным для обоих. У них шло здоровое и полезное обоим соревнование. Мариенгоф работал над «Заговором дураков», Есенин засел за «Пугачева». В эту пору им были написаны «Кобыльи корабли», «Сорокоуст», «Пантократор», ряд лирических стихов: «Душа грустит о небесах...», «Все живое особой метой...», «Не жалею, не зову, не плачу...» и др.

На «Пугачева» Есенин возлагал большие надежды. Очень хотелось ему увидеть свое первое драматическое произведение на сцене. За это дело взялся Мейерхольд. Помню читку «Пугачева» перед коллективом театра Мейерхольда. Мейерхольд представил своей труппе Есенина, сказал несколько слов о пьесе и предложил начать чтение.

Кто-то из артистов спросил:

— Кто из нас прочтет?

Мейерхольд подчеркнуто произнес:

— Читать будет автор.

И когда Есенин по обыкновению ярко, вдохновенно развертывал перед слушателями ткань своего любимого произведения, я уловил выразительный взгляд Мейерхольда, обращенный к сомневавшемуся артисту:

— Ты прочтешь так, как он?

Из попытки Мейерхольда ничего не вышло.

Неудачей с постановкой «Пугачева» Есенин был очень огорчен.

В ХАРЬКОВЕ

Меня друзья давно звали в Харьков — город и без того мне близкий по студенческим годам. Я приехал в Харьков и поселился в семье моих друзей. Конечно, в первые же дни я им прочел все, что знал наизусть из Есенина. Девушки, а их было пятеро, были крайне заинтересованы как стихами, так и моими рассказами о молодом крестьянском поэте. Можно себе представить их восторг и волнение, когда я, спустя немного времени, неожиданно ввел в дом Есенина. Он только что приехал в Харьков с Мариенгофом, и я их встретил на улице [5]. Конечно, девушки настояли на том, чтобы оба гостя поселились у нас, а те, разумеется, были этому очень рады, ибо мест в гостиницах для таких гастролеров в то время не было.

Пребывание Есенина в нашем доме превратилось в сплошное празднество. Есенин был тогда в расцвете своих творческих сил и душевного здоровья. Помину не было у нас о вине, кутежах и всяких излишествах. Есенин, как в Туле, целые вечера проводил в беседах, спорах, читал свои стихи, шутил и забавлялся от всей души. Девушки ему поклонялись открыто, счастливые и гордые тем, что под их кровлей живет этот волшебник и маг художественного слова. Есенин из этой группы девушек пленился одной и завязал с ней долгую нежную дружбу. Целомудренные черты ее библейски строгого лица, по-видимому, успокаивающе действовали на «чувственную вьюгу», к которой он прислушивался слишком часто, и он держался с ней рыцарски благородно.

Есенин часто оставался дома. Вечером мы выходили во двор, где стоял у конюшни заброшенный тарантас. Мы в нем усаживались тесной семьей, и Есенин занимал нас

смешными и трогательными рассказами из своих детских лет. Изредка к тарантасу подходил разгуливавший по двору распряженный конь, останавливался и как будто прислушивался к нашей беседе. Есенин с нежностью поглядывал на него.

Однажды за обеденным столом одна из молодых девушек, шестнадцатилетняя Лиза, стоя за стулом Есенина, вдруг простодушно воскликнула:

— Сергей Александрович, а вы лысеете! — и указала на еле заметный просвет в волосах Есенина.

Есенин мягко улыбнулся, а на другое утро за завтраком прочел нам:

По-осеннему кычет сова
Над раздольем дорожной рани.
Облетает моя голова,
Куст волос золотистый вянет.

Полевое, степное «ку-гу»,
Здравствуй, мать голубая осина!
Скоро месяц, купаясь в снегу,
Сядет в редкие кудри сына.

Скоро мне без листвы холодеть,
Звоном звезд насыпая уши.
Без меня будут юноши петь,
Не меня будут старцы слушать.

Новый с поля придет поэт,
В новом лес огласится свисте.
По-осеннему сыплет ветр.
По-осеннему шепчут листья.

Девушки просветлели и от души простили свою молодую подругу за ее вчерашнее «нетактичное» восклицание [6].

Очень заботили Есенина дела издательские. В Москве издаваться становилось все труднее и труднее, и он искал возможностей на периферии. Здесь, в Харькове, ему удалось выпустить небольшой сборничек стихов, о котором я упомянул выше. Стихи были напечатаны на такой бумаге, что селедки бы обиделись, если бы вздумали завертывать их в такую бумагу. Но и это считалось успехом в то нелегкое время.

Воинствующие имажинисты в своих публичных выступлениях применяли в Харькове обычные свои крикливо-рекламные приемы. Пестрые афиши извещали харьковскую публику, что кроме обычного чтения стихов на вечере

в городском театре состоится торжественное объявление поэта Хлебникова «Председателем Земного шара». Это «торжество» представляло жалкое и обидное зрелище. Беспомощного Хлебникова, почти паралитика, имажинисты поворачивали во все стороны, заставляли произносить нелепые «церемониальные» фразы, которые тот с трудом повторял, и делали больного человека посмешищем в глазах ничего не понимавшей и так же бессмысленно глядевшей публики [7].

Один, без Мариенгофа, Есенин иногда делал более интересные вещи. Утром, в один из дней пасхи, мы с ним вдвоем прогуливались по маленькому скверу в центре города, против здания городского театра. Празднично настроенная толпа, весеннее солнце, заливавшее сквер, вызвали у Есенина приподнятое настроение.

— Знаешь что, я буду сейчас читать стихи!

— Это дело! — одобрил я затею.

Он вскочил на скамью и зычным своим голосом, еще не тронутым хрипотой больничной койки, начал импровизированное чтение. Читал он цикл своих антирелигиозных стихов.

Толпа гуляющих плотным кольцом окружила нас и стала сначала с удивлением, а потом с интересом, слушать чтеца. Однако, когда стихи приняли явно кощунственный характер, в толпе заволновались. Послышались враждебные выкрики. Когда он резко, подчеркнуто, бросил в толпу:

Тело, Христово тело,
Выплевываю изо рта! [8] —

раздались негодующие крики. Кто-то завопил:

— Бей его, богохульника!

Положение стало угрожающим, тем более что Есенин с азартом продолжал свое совсем не «пасхальное» чтение.

Неожиданно показались матросы. Они пробились к нам через плотные ряды публики и весело крикнули Есенину:

— Читай, товарищ, читай!

В толпе нашлись сочувствующие и зааплодировали. Враждебные голоса замолкли, только несколько человек, громко ругаясь, ушли со сквера.

Есенин закончил чтение, и мы вместе с матросами, дружески обнявшись, побрели по праздничным улицам города.

Есенин рассказывал им про Москву, про себя, расспрашивал о их жизни. Расстались мы с матросами уже к вечеру. ⟨...⟩

СНОВА В МОСКВЕ

Я вернулся в Москву к моменту приезда Есенина и Дункан из-за границы и отправился к нему на свидание в отведенный Дункан особняк на Пречистенке. Я его застал среди вороха дорожных принадлежностей, чемоданов, шелкового белья и одежды.

Мы обнялись, и он крикнул Дункан. Она вышла из соседней комнаты в каком-то широчайшем пестром пеньюаре. Он меня представил ей:

— Это мой друг Повицкий. Его брат делает Bier! * Он директор самого большого в России пивоваренного завода.

Я с трудом удержался от смеха: вот так рекомендация. Позднее я понял смысл этих слов. Для Дункан человек, причастный к производству алкоголя, представлял, по мнению Есенина, огромный интерес. И он, по-видимому, не ошибался. Она весело потрясла мне руку и сказала:

— Bier очень хорошо! Очень хорошо!..

Вид этой высокой, полной, перезрелой, с красным грубоватым лицом женщины, вид бывшего барского особняка — все вызывало у меня глухое раздражение. Как это все непохоже на обычную есенинскую простоту и скромность...

Когда она ушла, я зло проговорил:

— Недурно ты устроился, Сергей Александрович...

Он изменился в лице. Глаза потемнели, брови сдвинулись, и он глухо произнес:

— Завтра уезжаю отсюда.

— Куда уезжаешь? — не понял я.

— К себе на Богословский.

— А Дункан?

— Она мне больше не нужна. Теперь меня в Европе и Америке знают лучше, чем ее.

И действительно, через несколько дней он оставил Дункан и переехал к себе, в свою более чем скромную комнату в доме № 3 по Богословскому переулку.

Я его не расспрашивал о заграничных его впечатлениях, но однажды он сам заговорил:

— Мы сидели в берлинском ресторане. Прислуживали мужчины. Почти все они были русские, с явно офицерской выправкой. Один из них подошел к нам.

— Вы Есенин? — обратился он ко мне.— Мне сказали, что это вы. Как я рад вас видеть! Как мне хочется по душе

* Пиво *(нем.)*.

поговорить с вами! Вы ведь бежали из этого большевистского пекла, не выдержали? А мы, русские дворяне, бывшие русские офицеры, служим здесь лакеями. Вот наша жизнь, вот до чего довели нас большевики.

Я нежно поглядел на него и ответил:

— Ах, какая грусть! Плакать надо... Но знаете что, дворянин! Подайте мне, мужику, ростбиф по-английски, да смотрите, чтоб кровь сочилась!

Офицер позеленел от злости, отошел и угрожающе посмотрел в нашу сторону. Я видел, как он шептался с двумя рослыми официантами. Я понял, что он собирается взять меня в работу. Я взял Дункан под руку и медленно прошел мимо них к выходу. Он не успел или не посмел меня тронуть.

— Да, я скандалил,— говорил он мне однажды,— мне это нужно было. Мне нужно было, чтобы они меня знали, чтобы они меня запомнили. Что, я им стихи читать буду? Американцам стихи? Я стал бы только смешон в их глазах. А вот скатерть со всей посудой стащить со стола, посвистеть в театре, нарушить порядок уличного движения — это им понятно. Если я это делаю, значит, я миллионер, мне, значит, можно. Вот и уважение готово, и слава и честь! О, меня они теперь лучше помнят, чем Дункан.

Блестящая внешность капиталистической Америки не ввела в заблуждение Есенина.

В «Известиях», в № 187 за 1923 год Есенин окрестил эту страну доллара и бизнеса «Железным Миргородом», как символ убогого бескультурья и духовного застоя. В своем беспощадном обличенье пустоты и гнилости американского частнособственнического мира Есенин полностью стал на позиции Горького и Маяковского. 〈...〉

НА КАВКАЗЕ

Весной 1924 года я приехал на Кавказ и поселился в Батуме, где начал работать фельетонистом в местной газете «Трудовой Батум».

Я был в курсе передвижений Сергея Есенина по Кавказу и ждал его прибытия в Батум. В Москве у нас были общие друзья, и от них я узнавал о нем. Есенин сначала побывал в Баку и Тифлисе, где задержался до глубокой осени. Всюду поэты сердечно принимали его. Это нашло отражение в стихах Есенина «На Кавказе», «Поэтам Грузии».

В Баку студентка музыкальной школы переложила на музыку некоторые его «Персидские мотивы». Позднее,

в 1926 году я в Баку с ней познакомился. Она мне спела несколько песен. Они были очень хороши. Грустный, я ей сказал:

— Как жаль, что Есенин не слышал ваших песен. Ведь это первые стихи его, переложенные на музыку.

Она улыбнулась:

— Я ему пела их, когда он был у нас в двадцать четвертом году [9].

В Баку у него завязалась большая дружба с Чагиным, редактировавшим тогда «Бакинский рабочий». О товарище Чагине он мне говорил часто в теплых выражениях, обычных для него, когда речь шла о близких ему людях: «Он мне друг», «Чагин меня помнит», «Я напишу Чагину»...

Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!
В последний раз я друга обниму...
Чтоб голова его, как роза золотая,
Кивала нежно мне в сиреневом дыму. ⟨...⟩

Еще в начале октября 1924 года я написал Есенину — приглашал приехать в Батум. Об этом он сообщил из Тифлиса Галине Бениславской: «Из Батума получил приглашение от Повицкого. После Персии заеду» [10]. В Персию попасть ему не удалось, а в Батум он приехал в начале декабря.

Приезд Сергея Есенина я отметил в «Трудовом Батуме» 9 декабря статьей о его творчестве. Он ответил мне стихотворением «Льву Повицкому», напечатанным в той же газете 13 декабря. Оно бросает свет на душевное состояние поэта в 1924—1925 годах.

ЛЬВУ ПОВИЦКОМУ

Старинный друг,
Тебя я вижу вновь
Чрез долгую и хладную
Разлуку.
Сжимаю я
Мне дорогую руку
И говорю, как прежде,
Про любовь.

Мне любо на тебя
Смотреть.
Взгрустни
И приласкай немного.

Уже я не такой,
Как впредь —
Бушуйный,
Гордый недотрога.

Перебесились мы.
Чего скрывать?
Уж я не я.
А ты ли это, ты ли?
По берегам
Морская гладь —
Как лошадь
Загнанная, в мыле.

Теперь влюблен
В кого-то я,
Люблю и тщетно
Призываю,
Но все же
Точкой корабля
К земле любимой
Приплываю.

Есенин по приезде в Батум остановился в местной гостинице. Через несколько дней я заехал за ним, чтобы перевезти его к себе. Я жил недалеко от моря, в небольшом домике, окруженном зеленью и фруктовым садом.

Шумная жизнь вечно праздничного Тифлиса, отголоски которой привезли «провожатые» Есенина — Вержбицкий и Соколов, была уже не по душе ему. Он готовился к серьезной работе, и Батум дал ему такую возможность. Это видно из его деловой переписки с Галиной Бениславской, которая была все последние годы жизни Есенина как бы его «личным секретарем».

В первом же письме из Батума Есенин передал Галине Бениславской привет от меня. С нею я виделся в Москве один-два раза, но уже заочно числился в ее друзьях, и Есенин аккуратно передавал ей мои приветы. Ему понравился покой и неприхотливый уют моего жилища, и он пожертвовал ради него удобствами комфортабельного номера в гостинице. Он вынес свои чемоданы из номера, и мы собрались уже выйти, как вдруг на нас с громкой руганью накинулся заведующий гостиницей — старик армянин:

— Не пущу чемоданы, заплати деньги!

— Я вам объяснил,— ответил Есенин,— деньги я получу через два-три дня, тогда и заплачу!

— Ничего не знаю! Плати деньги! — кричал на всю гостиницу рассвирепевший старик.

Есенин тоже повысил голос:

— Я — Есенин! Понимаешь или нет? Я сказал — заплачу, значит, заплачу.

На шум вышел из соседнего номера какой-то гражданин. Постоял с минуту, слушая шумную перебранку, и подошел к заведующему:

— Сколько Есенин вам должен?

Тот назвал сумму.

— Получите! — И неизвестный отсчитал старику деньги.

Старик в изумлении только глаза вытаращил.

Есенин поблагодарил неизвестного и попросил у него адрес, по которому можно вернуть деньги. Тот ответил:

— Мне денег не нужно. Я — редактор армянской газеты в Ереване. Пришлите нам в адрес газеты стихотворение — и мы будем в расчете.

Есенин пообещал и сердечно попрощался с неожиданным спасителем. Думается, что в связи с участием последнего Есенин через несколько дней после переселения в мою квартиру писал Чагину: «Я должен быть в Сухуме и Эривани» [11]. Обе предполагаемые поездки не состоялись.

Случаи, подобные происшедшему в гостинице, бывали часто в жизни Есенина, особенно в Москве. При мне однажды в «Праге» у Есенина не хватило пятидесяти рублей на уплату по счету. И сейчас же из-за соседнего столика поднялся совершенно незнакомый нам гражданин и вручил эту сумму Есенину.

Стоило ему при каких-нибудь затруднительных обстоятельствах назвать себя: «Я — Есенин», как сейчас же кем-нибудь из публики оказывалась ему необходимая помощь. Кстати, эту гордость именем Есенина он отмечал и у своей маленькой Танюши — дочери, воспитывавшейся в семье Зинаиды Николаевны Райх.

Он мне однажды с довольной улыбкой сказал:

— Знаешь, когда мою Танюшу спрашивают, как ее фамилия, она отвечает: «Не кто-нибудь, а Есенина!» ⟨...⟩

Конечно, приезд Есенина в Батум вызвал всеобщее внимание. Его останавливали на улице, знакомились, приглашали в ресторан. Как всегда и везде, и здесь сказалась теневая сторона его популярности. Он по целым дням был окружен компанией веселых собутыльников. ⟨...⟩

Я решил ввести в какое-нибудь нормальное русло дневное времяпрепровождение Есенина. Я ему предложил следующее: ежедневно при уходе моем на работу я его запираю на ключ в комнате. Он не может выйти из дома, и к нему никто не может войти. В три часа дня я прихожу домой, отпираю комнату, и мы идем с ним обедать. После обеда он волен делать что угодно. Он одобрил этот распорядок и с удовлетворением сообщил о нем Галине Бениславской в письме от 17 декабря: «Работается и пишется мне дьявольски хорошо... Лева запирает меня на ключ и до 3 часов никого не пускает. Страшно мешают работать».

Спустя три дня Есенин снова пишет Бениславской: «Я слишком ушел в себя и ничего не знаю, что я написал вчера и что напишу завтра. Только одно во мне сейчас живет. Я чувствую себя просветленным, не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия... Я скоро завалю Вас материалом. Так много и легко пишется в жизни очень редко».

Есенин засел за «Анну Снегину» и скоро ее закончил. Довольный, он говорил:

— Эх, если б так поработать несколько месяцев, сколько бы я написал!

Он мне прочел «Анну Снегину» и спросил мое мнение. Я сказал, что от этой лирической повести на меня повеяло чем-то очень хорошо знакомым, и назвал имя крупнейшего поэта шестидесятых годов прошлого столетия.

— Прошу тебя, Лёв Осипович, никому об этом не говори!

Эта простодушно-наивная просьба меня рассмешила. Он тоже засмеялся.

— А что ты думаешь — многие и не догадаются сами...

До поры до времени нам удавалось сохранять установившийся распорядок дня, и Есенин писал Галине Бениславской: «Я один. Вот и пишу, и пишу. Вечерами с Левой ходим в театр или ресторан. Он меня приучил пить чай, и мы вдвоем с ним выпиваем только 2 бутылки вина в день. За обедом и за ужином. Жизнь тихая, келейная. За стеной кто-то грустно насилует рояль, да Мишка лезет целоваться. Это собака Лёвина» [12].

Известно, что Есенин любил животных. Здесь он часто возился с моим Мишкой, обязательно брал собаку с собой, хотя она доставляла ему неприятности. Однажды она заупрямилась и не захотела перейти мост, считая этот мост небезопасным. Пришлось Есенину взять ее на руки и перенести по мосту. Рукам Есенина она смело доверялась.

В саду при нашем домике были и мандарины и бананы. Есенин смотрел на всю эту экзотику с умилением и сообщал Галине, как мы поглощали мандарины: «Мы с Левой едим их прямо в саду с деревьев. Уже декабрь, а мы рвали вчера малину».

Должен признаться, по ночам, когда хозяйка домика уходила на покой, мы потихоньку пробирались в сад. Хозяйка, по-видимому, вела счет своим мандаринам и утром поглядывала на нас с укоризной.

К несчастью, вскоре после того, как была закончена «Анна Снегина», установленный нами распорядок дня был нарушен и затем окончательно сломан. 〈...〉

Одно время нравилась ему в Батуме «Мисс Оль», как он сам ее окрестил. С его легкой руки это прозвище упрочилось за ней. Это была девушка лет восемнадцати, внешним видом напоминавшая гимназистку былых времен. Девушка была начитанная, с интересами и тяготением к литературе, и Есенина встретила восторженно. 〈...〉

Я получил от местных людей сведения, бросавшие тень на репутацию как «Мисс Оль», так и ее родных. Сведения эти вызывали предположения, что девушка и ее родные причастны к контрабандной торговле с Турцией, а то еще, может быть, и к худшему делу. Я об этом сказал Есенину. Он бывал у нее дома, и я ему посоветовал присмотреться внимательнее к ее родным. По-видимому, наблюдения его подтвердили мои опасения, и он к ней стал охладевать. Она это заметила и в разговоре со мной дала понять, что я, очевидно, повлиял в этом отношении на Есенина. Я не счел нужным особенно оправдываться. Как-то вскоре вечером я в ресторане увидел за столиком Есенина с «Мисс Оль». Я хотел пройти мимо, но Есенин меня окликнул и пригласил к столу. Девушка поднялась и, с вызовом глядя на меня, произнесла:

— Если Лев Осипович сядет, я сейчас же ухожу.

Есенин, иронически улыбаясь прищуренным глазом, медленно протянул:

— Мисс Оль, я вас не задерживаю...

«Мисс Оль» ушла, и Есенин с ней порвал окончательно. 〈...〉

Частенько он чудачил. Вот случай из множества подобных.

Приморский бульвар. Солнечно, тепло, хотя декабрь на дворе. Бульвар полон гуляющих. Появляется Есенин. Он

навеселе. Прищуренно оглядывает публику и замечает двух молодых женщин, сидящих на скамейке. Он направляется к ним, по пути останавливает мальчика — чистильщика сапог, дает ему монету и берет у него сапожный ящик со всеми его атрибутами. С ящиком на плечах он останавливается перед дамами на скамейке, затем опускается на одно колено:

Разрешите мне, сударыни, почистить вам туфли!

Женщины, зная, что перед ними Есенин, смущены и отказываются. Есенин настаивает. Собираются любопытные, знакомые пытаются увести его от скамейки, но безуспешно. Он обязательно хочет почистить туфли этим прекрасным дамам. Я был в это время на другом конце бульвара. Мне сообщили о случившемся. Я подошел и увидел его стоящим на коленях. Толпа любопытных росла. Я понял, что обычной просьбой, мягким словом тут ничего не сделаешь. Нужны крайние средства.

Нарочито громко я обратился к Есенину:

— Сергей Александрович, последний футуристик не позволит себе того, что вы сейчас делаете!

Он молча встал, снял с себя ящик и, не глядя на меня, направился к выходу с бульвара.

Два дня он со мной не разговаривал. Когда мы помирились, он сокрушенно, с глубоким укором сказал:

— Как ты мог меня так оскорбить!

В Батуме Есенин в основном закончил «Персидские мотивы» [13]. В Персии он никогда не был и весь материал для этого цикла стихов почерпнул в Баку и в Батуме. Еще 10 декабря газета «Трудовой Батум» напечатала два первых стихотворения цикла «Улеглась моя былая рана...», «Я спросил сегодня у менялы...».

Сергей Александрович познакомился в Батуме с молодой армянкой по имени Шаганэ. Это была на редкость интересная, культурная учительница местной армянской школы, прекрасно владевшая русским языком. Интересна была и младшая ее сестра Катя, тоже учительница. У нее было прекрасное лицо армянской Суламифи. Она знала стихи Есенина и потянулась к поэту всей душой. Есенин, однако, пленился ее сестрой, с лицом совершенно нетипичным для восточной женщины. Есенина пленило в ней и то, что:

Там, на севере, девушка тоже,
На тебя она очень похожа... [14]

Внешнее сходство с любимой девушкой и ее певучее уменьшительное имя вызывали у Есенина большое чувство нежности к Шаганэ. Свидетельство этому — стихи, посвященные ей в цикле «Персидские мотивы». ⟨...⟩

В феврале 1925 года Сергей Александрович начал собираться в дорогу. Он говорил, что у него в Москве большие дела: готовится издание первого тома его стихов, надо позаботиться и о сестренке:

— Ей в Москве нечего делать, она только избалуется там. Разве можно в Москве учиться? Я тебе пришлю ее сюда. Пусть живет у тебя и учится. Она у меня золотой человек.

И он с восторгом заговорил о младшей сестре, о ее способностях, о любви ее к литературе. Он не первый раз рассказывал о ней с нежностью, с большой братской любовью.

Мы расстались.

Больше я Есенина не видел.

В. И. КАЧАЛОВ

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Дай, Джим, на счастье лапу мне...
С. Есенин. «Собаке Качалова»

До ранней весны 1925 года я никогда не встречался с Есениным, не видал его лица. Не видал даже его портретов. Почему-то представлялся он мне рослым, широкоплечим, широконосым, скуластым, басистым. И слыхал о нем, об его личности очень немного, почти не имел общих знакомых. Но стихи его любил давно. Сразу полюбил, как только наткнулся на них, кажется, в 1917 году в каком-то журнале. И потом во время моих скитаний по Европе и Америке всегда возил с собой сборник его стихов. Такое у меня было чувство, как будто я возил с собой — в американском чемодане — горсточку русской земли. Так явственно, сладко и горько пахло от них родной землей.

«Приведем к вам сегодня Есенина»,— объявили мне как-то Пильняк и Ключарев. Это было, по-моему, в марте 1925 года. «Он давно знает вас по театру и хочет познакомиться». Рассказали, что в последние дни он шибко пил, вчера особенно, а сегодня с утра пьет только молоко. Хочет прийти ко мне почему-то непременно трезвым. Часам к двенадцати ночи я отыграл спектакль, прихожу домой. Небольшая компания моих друзей и Есенин уже сидят у меня. Поднимаюсь по лестнице и слышу радостный лай Джима, той самой собаки, которой потом Есенин посвятил стихи. Тогда Джиму было всего четыре месяца. Я вошел и увидал Есенина и Джима — они уже познакомились и сидели на диване, вплотную прижавшись друг к другу. Есенин одною рукой обнял Джима за шею, а в другой держал его лапу и хриплым баском приговаривал: «Что это за лапа, я сроду не видал такой». Джим радостно взвизгивал, стремительно высовывал голову из-под мышки Есенина

и лизал его лицо. Есенин встал и с трудом старался освободиться от Джима, но тот продолжал на него скакать и еще несколько раз лизнул его в нос. «Да постой же, может быть, я не хочу больше с тобой целоваться. Что же ты, как пьяный, все время лезешь целоваться!» — бормотал Есенин с широко расплывшейся детски лукавой улыбкой. Сразу запомнилась мне эта его детски лукавая, как будто даже с хитрецой улыбка.

Меня поразила его молодость. Когда он молча и, мне показалось, застенчиво подал мне руку, он показался мне почти мальчиком, ну, юношей лет двадцати. Сели за стол, стали пить водку. Когда он заговорил, сразу показался старше, в звуке голоса послышалась неожиданная мужественность. Когда выпил первые две-три рюмки, он сразу заметно постарел. Как будто усталость появилась в глазах: на какие-то секунды большая серьезность, даже некоторая мучительность застывали в глазах. Глаза и рот сразу заволновали меня своей огромной выразительностью. Вот он о чем-то заспорил и внимательно, напряженно слушает оппонента: брови слегка сдвинулись, не мрачно, не скорбно, а только упрямо и очень серьезно. Чуть приподнялась верхняя губа — и какое-то хорошее выражение, лицо пытливого, вдумчивого, в чем-то очень честного, в чем-то даже строгого, здорового парня, — парня с крепкой «башкой».

А вот брови ближе сжались, пошли книзу, совсем опустились на ресницы, и из-под них уже мрачно, тускло поблескивают две капли белых глаз — со звериной тоской и со звериной дерзостью. Углы рта опустились, натянулась па зубы верхняя губа, и весь рот напомнил сразу звериный оскал, и весь он вдруг напомнил готового огрызаться волчонка, которого травят.

А вот он встряхнул шапкой белых волос, мотнул головой — особенно, по-своему, но в то же время и очень по-мужицки — и заулыбался широкой, сочной, озаряющей улыбкой, и глаза засветились «синими брызгами», действительно стали синие.

Сидели долго. Пили. О чем-то спорили, галдели, шумели. Есенин пил немного, меньше других, совсем не был пьян, но и не скучал, по-видимому, был весь тут, с нами, о чем-то спорил, на что-то жаловался. Вспоминал о первых своих шагах поэта, знакомстве с Блоком. Рассказывал и вспоминал о Тегеране [1]. Тут же прочел «Шаганэ». Замечательно читал он стихи. И в этот первый вечер нашего знакомства, и потом, каждый раз, когда я слышал его чте-

ние. я всегда испытывал радость от его чтения. У него было настоящее мастерство и заразительная искренность. И всегда — сколько я его ни слышал — у него, и у трезвого и у пьяного, всегда становилось прекрасным лицо, сразу, как только, откашлявшись, он приступал к первому стихотворению. Прекрасное лицо: спокойное (без гримас, без напряжения, без аффектации актеров, без мертвой монотонности поэтов), спокойное лицо, но в то же время живое, отражающее все чувства, какие льются из стихов. Думаю, что, если бы почему-нибудь не доносился голос, если бы почему-нибудь не было его слышно, наверно, можно было бы, глядя на его лицо, угадать и понять, что именно он читает.

Джиму уже хотелось спать, он громко и нервно зевал, но, очевидно, из любопытства присутствовал, и, когда Есенин читал стихи, Джим внимательно смотрел ему в рот. Перед уходом Есенин снова долго жал ему лапу: «Ах ты, черт, трудно с тобой расстаться. Я ему сегодня же напишу стихи. Приду домой и напишу».

Компания разошлась. Я сидел и разбирался в своих впечатлениях. Все в нем, Есенине, ярко и сбивчиво, неожиданно-контрастно. Тут же на глазах твоих он меняет лики, но ни на секунду не становится безличным. Белоголовый юноша, тонкий, стройный, изящно, ладно скроен и как будто не крепко сшит, с васильковыми глазами, не страшными, не мистическими, не нестеровскими, а такими живыми, такими просто синими, как у тысячи рязанских новобранцев на призыве — рязанских, и московских, и тульских,— что-то очень широко русское. Парижский костюм, чистый, мягкий воротничок, сверху на шее накинуто еще шелковое сиреневое кашне, как будто забыл или не захотел снять в передней. Напудрен. Даже слишком — на бровях и ресницах слой пудры. Мотнул головой, здороваясь, взметнулись светло-желтые кудри рязанского парня и дешевыми духами парикмахерского вежеталя повеяло от них. Рука хорошая, крепкая, широкая, красная, не выхоленная, мужицкая. Голос с приятной сипотцой, как будто не от болезни, не от алкоголя, а скорее от темных сырых ночей, от соломы, от костров в ночи. Заговорил этим сиплым баском — сразу растаяла, распылилась, как пудра на лице, испарилась, как парикмахерский вежеталь, вся «европейская культура», и уже не лезут в глаза ни костюм, ни кашне на шее, ни гластук парижский. А выпил стакан красного, легкого вина залпом, но выпил, как водку, с привычной гримасой (как будто очень противно) и — ох,

Рязань косопузая пьет в кабаке. Выпил, крякнул, взметнул шапкой волос и, откашлявшись, начал читать:

Не жалею, не зову, не плачу,
Все пройдет, как с белых яблонь дым.

И кончил тихо, почти шепотом, почти молитвенно:

Будь же ты вовек благословенно,
Что пришло процвесть и умереть.

Ох, подумал я, с какими иными «культурами» общается этот напудренный, навежеталенный, полупьяный Есенин, в какие иные миры свободно вторгается эта паша «косопузая Рязань».

Прихожу как-то домой — вскоре после моего первого знакомства с Есениным. Мои домашние рассказывают, что без меня заходили трое: Есенин, Пильняк и еще кто-то, Тихонов, кажется. У Есенина на голове был цилиндр, и он объяснил, что надел цилиндр для парада, что он пришел к Джиму с визитом и со специально ему написанными стихами, но так как акт вручения стихов Джиму требует присутствия хозяина, то он придет в другой раз. И все трое молча ушли. Молча — и «нам показалось,— добавили мои домашние,— что все трое как будто слегка пошатывались».

В июне того же года наш театр приехал на гастроли в Баку [2]. Нас пугали этим городом, бакинской пылью, бакинскими горячими ветрами, нефтяным духом, зноем и пр. И не хотелось туда ехать из чудесного Тифлиса. Но вот сижу в Баку на вышке ресторана «Новой Европы». Хорошо. Пыль как пыль, ветер как ветер, море как море, запах соли доносится на шестой, седьмой этаж. Приходит молодая миловидная смуглая девушка и спрашивает:

— Вы Качалов?

— Качалов,— отвечаю.

— Один приехали?

— Нет, с театром.

— А больше никого пе привезли?

Недоумеваю:

— Жена,— говорю,— со мною, товарищи.

— А Джима нет с вами? — почти вскрикнула.

— Нет,— говорю,— Джим в Москве остался.

— А-яй, как будет убит Есенин, он здесь в больнице уже две недели, все бредит Джимом и говорит докторам: «Вы не знаете, что это за собака. Если Качалов привезет Джима сюда, я буду моментально здоров. Пожму ему лапу и буду здоров, буду с ним купаться в море.

Девушка отошла от меня огорченная.

— Ну что ж, как-нибудь подготовлю Есенина, чтобы не рассчитывал на Джима.

Как выяснилось потом, это была та самая Шаганэ, персиянка.

Играем в Баку спектакль. Есенин уже не в больнице, уже на свободе. И весь город — сплошная легенда об Есенине. Ему здесь «все позволено». Ему все прощают. Вся редакция «Бакинского рабочего», Чагин, Яковлев, типографские рабочие, милиция — все охраняют его.

Кончаю спектакль «Царя Федора». Театральный сторож, тюрк, подает записку, лицо сердитое. В записке ничего разобрать нельзя. Безнадежные каракули. Подпись «Есенин» [3].

— Где же,— спрашиваю,— тот, кто написал записку?

Сторож отвечает мрачно:

— На улице, за дверью. Ругается. Меня называет «сукин сын». Я его не пускаю. Он так всех вас будет называть.

Я поспешил на улицу, как был в царском облачении Федора, даже в мономаховой шапке. Есенин сидит на камне, у двери, в темной рубахе кавказского покроя, кепка надвинута на глаза. Глаза воспаленные, красные. Взволнован. Страшно обижен на сторожа. Бледный, шепчет сторожу: «Ты не кацо — кацо так не поступают». Я их с трудом примирил и привел Есенина за кулисы, в нашу уборную. Познакомил со Станиславским. У Есенина в руке несколько великолепных чайных роз. Пальцы раскровавлены. Он высасывает кровь, улыбается:

— Это я вам срывал, об шипы накололся, пожалуйста.— поднес нам каждому по два цветка.

Следом за ним, сопя и отдуваясь, влез в уборную босой мальчик-тюрк, совсем черный, крошечный, на вид лет восьми, с громадной корзиной какого-то провианта, нужного Есенину, как потом оказалось, для путешествия в Персию. В эту ночь под утро он с компанией должен был улететь в Тегеран. Я ушел на сцену кончать последний акт «Царя Федора». Возвращаюсь в уборную — сидят трое. Станиславский, сощурив глаза, с любопытством рассматри-

вает и внимательно слушает. Есенин уже без всякого звука хриплым шепотом читает стихи:

Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной,—

Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать [1].

А в уголке на корзине с провиантом сидит мальчик-тюрк и тоже как будто внимательно слушает, задумчиво ковыряя в носу.

Мелькают, вспоминаются еще встречи. Короткие, и немного их было, того же года, в Москве, в середине лета. Он уже «слетал» в Тегеран и вернулся в Москву. Женится. Зовет меня на мальчишник. Совсем здоровый, мне показалось, ясный, трезвый.

Осенью у Пильняка сидим. Спорит, и очень убедительно, с Пастернаком о том, как писать стихи так, чтобы себя не обижать, себя не терять и в то же время быть понятным.

А вот и конец декабря в Москве. Есенин в Ленинграде. Сидим в «Кружке». Часа в два ночи вдруг почему-то обращаюсь к Мариенгофу:

— Расскажи, что и как Сергей.

— Хорошо, молодцом, поправился, сейчас уехал в Ленинград, хочет там жить и работать, полон всяких планов, решений, надежд. Был у него неделю назад, навещал его в санатории, просил тебе кланяться. И Джиму — обязательно.

— Ну,— говорю,— выпьем за его здоровье.

Чокнулись.

— Пьем,— говорю,— за Есенина.

Все подняли стаканы. Нас было за столом человек десять. Это было два—два с половиной часа ночи с 27 на 28 декабря. Не знаю, да, кажется, это и не установлено, жил ли, дышал ли еще наш Сергей в ту минуту, когда мы пили за его здоровье.

— Кланяется тебе Есенин,— сказал я Джиму под утро, гуляя с ним по двору. Даже повторил: — Слышишь, ты, обалдуй, чувствуешь — кланяется тебе Есенин.

Но у Джима в зубах было что-то, чем он был всецело поглощен — кость или льдина,— и он даже не покосился в мою сторону.

Я ничем веселым не был поглощен в это полутемное, зимнее, морозное утро, но не посетило и меня никакое предчувствие или ощущение того, что совершилось в эту ночь в ленинградском «Англетере».

Так и не почувствовал, по-видимому, Джим пришествия той самой гостьи, «что всех безмолвней и грустней», которую так упорно и мучительно ждал Есенин. «Она придет,— писал он Джиму,— даю тебе поруку,

И без меня, в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват».

⟨*1927*⟩

С. А. ТОЛСТАЯ-ЕСЕНИНА

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ

ВОСЕМЬ СТРОК

В начале октября 1925 года, в последний год своей жизни, Сергей Есенин увлекался созданием коротких стихотворений. 3 октября были написаны «Голубая кофта. Синие глаза...» и «Слышишь — мчатся сани...». В ночь с 4 на 5 октября он продиктовал мне подряд семь шести- и восьмистрочных стихотворений. На другой день по этой моей записи Есенин сделал небольшие поправки.

При жизни автора были напечатаны «Сочинитель бедный, это ты ли...» и «Вечером синим, вечером лунным...». Подготавливая собрание своих стихотворений, Есенин включил в него стихотворения: «Снежная замять крутит бойко...» и «Не криви улыбку, руки теребя...». Первый том собрания, в который вошли эти вещи, появился, когда поэта уже не было в живых. Остальные стихи этого цикла автор печатать не хотел, так как они его не удовлетворяли. ⟨...⟩

Осенью 1925 года, вскоре после возвращения в Москву из поездки на Кавказ, где Есенин работал главным образом над продолжением цикла «Персидских мотивов», он несколько раз говорил о том, что хочет написать цикл стихов о русской зиме. ⟨...⟩ Необычайное многообразие, яркость, величавость, сказочная, фантастическая красота нашей зимы, которую с детства любит всякий русский человек, увлекали Есенина, глубоко любившего свою родную страну, пробуждали в нем высокие поэтические настроения, рождали новые прекрасные образы и сравнения.

⟨1946⟩

ИЗ ПИСЬМА К А. М. ГОРЬКОМУ

⟨Москва, 15 июня 1926 г.⟩

Глубокоуважаемый и дорогой Алексей Максимович, посылаю Вам копию письма моего мужа к Вам [1].

Оригинал хранится у меня. Копию я сняла точную,

соблюдая его орфографию. Если Вы захотите, я с верным случаем перешлю Вам оригинал.

Вы видите, что письмо было написано еще летом. Отправка его была связана с отправкой Вам книг. Вот все это — о судьбе книг и письма — я должна и хочу рассказать Вам.

В июне прошлого года Д. К. Богомильский передал Сергею, что Вы спрашиваете о нем и хотите иметь его книги [2]. Его это очень обрадовало и взволновало. Он сейчас же написал Вам письмо и стал собирать для Вас свои книги. У самого у него никогда их не было. В магазинах почти все было распродано, надо было разыскивать, а посылать только часть — не хотелось. Одну книжку — «Персидские мотивы» — он надписал Вам. Но после его смерти я не могла найти ее, чтобы послать Вам. Если найду, то сейчас же вышлю Вам [3].

Так затянулась отправка письма и книг. Мы вскоре уехали на Кавказ. А когда вернулись, то Сергей несколько раз говорил, что не стоит теперь посылать эти книжки, а лучше дождаться выхода полного собрания в Госиздате. Эти книги вышли в Госиздате уже после его смерти. Исполняя его волю, я послала Вам I и II том (через Екатерину Павловну [4]) и по выходе III и IV пошлю и их.

И еще мне хотелось сказать Вам, что почти ни о ком и никогда Сергей не отзывался с таким огромным уважением и любовью, как о Вас. Он очень, очень часто вспоминал о Вас, мечтал, что Вы приедете в Россию, и одно время (осенью) постоянно говорил о Вашем приезде. Почему-то он думал, что Вы приедете весной. Говорил о том, что хотел бы с Вами работать в журнале.— Накануне своего отъезда в Ленинград, за пять дней до смерти, он опять стал вспоминать Вас и много мне о Вас рассказывал. О том, как Вы ему чемодан подарили (он был с ним до конца), о своем разговоре с Вами, когда Вы его упрекали за то, что он пьет, а он Вам объяснял, почему он пьет. Помните ли Вы этот разговор? — И опять то же чувство бесконечного уважения и любви. С этим разговором о Вас у меня связаны последние воспоминания о живом Сереже.

И опять он говорил, ахая и огорчаясь, что надо, надо послать книги и что вот — до сих пор не послали!

Вот это все главное, что я хотела сказать Вам. Дорогой Алексей Максимович, я знаю, что Вы любили Сережу, и поэтому я надеюсь, что Вам дорог и нужен мой рассказ и Вы поймете, почему я решилась писать Вам. Может быть, когда-нибудь судьба приведет встретиться и на словах

я Вам смогу рассказать многое о нем, что в письме не укладывается. Еще забыла Вам написать, что Сережа собирался за границу и во всех разговорах о загранице он непременно говорил о том, что поедет к Вам [5]. ⟨...⟩

ИЗ «КОММЕНТАРИЯ» [6]

«Вот уж вечер. Роса...», «Там, где капустные грядки...».— По словам Есенина, это его первые стихи. Считая их слабыми, он не хотел включать их в «Собрание». Согласился напечатать стихи только благодаря просьбе своих близких. Текст был продиктован им. Дата проставлена по его указанию.

«Зашумели над затоном тростники...».— В этом стихотворении отчетливо выступает влияние русской сказки. Сам поэт неоднократно упоминал об этом влиянии, говоря о детских годах своих, в которые сказка занимала большое место. ⟨...⟩ На протяжении всей жизни Есенина, почти до самого конца, одними из самых любимых и одно время даже настольных книг были: «Русские народные сказки» А. Н. Афанасьева и «Поэтические воззрения славян на природу» того же автора. Он говорил, что черпал из них много материалов для своего творчества.

«Песня о собаке».— Случай подобно тому, какой описан в этом стихотворении, произошел однажды в молодые годы Есенина, в его селе Константинове. Собака соседа Есениных ощенилась, и хозяин убил всех щенят. Есенин сам рассказывал об этом, и мать его, Татьяна Федоровна, помнит этот случай и то, как под впечатлением от него Есенин написал стихи.

«Разбуди меня завтра рано...».— По словам Есенина, это стихотворение явилось первым его откликом на февральскую революцию.

«Не жалею, не зову, не плачу...».— Есенин рассказывал автору комментария, что это стихотворение было написано под влиянием одного из лирических отступлений в «Мертвых душах» Гоголя. Иногда полушутя добавлял: «Вот меня хвалят за эти стихи, а не знают, что это не я, а Гоголь». Несомненно, что место в «Мертвых душах», о котором говорил Есенин, это начало шестой главы, которое заканчивается словами: «...что пробудило бы в прежние годы живое движенье в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! о моя свежесть!»

«Голубая да веселая страна...».— Стихотворение было посвящено Розе Петровне Чагиной, шестилетней дочери П. И. Чагина, которая сама себя прозвала «Гелия Николаевна» по имени какой-то актрисы. Все окружающие в шутку так ее и называли. Есенин очень любил и понимал детей и находился с этой девочкой в большой дружбе.

«Море голосов воробьиных...».— В августе 1925 г. Есенин жил в Мардакянах, близ Баку на даче П. И. Чагина. Окно из комнаты Есенина выходило в сад, и часто на рассвете его будили голоса птиц. В один из таких рассветов он написал это стихотворение. ⟨...⟩ Осенью 1925 г., подготавливая свое «Собрание», он вернулся к этому стихотворению, хотел включить его в цикл «Персидских мотивов», начал его перерабатывать, но не закончил и потому не включил в «Собрание».

«Отчего луна так светит тускло...».— Написано во время пребывания Есенина в Мардакянах на даче П. И. Чагина. Отчасти в нем отразились впечатления природы в окрестностях Баку, которые так нравились Есенину, и аллея огромных старых кипарисов, по которой Есенин ежедневно проходил к своей даче.

«Видно, так заведено навеки...».— В стихотворении отразился действительный случай, бывший с Есениным — попугай у цыганки-гадалки вынул ему обручальное кольцо.

«Жизнь — обман с чарующей тоскою...», «Гори, звезда моя, не падай...».— Написаны в Мардакянах. В то время Есенин очень плохо себя чувствовал. Опять появилось предположение, что у него туберкулез. Он кашлял, худел, был грустен и задумчив. Настроениями и разговорами этих дней навеяны оба эти стихотворения.

«Эх вы, сани! А кони, кони!..».— Осенью 1925 г., вскоре после возвращения в Москву из Баку, Есенин несколько раз говорил о том, что он хочет написать цикл стихов о русской зиме. «Эх вы, сани! А кони, кони!..» — первое стихотворение в этом цикле. За ним последовали другие на ту же тему. В течение трех месяцев, почти до самой своей смерти, Есенин не оставлял этой темы и написал двенадцать стихотворений, в которых отразилась русская зимняя природа: «Эх вы, сани! А кони, кони!..», «Снежная замять дробится и колется...», «Слышишь — мчатся сани, слышишь — сани мчатся...», «Голубая кофта. Синие глаза...», «Снежная замять крутит бойко...», «Вече-

ром синим, вечером лунным...», «Плачет метель, как цыганская скрипка...», «Ах, метель такая, просто черт возьми!..», «Снежная равнина, белая луна...», «Свищет ветер, серебряный ветер...», «Мелколесье. Степь и дали...» и «Клен ты мой опавший, клен заледенелый...». И в «Черном человеке», и даже в одном из предсмертных стихотворений «Какая ночь! Я не могу...», написанном в ноябре 1925 г. в клинике, отразились впечатления от сада в снегу, который Есенин видел из окна своей комнаты:

...Что липы тщетно манят нас,
В сугробы ноги погружая.

Были еще стихотворения с зимним пейзажем, написанные 17—20 декабря 1925 г. в последние дни пребывания Есенина в клинике. Они не дошли до нас полностью, т. к., продолжая работать над ними, Есенин оставил автографы у себя и увез их в Ленинград [7]. Куда они исчезли после его смерти, нам неизвестно. В памяти слышавших эти стихи от Есенина сохранились отдельные строки:

Буря воет, буря злится,
Из-за туч луна, как птица,
Проскользнуть крылом стремится,
Освещая рыхлый снег (?)
. . . .
. . . .
Страшно хочется подраться
С пьяным тополем в саду.
. . . .
. . . .
...дверь откроешь (?) на крыльцо,
. . . .
Буря жесткой горстью снега
Саданет тебе в лицо.
. . . .
. . . .
Ну, да разве мне расстаться
С этой негой и теплом.
. . . .
С недопитой рюмкой рома
Побеседуем вдвоем.

Дальше поэт вспоминает свою жизнь.

В последней строфе березки на поляне танцуют вальс. Этой строфой начиналось другое «зимнее» стихотворение, написанное перед тем, которое мы цитируем. Этим стихотворением Есенин, по его словам, пожертвовал для того,

чтобы воспользоваться строфой как концом для нового стихотворения.

«Черный человек».— По словам Есенина, он писал поэму за границей в 1922 или 1923 г. ⟨...⟩ В последние два года своей жизни Есенин читал поэму очень редко, не любил говорить о ней и относился к ней очень мучительно и болезненно. ⟨...⟩

В ноябре 1925 г. редакция журнала «Новый мир» обратилась к Есенину с просьбой дать новую большую вещь. Новых произведений не было, и Есенин решил напечатать «Черного человека». Он работал над поэмой в течение двух вечеров 12 и 13 ноября. Рукопись испещрена многочисленными поправками. Лица, слышавшие поэму в его чтении, находили, что записанный текст короче и менее трагичен, чем тот, который Есенин читал раньше.

Говоря об этой вещи, он не раз упоминал о влиянии на нее пушкинского «Моцарта и Сальери».

«Страна негодяев».— Замысел пьесы «Страна негодяев» все время менялся по ходу работы. Пьеса была задумана давно. Она выросла из неосуществленной драматической поэмы. С. А. Есенин намеревался создать широкое полотно, в котором ⟨хотел⟩ показать столкновение двух миров и двух начал в жизни человечества. Такое расширение замысла у Есенина произошло после его поездки в США, о чем он мне не раз говорил... Есенин рассказывал мне, что он ходил в Нью-Йорке специально посмотреть знаменитую нью-йоркскую биржу, в огромном зале которой толпятся многие тысячи людей и совершают в обстановке шума и гама сотни и тысячи сделок. «Это страшнее, чем быть окруженным стаей волков,— говорил Есенин.— Что значат наши маленькие воришки и бандюги в сравнении с ними? Вот где она — страна негодяев».

⟨1940⟩

Т. С. ЕСЕНИНА

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА РАЙХ

Имя Зинаиды Николаевны Райх редко упоминается рядом с именем Сергея Есенина. В годы революции личная жизнь поэта не оставляла прямых следов в его творчестве и не привлекала к себе пристального внимания.

Актриса Зинаида Райх хорошо известна тем, кто связан с историей советского театра, ее сценический путь прослеживается месяц за месяцем. Но до 1924 года такой актрисы не существовало (свою первую роль она сыграла в возрасте 30 лет). Образ молодой Зинаиды Николаевны Есениной, жены поэта, трудно восстановить документально. Ее небольшой личный архив пропал в годы войны. До того возраста, когда охотно делятся воспоминаниями, Зинаида Николаевна не дожила. Я не много знаю из рассказов матери.

Мать была южанкой, но к моменту встречи с Есениным уже несколько лет жила в Петербурге, сама зарабатывала на жизнь, посещала Высшие женские курсы. Вопрос «кем быть?» не был еще решен. Как девушка из рабочей семьи, она была собранна, чужда богеме и стремилась прежде всего к самостоятельности.

Дочь активного участника рабочего движения, она подумывала об общественной деятельности, среди ее подруг были побывавшие в тюрьме и ссылке. Но в ней было и что-то мятущееся, был дар потрясаться явлениями искусства и поэзии. Какое-то время она брала уроки скульптуры. Читала бездну. Одним из любимых ее писателей был тогда Гамсун, что-то было близкое ей в странном чередовании сдержанности и порывов, свойственном его героям.

Она и всю жизнь потом, несмотря на занятость, много и жадно читала, а перечитывая «Войну и мир», кому-нибудь повторяла: «Ну как же это он умел превращать будни в сплошной праздник?»

Весной 1917 года Зинаида Николаевна жила в Петрограде одна, без родителей, работала секретарем-машинисткой в редакции газеты «Дело народа». Есенин печатался

здесь. Знакомство состоялось в тот день, когда поэт, кого-то не застав, от нечего делать разговорился с сотрудницей редакции.

А когда человек, которого он дожидался, наконец пришел и пригласил его, Сергей Александрович, со свойственной ему непосредственностью, отмахнулся:

— Ладно уж, я лучше здесь посижу...

Зинаиде Николаевне было 22 года. Она была смешлива и жизнерадостна.

Есть ее снимок, датированный 9 января 1917 года. Она была женственна, классически безупречной красоты, но в семье, где она росла, было не принято говорить об этом, напротив, ей внушали, что девушки, с которыми она дружила, «в десять раз красивее».

Со дня знакомства до дня венчания прошло примерно три месяца. Все это время отношения были сдержанными, будущие супруги оставались на «вы», встречались на людях. Случайные эпизоды, о которых вспоминала мать, ничего не говорили о сближении.

В июле 1917 года Есенин совершил поездку к Белому морю («Небо ли такое белое или солью выцвела вода?»), он был не один, его спутниками были двое приятелей (увы, не помню их имен *) и Зинаида Николаевна. Я никогда не встречала описаний этой поездки.

Уже на обратном пути, в поезде, Сергей Александрович сделал матери предложение, сказав громким шепотом:

— Я хочу на вас жениться.

Ответ: «Дайте мне подумать» — его немного рассердил. Решено было венчаться немедленно. Все четверо сошли в Вологде. Денег ни у кого уже не было. В ответ на телеграмму «Вышли сто, венчаюсь» — их выслал из Орла, не требуя объяснений, отец Зинаиды Николаевны. Купили обручальные кольца, нарядили невесту. На букет, который жениху надлежало преподнести невесте, денег уже не было. Есенин нарвал букет полевых цветов по пути в церковь — на улицах всюду пробивалась трава, перед церковью была целая лужайка [1].

---

* Слова «не помню их имен» справедливы для того времени, когда эта статья печаталась в сб. «Есенин и современность» (изд-во «Современник», 1975). Теперь я могу назвать одного из спутников — это был приятель моего отца поэт А. А. Ганин. Эта фамилия не «всплыла» в памяти сама собой. В ЦГАЛИ хранится план воспоминаний моей матери о Есенине. Воспоминания написаны не были, а с планом я познакомилась сравнительно недавно. Ганин упомянут в том пункте, где речь идет о поездке к Белому морю.

Вернувшись в Петроград, они некоторое время жили врозь, и это не получилось само собой, а было чем-то вроде дани благоразумию. Все-таки они стали мужем и женой, не успев опомниться и представить себе хотя бы на минуту, как сложится их совместная жизнь. Договорились поэтому друг другу «не мешать». Но все это длилось недолго, они вскоре поселились вместе, больше того, отец пожелал, чтобы Зинаида Николаевна оставила работу, пришел вместе с ней в редакцию и заявил:

— Больше она у вас работать не будет.

Мать всему подчинилась. Ей хотелось иметь семью, мужа, детей. Она была хозяйственна и энергична.

Душа Зинаиды Николаевны была открыта навстречу людям. Помню ее внимательные, все замечающие и все понимающие глаза, ее постоянную готовность сделать или сказать приятное, найти какие-то свои, особые слова для поощрения, а если они не находились — улыбка, голос, все ее существо договаривали то, что она хотела выразить. Но в ней дремали вспыльчивость и резкая прямота, унаследованные от своего отца.

Первые ссоры были навеяны поэзией. Однажды они выбросили в темное окно обручальные кольца (Блок — «Я бросил в ночь заветное кольцо» [2]) и тут же помчались их искать (разумеется, мать рассказывала это с добавлением: «Какие же мы были дураки!»). Но по мере того как они все ближе узнавали друг друга, они испытывали порой настоящие потрясения. Возможно, слово «узнавали» не все исчерпывает — в каждом время раскручивало свою спираль. Можно вспомнить, что само время все обостряло.

С переездом в Москву кончились лучшие месяцы их жизни. Впрочем, вскоре они на некоторое время расстались. Есенин отправился в Константиново, Зинаида Николаевна ждала ребенка и уехала к своим родителям в Орел...

Я родилась в Орле, но вскоре мать уехала со мной в Москву и до одного года я жила с обоими родителями. Потом между ними произошел разрыв, и Зинаида Николаевна снова уехала со мной к своим родным. Непосредственной причиной, видимо, было сближение Есенина с Мариенгофом, которого мать совершенно не переваривала. О том, как Мариенгоф относился к ней, да и вообще к большинству окружающих, можно судить по его книге «Роман без вранья».

Спустя какое-то время Зинаида Николаевна, оставив меня в Орле, вернулась к отцу, но вскоре они опять расстались...

Осенью 1921 года она стала студенткой Высших театральных мастерских. Училась не на актерском отделении, а на режиссерском, вместе с С. М. Эйзенштейном, С. И. Юткевичем.

С руководителем этих мастерских — Мейерхольдом она познакомилась, работая в Наркомпросе. В прессе тех дней его называли вождем «Театрального Октября». Бывший режиссер петербургских императорских театров, коммунист, он тоже переживал как бы второе рождение. Незадолго перед этим он побывал в Новороссийске в белогвардейских застенках, был приговорен к расстрелу и месяц провел в камере смертников.

Летом 1922 года два совершенно незнакомых мне человека — мать и отчим — приехали в Орел и увезли меня и брата от деда и бабки. В театре перед Всеволодом Эмильевичем многие трепетали. Дома его часто приводил в восторг любой пустяк — смешная детская фраза, вкусное блюдо. Всех домашних он лечил — ставил компрессы, вынимал занозы, назначал лекарства, делал перевязки и даже инъекции, при этом сам себя похваливал и любил себя называть «доктор Мейерхольд».

* * *

Из тихого Орла, из мира, где взрослые говорили о вещах, понятных четырехлетнему ребенку, мы с братом попали в другой мир, полный загадочного кипенья. Я принадлежала к тому многочисленному сонму девочек, которые непрестанно подпрыгивают и мечтают о балете. Но, несмотря на все свое легкомыслие, тосковала по Орлу и не переставала удивляться людям, которые могут часами говорить о непонятном. Мать была из их числа, я к ней еще не привыкла и ничем с ней не делилась. А «почемучный» возраст брал свое, и, не решаясь ежесекундно почемукать, я решила своими силами выяснить, о чем Мейерхольд подолгу говорил со своими помощниками. Как-то я заранее приготовила себе скамеечку, чтобы спокойно посидеть и уловить начало разговора,— я вообразила, что тогда сумею распутать всю нить. Увы, в самый ответственный момент меня что-то отвлекло, и опыт не удался.

Внутренняя лестница вела из нашей квартиры в нижний этаж, где располагались и театральное училище и общежитие. Можно было спуститься вниз и поглазеть на занятия по биомеханике. Временами вся наша квартира заполнялась десятками людей, и начиналась считка или

репетиция. За обедом мать заливалась смехом, вспоминая какую-нибудь реплику из пьесы. Она была вся в приподнятом настроении, с утра до ночи на ногах — каждая минута ее была чем-то заполнена. К нам вскоре перебралась родня из Орла, в доме всегда кто-то подолгу гостил, Зинаида Николаевна возглавила хозяйство многолюдного дома, налаживала режим. Квартира, лишенная поначалу самого необходимого, стала быстро приобретать жилой вид. Мать успевала даже сочинить для детей специальное «меню» и вывесить его в детской. Рано выучившись читать и вечно страдая отсутствием аппетита, я с тоской глядела на это «меню» и, прочитав строчку вроде: «8 час. вечера — чай с печеньем», заранее принималась пищать: «Я не хочу печенья». В Москве нас быстро избаловали. Позднее нам наняли учителей и стали приучать к дисциплине. А покуда мы полдня проводили с нянькой на бульваре.

Адрес наш, по старой памяти, звучал еще так: «Новинский бульвар, тридцать два, дом бывший Плевако». В свое время и наш дом и несколько соседних строений были собственностью знаменитого адвоката. Когда в 1927 году у нас случился пожар, об этом написала «Вечерняя Москва», и мы узнали из газеты, что дом наш построен еще до наполеоновского нашествия и был одним из уцелевших в пожар 1812 года. Входная деревянная лестница изгибалась винтом, комнаты были разной высоты — из одной в другую вела либо одна, либо несколько ступенек. Маленькие окна сложным способом предохранялись от ледяных узоров — между рамами ставили на зиму зловещий стакан с серной кислотой, под подоконником висела бутылочка — в нее опускали конец бинта, вбиравшего стекающую с окон влагу.

Напротив, на другой стороне бульвара, стояло очень похожее здание с мемориальной доской — в нем жил Грибоедов. Кто из его современников бродил по нашим комнатам — такими вопросами в двадцатые годы как-то не задавались.

Новинский был оживленным местом — неподалеку шумел Смоленский рынок с огромной барахолкой, где престарелые дамы в шляпках с вуалью распродавали свои веера, шкатулочки и вазочки. По бульвару ходили цыгане с медведями, бродячие акробаты. Приезжие крестьяне, жмурясь от страха, перебегали через трамвайную линию — в лаптях, домотканых армяках, с котомками за плечами.

На бульваре мы нежданно-негаданно познакомились со своим сводным братом — Юрой Есениным. Он был старше меня на четыре года. Его как-то тоже привели на бульвар,

и, видно, не найдя для себя другой компании, он принялся катать нас на санках. Мать его, Анна Романовна Изряднова, разговорилась на лавочке с нянькой, узнала, «чьи дети», и ахнула: «Брат сестру повез!» Она тут же пожелала познакомиться с нашей матерью. С тех пор Юра стал бывать у нас, а мы — у него.

Анна Романовна принадлежала к числу женщин, на чьей самоотверженности держится белый свет. Глядя на нее, простую и скромную, вечно погруженную в житейские заботы, можно было обмануться и не заметить, что она была в высокой степени наделена чувством юмора, обладала литературным вкусом, была начитанна. Все связанное с Есениным было для нее свято, его поступков она не обсуждала и не осуждала. Долг окружающих по отношению к нему был ей совершенно ясен — оберегать. И вот — не уберегли. Сама работящая, она уважала в нем труженика — кому как не ей было видно, какой путь он прошел всего за десять лет, как сам себя менял внешне и внутренне, сколько вбирал в себя — за день больше, чем иной за неделю или за месяц.

Они с матерью симпатизировали друг другу. С годами Анна Романовна становилась человеком все более близким нашей семье. С сыном своим она рассталась в конце тридцатых годов и, не зная о его гибели, десять лет ждала его — до последнего своего вздоха.

Есенин не забывал своего первенца, иногда приходил к нему. С осени 1923 года он стал навещать и нас.

Зрительно я помню отца довольно отчетливо.

В детскую память врезаются не повседневность, а события исключительные. Я, например, сама для себя родилась в тот день, когда мне в полуторагодовалом возрасте прищемили палец дверью. Боль, вопль, суматоха — все озарилось, зашевелилось, и я стала существовать.

С приходом Есенина у взрослых менялись лица. Кому-то становилось не по себе, кто-то умирал от любопытства. Детям все это передается.

Первые его появления запомнились совершенно без слов, как в немом кино.

Мне было пять лет. Я находилась в своем естественно-прыгающем состоянии, когда кто-то из домашних схватил меня. Меня сначала поднесли к окну и показали на человека в сером, идущего по двору. Потом молниеносно переодели в парадное платье. Уже одно это означало, что матери не было дома — она не стала бы меня переодевать.

Помню изумление, с каким наша кухарка Марья Афа-

насьевна смотрела на вошедшего. Марья Афанасьевна была яркой фигурой в нашем доме. Глуховатая, она постоянно громко разговаривала сама с собой, не подозревая, что ее слышат. «Вы котлеты пережарили»,— скажет ей мать в ухо. Она удалялась, ворча под общий хохот:

— Пережарила... Сама ты пережарила! Ничего. Сожрут. Актеры все сожрут.

Старуха, очевидно, знала, что у хозяйских детей есть родной отец, но не подозревала, что он так юн и красив.

Есенин только что вернулся из Америки. Все у него с головы до ног было в полном порядке. Молодежь тех лет большей частью не следила за собой — кто из бедности, кто из принципа.

Глаза одновременно и веселые и грустные. Он рассматривал меня, кого-то при этом слушая, не улыбался. Но мне было хорошо и от того, как он на меня смотрел, и от того, как он выглядел.

Когда он пришел в другой раз, его не увидели из окна. Дома была и на звонок пошла открывать Зинаида Николаевна.

Прошли уже годы с тех пор, как они расстались, но им доводилось иногда встречаться. В последний раз они виделись перед отъездом отца за границу, и эта встреча была спокойной и мирной.

Но сейчас поэт был на грани болезни. Зинаида Николаевна встретила его гостеприимной улыбкой, оживленная, вся погруженная в настоящий день. В эти месяцы она репетировала свою первую роль.

Он резко свернул из передней в комнату Анны Ивановны, своей бывшей тещи.

Я видела эту сцену.

Кто-то зашел к бабушке и вышел оттуда, сказав, что «оба плачут». Мать увела меня в детскую и сама куда-то ушла. В детской кто-то был, но молчал. Мне оставалось только зареветь, и я разревелась отчаянно, во весь голос.

Отец ушел незаметно.

И сразу вслед за этим возникает другая сцена, вызывающая совершенно другое настроение. На тахте сидят трое. Слева курит папиросу Всеволод Эмильевич, посередине облокотилась на подушки мать, справа сидит отец, поджав одну ногу, опустив глаза, с характерным для него взглядом не вниз, а вкось. Они говорят о чем-то таком, что я уже отчаялась понимать.

В шесть лет меня стали учить немецкому, заставляли писать. Я уже знала, что Есенину принадлежат стихи «Со-

брала пречистая журавлей с синицами в храме...» [3], что он пишет другие стихи и что жить с нами вовсе не должен.

У нас появилась первая «бонна» — Ольга Георгиевна. До революции она работала в той же должности ни больше ни меньше, как у князей Трубецких, в том великолепном особняке, который стоял на Новинском рядом с нашим домом и где потом расположилась Книжная палата.

Ольга Георгиевна была суховата, грубовата и начисто лишена чувства юмора. А по ночам она рыдала над детскими книгами. Как-то я проснулась от ее всхлипываний. Над книгой она держала полотенце, мокрое от слез, и бормотала: «Господи, как безумно жаль мальчишек».

Детской нам служила просторная комната, где мебель почти не занимала места, посередине лежал красный ковер, на нем валялись игрушки и возвышались сооружения из стульев и табуреток.

Помню — мы с братом играем, а возле сооружений сидят Есенин и Ольга Георгиевна. Так было раза два. Ему не по себе рядом с ней, он нехотя отвечает на ее вопросы и не пытается себя насиловать и развлекать нас. Он оживился, лишь когда она стала расспрашивать о его планах. Он рассказал, что собирается ехать в Персию, и закончил громко и вполне серьезно:

— И там меня убьют.

Только в ресницах у него что-то дрожало. Я тогда не знала, что в Персии убили Грибоедова и что отец втихомолку издевается над княжеской бонной, которая тоже этого не знала и, вместо того чтобы шуткой ответить на шутку, поглядела на него с опаской и замолчала.

Один только раз отец всерьез занялся мной. Он пришел тогда не один, а с Галиной Артуровной Бениславской. Послушал, как я читаю. Потом вдруг принялся учить меня... фонетике. Проверял, слышу ли я все звуки в слове, особенно напирал на то, что между двумя согласными часто слышен короткий гласный звук. Я спорила и говорила, что, раз нет буквы, значит, не может быть никакого звука.

Как-то до Зинаиды Николаевны дошли слухи, что Есенин хочет нас «украсть». Либо сразу обоих, либо когонибудь одного. Я видела, как отец подшучивал над Ольгой Георгиевной, и вполне могу себе представить, что он кого-то разыгрывал, рассказывая, как украдет нас. Может быть, он и не думал, что этот разговор дойдет до Зинаиды Николаевны. А может быть, и думал...

И однажды, забежав к матери в спальню, я увидела удивительную картину. Зинаида Николаевна и тетка Алек-

сандра Николаевна сидели на полу и считали деньги. Деньги лежали перед ними целой горкой — запечатанные в бумагу, как это делают в банке, столбики монет. Оказывается, всю зарплату в театре выдали в тот раз трамвайной мелочью.

— На эти деньги,— возбужденно прошептала мать,— вы с Костей поедете в Крым.

Я, конечно, гораздо позже узнала, что шептала она во имя конспирации. И нас, действительно, срочно отправили в Крым с Ольгой Георгиевной и теткой — прятать от Есенина. В доме было много женщин, и было кому сеять панику. В те годы было много разводов, право матери оставаться со своими детьми было новшеством, и случаи «похищения» отцами своих детей передавались из уст в уста.

В 1925 году отец много работал, не раз болел и часто покидал Москву. Кажется, он был у нас всего два раза.

Ранней осенью, когда было еще совсем тепло и мы бегали на воздухе, он появился в нашем дворе, подозвал меня и спросил, кто дома. Я помчалась в полуподвал, где находилась кухня, и вывела оттуда бабушку, вытиравшую фартуком руки,— кроме нее, никого не было.

Есенин был не один, с ним была девушка с толстой темной косой.

— Познакомьтесь, моя жена,— сказал он Анне Ивановне с некоторым вызовом.

— Да ну,— заулыбалась бабушка,— очень приятно...

Отец тут же ушел, он был в состоянии, когда ему было совершенно не до нас. Может, он приходил в тот самый день, когда зарегистрировал свой брак с Софьей Андреевной Толстой?

В декабре он пришел к нам через два дня после своего ухода из клиники, в тот самый вечер, когда поезд вот-вот должен был увезти его в Ленинград. Спустя неделю, спустя месяцы и даже годы родные и знакомые несчетное число раз расспрашивали меня, как он тогда выглядел и что говорил, потому и кажется, что это было вчера.

В тот вечер все куда-то ушли, с нами оставалась одна Ольга Георгиевна. В квартире был полумрак, в глубине детской горела лишь настольная лампа, Ольга Георгиевна лечила брату синим светом следы диатеза на руках. В комнате был еще десятилетний сын одного из работников театра, Коля Буторин, он часто приходил к нам из общежития — поиграть. Я сидела в «карете» из опрокинутых стульев и изображала барыню. Коля, угрожая пистолетом,

«грабил» меня. Среди наших игрушек был самый настоящий наган. Через тридцать лет я встретила Колю Буторина в Ташкенте, и мы снова с ним все припомнили.

На звонок побежал открывать Коля и вернулся испуганный:

— Пришел какой-то дядька, во-от в такой шапке.

Вошедший уже стоял в дверях детской, за его спиной.

Коля видел Есенина раньше и был в том возрасте, когда это имя уже что-то ему говорило. Но он не узнал его. Взрослый человек — наша бонна — тоже его не узнала при тусклом свете, в громоздкой зимней одежде. К тому же все мы давно его не видели. Но главное было в том, что болезнь сильно изменила его лицо. Ольга Георгиевна поднялась навстречу, как взъерошенная клушка:

— Что вам здесь нужно? Кто вы такой?

Есенин прищурился. С этой женщиной он не мог говорить серьезно и не сказал: «Как же это вы меня не узнали?»

— Я пришел к своей дочери.

— Здесь нет никакой вашей дочери!

Наконец я его узнала по смеющимся глазам и сама засмеялась. Тогда и Ольга Георгиевна вгляделась в него, успокоилась и вернулась к своему занятию.

Он объяснил, что уезжает в Ленинград, что поехал уже было на вокзал, но вспомнил, что ему надо проститься со своими детьми.

— Мне надо с тобой поговорить,— сказал он и сел, не раздеваясь, прямо на пол, на низенькую ступеньку в дверях. Я прислонилась к противоположному косяку. Мне стало страшно, и я почти не помню, что он говорил, к тому же его слова казались какими-то лишними, например, он спросил: «Знаешь ли ты, кто я тебе?»

Я думала об одном — он уезжает и поднимется сейчас, чтобы попрощаться, а я убегу туда — в темную дверь кабинета.

И вот я бросилась в темноту. Он быстро меня догнал, схватил, но тут же отпустил и очень осторожно поцеловал руку. Потом пошел проститься с Костей.

Дверь захлопнулась. Я села в свою «карету», Коля схватил пистолет...

В гробу у отца было снова совершенно другое лицо.

Мать считала, что, если бы Есенин в эти дни не оставался один, трагедии могло не быть. Поэтому горе ее было безудержным и безутешным и «дырка в сердце», как она говорила, с годами не затягивалась...

К. С. ЕСЕНИН

ОБ ОТЦЕ

Вечера, посвященные памяти С. А. Есенина — моего отца, начиная с 1950 года проходят регулярно, каждые пять лет.

Первый такой вечер, совсем для «узкого круга», состоялся в московском Доме литераторов, на улице Воровского. Теперь, спустя годы, ярче других в памяти выступление чтеца Н. Ф. Першина. Тогда была жива Татьяна Федоровна — мать Сергея Александровича, моя бабушка. Во время концерта она сидела в первом ряду, и Першин нашел, может быть, еще до начала вечера, удачную мизансцену. В темном зале прожектора выхватили в партере черный платок Татьяны Федоровны, а над ней в сумраке стояла тень Першина. Стихи «Письмо матери» прозвучали тогда как-то удивительно мягко.

Может быть, это только мое впечатление...

Потом на юбилейных вечерах выступали П. И. Чагин, А. Л. Миклашевская, К. Л. Зелинский, мои тетки — Катя и Шура.

Я раньше старался не выступать. Хотя часто, особенно на «локальных» вечерах в некоторых клубах, институтах, меня об этом довольно энергично просили.

По существу, у меня нет воспоминаний. Последний раз отец навестил нас с сестрой Татьяной за четыре дня до своей смерти, а мне тогда было неполных шесть лет. А что может рассказать даже о самых ярких впечатлениях человек четырех-, пяти-, пусть шестилетнего возраста? Конечно, это не воспоминания, а только что-то вроде «туманных картин» «волшебного фонаря», также оставшегося где-то в детстве.

Но в последние годы, когда родных, друзей и знакомых, выступающих на вечерах, почти не осталось — время ведь вещь неумолимая,— я как-то от общих слов, которые мне

все же приходилось говорить по просьбе слушателей, перешел к рассказу об этих «туманных картинах».

Их совсем немного...

Самое первое, что сохранила память,— это приход отца весной 192..., а вот какого точно — не знаю, года. Солнечный день, мы с сестрой Таней самозабвенно бегаем по зеленому двору нашего дома. Теперь этого дома нет. Его снесли в 50-х годах. Тогда в белом, купеческого «покроя» здании располагались ГЭКТЕМАС (Государственные экспериментальные театральные мастерские), позднее — училище Театра имени народного артиста республики В. Э. Мейерхольда, второго мужа нашей матери — Зинаиды Николаевны Райх.

Вдруг во дворе появились нарядные, «по-заграничному» одетые мужчина и женщина. Мужчина — светловолосый, в сером костюме. Это был Есенин. С кем? Не знаю. Нас с сестрой повели наверх, в квартиру. Еще бы: первое, после долгого перерыва свидание с отцом! Но для нас это был, однако, незнакомый «дяденька». И только подталкивания разных соседок, нянь, наших и чужих, как-то зафиксировали внимание — «папа». Самое же слово было еще почти непонятно. В роли «папы» выступал досель Всеволод Эмильевич Мейерхольд, хотя воспитывали нас смело, тайн рождения не скрывали, и мы знали, что Мейерхольд — «папа второй», ненастоящий, а «первый папа» был для нас незримой личностью, имя его изредка произносилось взрослыми в разговорах.

Есенин сел с нами за прямоугольный детский столик, говорил он, обращаясь по большей части к Тане. После первых слов, что давно забыты, он начал расспрашивать о том, в какие игры играем, что за книжки читаем. Увидев на столе какие-то детские тоненькие книжицы, почти всерьез рассердился.

— А мои стихи читаете?

Помню общую нашу с сестрой растерянность. И наставительное замечание отца:

— Вы должны читать и знать мои стихи...

Потом, когда появились обращенные к детям стихи «Сказка о пастушонке Пете», помню слова матери о том, что рождение их связано именно с этим посещением отца, который приревновал своих детей к каким-то чужим, не понравившимся ему стихам. Да, наверно, это было так.

Когда он ушел, толпившиеся внизу соседки срочно принялись выяснять, что он принес нам в подарок. Однако

подарков, к общему негодованию, не было. А тем, кто особенно возмущался, мать дала категорическое разъяснение: «Есенин подарков детям не делает. Говорит, что хочет, чтобы любили и без подарков». И, пожалуй, они были правы. Впрочем, мать не придерживалась этого правила и часто баловала нас подарками.

Четко осталась перед мысленным взором сцена, когда в нашей столовой между отцом и матерью происходил энергичный деловой разговор. Он шел в резких тонах. Содержания его я, конечно, не помню, но обстановка была очень характерная: Есенин стоял у стены, в пальто, с шапкой в руках. Говорить ему приходилось мало. Мать в чем-то его обвиняла, он защищался. Мейерхольда не было. Думаю, что по инициативе матери. Несколько лет спустя, прочитав строки:

Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне,[1] —

я наивно спросил маму: «А что, это о том случае написано?» Мать улыбнулась. Вероятнее всего, характер разговора, его тональность были уже как-то традиционны при столкновении двух таких резких натур, какими были мои отец и мать.

В памяти сохранилось несколько сцен, когда отец приходил посмотреть на нас с Таней. Как все молодые отцы, он особенно нежно относился к дочери. Таня была его любимицей. Он уединялся с ней на лестничной площадке и, сидя на подоконнике, разговаривал с ней, слушал, как она читает стихи.

Домочадцы, в основном родственники со стороны матери, воспринимали появление Есенина как бедствие. Все эти старики и старушки страшно боялись его — молодого, энергичного, тем более что, как утверждала сестра, по дому был пущен слух, будто Есенин собирается нас украсть.

Таню отпускали на «свидание» с трепетом. Я пользовался значительно меньшим вниманием отца. В детстве я был очень похож на мать — чертами лица, цветом волос. Татьяна — блондинка, и Есенин видел в ней больше своего, чем во мне.

Последний приход отца, как я уже сказал, состоялся за несколько дней до рокового 28 декабря. Этот день описан многими. Отец заходил к Анне Романовне Изрядновой, еще куда-то. Уезжал в Ленинград всерьез. Наверное, ехал жить и работать, а не умирать. Зачем иначе ему было возиться с огромнейшим, тяжеленным сундуком, набитым всем его скарбом. Это деталь, по-моему, существенная.

Отчетливо помню его лицо, его жесты, его поведение в тот вечер. В них не было надрыва, грусти. В них была какая-то деловитость... Пришел проститься с детьми. У меня тогда был детский диатез. Когда он вошел, я сидел, подставив руки под лампочку, горевшую синим светом, которую держала няня.

Отец недолго пробыл в комнате и, как всегда, уединился с Татьяной.

Хорошо помню дни после сообщения о смерти отца. Мать лежала в спальне, почти утратив способность реального восприятия. Мейерхольд размеренным шагом ходил между спальней и ванной, носил воду в кувшинах, мокрые полотенца. Мать раза два выбегала к нам, порывисто обнимала и говорила, что мы теперь сироты.

Но в детстве смерть близких воспринимают своеобразно. Верят на слово тому, что человека больше не увидят, но как это может быть — еще не осознают. Так и мы с сестрой. Помню, что тоже плакали, но, наверное, из-за того, что плакала мама. Потом был Дом печати (ныне — Центральный дом журналистов), Таня читает стихи... Какие-то тетеньки и дяденьки поочередно подходят и что-то говорят с сочувствием. Еще непонятный мир: Ваганьковское кладбище. Деловитые, краснощекие могильщики. Земля, что заставили кинуть в яму детской рукой. И где-то без логической связи — настольная лампа в маминой спальне. Бутылка вина. Мать как-то спокойнее, тише. Говорит, что завтра — Новый год. Ее младшая сестра — наша тетка Александра Николаевна — куда-то собирается на встречу этого Нового года.

Вот, пожалуй, и все, что я помню сейчас. Возможно, кое-что еще сохранялось в памяти в больших подробностях, когда мне было 20, 25, 30 лет. Как-то я записал все, что помнил. Но записи эти затерялись где-то в моих домашних архивах.

Конечно, позднее я неоднократно расспрашивал мать об отце. Она рассказывала сдержанно. Не раз разговаривал об отце с Софьей Андреевной Толстой. Она принимала меня

довольно тепло. Просила прочесть стихи, которые я в то время изредка писал.

Много рассказывала об отце и матери, об их продолжавшихся, несмотря на разрыв, встречах большая подруга матери Зинаида Вениаминовна Гейман. Когда она умерла, оказалось, что после нее остались толстые тетради дневниковых записей. В этих записях довольно много о Есенине и Райх, об их жизни в 1918 году.

Довольно забавен был рассказ деда, отца матери, о ее замужестве. В тихий Орел, где тогда жили родители матери, в грозовое лето 1917 года пришла телеграмма: «Выхожу замуж, вышли сто. Зинаида». Отец и мать, незадолго до этого познакомившиеся, отправились в путешествие. Им было тогда 22 и 23 года. Даже неполных.

«В конце лета приехали трое в Орел,— рассказывал дед.— Зинаида с мужем и какой-то белобрысый паренек. Муж — высокий, темноволосый, солидный, серьезный. Ну, конечно, устроили небольшой пир. Время трудное было. Посидели, попили, поговорили. Ночь подошла. Молодым я комнату отвел. Гляжу, а Зинаида не к мужу, а к белобрысенькому подходит. Я ничего не понимаю. Она с ним вдвоем идет в отведенную комнату. Только тогда и сообразил, что муж-то — белобрысенький. А второй — это его приятель, мне еще его устраивать надо». Дед, как все деды, любил солидность и основательность. Мальчишеский вид Сергея Александровича его обескуражил.

Рассказывала мне об отце и Анна Романовна Изряднова — его первая любовь, мать его первого сына — Юры, погибшего в 1938 году. Удивительной чистоты была женщина. Удивительной скромности. После того как я остался один, Анна Романовна приняла в моей судьбе большое участие. В довоенном 1940 и в 1941 годах она всячески помогала мне — подкармливала меня в трудные студенческие времена. А позднее, когда я был на фронте, неоднократно присылала посылки с папиросами, табаком, теплыми вещами. Наиболее интересное из ее рассказов уже известно. Хочу только передать маленькую историю с папиросной коробкой Есенина.

В тот же день, что и к нам, Сергей Александрович пришел к Анне Романовне, чтобы проститься с Юрой. Он оставил на столе коробку папирос. Курил он «Сафо». Были такие папиросы высшего сорта, с женщиной в тунике на коробке. В коробке оставалось, как говорила Анна Романовна, несколько папирос. Их выкурил Юрка. А одну оставил на память. Коробка была семейной реликвией.

В феврале 1937 года на шумной вечеринке мы простились с Юрой, который уходил в армию (я очень дружил с ним).

В 1941 году, в ноябре, в тяжелые для Москвы дни, я пошел добровольцем в Красную Армию. Отправка задержалась, и несколько дней я все ходил по опустевшему городу — прощался с ним. А потом у Анны Романовны рассматривал разные отцовские реликвии. Вынули и коробку «Сафо». Ей тогда было уже 16 лет. Папироса высохла, и табак начинал высыпаться. По торжественности случая я выкурил в этот день, 5 декабря 1941 года, последнюю папиросу отца.

Кстати, о есенинских реликвиях, о некоторых его личных вещах, письмах, рукописях. Большая часть того, что осталось после совместной жизни, и того, что было с отцом в «Англетере», хранилось у моей матери.

Конечно, в первые годы многие из этих вещей получили чисто практическое применение. Кое-что цело и по сей день. Цела у меня темно-голубая в крапинку косоворотка Есенина. Она осталась еще от времен совместной жизни родителей.

В войну погибло очень много писем, записок, деловых бумаг отца. Они хранились у нас на даче вместе с другими бумагами. Я был на фронте, сестра эвакуировалась в Ташкент да так и осела там. Все наши родственники со стороны матери умерли в годы войны. Дача осталась пустовать. Дважды ее самовольно заселяли. Весь архив свалили в сарай. Там он лежал несколько лет и зим, в мороз и зной.

Как-то после ранения, после госпиталя, уже в самом конце войны, я, будучи на короткой побывке в Москве, заехал на дачу. Весь архив был в плохом состоянии. За несколько часов, что я был на даче, мне удалось кое-что выбрать из этой смерзшейся груды. Небольшое количество бумаг хранится у меня. Была у меня библиотека первых изданий Есенина — много уникальных книг. Целую связку забрал с собой и таскал по окопам и землянкам, пока их все до единой не «зачитали» мои однополчане. К счастью, большая часть книг осталась в Москве, некоторые и поныне у меня.

В Константинове я был несколько раз до войны. Один из них — летом 1939 года. Погибла моя мать. За мной приехали, не объясняя причин, предложили следовать. Ситуация острая... Бабушка уговорила представителя власти дать мне перекусить. Воспользовавшись моментом, шепотом

спросила: «Ты ничего за собой не знаешь?» Я поспешил уверить ее, что нет, не знаю. Затолкала мне в чемодан всякой снеди и проводила до околицы.

У меня было немало любительских снимков бабушки — я тогда увлекался фотографией. Но в войну именно эта пара «катушек» пропала. Я печатал их на «дневной» бумаге. Закрепителя не было, и снимки канули в вечность.

В дождливое лето 1950 года я поехал на родину «отчич и дедич». Меня всегда интересовал вопрос «происхождения таланта» отца. Когда мне было 16, 18, 19 лет, я много времени проводил среди родни и на рыбалке. Но в 30 лет я решил разобраться в этом вопросе основательно.

Бабушка Татьяна Федоровна была умудренной жизнью старухой. Четверть века, что прошла с 1925 года, была освящена почитанием и уважением многочисленных поклонников поэзии Есенина, навещавших ее в Константинове, да и в Москве. Все это, по-видимому, не прошло бесследно. В ней были степенность и какая-то особая мудрость. Ко мне она относилась хорошо. Любила иногда на чем-то испытать. Помнится, однажды, еще в тридцать восьмом году, подвела меня к очень толстому чурбаку — в два с половиной обхвата — «Наколи дров». Колуна не было, был только топор, и я намучился с этим чурбаком. Зашел в избу, прилег отдохнуть, покурить. Выхожу... чурбак расколот. А бабушка с улыбкой говорит мне: «А я его клинышком». За самоваром рассказывала: «Отец Сергея (Александр Никитич) совсем не годился для крестьянского дела. Лошадь как следует запрячь не мог. Любил помечтать, посидеть. В город уехал именно потому, что не ладилось у него крестьянское дело. А что мясником был, так это он только с мертвым мясом дело имел. Никого не губил». Вот эта мечтательность, какое-то поэтическое восприятие мира, видимо, и легли как большая и важная составная часть в тот человеческий сплав, который потом был осенен талантом. Ну, а Татьяна Федоровна дала отцу настойчивость, уверенность, сметку, определенную твердость, без которых была бы немыслима и сила таланта Сергея Александровича, и его «поход» в Петербург за признанием.

Безусловно, были у Есенина и неудачи, и, пожалуй, немалые. Он с трудом и слабо писал тогда, когда не чувствовал почвы под ногами. Но это не мешает мне считать также, что лучшее из лирики Есенина — абсолютно неповторимо в своей красоте. И никогда никем не будет превзойдено. Не потому, что он слишком велик. Просто потому, что никогда больше не произойдет такого сочета-

ния всего того, что родило Есенина: времени, характера, биографии, таланта. Иные будут талантливее, но им выпадет другое время, и жизнь они будут воспринимать иначе.

Непросто идти по жизни с фамилией Есенин. Порой у людей, заинтересованных поэзией отца, возникает почти болезненное любопытство, связанное с десятками притчей, ходящих и до сих пор. Но с этой фамилией мне удалось лучше увидеть, какой трудный, но славный путь прошли стихи отца, его имя. И я твердо знаю, что вопрос, который мучил Есенина под конец,— нужна ли его поэзия,— получил проверенный десятилетиями ответ: да, нужна!

1966

И. В. ЕВДОКИМОВ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН

Я никогда не был интимно близок с Есениным. Мы были на «ты», но Есенин «тыкался» с такой уймой людей, что это «ты» не имело никакого внутреннего значения. Я не выпил с Есениным ни одной рюмки водки, мне не довелось встречаться с ним в его частной жизни, не довелось бывать у него. В начале осени 1925 года в день его рождения (Есенину исполнилось тридцать лет) наметили встречу, но она не удалась из-за невменяемого состояния поэта. Встречи происходили два года: в 1924 и в 1925 годах *. Было их довольно много. И от этих встреч на всю жизнь остались тяжелые и радостные воспоминания: какой-то горький и сладимый аромат.

Была у меня внутренняя подготовка к этим встречам: удивленная любовь к стихам Есенина от первой книжки «Радуница», прочитанной мной в студенческие годы, и от всех последующих книжек за ней. Бывало временное притупление интереса к его поэзии, некоторые стихотворения не удовлетворяли, но основное чувство не изменялось.

НА БОЛЬШОМ УСПЕНСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

Помню, в доморaживающие последними морозами дни зимы 1924 года, с небольшим скупым солнцем на полу, вдруг в комнату вошел человек в зимнем пальто, вошел и бросился глазами в глаза. Никогда раньше не видав его, я узнал по прежде попадавшимся портретам Есенина.

* Сначала на Большом Успенском переулке, д. № 5, где помещался Литературно-художественный отдел Госиздата. Тут же в соседних комнатах была редакция журнала «Красная новь» и книгоиздательство «Круг». В мае — июне 1924 г.— Литературно-художественный отдел перебрался в Главное управление Госиздата, угол Рождественки и Софийки. Автор воспоминаний был техническим редактором Литературно-художественного отдела.

И мне сразу запомнились — мягкая, легкая и стремительная походка, не похожая ни на какую другую, своеобразный наклон головы вперед, будто она устала держаться прямо на белой и тонкой шее и чуть-чуть свисала к груди, белое негладкое лицо, синеющие небольшие глаза, слегка прищуренные, и улыбка, необычайно тонкая, почти неуловимая. Этот образ запечатлелся. За Есениным вошел поэт А. Ганин. Последнего я знал давно: мы земляки. Ганин меня и познакомил с Есениным. Бывший тут поэт Казин стал показывать Есенину какую-то рукопись. Ганин сел к моему столу и спросил о судьбе его стихотворений, находившихся в отделе на просмотре. Я не успел ответить, как Есенин повернулся от Казина:

— Надо, надо взять. У него хорошие стихи, очень хорошие стихи.

На лице у него была застенчивая усмешка. Стихи казались отделу плохими — и не были приняты. Такие разговоры повторялись в дальнейшем: Есенин часто хлопотал то об одном, то о другом поэте. ⟨...⟩

Самыми яркими впечатлениями от встречи с Есениным было чтение им стихов.

Он тогда ни на кого не глядел, глаза устремлялись куда-то в сторону, свисала к груди голова, тряслись волосы непокорными вьюнами, а губы уставлялись детским капризным топничком. И как только раздавались первые строчки, будто запевал чуть неслаженный музыкальный инструмент, понемногу звуки вырастали, исчезала начальная хрипотца — и строфа за строфой лились жарко, хмельно, страстно... Я слушал лучших наших артистов, исполнявших стихи Есенина, но, конечно, никто из них не передавал даже примерно той внутренней и музыкальной силы, какая была в чтении самого поэта. Никто не умел извлекать из его стихов нужные интонации, никому так не пела та подспудная непередаваемая музыка, какую создавал Есенин, читая свои произведения. Чтец это был изумительный. И когда он читал, сразу понималось, что чтение для него самого есть внутреннее, глубоко важное дело.

Забывая о присутствующих, будто в комнате оставался только он один и его звеневшие стихи, Есенин громко, и жарко, и горько кому-то говорил о своих тягостных переживаниях, грозил, убеждал, спорил... Расходясь и расходясь, он жестикулировал, сдвигал на лоб шапку, на лице выступал тончайший пот, губы быстро-быстро шевелились...

Первый раз я слушал его весной 1924 года. Он пришел под хмельком. Мы собирались уже уходить с работы. Он

принес стихотворение «Письмо матери», напечатанное в третьей книжке «Красная новь» за 1924 год. Кто-то попросил его прочитать. Держа в руке листок и не глядя в него, он начал читать. Лица его не было видно. Он стоял спиной к окну. Слушали Казин, Когоут, Казанский и я. Помню, как по спине пошла мелкая, холодная оторопь, когда я услышал:

Пишут мне: что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

Я искоса взглянул на него: у окна темнела чрезвычайно грустная и печальная фигура поэта. Есенин жалобно мотал головой:

Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Тут голос Есенина пресекся, он, было видно, трудно пошел дальше, захрипел... и еще раз запнулся на строчках:

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.

Дальше мои впечатления пропадают, потому что зажало мне крепко и жестоко горло, таясь и прячась, я плакал в глуби огромного нелепого кресла, на котором сидел в темнеющем простенке между окнами.

Он кончил. Помолчали. В дверях мигал светлыми, слегка желтевшими глазами Казанский, Когоут с неподвижным своим лицом тушевал карандашом на какой-то нужной казенной бумаге, Казин серьезно и мечтательно вслушивался в слова, подняв кверху свой нос щипком.

— Ну, каково? — быстро спросил Есенин.

У меня, может быть некстати, подвернулось одно слово:

— Вкусно!

Есенину оно понравилось, он несколько раз повторил его. Через год, когда мы познакомились поближе, он, рассказывая мне о новых своих вещах, всегда смеясь, шутил:

— Кажется, опять получилось вкусно.

Вскоре он читал другую свою вещь:

Годы молодые с забубенной славой,
Отравил я сам вас горькою отравой.

Остановились мы у стола машинистки «Красной нови». Были — Воронский, Казанский и я.

— Хочешь, прочитаю новое стихотворение? — обратился Есенин к Воронскому.

— Ну,— буркнул Воронский.

У Есенина была перевязана марлей рука около кисти. Он только что вышел из больницы. До того говорили: Есенин глубоко и опасно разрезал чем-то руку.

Мы затаились. Особенно мне запомнился Воронский. Он выглядывал из-под светлых стеклышек пенсне с какой-то удивленной тревогой, улыбка пришла сразу и не сходила с лица, он хорохорился, храбрился, скрывал свои чувства и переживания, но они были явны в той жадности внимания, с какой он смотрел на поэта. Каюсь, никогда не мог без спазм в горле слушать чтение Есенина. И на этот раз, отвернувшись к шкафу, хлебал я редкие слезы и протирал глаза.

— Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам...—

в величайшем возбуждении, тряся забинтованной рукой, кричал Есенин:

Бью, а кони, как метель, шерсть разносят в хлопья.
Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я.

Встал и вижу: что за черт — вместо бойкой тройки...
Забинтованный лежу на больничной койке.

И заместо лошадей по дороге тряской
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой.

Нет, это было совершенно необыкновенно, это потрясало, это выворачивалась раненая душа поэта!

Синие твои глаза в кабаках промокли.

Сорвался вдруг голос Есенина 〈...〉 он закашлялся и устало вытер платком лоб.

— Ты мне дай его,— взволнованно сказал Воронский.

Стихи были напечатаны рядом с «Письмом матери» в той же книжке «Красной нови».

В мае — июне месяце 1924 года Литературно-художественный отдел перевели с Большого Успенского переулка в Главное управление Госиздата на Рождественку.

Перед отъездом — в комнатах был уже разгром — зашел Есенин, трезвый, веселый, свежий. Он собирался уезжать из Москвы.

— До осени,— говорил он,— буду писать прозу. Напишу повесть, листов десять. Хочется. Я ведь писал прозой.

— Это «Яр»-то?

— Да. И еще. Воронскому привезу ее осенью. Для «Красной нови». И сюжет... и все у меня есть.

— Не забудь привезти стихов,— пошутил я.

— И стихи будут. Сначала в деревню к себе съезжу. У нас там охота хорошая. Денег надо свезти на сенокос матери. Потом поеду на юг.

В дальнейшем я встречал Есенина в Госиздате мельком в конце 1924 года и в первой половине 1925 года [1], обычно в крестьянском отделе или в коридорах, у кассы. При первой же встрече зимой я спросил:

— А как, Сергей Александрович, повесть?

Он заулыбался и, будто извиняясь, ответил:

— Ничего не вышло. Да и заболел я.

БЕРЕЗОВЫЙ СИТЕЦ

В июне 1925 года Есенин зачастил в Литературно-художественный отдел Госиздата. Кажется, он вернулся тогда из Баку. Пошли слухи о женитьбе его на С. А. Толстой. И неизменно при этом повторяли: на внучке Толстого. Наконец он мне и сам сказал:

— Евдокимыч *, я женюсь. Живу я у Сони. Это моя жена. Скоро будет свадьба. Всех своих ребят позову да несколько графьев. Народу будет человек семьдесят. А Катя — сестра — выходит замуж за поэта Наседкина.

Почему-то больше всех хлопотала и волновалась о свадьбе А. А. Берзинь, считавшаяся близким другом Есенина. Чаще всего с нею он и заходил ко мне в то время. Шли переговоры о новой книжке стихов Есенина под названием «Рябиновый костер». Литературно-художественный отдел заключил договор на эту книжку. Договор заключили спешно, чтобы иметь какой-либо повод выдать ему из кассы сто рублей денег. Впоследствии этот договор аннулировали, когда заключили договор на трехтомное «Собрание стихотворений» [2].

Наблюдая в этот месяц Есенина,— а приходил он неизменно трезвый, живой, в белом костюме (был он в нем обаятелен), приходил с невестой и три раза знакомил с ней,— я сохранил воспоминание о начале, казалось, глубокого и серьезного перелома в душе поэта. Мне дума-

* Так он называл меня почти с первой встречи.

лось, что женится он по-настоящему, перебесился — дальше может начаться крепкая и яркая жизнь. Скептики посмеивались:

— Очередная женитьба! Да здравствует следующая!

А он сам как-то говорил:

— С Соней у меня давно, давно... давнишний роман. Теперь только женимся.

Скептики оказались правы: в середине месяца он приходил два раза пьяный, растерзанный. Досужие языки шептали:

— Вчера сбежал от невесты! Свадьбы не будет!

И уже приходили колебания — делаемый им шаг становился случайным.

Незадолго перед этими днями Литературно-художественный отдел выпустил его книжку «Березовый ситец» [3]. Двенадцатого июня он пришел в отдел за авторскими экземплярами в сопровождении А. А. Берзинь, пошатываясь, ухмыляясь, тускло глядя. Меня зачем-то вызвали в другой отдел. Когда через некоторое время я вернулся, Есенина уже не было, но мне кто-то передал от него книжку с надписью красными чернилами:

«Сердце вином не вымочу,
Милому Евдокимочу,
Пока я тих,
Эта книга и стих.

С. Есенин

1925, 12/VI» [4].

Сердце было вымочено через полгода.

«СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ» ЕСЕНИНА

В середине июня 1925 года в Литературно-художественном отделе Госиздата возникла мысль об издании «Собрания стихотворений» Сергея Есенина. Неоднократно до того мне приходилось беседовать с поэтом об издании ⟨...⟩. Однажды он пришел довольно рано.

— Евдокимыч, я насчет моего «Собрания». Мы с тобой говорили в прошлый раз. У меня, понимаешь, свадьба, я женюсь. Вместе со мной в один день сестра выходит замуж за Наседкина. Нельзя ли мне сразу получить тысячи две денег. Только надо скоро.

Я его осведомил, что едва ли можно будет сделать так скоро, как он предполагает: договор на большую сумму,

необходимо будет получить согласие высших органов Госиздата и, конечно, поставить дело на «формальные» колеса, подать заявление, сговориться об условиях и т. д.

Дня через два он появился с Наседкиным и под мою диктовку наспех написал следующее заявление:

«В Литературный отдел Госиздата

Сергея Есенина.

Предлагаю литерат. отд. издать собрание моих стихотворений в количестве 10 000 строк, по рублю за строку, с единовременной выдачей в 2000 рублей и остальные с ежемесячной выдачей по 1000 руб., начиная с 1 августа 1925 г. по 1 апреля 1926 г. сроком издания на 2 года, тиражом не более 10 000 т. Мое собрание стихотворений и поэм никогда не издавалось. *Сергей Есенин.* 17/VI-25».

Все условия его были приняты, кроме одного: единовременной выдачи двух тысяч рублей. Летние месяцы — время обычного затишья в книгопродавческой деятельности — были трудными, и Госиздат вынужден был сводить свои расходы до минимума. Через неделю, 30 июня, был подписан договор: поэт обеспечивал свою жизнь на много месяцев вперед. С июля началась выдача денег, по тысяче рублей ежемесячно. Факт заключения договора с Есениным по высшей ставке — рубль за строку, никому из других поэтов не назначаемой, свидетельствовал о той высокой оценке есенинского творчества, какая была в Государственном издательстве. Кроме того, Госиздат договорился с поэтом о печатании всех его вновь написанных стихотворений отдельными книжками после предварительного их распубликования Есениным в периодической печати. Как общее правило, стихи на рынке идут плохо — эпоха наша полуравнодушна к стихам,— и даже стихи Есенина, например «Березовый ситец», шли медленно, тем не менее Госиздат почел своей обязанностью издать его «Собрание стихотворений».

Надо было видеть ту редкую радость, которая была в синих глазах Есенина, когда дело закончилось во всех инстанциях.

— Евдокимыч,— говорил он,— я написал тысяч пятнадцать строк. Я, понимаешь, отберу самое лучшее, тысяч десять. Этого довольно: будет три тома. Понимаешь, первое мое «Собрание». Надо издать только хорошо. Я теперь примусь за работу.

Обращение Есенина ко мне объяснялось тем, что главным образом мне пришлось иметь с ним дело в оформлении разных деталей: заведующим отделом Н. И. Николаевым мне это было поручено особо.

Уже вскоре Есенин принес первую партию стихотворений, затем другую. Рукопись была в хаотическом состоянии. Я засмеялся, засмеялся и он.

— Это ничего,— смеясь, говорил Есенин,— я, понимаешь, как-нибудь зайду, мы с тобой вместе и разберемся.

У него не было никакого плана издания, рукопись была неудобна для набора, в разных местах попадались одни и те же стихотворения, поэмы мешались с ранними стихотворениями и наоборот, истрепанные лоскутки старых газет лежали рядом с переписанными от руки стихотворениями, конечно, без знаков препинания,— словом, смешение почерков, разных машинок, газет, вырезок из журналов, полная неразбериха...

Отложили до более благоприятного случая. А летом внезапно, не сказавшись, Есенин исчез — в Баку. Прождали месяца два. В августе мне поручили написать ему письмо. Ухмыляясь и стремясь быть строгим и официальным, я послал ему письмо, в котором напомнил о невозможности производить набор по его оригиналам, об отсутствии всякого плана издания, и просил подумать его, в каком виде он хочет издать «Собрание стихотворений» [5]. Тут же указал несколько возможных видов издания: хронологический, по циклам, по родам и видам поэзии. Ответ получил по телеграфу: «Приезжаю» (31/VIII). Скоро он появился в Москве. После жена Софья Андреевна рассказывала, что письмо его встревожило и явилось поводом уехать из наскучившего ему Баку, отменив назначенную поездку в Тифлис и Абас-Туман.

По возвращении он несколько раз был вместе с женой в отделе, и мы втроем, усевшись тут же за стол, работали над распланированием стихотворений.

— Я, понимаешь, Евдокимыч, хочу так,— заговорил он, появившись в первый же раз после приезда,— я обдумал... В первом томе — лирика, во втором — мелкие поэмы, в третьем — крупные. А? Так будет неплохо. Тебе нравится?

— Как ты хочешь,— отвечал я,— это твое дело. Мы тебе не будем подсказывать никакого другого способа, лишь бы можно было скорее приступить к работе.

Остановились на распределении по родам и видам поэзии. Есенин унес из отдела свою непричесанную груду

стихотворений, еще более растрепавшуюся, так как за время его отсутствия она неоднократно была читаема в отделе разными лицами.

Недели через полторы стихи вернулись в более налаженном виде, но — увы — и в таком обличье посылать их в типографию не представлялось возможным: рукопись была не пронумерована, без оглавления, на одном листе соединялось по несколько стихотворений без начала и конца, кое-где было по несколько дат, зачеркнутых и перечеркнутых и опять восстановленных, не соблюдена строфичность, тексты не сверены после машинистки и т. д.

Нетрудно было рассердиться на другого, но на этого обаятельного человека, серьезно и детски синевшего глазами над тобой, было свыше человеческих сил рассердиться.

— Теперь, кажется, совсем хорошо,— торопливо суетился он у стола,— тут вот — лирика, тут — поэмы. Я еще подбавлю. Соня переписывает.

Тогда и условились еще раз-два просмотреть рукопись вместе со мной в отделе...

Поэт ⟨...⟩ мельком заходил ко мне, раздраженно бормотал о каких-то и от кого-то обидах, собирался куда-то уезжать, а потом внезапно поднимался, сулил зайти — и не заходил. При таком его состоянии работа над изданием была немыслима.

Вдруг как-то позвонила жена по телефону: и на второй, на третий день он пришел вместе с ней.

Мы уселись за стол. Я выложил стихотворения. Есенин исхудал, побледнел, руки у него тряслись, на лице его, словно от непосильной работы, была глубочайшая усталость, он капризничал, покрикивал на жену, был груб с нею... И тотчас, наклоняясь к ней, с трогательной лаской спрашивал:

— Ты как думаешь, Соня, это стихотворение сюда лучше?

А потом сразу серчал:

— Что же ты переписала? Где же то-то, понимаешь, недавно-то я написал? Ах, ты!..

И так мешались грубость и ласка все время.

В отделе было душно и жарко. На лбу у него был пот, влажные руки он вытирал о пиджак.

— Сережа, ты разденься,— подсказал я,— тебе будет удобнее.

А в душе думалось: вот он выйдет сейчас потный на улицу, простынет — и чахотка доделает свое дело. В эти осенние месяцы я много раз слышал рассказы о чахотке

у поэта, об этом даже писал какой-то неловкий репортер одной из московских газет, сообщая о своем свидании в Италии с Максимом Горьким, который будто бы сказал:

— У Есенина горловая чахотка. Тут уж ничего сделать нельзя.

Общее настроение отражалось и на мне.

Он скинул пальто и кашне и, будто всегда делал так, подал их жене, а та, словно всегда раздевала его, взяла и спокойно положила на соседний свободный стол. Не скрою, я испытывал неловкость.

Есенин торопливо, умело и знакомо шабаршился в рукописи, видимо, помня каждое стихотворение, где оно лежало, и складывал их грудкой. Листки расползались, он сердился, хватал их... Сделали первый том. Начали определять даты написания вещей. Тут между супругами возник разлад. И разлад этот происходил по ряду стихотворений. Есенин останавливал глаза на переписанном Софьей Андреевной произведении и ворчал:

— Соня, почему ты тут написала четырнадцатый год, а надо тринадцатый?

— Ты так сказал.

— Ах, ты все перепутала! А вот тут надо десятый. Это одно из моих ранних... Нет! Не-е-т! — Есенин задумывался.— Нет, ты права! Да, да, тут правильно.

Но в общем у меня получилось совершенно определенное впечатление, что поэт сам сомневался во многих датах. Зачеркнули ряд совершенно сомнительных. Долго обсуждали — оставлять даты или отказаться от них вовсе. Не остановились ни на чем. Проработали часа полтора-два. И сделали два тома. Есенин перескакивал от одного тома к другому, переделывал по нескольку раз, быстро вытаскивая листки из грудки и перекладывая их, снова нумеровали, снова ставили даты, писали шмуцтитула и уничтожали их. Я записывал в каждом томе, чего недоставало и что хотел поэт донести потом: он диктовал. Остановились над поэмой «Страна негодяев». Есенин перелистал ее, быстро зачеркнул заглавие и красным карандашом написал: «Номах».

— Это что? — спросил я.

— Понимаешь, надо переменить заглавие. Номах это Махно. И Чекистов, ты говорил, я согласен с тобой, выдуманная фамилия. Я переменю. И вообще я в корректуре кое-что исправлю.

— А мне жалко названия «Страна негодяев»,— сказал я.— «Номах» очень искусственно.

Впоследствии он опять восстановил название «Страна негодяев».

Собирались и еще и еше. Есенин несколько раз приносил новые стихотворения, но уже небольшими частями, проставлял некоторые даты, а главную, окончательную проверку по рукописям откладывал до корректуры.

И не дождался, не захотел корректировать!

Планирующие органы Госиздата наметили сдачу в производство «Собрания стихотворений» в ноябре с тем, чтобы начиная с января выпускать его по одному тому в месяц. В конце ноября все три тома были сданы в набор. В каждое свое посещение Есенин неизменно начинал разговор о своих стихах, спрашивал о корректурах, нетерпеливо ожидал их. Портрет, напечатанный в первом томе, он принес сам и хотел непременно поместить его. Выбрал он и формат книжек и не хотел никакого иного.

Последний раз он принес большое стихотворение «Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве». Был он под сильным хмельком. Мы все скопились в одно место. Есенин громко и жарко читал, размахивая листками.

— Это мое первое детское стихотворение,— кончив, сказал он [6].

Все улыбались и хвалили стихи. А когда он ушел, многие сразу запомнили и твердили отдельные строфы. Первое «Собрание стихотворений» Есенина, таким образом, сделано им самим. От временного невнимания к нему, вызванного больным состоянием поэта, он постепенно перешел буквально к страстному интересу, постоянно говорил о нем и даже мечтал с трепетом времен «Радуницы» — первой книги поэта.

— Понимаешь, Евдокимыч,— как-то тревожно похрипывал он,— будет три толстых книжки. Ты только каждое стихотворение пусти с новой страницы, как вот Демьяна Бедного печатаете. Не люблю я, когда стихи печатают, как прозу.

И он быстро перебирал пальцами, будто листал будущие тома своих стихотворений.

НА ДЕРЕВЯННОМ ДИВАНЧИКЕ

В августе месяце Литературно-художественный отдел перевели по тому же коридору во втором этаже в самый конец. В двух маленьких комнатах, загроможденных шкафами и столами, с дурным архаическим отоплением (уста-

ревшая Амосовская система), с переполнением комнат служебным персоналом и приходящей публикой, было тяжело и душно. И завели: не курить в комнатах. В коридоре у дверей поставили маленький, для троих, деревянный диванчик. На этом диванчике, пожалуй, редкий из современных писателей не провел несколько минут своей жизни.

И почти каждое посещение Есенина тоже начиналось с этого диванчика. Он приходил, закуривал — и выходили в коридор. Всю осень он бывал довольно часто. И как-то случалось так, что чаще всего я встречал его на диванчике, замечая издали в коридоре знакомую фигуру. Вид его был неизбежно одинаков: расстегнутое пальто, шапка или шляпа, высоко сдвинутые кверху, кашне, наклон головы и плеч вперед, размахивающие руки... Какое-то глубочайшее удальство было в нем, совершенно естественное, милое, влекущее. Никакой позы и позировки. И еще издали рассиневались чудесные глаза на белом лице, будто слегка посеревший снег с шероховатыми весенними выбоинками от дождя. Связных воспоминаний я не сохранил, потому что не записывал, не было в этом нужды, казалось, и без записи все запомнится надолго. И все не запомнилось: память оказалась коварна, кое-что она упорно подсказывает, но без должной убедительности. И то, в чем я не уверен, я не пишу. Некоторые моменты запомнились настолько ярко, будто они были сейчас, и я слышу его веселый и негодующий, и капризный, и отчаянный голос. Эти чисто фрагментарные, мозаичные моменты были таковы.

Как-то в октябре он горько и жалобно кричал на диванчике:

— Евдокимыч, я не хочу за границу! Меня хотят отправить лечиться к немцам! А мне противно! Я не хочу! На кой черт! Ну их немцев! Тьфу! Скучно там, скучно! Был я за границей — тошнит меня от заграницы! Я не могу без России! Я сдохну там! Я буду волноваться! Мне надо в деревню, в Рязанскую губернию, под Москву куда-нибудь, в санаторий. Ну, их к ...! Этот немецкий порядок аккуратвокурат мне противен!

— А ты не езди,— отвечал я, хотя в душе думал противоположное.

— Не поеду! — решительно махнул рукой пьяный поэт.— Я давно решил.

На глазах у него были слезы.

— Меня уговаривают все — и Берзина и Воронский. Они не понимают — мне будет там хуже. Я околею там по России. Ах, Евдокимыч, если бы ты знал, как я люблю

Россию! Был я в Америке, в Париже, в Италии — скука, скука, скука! Я люблю Москву. Москва очень хороша ночью, когда луна... Днем не люблю Москву. В деревню я хочу на месяц, на два, на три! Вот тут мы с Воронским поедем дня на четыре в одно место... Это хорошо! За границей мне ничего не написать, ни одной строчки!

В то время, как я слышал, родственники проектировали отправить его в Германию в какой-то особенно оборудованный санаторий. Но он, кажется, действительно отказался ехать.

В другой раз он приходил трезвый и принес несколько стихотворений в первый том «Собрания». Разговор коснулся литературы. Улыбаясь и лучась глазами, Есенин говорил:

— Люблю Гоголя и Пушкина больше всего. Нам бы так писать!

Кто-то, не помню, из бывших при этом писателей сказал:

— Ты в последнее время совсем пишешь под Пушкина.

Есенин не ответил. А кто-то другой добавил:

— Пушкинские темы, рифмы, а выходит по-своему, по-есенински... Выходит здорово, захватывает прозрачностью и свежестью!

Тогда же разговор перекинулся на «попутчиков» и «напостовцев». Писатели тут были одни «попутчики». Есенин внимательно слушал разговор, принявший довольно жестокий характер в оценках отдельных писателей, он больше молчал, будто высматривая что-то за льющимся потоком зряшных фраз. Только один раз он невесело, морщась, сказал:

— Ну-у их! Лелевич писал обо мне, а мне смешно! [7]

Несколько раз он на этом же диванчике рассказывал мне о младшей своей сестре Шуре, всегда с неизменной любовью и словно бы с каким-то удивлением. В разное время он меня раз пять знакомил с ней, держа у ней на плече руку и заглядывая сверху в глаза. Смеялась молодая девушка, смеялся я. 〈...〉

НАКАНУНЕ

Есенин редко приходил один, а всякий раз с новыми людьми. За два года я перезнакомился через него по крайней мере с двадцатью — тридцатью человеками, которых потом ни разу не встречал. Все они были на «ты» с ним, чаще всего производили неприятное впечатление и вызыва-

ли к себе какое-то недоверие. По большей части эти люди молчали, глаза у них заискивающе бегали, или эти люди были чванливы, грубо подчеркивая свою близость к знаменитому поэту. Чрезвычайно редко приходили с ним люди, которые могли держаться естественно. ⟨...⟩

Около половины декабря Есенин пришел в сопровождении нового незнакомого человека. Я знал, что он находится в психиатрической клинике, куда, как рассказывала тогда же жена Софья Андреевна, он захотел сам. Должно быть, видя мое удивление на лице, Есенин с обычной своей милейшей улыбкой сказал:

— А я из клиники вышел на несколько часов, потом опять обратно. Вот и доктор со мной. Мне, понимаешь, Евдокимыч, там нравится. Я пришел поговорить с тобой об одном деле.

Встретились мы на знакомом диванчике. Я не понял, какой его доктор сопровождает, и, по правде сказать, принял это как шутку. Доктор остался сидеть на диванчике, а мы вошли в комнату и сели к моему столу. Как будто бы Есенин был немного пьян. Он наклонился ко мне и почему-то, мне показалось, стесняясь, сказал:

— Понимаешь, Евдокимыч, я не хочу никому давать моих денег — ни жене, ни сестре, никому...

— Ну, и не давай,— говорю я.— Что тебя это беспокоит?

Обычно ежемесячные выплаты по тысяче рублей приходилось выдавать по доверенностям Есенина то жене, то двоюродному брату Илье Есенину. До женитьбы поэта на С. А. Толстой деньги получала сестра его Е. А. Есенина. В целях сохранения денег, когда приходил за ними поэт в нетрезвом состоянии, мы считали своим долгом денег ему не выдавать. Под благовидным предлогом я быстро сходил в нижний этаж, в финансовый сектор, предупреждал наших товарищей по работе, в кассе деньги Есенину не выдавать, или брал из кассы уже выписанный ордер. В случаях настойчивости поэта затягивали выдачу до 3 часов дня, затем выдавали ему чек в банк, когда там в этот день уже прекращались операции. В последнем случае была надежда, что поэт наутро протрезвится и деньги не пойдут прахом. Но еще в начале осени я договорился с поэтом, чтобы он сам вообще не ходил за деньгами, не отвлекался от работы... Есенин, смеясь, согласился и поручил получать деньги брату Илье, который и ходил за ними с тех пор. Иногда этот порядок нарушался: приходили с его дове-

ренностями жена, знакомые. Почти всегда эти выдачи выражались в нескольких десятках рублей, а по растерянному виду получателей казалось, что где-то за стенами бушевал поэт и требовал денег или занемогал, и деньги были нужны на докторов и на лекарства.

— Вот, Евдокимыч,— продолжал Есенин,— кто бы ни пришел с моей запиской, ты не давай. Я навыдавал их, не знаю и кому. Я к тебе скоро зайду. Мы это оформим.

В это время доктор заглянул в дверь. Есенин заторопился и, приветливо улыбаясь ему, сказал:

— Я сейчас, сейчас!

Потом повернулся ко мне и с серьезным видом сказал:

— Мне долго нельзя. Мне пора домой. Я на три часа вышел.

Провожая его до дверей, я спросил:

— Ты долго там думаешь отдохнуть? Смотри, как ты уже окреп! Посвежел!

— Не-е-т,— вдруг раздраженно бросил Есенин,— мне надоело, над-д-д-оело! Я скоро совсем выйду!

И остановился в раскрытых дверях:

— Ты получил от Кати письмо к тебе? Я послал из клиники. Там и стихи в «Собрание».

— Нет.

— Она принесет тебе... Я ей скажу. Я ей скажу. Когда мне корректуру дашь?

— Скоро. Все тома уже сданы в набор.

Есенин, улыбаясь, толкнул шире дверь — и вышел.

А 21 декабря он пришел снова, совершенно пьяный, злой, крикливый, и опять заговорил о том же.

Я предложил ему подать заявление, и он под мою диктовку, клюя носом, трудно написал:

«Лит. отдел Госиздата.

Прошу гонорар за собрание моих стих⟨отворений⟩, начиная с декабря 25 г., выдавать мне лично. Настоящим все доверенности, выданные мною разным лицам до 1-го (первого) декабря, считать недействительными.

С. Есенин. 19—21/XII—25 г.»

Я не мог удержаться от смеха, когда Есенин, написав цифру 1, вдруг остановился, придвинулся ближе к бумаге и тщательно вписал в скобках (первого). Он тоже засмеялся, вертя в руках ручку, не державшуюся в нужном положении.

ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ

В десять часов утра 23 декабря я пришел на службу. Секретарь отдела сказал:

— Здесь с девяти часов Есенин. Пьяный. Он уезжает в Ленинград. Пришел за деньгами. Дожидался вас.

Столь необычно раннее появление Есенина, он всегда появлялся во второй половине дня, уже встревоживало. ⟨...⟩

Не скрою: мне было нехорошо. Я не любил визитов Есенина в таком состоянии, тяготился ими, всегда стремился выпроваживать его из отдела. Когда он умер, я корил себя, мне было жалко, что я это делал, но, к несчастью, это было непоправимо.

В тревоге и ожидании я сел на диванчик. Скоро в глубине длинного госиздатского коридора показался Есенин. Пальто было нараспашку, бобровая шапка высоко сдвинута на лоб, на шее густой черного шелка шарф с красными маками на концах, веселые глаза, улыбка, качающаяся грациозная походка... Он был полупьян. Поздоровались. И сразу Есенин, садясь рядом и закуривая, заговорил:

— Евдокимыч, я вышел из клиники. Еду в Ленинград. Совсем, совсем еду туда. Надоело мне тут. Мешают мне. Я развелся с Соней... с Софьей Андреевной. Поздно, поздно, Евдокимыч! Надо было раньше. А Катька вышла замуж за Наседкина. Ты как смотришь на это?

И Есенин близко наклонился ко мне.

— Что же,— ответил я,— это твое личное дело. Тебе лучше знать. Я не знаю...

— Да, да,— схватил он меня за руку.— Это мое дело. К черту! И лечиться я не хочу! Они меня там лечат, а мне наплевать, наплевать! Скучно! Скучно мне, Евдокимыч!

Веселое, приподнятое и бесшабашное настроение прошло у Есенина. Не уверен твердо, боюсь, что последующие события обострили во мне это впечатление, но мне кажется, он тогда печально и безнадежно как-то вгляделся в меня. Я отнесся легко к этой фразе, приписывая ее случайному душевному состоянию, и даже отшутился.

— Не тебе одному скучно. Всем скучно.

— Скучно, скучно мне! — продолжал восклицать Есенин, недовольно мотая головой и глядя в пол.— Да, да,— вдруг опять он заговорил,— ты получил письмо?

— Нет.

— Ах! Я же ей, Катьке, дал снести: там стихи в «Собрание». Что же она не несет! Я ей скажу... Она принесет. Евдокимыч, я еду в Ленинград: мне надо денег.

— Деньги выписаны, Сережа,— сказал я.

Есенин лукаво и недоверчиво улыбнулся, чуточку выждал, хитро взглянул на меня и растерянно, вполголоса, выговорил:

— Я спрашивал. В кассе говорят — нет ордера. Ты забыл спустить в кассу?

И опять улыбка, ожидающая и недоверчивая. Я тоже усмехнулся на его недоверие 〈...〉.

— Видно, много тебя, Сережа, обманывали,— серьезно говорю я,— и ты перестал верить, когда тебя не обманывают?

— Нет, нет, я тебе верю,— заторопился с ответом Есенин.— Значит... мне выдадут?

— Конечно. Но ты очень рано пришел. Деньги же выдают в два часа дня. Ты бы куда-нибудь сходил.

Поэт задумался и спохватился, сдвигая на глаза шапку:

— Верно. Мне надо сходить к Воронскому проститься. Люблю Воронского. И он меня любит. Я пойду в «Красную новь». Там мне тоже надо получить деньги. Раньше, понимаешь, Евдокимыч, у тебя нельзя получить?

— Я с удовольствием бы, Сережа, но это от меня не зависит. Раз денег нет в кассе, что же делать!

— Ну, хорошо. Я подожду.

Была в Есенине редкая в литературных кругах уступчивость в денежных делах. Современный писатель чаще всего неотвязно настойчив в получении гонорара, криклив, жалок. Тяжелое материальное положение извиняет эту писательскую черту, но в Есенине эта покорливость обстоятельствам была обаятельной. Он соглашался ждать, а те, которые ему отказали, вдруг сами, по своему почину, начинали волноваться, устраивать, бегать, просить, убеждать, даже лгать, лишь бы выдать ему деньги. Думаю, что черта эта у Есенина была органической, а не правильным психологическим расчетом. Поступил так и я на этот раз. Попытка оказалась неудачной: в кассе были гроши.

Поэт подождал меня на диванчике и нетерпеливо спросил:

— Ну, что, можно?

Я развел руками и сел рядом.

— Ты мне корректуры вышли в Ленинград,— погрустнев, сказал Есенин.— Ты говорил, стихи в наборе?

— Да. Сдали в ноябре. Уже идет набор: не сегодня завтра будут гранки. А куда тебе выслать? Ты где там остановишься?

Есенин немного подумал.

— Я тебе напишу. Как устроюсь, так и напишу. Я тебе буду писать часто. Да, я тебе вышлю точный адрес. Остановлюсь я... у Сейфуллиной... у Правдухина... у Клюева. Люблю Клюева. У меня там много народу. Ты мне поскорее высылай корректуру.

— Как только придут из типографии, в тот же день и направлю тебе. Ты внимательно погляди на даты. Помнишь, ты в некоторых сомневался?

— Я... я все сделаю. Вот Катька не принесла тебе письма, я там послал семь новых стихотворений: «Стихи о которой». Не поздно их будет в первый том, в самый конец? *

— Нет, но надо скорее. Пока гранки, вставить можно. Ты будешь читать корректуру, вместе с ней и вышли эти стихи.

— Хорошо. Я пришлю. Стихи, кажется, неплохие. Я в клинике написал.

— А как твоя поэма «Пармен Крямин»?

При распределении стихотворений по томам для издания Есенин обещал доставить поэму «Пармен Крямин», в которой, по его тогдашним предположениям, должно было быть 500 строк. Я о ней и напомнил теперь.

— Я ее вышлю, только дам другое заглавие. Пармен, пожалуй, нехорошо. В Ленинграде я допишу ее. Она не готова. Тут мне мешают. Напишу четыре строчки, кто-нибудь придет... В Ленинград я совсем, навсегда...

— Даты не позабудь.

---

* Письмо было доставлено мне Е. А. Есениной только в конце апреля 1926 года. «Стихи о которой» переданы не были, почему и не вошли в первый том «Собрания», как того хотел поэт. Написано оно на листке из блокнота карандашом. Если не ошибаюсь, это, кажется, последнее предсмертное письмо, написанное С. А. Есениным. Несмотря на некоторую шутливую интимность письма, считаю необходимым привести его полностью.

«Милый Евдокимыч! Привет тебе и тысячу пожеланий за все твои благодеяния ко мне. Дорогой мой! Так как жизнь моя немного перестроилась, то я прошу тебя, пожалуйста, больше никому денег моих не выдавать, ни Илье, ни Соне, кроме моей сестры Екатерины. Было бы очень хорошо, если б ты устроил эту тысячу между 7—10 дек., как ты говорил. Живу ничего. Лечусь вовсю. Скучно только дьявольски; но терплю, потому что чувствую, что лечиться надо, иначе мне не спеть, как в твоем «Сиверко», «пил бы да ел бы, спал бы да гулял бы». На днях пришлю тебе лирику «Стихи о которой». Если не лень, черкни пару слов с Екатериной. Я ведь теперь не знаю, чем пахнет жизнь. Жму руку.

Твой *С. Есенин.* 6/XII 1925 г.»

— Нет, нет! И даты — все проставлю. Раз «Собрание», надо по-настоящему сделать. Я помню все стихи. Мне надо остаться одному. Я припомню. А денег ты никому, кроме меня, не давай...

— Будем высылать тебе в Ленинград.

— Надо бы биографию в первый том,— обеспокоенно сказал Есенин.— Выкинь ты к черту, что я там сам написал! Ложь все, ложь все! Если можно, выкинь! Ты скажи заведующему Николаеву. Напиши ты, Евдокимыч, мою биографию!

— Как же написать — ведь я совершенно не знаю, как ты жил. Ты теперь уезжаешь в Ленинград. Тут надо бы о многом расспросить тебя, а где же теперь?

Есенин сумрачно задумался — и вдруг, оживляясь и злобясь на что-то, закричал, мне казалось, с похвальбой и презрением:

— Обо мне напишут, напи-и-шут! Много напи-ишут! А мою автобиографию к черту! Я не хочу! Ложь, ложь там все! Любил, целовал, пьянствовал... не то... не то... не то!.. Скучно мне, Евдокимыч, скучно!

— Тебя, кажется, хорошо знает Касаткин? — спросил я.— Вот бы кому написать.

Настроение Есенина было чрезвычайно неустойчивое: от мрачности он быстро переходил в самое благодушное состояние.

— Да, Касаткин,— весь заулыбался он нежнейшим вниманием к этому имени.— Да, да. Люблю его. Ты не знаешь, какой это парень... дядя Ваня... Мы с ним давно-о... давно-о! Давнишний мой друг! Черт с ней, с биографией. Обо мне напишут, напи-и-шут!

В это время я обратил внимание на его полупьяное, но очень свежее лицо и, помню, ясно подумал о том, что он поправился в клинике.

Есенин заметил мой взгляд и, улыбаясь, сказал:

— Тебе нравится мой шарф?

Он подкинул его на ладони, оттянул вперед и еще раз подкинул.

— Да,— говорю,— очень красивый у тебя шарф!

Действительно, шарф очень шел к нему, гармонично как-то доканчивая белое и бледное лицо поэта. Шарф кидался в глаза тончайшим соединением черного тона шелка с красными маками, спрятавшимися в складках, будто выставлявшими отдельные лепестки на волнистой линии концов. Я потрогал его рукой.

Продолжая радостно улыбаться, Есенин заметил:

— Это подарок Изадоры... Дункан. Она мне подарила.

Поэт скосил на меня глаза.

— Ты знаешь ее?

— Как же. Лет двенадцать назад я бывал на ее выступлениях здесь, в Москве.

— Эх, как эта старуха любила меня! — горько сказал Есенин.— Она мне и подарила шарф. Я вот ей напишу... позову... и она прискачет ко мне откуда угодно...

Он опять погладил шарф несколько раз.

— Я поеду совсем, совсем, навсегда в Ленинград,— твердил он дальше,— буду писать. Я еще напишу, напишу! Есть дураки... говорят... кончился Есенин! А я напишу... напишу-у! Лечить меня, кормить... и так далее! К черту!

— А ты гляди, Сережа, как набрался сил,— взглянув на него, сказал я,— клиника здорово тебе помогла. Посидел бы еще с месяц, окреп бы совсем для работы. Лицо у тебя стало свежее, спокойное.

Помню, он внимательно всмотрелся в меня и, будто завидуя и будто спрашивая у меня, сказал:

— Мне бы твое здоровье, Евдокимыч!

Я засмеялся.

— Это видимость одна, Сережа. У меня целая коллекция болезней. Вид — обманчив.

— Ну да! — недоверчиво протянул Есенин.— А, может быть! Я ничего не говорю! Может быть!

В это время вышел из отдела Тарасов-Родионов. Меня кто-то вызвал по телефону. Я ушел в комнату. Пока я разговаривал по телефону, я слышал, Есенин что-то кричал с Тарасовым-Родионовым. Потом они ушли. Я сел за свою обычную работу.

В течение дня Есенин несколько раз заглядывал в комнату, повторял о своем ленинградском адресе и уходил. Потом около часу дня пришел в отдел двоюродный его брат Илья и сказал:

— Денег не выдают.

Я спустился по лестнице в кассу. В прихожей финсектора поэт сидел на лавочке у окна среди шоферов и ожидавшей денег публики. Есенин пьяно моргал и что-то шептал губами. Его разглядывали. Он поднял глаза, заметил меня, замахал рукой, трудно поднялся, и мы встретились.

— Евдокимыч, денег не привезли! Я с утра сижу. Мне надоело!.. Понимаешь, надо-о-е-л-ло!

В голосе его было раздражение. Сделать, однако, я ничего не мог: банк обещал выдать деньги только около двух-трех часов дня.

Изредка я наведывался в кассу: Есенин неотлучно сидел на лавочке. Наконец в четвертом часу дня деньги привезли, но в незначительном количестве, выдавали по мелочам. Единственный раз мне почему-то хотелось выдать Есенину деньги, а не чек, но пришлось выписывать опять чек. У кассы стояла очередь. Я спустился к кассе, отыскивая Есенина. Он держал в руках чек, застегивался и серьезно говорил:

— Евдокимыч, денег нет. Вот дали бумажку. Ну, ладно! Билет у меня есть. Я уеду. Завтра Илья получит в банке и переведет мне. Спасибо. Я обойдусь.

Около него стоял застенчивый огромный Илья, тревожно не сводивший с него глаз. Этот замечательный парень, наблюдал я всегда, относился к поэту с редчайшей привязанностью и любовью. Достаточно было мельком поглядеть на его большие глаза, грустно устремленные на поэта, чтобы это почувствовать. И я всегда это чувствовал. Он любил его крепко. ⟨...⟩

В очереди у кассы в толпе были писатели: Пильняк, Герасимов, Кириллов.

— Ну, прощайте! — пошатался Есенин с серьезным и сосредоточенным видом.

Он обнял попеременно Пильняка, Герасимова, меня, расцеловались... Я шутливо толкнул его в спину «для пути».

— Жди письма,— сказал, уходя, Есенин и, свесив голову на грудь, заковылял к выходу пьяными нетвердыми шагами.

Было грустно, не по себе, на душе было нехорошо. Конечно, никто не предполагал, что уже никогда не услышит этого с хрипотцой голоса, не увидит пошатывающейся дорогой фигуры, носившей в себе редчайший дар и необъяснимое личное очарование. ⟨...⟩

Письмо из Ленинграда не успело прийти: точный адрес был ненужен.

Январь — февраль 1926 г.

В. Ф. НАСЕДКИН

ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЕСЕНИНА

Конец февраля.

Захожу в Брюсовский к Г. А. Бениславской. В комнате передвигают что-то. Здесь же сестры Есенина — Катя и Шура. На угловом столике последний портрет Есенина (с П. И. Чагиным) и свежая, развернутая телеграмма.

— Завтра приедет Сергей,— говорит Катя в ответ на мой любопытный взор, обращенный на телеграмму [1].

Эта весть обрадовала и напугала меня. С той поры, как я приобрел тонкую тетрадочную книжку стихов «Исповедь хулигана», я полюбил Есенина как величайшего лирика наших дней. Новая встреча с ним, после годичной разлуки, мне казалась счастьем. Но почти этого же я испугался. Мне тогда часто думалось, что рядом с Есениным все поэты «крестьянствующего» толка, значит, и я, не имели никакого права на литературное существование.

На другой день Катя, Галя и я отправляемся на Курский вокзал встречать Есенина. Подходит поезд. Вдруг, точно откуда-то разбежавшись, на ходу поезда, в летнем пальто, легко спрыгивает Есенин.

Через полминуты из того же вагона, откуда спрыгнул Есенин, шел его бакинский товарищ (брат П. И. Чагина) с чемоданами в руках. Выходим на вокзальную площадь. Вечереет, падает теплый, голубоватый снежок.

После утреннего чая, на следующий день, Есенин достает из чемоданов подарки, рукописи, портреты.

— А вот мои дети...— показывает он мне фотографическую карточку.

На фотографии девочка и мальчик. Он сам смотрит на них и словно чему-то удивляется. Ему двадцать девять лет, он сам еще походит на юношу. Выглядел он очень хорошо, хвалился, что Кавказ исправил его.

Из Баку он привез целый ворох новых произведений: поэму «Анна Снегина», «Мой путь», «Персидские мотивы» и несколько других стихотворений.

«Анну Снегину» набело он переписывал уже здесь, в Москве, целыми часами просиживая над ее окончательной отделкой. В такие часы он оставался один, и телефон выключался.

Друзьям он охотнее всего читал тогда эту поэму. Поэма готова. Я предложил ему прочитать ее в «Перевале» [2]. Есенин согласился. В 1925 г. это было его первое публичное выступление в Москве.

Поместительная комната Союза писателей на третьем этаже была набита битком. Кроме перевальцев «на Есенина» зашло много «мапповцев», «кузнецов» и других. Но случилось так, что прекрасная поэма не имела большого успеха. Кто-то предложил обсудить.

— Нет, товарищи, у меня нет времени слушать ваше обсуждение. Вам меня учить нечему, все вы учитесь у меня,— сказал Есенин.

Потом читал «Персидские мотивы». Эти стихи произвели огромное впечатление. Есенин снова владел всей аудиторией.

На три дня из деревни к Есенину приехала мать. Есенин весел, все время шутит — за столом сестры, мать. Семья, как хорошо жить семьей!

Круг знакомых, в котором Есенин вращался в то время, небольшой, преимущественно писательский.

На вечеринке, устроенной в день рождения Гали, в числе гостей были Софья Андреевна Сухотина (урожденная Толстая), Б. Пильняк и ленинградская поэтесса М. Шкапская.

Наибольшее внимание за этот вечер Есенин уделял Софье Андреевне.

Из Баку Есенин привез несколько новых песенок, которые он как новинки охотно исполнял перед гостями. Через некоторое время звучание этих песенок появилось в творчестве Есенина.

В первой половине марта Есенин заговорил об издании своего альманаха. Вместе составляли план. Часами придумывали название и наконец придумали:

— Новая пашня?
— Суриковщина.
— Загорье?
— Почему не Заречье?
— Стремнины?
— Не годится.
— Поляне.
— По-ля-не... Это, кажется, хорошо. Только... вспоминаются древляне, кривичи...

Остановились на «Полянах». На другой день о плане сообщили Вс. Иванову. Поговорили еще. Редакция: С. Есенин, Вс. Иванов, Ив. Касаткин и я — с дополнительными обязанностями секретаря.

Альманах выходит два-три раза в год с отделами прозы, стихов и критики. Сотрудники — избранные коммунисты-одиночки и «попутчики».

Прозаиков собирали долго. По замыслу Есенина, альманах должен стать вехой современной литературы, с некоторой ориентацией на деревню. Поэтов наметили скорей: П. Орешин, П. Радимов, В. Казин, В. Александровский и крестьянское крыло «Перевала».

Пошли в Госиздат к Накорякову. «Основной докладчик» — Есенин. Я знал, что Есенин говорить не умеет, поэтому дорогой и даже в дверях Госиздата напомнил ему главные пункты доклада.

Но... ничего не помогло. Вместо доклада вышла путаница. Накоряков деликатно, как будто понимая все сказанное, задал Есенину несколько вопросов. Но с альманахом ничего не вышло. Есенин через две недели опять уехал на Кавказ, поручив Вс. Иванову и мне хлопотать об издании [3].

На троицын день (кажется, 7 июня) Есенин поехал к себе на родину, в село Константиново [4].

Вернувшись из Константинова, Есенин ушел от Г. А. Бениславской. И на время перевез ко мне в комнату свои чемоданы. Недели через две Есенин решил переехать к Софье Андреевне и как-то нерешительно, почти нехотя, стал он перебираться к ней, но чемоданы его и книги долго еще стояли у меня в комнате.

Вскоре Есенин уехал на Кавказ вместе с С. А. Толстой, но в этот раз он вернулся с Кавказа скорее, чем всегда [5].

Перед отъездом на Кавказ Есенин ездил в свое Кон-

стантиново[6]. Из деревни, прямо с вокзала, он заехал в «Красную новь». Мне и еще кому-то из «перевальцев», случайно бывшим в редакции, он прочитал свои новые стихи, написанные на родине:

Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку — чтоб с рыбой невода,
Пахарю — чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба па года.

Это стихотворение он написал на Оке, два дня пропадая с рыбацкой артелью на рыбной ловле.

Квартира С. А. Толстой в Померанцевом переулке, со старинной, громоздкой мебелью и обилием портретов родичей, выглядела мрачной и скорее музейной. Комнаты, занимаемые Софьей Андреевной, были с северной стороны. Там никогда не было солнца. Вечером мрачность как будто исчезала, портреты уходили в тень от абажура, но днем в этой квартире не хотелось приземляться надолго. Есенин ничего не говорил, но работать стал больше ночами. Новое местожительство, видимо, начинало тяготить Есенина.

Примерно в первой половине сентября он попросил Галю купить ему квартиру. Квартира были найдена, и задаток оставлен. Но через несколько дней задаток Софья Андреевна взяла обратно. Повлиять на Есенина в некоторых случаях было очень легко.

Приблизительно в то же время такая же история получилась с санаторием Мосздрава.

Нервы Есенина были расшатаны окончательно. Нужно было лечиться и отдыхать. Несколько дней Галя и Екатерина хлопотали в Мосздраве о путевке. Наконец путевка получена. Санаторий осмотрен; все хорошо, но в последний момент Есенин ехать не захотел. Софья Андреевна пожелала ехать вместе с Есениным, но для нее не было путевки. Есенин воспользовался этой возможностью не ехать в санаторий.

Как-то в конце лета я встретился в «Красной нови» с одним из своих знакомых, и по давней привычке запели народные песни. Во время пения в редакцию вошел Есенин. Пели с полчаса, выбирая наиболее интересные и многим совсем неизвестные старинные песни. Имея своим слуша-

телем такого любителя песен, как Есенин, мы старались вовсю.

Есенин слушал с большим вниманием. Последняя песня «День тоскую, ночь горюю» ему понравилась больше первых, а слова

В небе чисто, в небе ясно,
В небе звездочки горят.
Ты гори, мое колечко,
Гори, мое золото...

вызвали улыбку восхищения.

Позже Есенин читал:

Гори, звезда моя, не падай.
Роняй холодные лучи.

Но настроение этого и другого стихотворения («Листья падают, листья падают») мне показалось странным. Я спросил:

— С чего ты запел о смерти?

Есенин ответил, что поэту необходимо чаще думать о смерти и что, только памятуя о ней, поэт может особенно остро чувствовать жизнь.

Жизнь Есенина была строго распределена. Неделя делилась на две половины. Первая половина недели иногда затягивалась на больший срок — это пора работы. Вторая половина — отдых и встречи. Вот эти-то встречи часто и выбивали из колеи Есенина.

Первую половину недели до обеда, то есть до пяти часов вечера, Есенин обыкновенно писал или читал. Писал он много. Однажды в один день он написал восемь стихотворений, правда, маленьких. «Сказка о пастушонке Пете» написана им за одну ночь.

В рабочие дни Есенин без приглашения никого не принимал.

Последние месяцы Есенин был необычайно прост. Говорил немного и как-то обрывками фраз. Подолгу бывал задумчив.

Случайно сказанное кем-нибудь из родных неискреннее слово его раздражало.

Помню, на какой-то вопрос Есенина один молодой поэт затараторил так, как будто читал передовицу. Есенин остановил его и предложил говорить проще:

— Ты что, не русский, что ли, оскабливаешь каждое слово?

Сказано это было так, что поэт (очень самолюбивый) только «отряхнулся», сказал себе под нос «и правда» и заговорил другим языком.

Октябрьский вечер. На столе журналы, бумаги. После обеда Есенин просматривает вырезки. Напротив с «Вечеркой» в руках я, Софья Андреевна сидит на диване. Светло, спокойно, тихо. Именно тихо. Есенин в такие вечера был тих.

Через бюро вырезок Есенин знал все, что писалось о нем в газетах.

О книге стихов «Персидские мотивы», вышедшей в мае в издательстве «Современная Россия», в провинциальных газетах печатались такие рецензии, что без смеха их нельзя было читать.

Заслуживающей внимание была одна вырезка со статьей Осинского из «Правды» [7]. Но и она была обзорной: о Есенине лишь упоминалось.

О поэме «Анна Снегина», насколько помнится, не было за полгода ни одного отзыва. Она не избежала судьбы всех больших поэм Есенина [8].

Есенин с горькой, едва заметной улыбкой отодвигал от себя пачку бумажек с синими наклейками.

В начале осени как-то вечером я жаловался на самого себя. Есенин лежал на диване, а я сетовал на трудности, на неуверенность. Есенин, словно раздумывая о чем-то, спокойно заметил:

— Стели себя, и все пойдет хорошо. Стели чаще и глубже.

После одной читки стихов Есениным я искренне удивился его плодовитости. Довольный, Есенин улыбался.

— Я сам удивляюсь,— молвил он,— прет черт знает как. Не могу остановиться. Как заведенная машина.

Осенью Есенин закончил «Черного человека» и сдавал последние стихи в Госиздат для собрания сочинений. Еще раньше, отбирая материал для первого тома, он заметил, что у него мало стихов о зиме.

— Теперь я буду писать о зиме,— сказал он.— Весна, лето, осень как фон у меня есть, не хватает только зимы.

Появились стихи: «Эх вы, сани! А кони, кони!..», «Снежная замять дробится и колется...», «Слышишь — мчатся сани...», «Снежная замять крутит бойко...», «Синий туман. Снеговое раздолье...», «Свищет ветер, серебряный ветер...», «Мелколесье. Степь и дали...», «Голубая кофта. Синие глаза...» и три стихотворения, не увидевшие света, написанные им в клинике [9].

Над «Черным человеком» Есенин работал два года. Эта жуткая лирическая исповедь требовала от него колоссального напряжения.

То, что вошло в собрание сочинений,— это один из вариантов. Я слышал от него другой вариант, кажется, сильнее изданного. К сожалению, как и последние три зимних стихотворения, этот вариант «Черного человека» по-видимому, записан не был. И вообще, сочиняя стихи, Есенин чаще заносил на бумагу уже совсем готовое, вполне сложившееся, иногда под давлением необходимости сдавать в журналы.

Есенин обладал огромной памятью. Он мог читать наизусть целые рассказы какого-нибудь понравившегося ему писателя, хотя за последний год память немного сдала, случалось, что стихи забывались.

Не помню обстановки, были вдвоем. Есенин заговорил о творчестве.

Теперь трудно даже приблизительно восстановить его отдельные слова или выражения. Лишь осталась в памяти его мысль.

Есенин говорил о том, что для поэта живой разговорный язык, может быть, даже важнее, чем для писателя-прозаика. Поэт должен чутко прислушиваться к случайным разговорам крестьян, рабочих и интеллигенции, особенно к разговорам, эмоционально окрашенным. Тут поэту открывается целый клад. Новая интонация или новое интересное выражение к писателю идут из живого разговорного языка.

Есенин хвалился, что этим языком он хорошо научился пользоваться.

Осенью 1923 года Есенин также говорил, что его дружба с «логовом жутким»[10] ему необходима для творчества. Возможно, это не полно, но ясно, что без этого знакомства стихов о «Москве кабацкой» не было бы.

В конце осени Есенин опять думал о своем журнале. С карандашами в руках, втроем, вместе с Софьей Андреевной, мы несколько вечеров высчитывали стоимость бумаги, типографских работ и других расходов.

Друзей действительных и друзей в кавычках у Есенина было огромное число. Редкий из писателей и поэтов с ним не был знаком.

Как правило, Есенин со всеми прост и деликатен. Если кто-нибудь говорил ему плохое о знакомом, он, слегка хмельной, считал своим долгом заступиться за оговоренного. А когда ему доказывали, что N. все-таки плох, Есенин терялся и делал вид, что никак не может поверить этому.

Похоже было — на людей Есенин смотрел через какие-то свои, им самим сделанные розоватые очки. Люди у него все хорошие, порядочные. Но чувствовалось, что где-то глубоко у него затаено другое, которому Есенин сознательно не давал ходу.

Пожалуй, наибольшее дружеское расположение Есенин питал к Петру Орешину. Их связывало многое и в прошлом и в настоящем.

Очень хорошо относился к Ив. Касаткину, уважал А. Воронского.

Был близок с Вс. Ивановым, Б. Пильняком, И. В. Вардиным, Л. Леоновым, Ив. Вольновым, М. Герасимовым, П. Радимовым, В. Александровским, Вл. Кирилловым и с некоторыми другими.

Одним из лучших современных писателей Есенин считал Вс. Иванова.

После долгой размолвки, примерно за месяц до клиники, Есенин первым помирился с Мариенгофом, зайдя к нему на квартиру.

Дня через два после примирения Есенин сказал мне:

— Я помирился с Мариенгофом. Был у него... Он неплохой.

Последние два слова он произнес так, как будто прощал что-то.

Очень ценил Н. Клюева, которого всегда называл своим учителем.

Из классиков своим любимым писателем называл Гоголя.

Толстого как моралиста не любил, но от некоторых его художественных произведений приходил в восторг.

Больше всего Есенин боялся... милиции и суда.

Возвращаясь из последней поездки на Кавказ, Есенин в пьяном состоянии оскорбил одно должностное лицо. Оскорбленный подал в суд. Есенин волновался и искал выхода.

Это обстоятельство использовала Екатерина.

Есенин около 20 ноября ночевал у своих сестер в Замоскворечье.

— Тебе скоро суд, Сергей,— сказала Екатерина утром.— Выход есть,— продолжала сестра,— ложись в больницу. Больных не судят. А ты, кстати, поправишься.

Есенин печально молчал. Через несколько минут он, словно сдаваясь, промолвил:

— Хорошо, да... я лягу.

А через минуту еще он принимал решение веселей.

— Правда. Ложусь. Я сразу покончу со всеми делами.

Дня через три после описанного разговора Есенин лег в психиатрическую клинику. Ему отвели светлую и довольно просторную комнату на втором этаже.

Последний раз у Есенина в клинике я был 20 декабря вместе с Екатериной.

За двадцать пять дней отдыха (срок лечения предполагался двухмесячный) Есенин внешне окреп, пополнел, голос посвежел, но, несмотря на старания врача А. Я. Аронсона, Есенин не имел покоя в клинике. Оставшиеся за стеной лечебного заведения то и дело тормошили его. В это время он порвал связь с С. А. Толстой. Одна старая знакомая пришла с поручением от З. Н. Райх, которая требовала деньги на содержание дочери, грозила Есенину судом и арестом денег в Госиздате. Денег в Госиздате оставалось мало, тяжело обременяли постоянные заботы о сестрах, о родителях. Срок лечения ему казался слишком длительным.

Из клиники Есенин решил ехать в Ленинград. Об этом он говорил больше всего. Впереди новая жизнь. Через

Ионова устроит свой двухнедельный журнал, будет редактировать, будет работать.

За вечер дважды читал мне три новых стихотворения. Одно, если не изменяет память, начинавшееся со строк:

Буря воет, буря злится,
. . . .
Из-за туч луна, как птица,
Проскользнуть крылом стремится...
. . . .[11]

поразило меня своей редкой силой выразительности и образности. Под свежим впечатлением оно показалось мне лучшим из всего написанного им за этот год.

На другой день Есенин покинул клинику.

Три дня я не видел его.

23 декабря, зайдя к С. А. Толстой, часов в шесть, слышу звонок. Открываю дверь. Входит Есенин и, не поздоровавшись, идет в комнату. Вещи готовы. Все уложено в чемоданы. Перед выходом Есенин дает мне госиздатовский чек на семьсот пятьдесят рублей — он не успел сегодня заглянуть в банк и едет в Ленинград почти без денег. Попросил выслать завтра же.

Через две недели мы должны были встретиться в Ленинграде...

⟨1927⟩

Н. Н. АСЕЕВ

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

I

Маяковский очень стремился объединить вокруг «Лефа» наиболее ярких писателей из тех, кто не боялся продешевить себя, сотрудничая в бедном средствами журнале. В «Лефе», например, напечатался И. Бабель.

Помню, как Маяковский пытался привлечь к сотрудничеству Сергея Есенина. Мы были в кафе на Тверской, когда пришел туда Есенин. Кажется, это свидание было предварительно у них условлено по телефону [1]. Есенин был горд и заносчив: ему казалось, что его хотят вовлечь в невыгодную сделку. Он ведь был тогда еще близок с эгофутурней [2] — с одной стороны, и с крестьянствующими — с другой. Эта комбинация была сама по себе довольно нелепа: Шершеневич и Клюев, Мариенгоф и Орешин. Есенин держал себя настороженно, хотя явно был заинтересован в Маяковском больше, чем во всех своих вместе взятых сообщниках. Разговор шел об участии Есенина в «Лефе». Тот с места в карьер запросил вхождения группой. Маяковский, полусмеясь, полусердясь, возразил, что «это сниматься, оканчивая школу, хорошо группой». Есенину это не идет.

— А у вас же есть группа? — вопрошал Есенин.

— У нас не группа, у нас вся планета!

На планету Есенин соглашался. И вообще не очень-то отстаивал групповое вхождение.

Но тут стал настаивать на том, чтобы ему дали отдел в полное его распоряжение. Маяковский стал опять спрашивать, что он там один делать будет и чем распоряжаться.

— А вот тем, что хотя бы название у него будет мое!

— Какое же оно будет?

— А вот будет отдел называться «Россиянин»!

— А почему не «Советянин»?
— Ну это вы, Маяковский, бросьте! Это мое слово твердо!
— А куда же вы, Есенин, Украину денете? Ведь она тоже имеет право себе отдел потребовать. А Азербайджан? А Грузия? Тогда уж нужно журнал не «Лефом» называть, а — «Росукразгруз».
Маяковский убеждал Есенина:
— Бросьте вы ваших Орешиных и Клычковых! Что вы эту глину на ногах тащите?
— Я глину, а вы — чугун и железо! Из глины человек создан, а из чугуна что?
— А из чугуна памятники!
...Разговор происходил незадолго до смерти Есенина.
Так и не состоялось вхождение Есенина в содружество с Маяковским.
От того же времени остался в памяти и другой эпизод.
Однажды вечером пришел ко мне Владимир Владимирович взволнованный, чем-то потрясенный:
— Я видел Сергея Есенина,— с горечью, и затем горячась, сказал Маяковский,— пьяного! Я еле узнал его. Надо как-то, Коля, взяться за Есенина. Попал в болото. Пропадет. А ведь он чертовски талантлив.

II

⟨...⟩ Я встретил его в Гизе. Это уж было совсем незадолго до развязки. Есенин еще более потускнел в обличье; он имел вид усталый и несчастный. Улыбнулся мне, собрав складку на лбу, виновато и нежно сказал:
— Я должен к тебе приехать извиниться. Я так опозорил себя перед твоей женой. Я приеду, скажу ей, что мне очень плохо последнее время! Когда можно приехать? [3]
Я ответил ему, что лучше бы не приезжать извиняться, так как дело ведь кончится опять скандалом.
Он посмотрел на меня серьезно, сжал зубы и сказал:
— Ты не думай! У меня воля есть. Я приеду трезвый. Со своей женой! И не буду ничего пить. Ты мне не давай. Хорошо? Или вот что: пить мне все равно нужно. Так ты давай мне воду. Ладно? А ругаться я не буду. Вот хочешь, просижу с тобой весь день и ни разу не выругаюсь?
В хриплом полушепоте его были ноты упрямства, прерываемого отчаянием. Особенно ему понравилась мысль

приехать с женой. ⟨...⟩ Есенин потянул в пивную здесь же, на углу Рождественки.

⟨...⟩ Он стал оглядываться подозрительно и жутко. И наклонясь через стол ко мне, зашептал о том, что за ним следят, что ему одному нельзя оставаться ни минуты, ну да он-де тоже не промах — и, ударяя себя по карману, начал уверять, что у него всегда с собой «собачка», что он живым в руки не дастся и т. д.

Нужно сказать, что в пивной мы часов за пять сидения выпили втроем несколько бутылок пива, и Есенин не был хмелен. Он был горячечно возбужден своими видениями, был весь пропитан смутной боязнью чего-то и эту боязнь пытался заглушить наигранным удальством и молодечеством.

Третий сидевший с нами собеседник почти все время молчал. При попытке заговорить Есенин его грубо обрывал. Когда Есенин начал читать стихи, он услал его за папиросами, причем приказал идти «подальше, на Петровку». Затем услал говорить с кем-то по телефону, повелительно покрикивал. Тот все исполнял беспрекословно.

Есенин читал мне «Черного человека». И опять этот тон подозрительности, оглядки, боязни преследования. Говоря о самой поэме, он упирал на то, что работал над ней два года, а напечатать нигде не может, что редактора от нее отказываются, а между тем это лучшее, что он когда-нибудь сделал.

Мне поэма действительно понравилась, и я стал спрашивать, почему он не работает над вещами подобными этой, а предпочитает коротенькие романсного типа вещи, слишком легковесные для его дарования, портящие, как мне казалось, его поэтический почерк, создающие ему двусмысленную славу «бесшабашного лирика».

Он примолк, задумался над вопросом и, видимо, примерял его к своим давним мыслям. Потом оживился, начал говорить, что он и сам видит, какая цена его «романсам», но что нужно, необходимо писать именно такие стихи, легкие, упрощенные, сразу воспринимающиеся.

— Ты думаешь, легко всю эту ерунду писать? — повторил он несколько раз.

Он именно так и сказал, помню отчетливо.

— А вот настоящая вещь — не нравится! — продолжал он о «Черном человеке».— Никто тебя знать не будет, если не писать лирики; на фунт помолу нужен пуд навозу — вот что нужно. А без славы ничего не будет! Хоть ты пополам

разорвись — тебя не услышат. Так вот Пастернаком и проживешь!

Я, похвалив его поэму, указал тут же, что по основному тону, по технической свежести, по интонациям она ближе к нам, в особенности к Маяковскому.

Он привстал, оживился еще более, разблестелся глазами, тронул рукой волосы. Заговорил о своем хорошем чувстве к нам, хотел повстречаться с Маяковским. О том, что он технически вовсе не отстал, что мастерство ему дороже всего на свете, но что мастерство это нужно популяризировать, уже подготовив почву известностью, что читатель примет тогда и технические особенности, если ему будет импонировать вознесенное до гениальности имя.

Вообще в этом разговоре он оказался очень организованным, знающим и деловито-обостренным хозяином своей профессии, учитывающим все возможности и препятствия на своем пути. Нужно отметить, что за всю эту пятичасовую беседу Есенин действительно ни разу не выругался, хотя стесняться было некого. И в моменты очень болезненно им переживаемые (разговор о преследованиях, о непринятии поэмы редакциями) он только скрипел зубами, мыча от сдерживаемого бешенства.

‹1926›

Д. А. ФУРМАНОВ

СЕРЕЖА ЕСЕНИН

⟨...⟩

Я сижу, вспоминаю последние мои с Сережей встречи. А прежде всех — самую наипоследнюю.

Пришел он с неделю-полторы назад к нам в отдел — мы издаем ведь его собрание сочинений, так ходил часто по этому делу.

Входит в отдел... пьяненький... вынул из бокового кармана сверток листочков — там поэма, на машинке.

— Прочесть, что ли?

— Читай, читай, Сережа [1].

Мы его окружили: Евдокимов Иван Васильевич, я, Тарас Родионов [2], кто-то еще.

Он читал нам последнюю свою, предсмертную поэму. Мы жадно глотали ароматичную, свежую, крепкую прелесть есенинского стиха, мы сжимали руки один другому, переталкивались в местах, где уже не было силы радость удержать внутри.

А Сережа читал. Голос у него знаете какой — осиплохриплый, испитой до шипучего шепота. Но когда он начинал читать — увлекался, разгорался, тогда и голос крепчал, яснел, он читал, Сережа, хорошо. В читке его в собственной, в есенинской, стихи выигрывали.

Сережа никогда не ломался, не кичился ни стихами своими, ни успехами — он даже стыдился, избегал, где мог, проявленья внимания к себе, когда был трезв. Кто видел его трезвым, тот запомнит, не забудет никогда кроткое подетски мерцание его светлых голубых глаз.

И если улыбался Сережа, тогда лицо его становилось вовсе младенческим: ясным и наивным.

Разговоров теоретических он не любил, он их избегал, он их чуть стыдился, потому что очень-очень многого не знал, а болтать с потолка не любил. Но иной раз он всту-

пался в спор по какому-нибудь большому, положим, политическому вопросу. О, тогда лицо его пыталось скроиться в серьезную гримасу, но гримаса только портила наивное, не тронутое большими вопросами борьбы лицо его.

Сережа хмурил лоб, глазами старался навести строгость, руками раскидывал в расчете на убедительность, тон его голоса гортанился, строжал. Я в такие минуты смотрел на него, как на малютку годов семи-восьми, высказывающего свое мнение, ну, к примеру, по вопросу о падении министерства Бриана. Сережа пыжился, тужился, видимо, потел — доставал платок, часто-часто отирался. Чтобы спасти, я начинал разговор о ямбах...

Преображался, как святой перед пуском в рай, не узнать Сережу: вздрагивали радостью глаза, весь его корпус опрощался и облегчался, словно скинув с себя путы или камни, голос становился тем же обычным, задушевным, как всегда, без гортанного клекота. И Сережа говорил о любимом: о стихах.

Потом поехали мы гуртом в Малаховку к Тарасу Родионычу: Анна Берзина, Сережа, я, Березовский Феоктист — всего человек шесть — восемь [3]. Там Сережа читал нам последние свои поэмы: ух, как читал!

А потом на пруду купались — он плавал мастерски, едва ли не лучше нас всех. Мне запомнилось чистое, белое, крепкое тело Сережи — я даже и не ждал, что оно так сохранилось, это у горького-то пропойцы!

Он был чист, строен, красив — у него ж одни русые кудельки чего стоили! После купки сидели целую ночь — Сережа был радостный, все читал стихи.

А потом здесь вот, в Госиздате, встречались мы почти что каждую неделю, а то чаще бывало, пьян все был Сережа, каждоразно пьян. Как-то жена его сказала, что жить Сереже врачи сказали шесть месяцев — это было месяца три назад! Может, он потому теперь и кончил? Стоит ли де ждать? Будут болтать много о «кризисе сознания», но все это будет вполовину чепуха по отношению к Сереже — у него все это проще.

30 декабря 1925

В. И. ЭРЛИХ

ПРАВО НА ПЕСНЬ

ГАГАРИНСКАЯ, 1, КВ. 12

Маленькая грязная улица, идущая от Невы.

На ней — рынок, булочная, парикмахерская и две пивных. Ларька с папиросами нет. Старая женщина, с бородавкой на губе, торгует ими на крыльце дома.

В угловом, выходящем на Неву доме (второй двор, направо) — квартира с большим коридором, огромной, как тронный зал, уборной, кабинетом, заваленным книгами снизу доверху, и длинной, разгороженной дубовой аркой столовой.

Квартира принадлежит Александру Михайловичу Сахарову.

В ней живут — жена Сахарова, брат его, дети и всегда кто-нибудь чужой. Приезжает иногда и сам Сахаров.

Приезжая, он обязательно проводит некоторое время в конце коридора, над огромными кипами книг, сваленных в кучу, и пытается решить их судьбу. Это — нераспроданные тиражи издательства «Эльзевир» — его детище. Здесь обрели покой: «Композиция лирических стихотворений» Жирмунского и бракованные экземпляры есенинского «Пугачева».

Февраль месяц. Тысяча девятьсот двадцать четвертый год [1].

Стоит отвратительная, теплая, освещенная веками чахотки и насморка, зима.

ВОЛХВЫ

По Гагаринской бредут трое молодых людей. На них поношенные осенние пальто и гостинодворские кепки. Это — имажинисты. И не просто имажинисты, а члены

Воинствующего Ордена Имажинистов. Огромная разница! Они — левее и лучше.

Среди них есть даже один аврорец. Настоящий матрос, с настоящими шрамами и настоящими воспоминаниями о взятии дворца [2].

В обычное время их объединяет: искренняя страсть к поэзии, вера в то, что существо поэзии — образ, и (дело прошлое) легкая склонность к хулиганству.

Но в данный момент крепче крепкого их приковала друг к другу застенчивость.

Она смела начисто различие их характеров и даже различие причин, которые гонят их теперь по одной дороге.

Они идут, крепко держа друг друга под руки и стараясь прийти как можно позже.

Ворота. Лестница. Дверь.

— Черт! Приехал или нет? Как ты думаешь?

— А кто его знает? Может и нет. Свои!

Они медленно идут через кухню в коридор, к вешалке.

На столике возле вешалки — шляпа. Можно зажечь свет. Шляпа — незнакомая. От нее за версту разит Европой. Переверни: клеймо — «Paris».

ЗНАКОМСТВО

Можно перейти на первое лицо.

Мы долго топчемся в коридоре, приглаживаем волосы, пиджаки и, наконец, робко, гуськом вползаем в столовую.

У окна стоит стройный, широкоплечий человек с хорошо подстриженным белокурым затылком.

Услышав шаги, он медленно поворачивается к нам.

Тягостное молчание.

Через минуту краска начинает заливать его лицо.

Он жмет нам руки и говорит:

— Есенин... Вот что... Пойдемте в пивную... там — легче.

Мы выходим смелее, чем вошли. Бог оказался застенчивее нас.

К вечеру мы — на ты. 〈...〉

РЯЗАНЬ

Вечер.

Есенин лежа правит корректуру «Москвы кабацкой».

— Интересно!

— Свои же стихи понравились?

— Да нет, не то! Корректор, дьявол, второй раз в «рязанях» заглавную букву ставит! [3] Что ж он думает, я не знаю, как Рязань пишется?

— Это еще пустяки, милый! Вот когда он пойдет за тебя гонорар получать...

— Ну, уж это нет! Три к носу, не угодно ли?

Пальцы левой руки складываются в комбинацию. Кончив корректуру, он швыряет ее на стол и встает с дивана.

— Знаешь, почему я — поэт, а Маяковский так себе — непонятная профессия? У меня родина есть! У меня — Рязань! Я вышел оттуда и, какой ни на есть, а приду туда же! А у него — шиш! Вот он и бродит без дорог, и ткнуться ему некуда. Ты меня извини, но я постарше тебя. Хочешь добрый совет получить? Ищи родину! Найдешь — пан! Не найдешь — все псу под хвост пойдет! Нет поэта без родины!

СТИХИ

— Хорошие стихи Володя [4] читал нынче. А? Тебе — как? Понравились? Очень хорошие стихи! Видал, как он слово в слово вгоняет? Молодец!

Есенин не идет, а скорей перебрасывает себя в другой конец комнаты, к камину. Кинув папиросу в камин, продолжает, глядя на идущую от нее струйку дыма:

— Очень хорошие стихи... Одно забывает! Да не он один! Все они думают так: вот — рифма, вот — размер, вот — образ, и дело в шляпе. Мастер. Черта лысого — мастер! Этому и кобылу научить можно! Помнишь «Пугачева»? Рифмы какие, а? Все в нитку! Как лакированные туфли блестят! Этим меня не удивишь. А ты сумей улыбнуться в стихе, шляпу снять, сесть — вот тогда ты мастер!..

— Они говорят — я от Блока иду, от Клюева. Дурачье! У меня ирония есть. Знаешь, кто мой учитель? Если по совести... Гейне — мой учитель! Вот кто! ⟨...⟩

«ГУЛЯЙ-ПОЛЕ»

Утро.

Просыпаюсь оттого, что кто-то где-то, неподалеку от меня, злостно бубнит.

Подымаясь, вижу: Есенин в пижаме, босиком стоит возле книжного шкафа. Слышно только: сто один, сто два, сто три, сто четыре...

Подхожу к нему.

— Что ты делаешь?

— Погоди, не мешай! Сто восемь, сто девять, сто десять...

Лезу обратно.

Минуты через две:

— Кончил! «Полтаву» подсчитывал. Знаешь, у меня «Гуляй-поле» больше. Куда больше!

Кстати: отрывок из этой поэмы печатался в альманахе «Круг». Он же под заголовком «Ленин» вошел в собрание сочинений. Где хранится остальная часть поэмы — мне неизвестно[5]. 〈...〉

ШЕРШЕНЕВИЧ

— Вадим умный! Очень умный! И талантливый! Понимаешь? С ним всегда интересно! Я даже думаю так: все дело в том, что ему не повезло. Мне повезло, а ему нет. Понимаешь? Себя не нашел! Ну, а раз не нашел... Я его очень люблю, Вадима!

КЛЮЕВСКИЙ ПЕРСТЕНЬ

Приходит утром ко мне, на Бассейную.

— А знаешь, мне Клюев перстень подарил! Хороший перстень! Очень старинный! Царя Алексея Михайловича!

— А ну покажи!

Он кладет руки на стол. Крупный медный перстень надет на большой палец правой руки.

— Так-с! Как у Александра Сергеевича?

Есенин тихо краснеет и мычит:

—Ыгы! Только знаешь что? Никому не говори! Они — дурачье! Сами не заметят! А мне приятно.

— Ну и дитё же ты, Сергей! А ведь ты старше меня. И намного.

— Милый! Да я, может быть, только этим и жив!..

Знаешь, я ведь теперь автобиографий не пишу. И на анкеты не отвечаю. Пусть лучше легенды ходят! Верно? 〈...〉

В ПАРИЖ

Весна, слякоть.

С самого утра в бегах. Есенин и Сахаров собираются «скорым» в Москву.

Часам к четырем мы попадаем в ресторан на Михайловской. Налицо не менее полутора десятков представителей русской литературы. Понемногу хмелеют. Есенин кричит, поматывая головой:

— Что ты мне говоришь — Пильняк! Я — более знаменитый писатель, чем Пильняк! К черту Москву! В Париж едем!

Все соглашаются. Действительно, в Париж — лучше.

— Ну вот! А теперь я буду стихи читать!

Он читает долго и хорошо.

Наконец его прерывает Сахаров:

— Кончай, Сергей! На вокзал надо!

— К черту вокзал! Не хочу вокзал! Париж хочу!

Его долго уговаривают и объясняют, что в Париж тоже по железной дороге надо ехать.

Наконец он соглашается.

— Ну хорошо! Едем! Но только в Париж! Смотри, Сашка!

К самому отходу поезда поспеваем на вокзал.

Сахаров и Есенин на ходу вскакивают в вагон и отбывают [6]. ⟨...⟩

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вернулся Есенин. Он помутнел и как-то повзрослел.

— Милый! Да ты никак вырос за три недели!

— Похоже на то. В деревне был... С Сашкой...

— Пил?

— Нет. Немного. Стихи хочешь слушать? «Возвращение на родину». Посвящается Сашке [7].

После чтения:

— Слушай! А ведь я все-таки от «Москвы кабацкой» ушел! А? Как ты думаешь? Ушел? По-моему, тоже! Здорово трудно было!

И помолчав немного:

— Это что! Вот я поэму буду писать. Замеча-а-тельную поэму! Лучше «Пугачева»!

— Ого! А о чем?

— Как тебе сказать? «Песнь о великом походе» будет называться. Немного былины, немного песни, но главное не то! Гвоздь в том, что я из Петра большевика сделаю! Не веришь? Ей-богу, сделаю! [8] 〈...〉

СМЕРТЬ ШИРЯЕВЦА

— Да! Забыл сказать! Ширяевец-то ведь помер... Вот беда... Вместе сидели, разговаривали... Пришел домой и помер...

Он стучит кулаком по столу.

— Понимаешь? Хоронить надо, а оркестра нет! Я пришел в Наркомпрос: «Даешь оркестр»,— говорю! А они мне: «Нет у нас оркестра!» — «Даешь оркестр, не то с попами хоронить буду!»

— Ну и что? Дали?

Он успокоенно кивает головой:

— Дали.

Через полчаса он читает стихи:

Мы теперь уходим понемногу
В ту страну, где тишь и благодать...

ПРИБЛУДНЫЙ

Приехал Приблудный. Ходит по городу в одних трусах. Выходим из дому — Есенин, я и голый Приблудный.

Есенин с первых же шагов:

— А знаешь, я с тобой не пойду! Не потому, что мне стыдно с тобой идти, а потому, что не нужно. Понимаешь? Не нужно! Ты что? Думаешь, я поверю, что ты из спортивных соображений голый ходишь? Брось, милый! Ты идешь голым потому, что это входит в твою программу! А мне это не нужно! Понимаешь? Уже не нужно! Ну так вот. Ты иди по левой стороне, а я — по правой.

С тем и расстались.

БЕЗДЕНЕЖЬЕ

До двенадцати — работает, не вылезая из кабинета («Песнь о великом походе»).

В двенадцать одевается, берет трость (обязательно трость) и выходит.

Непременный маршрут: набережная, Летний сад, Марсово поле и по Екатерининскому каналу в Госиздат.

В Госиздате сидит у Ионова до трех, до пяти.

Вечера разные: дома, в гостях.

На Гагаринской — пустая квартира. Сахаров в Москве, семья на даче.

Живем вместе.

Понедельник — нет денег.

Вторник — денег нет.

Среда — денег нет.

Четверг — нет денег.

И так вторую неделю.

Ежедневно, по очереди, выходим «стрелять» на обед.

Есенин, весело выуживая из камина окурок:

— А знаешь? Я, кажется, молодею! Ей-богу, молодею!

И слегка растерянно:

— И пить не хочется...

ПУШКИН

— Ты посмотри! Ведь пили они не меньше нашего! Ей-ей, не меньше! А пьянели меньше! Почему?

— Не знаю.

— И я не знаю! То есть у меня есть одно соображение, только не знаю — верно ли? Я думаю, они и ели лучше нас! А?..

— Слушай! Как ты думаешь? Под чьим влиянием я находился, когда писал «Москву кабацкую»? Я сперва и сам не знал, а теперь знаю. Мне интересно, что ты скажешь.

— Люди говорят — Блока.

— Так то люди! А ты?

— А я скажу — Пушкина.

Он заглядывает мне в глаза и тычет кулаком в бок.

— А чего именно? Ну, ну!

— А я думаю, вот чего:

> На большой мне, знать, дороге
> Умереть господь судил [9].

Есенин скачет, как кенгуру, и вопит на всю квартиру:

— Ай, умница! Вот умница! Первый человек понял! Ну и молодец! Только ты мне все-таки скажи, мне интересно, как ты догадался?

— А очень просто! У тебя на постели книжка лежит и открыта как раз на этих стихах.

— Та-а-ак...

Он медленно опускается на стул.

— Так! Значит, и ты не умница, и я дурак... Аминь... Ну, теперь давай искать курево! ⟨...⟩

МЕЦЕНАТ

В комнату вползло маленькое, глистообразное существо. Вихлястое тельце, одетое в черный костюмчик, ножки, сжатые лакированными туфельками, беленькое личико в пенсне и голенькая, как пуля, головка. Профессия: отставной крупье. Социальное положение (в применении к нашим интересам): один из многочисленных знакомых Сахарова.

Войдя, он прежде всего осведомляется, почему мы дома.

— Денег нет,— объясняет Есенин.

— А ужин?

— Ужина нет.

— Почему?

— Нет денег!

Гость явно разочарован. Он долго бродит по комнате и что-то печально мурлычет. Но вдруг его личико проясняется. Он принимает независимый вид и обращается к нам:

— Вот что! Денег у меня тоже нет. Но у меня есть кредит. Клуб «Элит» на Петроградской стороне, знаете? Наверное знаете! Так вот,— там. Приглашаю ужинать. Согласны?

— Дурак не согласится! Идем!

До самого клуба мы идем пешком, ибо денег на трамвай у нас нет. Это — большая часть Французской набережной и Каменноостровский, вплоть до Большого проспекта.

Но ужин действительно превосходен: сытный, красивый, вкусный! Вино и фрукты в редком изобилии. Наш меценат выше всяких похвал. Он обвязал шею салфеткой и ест за троих. Когда он на минуту выходит в уборную, мы мечтательно гадаем: и куда в такого «червляка» столько лезет? Около трех часов ночи решаем идти домой.

Хозяин встает, снимает салфетку, не торопясь вытирает рот и, с грустью глядя на остатки стола, заявляет, что он пойдет распорядиться относительно счета.

Проходит десять минут, пятнадцать, двадцать.

Проходит полчаса. Как в воду канул.

По очереди выходим на поиски.

В конце концов положение выясняется, но от этого не

легче. Официант, заметив наше смущение, бродит волком. Чтобы успокоить его, спрашиваем еще бутылку вина.

Спасает нас Шмерельсон. Он отправляется куда-то, в другой конец города, где он, может быть, сумеет достать деньги.

К половине шестого мы свободны.

Вторично я встретил нашего благодетеля вечером 29 декабря 1925 года. Он шел за гробом и обливал слезами мостовую.

НА УЛИЦЕ

Саженный дядя лупит лошадь кнутовищем по морде. Есенин, белый от злости, кроет его по всем матерям и грозит тростью. Собирается толпа. Когда скандал ликвидирован, он снимает шляпу и, обмахиваясь ею, хрипит:

— Понимаешь? Никак не могу! Ну никак!

Проходим квартал, другой.

— А знаешь, кого я еще люблю? Очень люблю!

Он краснеет и заглядывает в глаза:

— Детей. 〈...〉

ДЕТСКОЕ СЕЛО

Поезд еще не остановился, но мы соскакиваем на ходу и, с невероятным шумом, перебегаем платформу. Все мы вооружены китайскими трещотками и стараемся шуметь как можно больше. Но, выйдя на улицу, Есенин сразу принимает степенный вид и командует:

— Вот что! Сначала к Разумнику Васильичу! Повзводно! Раз! Два! Да! Чуть не забыл! К нему — со всем уважением, на которое мы способны! Марш!

Через четверть часа мы у Иванова-Разумника. Ласковый хозяин, умно посматривая на нас сквозь пенсне, слушает стихи и сосет носогрейку.

— Так-с... Так-с...(вдох). Пушкинизм у вас (выдох), друзья мои, самый явный! Ну что ж! (вдох). Это не плохо! (выдох). Совсем не плохо!

Перед уходом Есенин просит его сказать вступительное слово на вечере в Доме ученых.

Хозяин жмет руку и ласково посапывает:

— Скажу, скажу! Но только для вас, Сергей Александрович! Только для вас! Жаль, Федора Кузьмича [10] нет, а то бы зашли! Очень жаль! Итак, до вечера!

Весь день околачиваемся в парке. С нами студенты местного сельскохозяйственного института. Приволокли откуда-то фотографа и снимают нас «в разных позах» на скамье памятника Пушкину-лицеисту. Раз сняли, другой. А потом — снова трещотки и ходьба по парку. И так до вечера. Полумертвые от скуки приходим в Дом ученых. Литературный вечер. После него еще скучнее, чем прежде. Наконец расходимся в разные стороны. Кто куда, а я — в общежитие института — спать. Рано утром отправляюсь в парк разыскивать своих. Один под кустом, другой — в беседке. Есенина нет. Дважды обойдя город, вижу его наконец на паперти собора. Он спит, накрывшись пиджаком, и чувствует себя, по-видимому, превосходно. 〈...〉

БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Ричиотти звал Есенина райской птицей.

Может быть, потому, что тот ходил зимой в распахнутой шубе, развевая за собой красный шелковый шарф — подарок Дункан.

Помню, кто-то еще назвал его чернозубым ангелом. Когда он подолгу не чистил зубов, они у него чернели от курева.

Он был очень красив.

У него была легчайшая в мире походка и тяжелое большое лицо. Оно становилось расплывчатым, если он улыбался.

ТЕЛЕГРАММА

18 июля.

Сергею Александровичу Есенину. Поздравляем дорогого именинника. Подписи.

Он держит телеграмму в руке и растерянно глядит на меня.

— Вот так история! А я ведь в ноябре именинник! Ей-богу, в ноябре! А нынче — летний Сергей, не мой! Как же быть-то?

ПО ДОРОГЕ В МОСКВУ

Двухместное купе.

Готовимся ко сну.

— Да! Я забыл сказать тебе! А ведь я был прав!

— Что такое?

— А насчет того, что меня убить хотели. И знаешь кто? Нынче, когда прощались, сам сказал. «Я,— говорит,— Сергей Александрович, два раза к вашей комнате подбирался. Счастье ваше, что не один вы были, а то бы зарезал!»

— Да за что он тебя?

— А, так!.. Ерунда!.. Ну, спи спокойно!

МОСКВА

— Ну вот и Москва! ⟨...⟩

На полпути к трамваю он останавливается.

— Слушай! Я не могу к Гале с такими руками ехать! Надо зайти в парикмахерскую.

Заходим.

Через полчаса, рассматривая чистые, подстриженные ногти:

— Вот ты сейчас и Галю увидишь! Она красивая! И Катю увидишь! У меня сестры обе очень красивые!

— Молчи уж! Наизусть знаю! И сестры у тебя красивые, и дети у тебя красивые, и стихи у тебя красивые, и сам ты — красавец!

Он сдвигает шляпу на затылок и вызывающе тянет:

— А что? Нет?

ПРИЕХАЛИ

Брюсовский переулок. Дом «Правды». Седьмой этаж. Четыре звонка.

— Вот это — Катя! А вот это — Галя! Идет, как на велосипеде едет! Обрати внимание! Вот что!.. Надо зайти в «Стойло». Никогда не видал? Пойдем покажу. Романтика жизни моей в нем, друг ты мой!

«СТОЙЛО»

Тверская. «Стойло Пегаса».

Огромный грязный сарай с простоватым, в форменной куртке, швейцаром, умирающими от безделья барышнями и небольшой стойкой, на которой догнивает десяток яблок, черствеет печенье и киснут вина.

Кто знает? Может быть, здесь когда-нибудь и обитала романтика.

Пока сидит Есенин, все — настороже. Никто не знает, что случится в ближайшую четверть часа: скандал? безобразие? В сущности говоря, все мечтают о той минуте, когда он наконец подымется и уйдет. И все становится глубоко бездарным, когда он уходит. 〈...〉

ПОДАРОК

— Хочешь, подарок сделаю?

— Валяй, делай!

Есенин вытягивается на стуле и медленно цедит:

— Я виделся с Вадимом. Между прочим, он сказал мне, что ему понравились твои стихи.

— Ну, что ж? Я очень доволен...

— Что-о? Дурак ты, дурак! Вадим — умный! Понимаешь? Очень умный! И он прекрасно понимает стихи!

— Ты, я вижу, очень уважаешь его!

— Ого! Вадим — человек! Дружны мы с ним никогда не были. Но это совсем по другой причине. Понимаешь? У него всегда своя жизнь была, особенная. Литературно мы были вместе.

ССОРА

Мы в гостях у Георгия Якулова. Есенин волнуется: нет вина. Он подходит ко мне и диктует:

— Слушай! Сходи, пожалуйста, домой, возьми у Гали деньги и приходи сюда. Вина купишь по дороге.

Я смущен.

— Знаешь, Сергей... Мне не хочется...

— Не хочется?..

Я знаю, что еще секунда и он скажет слово, после которого я не смогу с ним встретиться.

Я молча поворачиваюсь и иду к двери.

Ночная Тверская. Бульвар.

Куда идти?

В Москве — Ричиотти и Шмерельсон. Ночуют у Шершеневича. Пойду к ним.

Шершеневич живет в маленьком одноэтажном флигельке.

Осторожно стучу в окно кабинета, где спят свои. Один из них, как спал — в подштанниках, открывает мне дверь. Оба рады, отбившийся от стада осел вернулся в стойло. Ос-

торожно, стараясь не шуметь, я раздеваюсь и ложусь между ними.

Утро. Стук в дверь и голос Юлии Сергеевны:

— Можно?

Натягиваем одеяло до подбородков.

— Войдите!

Она входит в комнату, с изумлением смотрит на пас и бежит обратно.

— Вадим! Вадим! Вставайте! Ваши имажинисты размножаются почкованием!

Наскоро одевшись, иду на Брюсовский.

Есенин молчалив и серьезен.

Не глядя на меня, надевает шляпу и открывает дверь, пропуская меня вперед.

Так же молча мы выходим на Тверскую и спускаемся в подвал для обычного завтрака.

После долгого молчания он подымает на меня глаза. Они печальны и почти суровы.

— Разве я оскорбил тебя?

Я молчу.

— Если так, прости!

Тут только я начинаю понимать, что я совершил гнусность. Я предал его, занятый мыслью о том, что обо мне подумает Якулов! Вспотев от стыда, я подымаюсь на ноги.

— Сергей! Если можешь, забудь вчерашний вечер! Я готов служить тебе.

Он тоже подымается и смотрит мне в глаза.

— У тебя есть полтинник?

— Есть.

— Дай мне!

Он берет деньги и выходит на улицу. Раньше, чем я успеваю сообразить, в чем дело, оп возвращается и кладет передо мной коробку «Ducat».

— У тебя нет папирос...

ПРИТЧА О ЦИЛИНДРАХ

— Так-с... Хочешь притчу послушать?

— Сам сочинил?

— Ума хватит. Так вот! Жили-были два друга. Один был талантливый, а другой — нет. Один писал стихи, а другой — (непечатное). Теперь скажи сам, можно их на

одну доску ставить? Нет! Отсюда мораль: не гляди на цилиндр, а гляди под цилиндр!

Он закладывает левую руку за голову и читает:

Я ношу цилиндр не для женщин,
В глупой страсти сердце жить не в силе,
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле [11].

— Хотел бы я знать, хорошие это стихи или плохие? 〈...〉

МАЛЬБРУК В ПОХОД СОБРАЛСЯ

— Слушай! И слушай меня хорошо! Вот я, например, могу сказать про себя, что я — ученик Клюева. И это — правда! Клюев — мой учитель. Клюев меня учил даже таким вещам: «Помни, Сереженька! Лучший размер лирического стихотворения — двадцать четыре строки». Кстати: когда я умру, а это случится довольно скоро, считай, что ты получил это от меня в наследство. Но дело не в этом! Прежде всего: можешь ты сказать про себя, что ты — мой ученик?

— С глазу на глаз — могу.

— А публично?

— Только в том случае, если тебе сильно не повезет.

— Значит, никогда. Я — в сорочке родился. Вообще я что-то плохо тебя понимаю. Верней, не хочу понимать! Ну, да ладно! Во всяком случае я считаю себя обязанным (понимаешь? обязанным!) передать тебе все, что я знаю сам. Сегодня я тебя буду учить, как надо доставать деньги. Во-первых, я должен одеться.

Он с особенной тщательностью выбирает себе костюм, носки, галстук. Окончательно одевшись и дважды примерив перед зеркалом шляпу:

— Ну вот! А теперь я должен раздобыть себе на представительство. Идем к Гале!

Минуты через две честная трехрублевка ложится в задний карман его брюк.

— Есть! А теперь — пошли в парикмахерскую!

Выбритый и вымытый одеколоном он уверенно идет по Тверской, скосив глаз на свое отражение в витринах.

Раньше чем войти в издательство, он покупает коробку «Посольских».

— Имей в виду! Папиросы должны быть хорошими! Иначе ничего не выйдет!..

Через час он помахивает перед моим носом пачкой кредиток.

— Видал? Улыбается? Ну то-то! А приди я к ним в драных штанах да без папирос, не видать нам этих денег до приезда Воронского.

ЕЩЕ О ЛЕНИНГРАДЕ

Какой-то дурак из стихотворцев, отведя меня в сторону (мы были в редакции «Красной нови») и, очевидно, желая доставить мне удовольствие, сказал:

— Знаете, я вам очень сочувствую! Дружба с Есениным — неблагодарная вещь!

Вспоминаю. Было это еще в Ленинграде. Есенин среди бела дня привел меня в кавказский погребок на Караванной и угостил водкой. Это была первая настоящая водка в моей жизни, а потому через час я был «готов». Когда я наконец продрал глаза, был уже вечер. Есенин сидел рядом со мной на диване и читал газету. Нетронутая рюмка водки стояла перед ним на столе.

ПЕСНИ

Почему я раньше не вспомнил об этом?

Он все время поет.

Пел в Ленинграде, поет в Москве.

Иногда — бандитские, но чаще всего — обыкновенную русскую песню с обыкновенными словами. Поет ее он, поет Сахаров. Но лучше их обоих поет эту песню его сестра Катя.

Слова такие:

Это было дело
Летнею порою.
В саду канарейка
Громко распевала.
Голосок унывный
В саду раздается.
Это, верно, Саша
С милым расстается.
Выходила Саша
За новы ворота.
Говорила Саша
Потайные речи:
— Куда, милый, едешь.
Куда уезжаешь?

На кого ты, милый,
Меня покидаешь?
— На себя, на бога.
Вас на свете много!
Не стой надо мною.
Не обливай слезою.
А то люди скажут,
Что я жил с тобою!
— Пускай они скажут,
А я не боюся.
Кого я любила,
С тем я расстаюся! [12]

В Москве он подцепил новую. В этой ему больше всего нравится строфа:

Я любил вас сердцем
И ласкал душою.
Вы же, как младенцем,
Забавлялись мною.

Он поет ее с надрывом, закрыв глаза и поматывая головой.

«ГОСТИНИЦА ДЛЯ ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ В ПРЕКРАСНОМ»

Мы выходим из «Стойла». Он идет некоторое время молча, углубленный в газету, затем, не глядя, спрашивает:

— О чем с тобой говорил Грузинов?

— Об участии нашем, ленинградцев, в «Гостинице».

— Ну и что?

— Ничего. Я сказал, что за других я не ответчик, а сам буду участвовать в журнале только в том случае, если мы войдем соредакторами. Разумеется, попытаюсь повлиять и на других [13].

— Так. А ты не думаешь, что они твое поведение поймут как результат моего влияния?

— Думаю.

— Боишься?

— Не слишком.

— Ну, смотри! Мне-то есть где печататься и без них. А ты что делать будешь?

— Ничего.

— Заладила сорока Якова! «Ничего, ничего!» Что ж, мне для тебя специальный журнал открывать? Ты смотри, дурака не валяй! Ты что думаешь, непризнанный гений?

Так имей в виду, что непризнанных гениев в этом мире не бывает! Это, брат, неудачники выдумали! Хм... А ребятам, пожалуй, скажи, чтобы действительно не торопились в «Гостиницу» идти! Я, пожалуй, и в самом деле журнал открою!..

ГАЛЯ

— Сергей Александрович! Костюмы ваши в полном порядке! Починены, вычищены! Имейте в виду!

— Та-а-ак...

Он медленно поворачивается ко мне.

— Запомнишь, что я тебе сейчас скажу?

— Запомню.

— Ну так вот! Галя — мой друг! Больше, чем друг! Галя — мой хранитель! Каждую услугу, оказанную Гале, ты оказываешь лично мне! Аминь?

— Аминь.

ЕРМАКОВКА

В этот вечер наше внимание привлекла к себе «Ленинградская пивная» на Тверской. Есенину было приятно, что она — Ленинградская. Казин любил пляску, а она славилась плясунами, значит — согласен. Никитин заявил, что, если правая половина вывески не лжет, он тоже согласен. Спутницам нашим, по их собственному признанию, было глубоко безразлично, в каком кабаке мы проведем время. И потому мы — вошли.

Не успели мы как следует насладиться музыкой, грохотом и пляской, в пивную вошел человек. Он подошел к нашему столу и поздоровался с одной из наших дам. Наружность этого человека достойна описания. Он был очень невысок, худощав и в обращении скромен. У него было изможденное и невыразительное лицо, скрытный и тихий голос. Сильно поношенная, широкополая шляпа и плащ, скрепленный на груди позолоченной цепью с пряжками, изображающими львиные головы. В окружении советской Москвы от него несло средневековьем. Если бы сейчас, в 1928 году, меня долго и сильно пытали, я бы, пожалуй, не выдержал и признался, что у него на шляпе было петушиное перо.

Я перегнулся к Есенину.

— У него под плащом шпага!

— Карлос! — подтвердил Есенин.— Или нет. Камоэнс! Он очень худ.

— А может быть — черт?

— Может быть, и черт! Скорей всего!

— Нет! Скорей всего — бывший учитель Коммерческого училища.

— И то верно! Тише...

Незнакомец оказался воспитателем детского дома. Он в свое время заинтересовался периодическим бегством из детского дома и периодическим же возвращением в него своих воспитанников. Он проследил их и таким образом вошел в соприкосновение с миром блатных. Теперь он прекрасно знает их и пользуется их полным доверием. Если мы хотим, то он может свести нас с ними и таким образом пополнить наш литературный багаж. Кончил он свой рассказ предложением ехать в Ермаковку.

— Куда?

— В Ермаковку! В Москве есть Ермаков переулок. В этом переулке есть большой ночлежный дом, а в просторечии — Ермаковка.

— А удобно это? Не примут ли они нас за агентов? Тогда ведь мы ничего не узнаем!

— На этот счет будьте спокойны! Меня знают.

И мы поехали.

Тверская, Мясницкая, Рязанский вокзал и дальше за ним — Ермаков переулок и семь этажей ночлежки.

Сначала мужчины. Они — умны, ироничны, воспитанны. Приветливы в меру. Спокойно, как профессионалы, говорят о своем деле. К одному из них, мальчику лет четырнадцати, Казин пристает с просьбой показать свое искусство. Мальчишка скалит белые зубы и отказывается. Есенин читает им «Москву кабацкую». Им нравится, но они не потрясены. Когда мы собираемся уходить, тот же мальчишка подходит к Казину и возвращает ему бумажник, платок, карандаш. Он вытащил их во время чтения.

Переходим к женщинам. Здесь совсем другое. На всех лицах — водка и кокаин. Это уже не жилище, а кладбище человеческого горя. Обычна — истерика. На некоторое время выхожу в коридор. Возвращаюсь, услышав голос Есенина. Встав между койками, он читает стихи.

Какой-то женский голос визжит:

— Молча-а-ать! Идите к такой-то матери вместе со своими артистами!

Остальные шикают и водворяют молчание.

Есенин читает.

Одна из женщин подходит к нему и вдруг начинает рыдать. Она смотрит на него и плачет горько и безутешно.

Он потрясен и горд.

Когда мы выходим в коридор, он берет меня за руку и дрожащими губами шепчет:

— Боже мой! Неужели я так пишу? Ты посмотри! Она — плакала! Ей-богу, плакала!

Снова мужчины.

Мы начинаем прощаться.

Один из них подходит к нашим дамам и, с сожалением глядя на их испорченные туфли (был дождь), говорит:

— До чего вам хотелось познакомиться с нами! Вот и туфельки испортили! Ну, ничего! Вы дайте мне ваш адрес, и я вам на дом доставлю новые!

Тягостное молчание.

— Может быть, вам неудобно, чтобы я приходил лично? Так вы будьте спокойны! Я с посыльным пришлю!

У самых выходных дверей мы встречаем женщину, что плакала, слушая Есенина.

Он подходит к ней и что-то ей говорит.

Она молчит.

Он говорит громче.

Она не отвечает.

Он кричит.

Та же игра.

Тогда он обращается к остальным.

Остальные подходят и охотно разъясняют:

— Она глухая!

Стоит ли говорить, что на следующий день наш вожатый оказался совсем не учителем, а одним из ответственных работников МУРа? [14]

МАЛАХОВКА

Подмосковная дача.

Хозяин — Тарасов-Родионов.

В числе гостей — Березовский, Вардин, Анна Абрамовна Берзинь, позднее — ненадолго — Фурманов.

Есть такая песня:

Умру я, умру я.
Похоронят меня.
И никто не узнает,
Где могила моя.

Вардину очень нравится эта песня, но он никак не может запомнить слов. Он бродит по садику и поет:

Умру я, умру я.
Умру я, умру я.
Умру я, умру я.
Умру я, умру-у!..

Есенин ходит за ним по пятам и, скосив глаза, подвывает.

Спать лезем на сеновал — Есенин, Вардин и я. Сена столько, что лежа на спине можно рукой достать до крыши.

Первое, что мы видим, проснувшись поутру: почтенных размеров осиное гнездо в полуаршине над нами.

А лестницу от сеновала на ночь убрали.

Хорошо, что мы спим спокойно.

КАНУН

«Стойло» в долгах.

Света нет.

«Гостей» нет.

Денег нет.

Где причина, а где следствие—определить невозможно.

Упокой, господи!

Есенина тянет в деревню. Он накупил кучу удочек (со звонками и без звонков) и мечтает о рыбной ловле.

У меня поломана рука.

Надо ехать.

В одиннадцать тридцать влезаем в вагон.

Есть попутчики: компания молодых пролетарских поэтов.

Есенин, горячась, объясняет:

— Что вы там кричите: «Есенин, Есенин...» В сущности говоря, каждое ваше выступление против меня — бунт! Что будет завтра,— мы не знаем, но сегодня я — вожак!

Ночь (весьма неуютная). Рассвет. Станция «Дивово».

Поезд не останавливается.

Есенин, Катя Есенина, Приблудный на ходу соскакивают и исчезают за станционным бараком.

Я еду дальше: Рязань — Рузаевка — Инза — Симбирск, ныне — Ульяновск.

РАЗЛУКА

С 4 сентября я в Ленинграде. Один. Что у меня осталось от Есенина? — Красный шелковый бинт, которым он перевязывал кисть левой руки, да черновик «Песни о великом походе».

Кстати о бинте. Один ленинградский писатель, глядя как-то на руки Есенина, съязвил: — У Есенина одна рука красная, а другая белая.

Я не думаю, что он был прав.

Дружба — что зимняя дорога. Сбиться с нее — пустяк. Особенно ночью — в разлуке. На Волге, как только лед окрепнет, выпадет снег и пробегут по нему первые розвальни, начинают ставить вешки. Ставят их ровно, сажени на две одна от другой. Бывает — метель снегу нанесет, дорогу засыпет, вот тогда по вешкам и едут.

Были и у нас свои вешки. Ставила нам их Галина Артуровна Бениславская. Не на две сажени, пореже, но все-таки ставила. По ним-то мы и брели, вплоть до июня 25 года. Где те вешки, по которым шел Есенин, не знаю. Мои — при мне.

Теперь, при повторном хождении по тому же пути, мне хочется поставить их перед собой. Не знаю для чего. Может быть, как и тогда, для того, чтобы не сбиться с дороги.

13 ноября 24 г.[15]

...От С. А. Вам привет, просит Вас писать ему, сам же не пишет, потому что потерял ваш адрес. Я ему сообщила, вероятно, скоро напишет. Сейчас он в Тифлисе, собирается в Персию (еще не ездил). Говорит сам и другие о нем — чувствует себя недурно. Пишет. Прислал кое-что из новых стихов. Прислал исправленную «Песнь о великом походе». Просит поправки переслать Вам [16].

Поправки к «Песне о великом походе»:

1. А за синим Доном
Станицы казачьей
В это время волк ехидный
По-кукушьи плачет.
Говорит *Корнилов*
Казакам поречным...
(вместо: Каледин).
2. Ах, яблочко
Цвета милого.
Бьют Деникина.
Бьют *Корнилова*...
(вместо: Уж, ты подъедено
...... Каледина).
3. От полуночи
До синя утра

Над Невой твоей
Бродит тень Петра.
Бродит тень Петра,
Грозно хмурится
На кумачный цвет
В наших улицах.
(вместо: и любуется).

«26» переименовать в «36», соответственно изменив в тексте.

Г. Бениславская.

12 декабря 24 г.

...Сергей сейчас в Батуме. Прислал телеграмму с адресом, но моя соседка умудрилась потерять эту телеграмму. Так что писать приходится на ощупь. Хорошее дело, не правда ли? Он будто здоров, пишет. Последние стихи прислал. Одно мне очень нравится, это — «Русь уходящая». Будет, вероятно, в «Красной нови». Доверенность, напишу Сергею, чтобы выслал на Ваше имя.

Г. Бениславская.

15 декабря 24 г.

...Сергей сейчас в Батуме. (Батум, отделение «Зари Востока», Есенину.) Пробудет там, вероятно, дней десять, а может быть, и более. Написала ему, чтобы выслал доверенность Вам и указал, ему или нам посылать деньги, т. к. не знаю: не нужны ли они ему. В таком случае мы здесь как-нибудь устроимся.

Г. Бениславская.

21 января 25 г.

...«Бакинский рабочий» издал книжку «Русь советская». Туда вошло все, начиная с «Возвращения на родину» и кончая «Письмами». Сам Сергей Александрович что-то замолчал. Перед тем часто нас баловал, а сейчас ни гугу. Вот «36» и книжку «Круга» посылаю.

Г. Бениславская.

24 марта 25 г.

...А Сергей Александрович уже 3 недели здесь. Стихи хорошие привез. Ну, тысячу приветов.

Галя.

...Три к носу. Ежели через 7—10 дней я не приеду к тебе, приезжай сам.

Любящий тебя *С. Есенин.*

30 марта 25 г.

...Посылаю эти письма, как библиографическую редкость. 27 марта Сергей укатил в Баку, неожиданно, как это и полагается.

Галя.

В мае месяце я узнал из газет, что у Есенина горловая чахотка.

ЗАКАТ

Июнь 25 года. Первый день, как я снова в Москве. Днем мы ходили покупать обручальные кольца, но почему-то купили полотно на сорочки. Сейчас мы стоим на балконе квартиры Толстых (на Остоженке) и курим. Перед нами закат, непривычно багровый и страшный. На лице Есенина полубезумная и почти торжествующая улыбка. Он говорит, не вынимая изо рта папиросы:

— Видал ужас?.. Это — мой закат... Ну пошли! Соня ждет.

(Софья Андреевна Толстая — его невеста.)

КАЧАЛОВ

Мы стоим на Тверской. Перед нами горой возвышается величественный, весь в чесуче Качалов.

Есенин держится скромно, почти робко.

Когда мы расходимся, он говорит:

— Ты знаешь, я перед ним чувствую себя школьником! Ей-богу! А почему, понять не могу! Не в возрасте же дело! 〈...〉

ОБЕД

— Слушай, кацо! Ты мне не мешай! Я хочу Соню подразнить.

Садимся обедать.

Он рассуждает сам с собой вдумчиво и серьезно:

— Интересно... Как вы думаете? Кто у нас в России все-таки лучший прозаик? Я так думаю, что Достоевский! Впрочем, нет! Может быть, и Гоголь. Сам я предпочитаю Гоголя. Кто-нибудь из этих двоих. Что ж там? Гончаров... Тургенев... Ну, эти — не в счет! А больше и нет. Скорей всего — Гоголь.

После обеда он выдерживает паузу, а затем начинает просить прощения у Софьи Андреевны:

— Ты, кацо, на меня не сердись! Я ведь так, для смеху! Лучше Толстого у нас все равно никого нет. Это всякий дурак знает.

ДОМОЙ

— Слушай, кацо! Я хочу домой! Понимаешь! Домой хочу! Отправь меня, пожалуйста, в Константиново! Ради бога, отправь!

Едем на Рязанский вокзал.

Покупаю билет.

Он в это время пишет письма.

— Вот это — отдай Соне! Я ей все объяснил. А это — Анне Абрамовне. Да скажи, что я ей очень верю, совсем верю, но слушаться я ее не могу. Никого я не могу слушаться. Понимаешь? [17]

Через три дня он снова в Москве.

ПОЭЗИЯ

Если он не пишет неделю, он сходит с ума от страха.

Есенин, не писавший в свое время два года, боится трехдневного молчания.

Есенин, обладавший почти даром импровизатора, тратит несколько часов на написание шестнадцати строк, из которых треть можно найти в старых стихах [18].

Есенин, помнивший наизусть все написанное им за десять лет работы, читает последние стихи только по рукописи. Он не любит этих стихов.

Он смотрит на всех глазами, полными безысходного горя, ибо нет человека, который бы лучше его понимал, где кончается поэзия и где начинаются только стихи.

Утром он говорит:

— У меня нет соперников, и потому я не могу работать.

В полдень он жалуется:

— Я потерял дар.

В четыре часа он выпивает стакан рябиновой, и его замертво укладывают в постель.

В три часа ночи он подымается, подымает меня, и мы идем бродить по Москве.

Мы видим самые розовые утра. Домой возвращаемся к чаю.

МОСКВА-РЕКА

Пятый час утра.

Мы лежим на песке и смотрим в небо.

Совсем пе московская тишина.

Он поворачивается ко мне и хочет говорить, но у него дрожат губы, и выражение какого-то необычайно чистого, почти детского горя появляется на лице.

— Слушай... Я — конченый человек... Я очень болен... Прежде всего — малодушием... Я говорю это тебе, мальчику... Прежде я не сказал бы этого и человеку вдвое старше меня. Я очень несчастлив. У меня нет ничего в жизни. Все изменило мне. Понимаешь? Все! Но дело не в этом... Слушай... Никогда не жалей меня! Никогда не жалей меня, кацо! Если я когда-нибудь замечу... Я убью тебя! Понимаешь?

Он берет папироску и, не глядя на меня, закуривает. ⟨...⟩

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

— Госиздат купил. У меня и у Маяковского [19]. Приятно будет перелистывать, а? Как ты думаешь? По-моему — приятно! Вот только переделать кое-что надо. Я тут кое-где замены сделал, да не знаю, хорошо ли. Помнишь, у меня было:

Славься тот, кто наденет перстень
Обручальный овце на хвост.

Я думаю переделать. Что ты скажешь?

— По-моему, не стоит. Слово не воробей.

— Так-то так, да овца-то мне теперь не к лицу! Старею я, вот в чем дело! Я и «Сорокоуст» подчистил [20]. ⟨...⟩

КОТЕНОК

В той же пивной.

Уборщица дарит нам крохотного котенка.

Есенин с нежностью берет его на руки.

— Куда же мы его понесем? Знаешь что? Подарим его Анне Абрамовне! А?

— Подарим.

— Едем в Госиздат!

Прежде всего нас высаживают из трамвая. Садпмся на второй. Высаживают из второго.

— Нельзя, граждане, с животными!
— Да какое же это животное? Капля!
— Раз мяучит, значит, не капля! Нельзя.
Соображаем довольно долго.
— Нашел.
Мы покупаем газету, делаем из нее фунтик, в фунтик кладем котенка и лезем в вагон.
Все в порядке.
Мы спокойно доезжаем до Страстной.
На Страстной котенок начинает кричать, и мы — снова на улице.
Делать нечего, идем пешком.
На Тверской мы заходим в галантерейный магазин и навязываем на шею котенка розовый бант.
Через четверть часа мы в Госиздате.
Обряд дарения проходит спокойно и величаво.

КОНСКИЙ ТОРГ

Раннее утро. Базар в Замоскворечье. Лошади стоят в ряд, привязанные к столбам, и понуро жуют губами. Бродят кузнецы. Снуют собаки. Изредка зазвенит слепень. До чего это все не похоже на город!
Есенин с видом знатока осматривает каждую лошадь. Мнет уши, треплет хвосты. Он изнемогает от наплыва нежности самой сентиментальной. С трудом заставив себя уйти, он еще несколько раз оборачивается и радостно стонет:
— До чего хорошо! Боже мой! До чего хорошо! Уходить не надо!
По дороге заходим в трактир чай пить.
Возле нас сидит невероятно грязный, оборванный субъект и считает деньги. На столике перед ним гора меди. Сосредоточенно и хмуро пересчитывает он сотни копеек, семишников, пятаков. Есенин, удивленно раскрыв глаза:
— Слушай! Да тут на самый скромный подсчет и то рублей тридцать набежит. Недурен гонорар! Уж не пойти ли и нам стрелять? А? Да ты посмотри — до чего жаден! Даже руки дрожат.
У субъекта действительно дрожат руки.

БЮСТ

Коненков в Америке.
В его мастерской работают ученики.
Мастерская — высоченный пустой сарай. В потолок

упирается статуя Ленина — последняя работа. Делают ее по модели Коненкова его помощники.

Дворник и друг Коненкова — Василий Григорьевич [21] — показывает нам оставшиеся работы, рассказывает о самом Коненкове и наконец вручает нам глиняный бюст Есенина — то, зачем мы пришли.

Когда мы выходим на улицу, Есенин задумчиво оглядывает ворота:

— Гениальная личность!

И тяжело вздыхая:

— Ну вот... Еще с одной жизнью простился. А Москва еще розовая... Пошли!

ВАГАНЬКОВО

Мы медленно идем по Пресне.

— Ты знаешь... Я — свинья! С самого погребения Ширяевца я ни разу не был на его могиле! Это был замечательный человек! Прекрасный человек! И, как все мы, очень несчастный. Вот погоди, придем на кладбище, я расскажу тебе про него одну историю. Сядем на могилу и расскажу.

У ворот мы покупаем два венка из хвои.

— Вот так. Положим венки, сядем, помолчим, а потом я тебе и расскажу. Ну, пойдем искать!

Мы дважды обходим все кладбище. Могилы нет.

Он останавливается и вытирает пот.

— Вот история! Понимаешь? Сам хоронил! Сам место выбирал... А найти не могу... Давай отдохнем, а потом — снова...

Присаживаемся отдохнуть.

Вдруг он подымается и, к чему-то прислушиваясь, идет в кусты. Я — за ним.

— Слушай...

Неподалеку от нас, в ограде, стоит священник, в облачении, и служит.

Прислушиваемся.

— Государя императора Николая Александровича... Государыни императрицы Александры Фео-о-доровны... Его императорского высочества...

На Есенине нет лица.

— Вот... вот это здорово! Здесь, в советской Москве, в тысяча девятьсот двадцать пятом году! Господи боже мой! Что ж это такое?

Мы ждем. Когда кончается служба и священник, загасив кадило, выходит за ограду, мы подходим к нему.

Есенин вежливо, снимая шляпу:

— Будьте любезны! Вы не можете нам сказать, чья эта могила?

— Амфитеатрова.

В один голос:

— Писателя?

— Нет. Протоиерея Амфитеатрова, отца писателя.

Он поворачивается к нам спиной и медленно уходит.

Солнце начинает жарить всерьез.

Мы возвращаемся к нашей первоначальной цели. Ищем порознь, долго и трудно. Наконец я слышу голос Есенина:

— Нашел! Иди сюда!

Он отбирает у меня венок и вместе со своим кладет на могилу. Мы садимся рядом.

Помолчав, он начинает рассказ. Он рассказывает медленно и любовно, прислушиваясь к каждому своему слову и заполняя паузы жестами. Он говорит о девушке, неумной и нехорошей, о человеческой судьбе и о бедном сердце поэта. Когда он кончает рассказ, мы оба встаем и подходим к кресту. И здесь я вижу, что он вдруг смертельно бледнеет.

— Милый! Что с тобой?

Он молча показывает на крест.

«Здесь покоится режиссер...»

Мы сидели на чужой могиле.

— Нет! Ты понимаешь в чем дело? Они продали его могилу! У него нет могилы! У него украли могилу! Сволочи! Сукины дети! Опекуны! Доглядеть не могли? Ну, погоди! Я им покажу! Помяни мое слово!

Он летит в Дом Герцена «показывать».〈...〉

ЯЗЫК

Он второй день бродит из угла в угол и повторяет стихи:

Учитель мой — твой чудотворный гений,
И поприще — волшебный твой язык.
И пред твоими слабыми сынами
Еще порой гордиться я могу,
Что сей язык, завещанный веками,
Любовней и ревнивей берегу...

— А? Каково? Пред твоими слабыми сынами! Ведь это он про нас! Ей-богу, про нас! И про меня! Не пишп па

диалекте, сукин сын! Пиши правильно! Если бы ты знал, до чего мне надоело быть крестьянским поэтом! Зачем? Я просто — поэт, и дело с концом! Верно?

ЛАСТОЧКА

Вечер.

Мы стоим на Москве-реке возле храма Христа-спасителя.

Ласточка с писком метнулась мимо нас и задела его крылом за щеку.

Он вытер ладонью щеку и улыбнулся.

— Смотри, кацо: смерть — поверье такое есть,— а какая нежная!

ОТЪЕЗД

— Вот что! Ты уехать хочешь? Уезжай! Теперь не держу. Хотел я, чтобы ты у меня на свадьбе был, да теперь передумал. Запомни только: если я тебя позову, значит, надо ехать. По пустякам тревожить не стану. И еще запомни: работай, как сукин сын! До последнего издыхания работай! Добра желаю! Ну, прощай! Да! Вот еще: постарайся не жениться! Даже если очень захочется, все равно не женись! Понял?

ВТОРАЯ РАЗЛУКА

26. VII—25.

Открытое письмо от Софьи Андреевны Толстой.
Ростов н/Д. Вокзал.
Приписка Есенина:

Милый Вова,
Здорово.
У меня — не плохая
«Жись»,
Но если ты не женился,
То не женись.

Сергей.

Сентябрь.

Узнаю: Есенин разбил, сбросив с балкона, коненковский бюст [22].

Ноябрь.

Захожу как-то в Союз писателей на Фонтанке. Кто-то сообщает:

— Есенин в Питере. Ищет вас. Потерял адрес.

По привычке иду на Гагаринскую.

Он действительно был, искал, не нашел, уехал.

Декабрь, 7-е.

Телеграф: «Немедленно найди две-три комнаты. 20 числах переезжаю жить Ленинград. Телеграфируй. *Есенин*».

ЧЕТВЕРГ [23]

С утра мне пришлось уйти из дому.

Вернувшись, я застал комнату в некотором разгроме: сдвинут стол, на полу рядком три чемодана, на чемоданах записка:

«Поехал в ресторан Михайлова, что ли, или Федорова? Жду тебя там. *Сергей*».

Выхожу.

У подъезда меня поджидает извозчик.

— Федоров заперт был, так они приказали везти себя в «Англетер». Там у них не то приятель живет, не то родственник.

Родственником оказался Г. Ф. Устинов, приятель Есенина, живший в сто тридцатом номере гостиницы.

Есенина я застал уже в «его собственном» номере в обществе Елизаветы Алексеевны Устиновой и жены Григория Колобова, тоже приятеля Есенина по дозаграничному периоду.

Сидели не долго.

Я поехал домой, Есенин с Устиновой — по магазинам (предпраздничные покупки).

Перед уходом пробовал уговорить Есенина прожить праздники у меня на Бассейной.

Ответ был следующий:

— Видишь ли... Мне бы очень хотелось, чтобы эти дни мы провели все вместе. Мы с Жоржем (Устинов) ведь очень старые друзья, а вытаскивать его с женой каждый день на Бассейную, пожалуй, будет трудновато. Кроме того, здесь просторнее.

Вторично собрались часа в четыре дня. В комнате я застал, кроме упомянутых, самого Устинова и Ушакова (журналист, проживавший тут же, в «Англетере»). Несколько позже пришел Колобов. Дворник успел к тому

времени перевезти вещи Есенина сюда же. К девяти мы остались одни.

Часов до одиннадцати Есенин говорил о том, что по возрасту ему пора редактировать журнал, как Некрасову, о том, что он не понимает и не хочет понимать Анатоля Франса, и о том, что он не любит писем Пушкина.

— Понимаешь? Это литература! Это можно читать так же, как читаешь стихи. Порок Пушкина в том, что он писал письма с черновиками. Он был больше профессионалом, чем мы.

Говорили о Ходасевиче.

Из двух стихотворений — «Звезды» и «Баллада» — Есенин предпочел первое.

— Вот дьявол! Он мое слово украл! Ты понимаешь, я всю жизнь искал этого слова, а он нашел.

Слово это: жидколягая.

— А «Баллада»?

— Нет, «Баллада» не то! Это, брат, гофманщина! А вот первое — прелесть!

Незаметно заснули.

ПЯТНИЦА

Проснулись мы часов в шесть утра.

Первое, что я услышал от него в этот день:

— Слушай, поедем к Клюеву!

— Поедем.

— Нет верно, поедем?

— Ну да, поедем. Только попозже. Кроме того, имей в виду, что адреса его я не знаю.

— Это пустяки! Я помню... Ты подумай только: ссоримся мы с Клюевым при встречах кажинный раз. Люди разные. А не видеть его я не могу. Как был он моим учителем, так и останется. Люблю я его.

Часов до девяти лежа смотрели рассвет. Окна номера выходили на Исаакиевскую площадь. Сначала свет был густой синий. Постепенно становился реже и голубее. Есенин лежа напевал:

Синий свет, свет такой синий...[24]

В девять поехали. Пришлось оставить извозчика и искать пешком. Мы заходили в десятки дворов. Десятки дверей захлопывались у нас под носом. Десятки жильцов орали, что никакого Клюева, будь он трижды известный писатель (а на последнее Есенин очень напирал в объясне-

ниях), они не знают и знать не хотят. Номер дома, как водится, был благополучно забыт. Пришлось разыскать автомат и по телефону узнать адрес.

Подняли Клюева с постели. Пока он одевался, Есенин взволнованно объяснял:

— Понимаешь? Я его люблю! Это мой учитель. Ты подумай: учитель! Слово-то какое!

Несколько минут спустя:

— Николай! Можно прикурить от лампадки?

— Что ты, Сереженька! Как можно! На вот спички!

Закурили. Клюев ушел умываться. Есенин, смеясь:

— Давай подшутим над ним!

— Как?

— Лампадку потушим. Он не заметит! Вот клянусь тебе, не заметит.

— Нехорошо. Обидится.

— Пустяки! Мы ведь не со зла. А так, для смеха.

Потушил.

— Только ты молчи! Понимаешь, молчи! Он не заметит.

Клюев действительно не заметил.

Сказал ему Есенин об этом и просил у него прощения уже позже, когда мы втроем вернулись в гостиницу. Вслед за нами пришел художник Мансуров.

Есенин читал последние стихи.

— Ты, Николай, мой учитель. Слушай.

Учитель слушал.

Когда Есенин кончил читать, некоторое время молчали.

Он потребовал, чтобы Клюев сказал, нравятся ли ему стихи.

Умный Клюев долго колебался и наконец съязвил:

— Я думаю, Сереженька, что, если бы эти стихи собрать в одну книжечку, они стали бы настольным чтением для всех девушек и нежных юношей, живущих в России.

Ничего другого, по совести, он не мог и сказать.

Есенин помрачнел.

Ушел Клюев в четвертом часу. Обещал прийти вечером, но не пришел.

Пришли Устиновы. Елизавета Алексеевна принесла самовар. С Устиновыми пришел Ушаков и старик писатель Измайлов. Пили чай. Есенин снова читал стихи, в том числе и «Черного человека». Говорил:

— Снимем квартиру вместе с Жоржем. Тетя Лиза (Устинова) будет хозяйка. Возьму у Ионова журнал. Работать буду. Ты знаешь, мы только праздники побездельничаем, а там — за работу.

Перед сном снова беседа:

— Ты понимаешь? Если бы я был белогвардейцем, мне было бы легче! То, что я здесь, это — не случайно. Я — здесь, потому что я должен быть здесь. Судьбу мою решаю не я, а моя кровь. Поэтому я не ропщу. Но если бы я был белогвардейцем, я бы все понимал. Да там и понимать-то, в сущности говоря, нечего! Подлость — вещь простая. А вот здесь... Я ничего не понимаю, что делается в этом мире! Я лишен понимания!

СУББОТА

Вот тут я начинаю сбиваться. Пятница и суббота — в моей памяти — один день. Разговаривали, пили чай, ели гуся, опять разговаривали. Разговоры были одни и те же: квартира, журнал, смерть. Время от времени Есенин умудрялся понемногу доставать пиво, но редко и скудно: праздники, все закрыто. Кроме того, и денег у него было немного. А к субботе и вовсе не осталось. ⟨...⟩

Вечером:

— А знаешь, ведь я сухоруким буду!

Он вытягивает левую руку и старается пошевелить пальцами.

— Видал? Еле-еле ходят. Я уж у доктора был. Говорит — лет пять-шесть прослужит рука, может, больше, но рано или поздно высохнет. Сухожилия, говорит, перерезаны, потому и гроб.

Он помотал головой и грустно охнул:

— И пропала моя бела рученька... А впрочем, шут с ней! Снявши голову... как люди-то говорят?

ВОСКРЕСЕНЬЕ

С утра поднялся галдеж.

Есенин, смеясь и ругаясь, рассказывал всем, что его хотели взорвать. Дело было так.

Дворник пошел греть ванну. Через полчаса вернулся и доложил: «Пожалуйте!»

Есенин пошел мыться, но вернулся с криком, что его хотели взорвать. Оказывается, колонку растопили, но воды в ней не было — был закрыт водопровод. Пришла Устинова.

— Сергунька! Ты с ума сошел! Почему ты решил, что колонка должна взорваться?

— Тетя Лиза, ты пойми! Печку растопили, а воды нет! Ясно, что колонка взорвется!

— Ты дурень! В худшем случае она может распаяться.

— Тетя Лиза! Ну что ты, в самом деле, говоришь глупости! Раз воды нет, она обязательно взорвется! И потом, что ты понимаешь в технике!

— А ты?

— Я знаю!

Пустили воду.

Пока грелась вода, занялись бритьем. Брили друг друга по очереди. Елизавета Алексеевна тем временем сооружала завтрак.

Стоим около письменного стола: Есенин, Устинова и я. Я перетираю бритву. Есенин моет кисть. Кажется, в комнате была прислуга.

Он говорит:

— Да! Тетя Лиза, послушай! Это безобразие! Чтобы в номере не было чернил! Ты понимаешь? Хочу написать стихи, и нет чернил. Я искал, искал, так и не нашел. Смотри, что я сделал!

Он засучил рукав и показал руку: надрез.

Поднялся крик. Устинова рассердилась не на шутку.

Кончили они так:

— Сергунька! Говорю тебе в последний раз! Если повторится еще раз такая штука, мы больше незнакомы!

— Тетя Лиза! А я тебе говорю, что, если у меня не будет чернил, я еще раз разрежу руку! Что я, бухгалтер, что ли, чтобы откладывать на завтра!

— Чернила будут. Но если тебе еще раз взбредет в голову писать по ночам, а чернила к тому времени высохнут, можешь подождать до утра. Ничего с тобой не случится.

На этом поладили.

Есенин нагибается к столу, вырывает из блокнота листок, показывает издали: стихи.

Говорит, складывая листок вчетверо и кладя его в карман моего пиджака:

— Тебе.

Устинова хочет прочесть.

— Нет, ты подожди! Останется один, прочитает.

Вслед за этим пошли: ванна, самовар, пиво (дворник принес бутылок пять-шесть), гусиные потроха, люди. К чаю пришел Устинов, привел Ушакова. Есенин говорил почти весело. Рассказывал про колонку. Бранился с Устиновой, которая заставляла его есть.

— Тетя Лиза! Ну что ты меня кормишь? Я ведь лучше знаю, что мне есть! Ты меня гусем кормишь, а я хочу косточку от гуся сосать!

К шести часам остались втроем: Есенин, Ушаков и я.

Устинов ушел к себе «соснуть часика на два». Елизавета Алексеевна тоже.

Часам к восьми и я поднялся уходить. Простились. С Невского я вернулся вторично: забыл портфель. Ушакова уже не было.

Есенин сидел у стола спокойный, без пиджака, накинув шубу, и просматривал старые стихи. На столе была развернута папка. Простились вторично.

На другой день портье, давая показания, сообщил, что около десяти Есенин спускался к нему с просьбой: никого в номер не пускать.

ЭПИЛОГ

> На свете счастья нет, а есть покой и воля.
>
> *Пушкин* [25]

> Кладбище называлось «Воля».
>
> *Блок* [26]

> Запоздалый эпиграф.

Есенин погребен на Ваганьковом рядом с Ширяевцем, чью могилу, разумеется, никто не крал, а просто мы не сумели в тот раз найти.

Ноябрь 1928 — январь 1929

Е. А. УСТИНОВА

ЧЕТЫРЕ ДНЯ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕСЕНИНА

1

В ноябре месяце 1925 года вошел к нам в номер гостиницы «Англетер», в Ленинграде, поэт Сергей Александрович Есенин [1]. От былого здоровья, удали осталась только насмешливая улыбка, а волосы, те прекрасные, золотые волосы, совсем посерели, перестали виться, глаза тусклые, полны грусти, красноватые больные веки и хриплый, еле слышный голос.

— Сереженька, что с тобой?

— Болен я, тетя *, вот думаю лечиться скоро в Москве у лучших профессоров.

Он был такой исстрадавшийся, растерянный, неспокойный, все время что-нибудь перебирал руками. Пришел не один — с поэтом Н. П. Савкиным. Читал свои последние произведения.

В этот его приезд мы виделись два раза. В день отъезда он пел хрипловатым приглушенным голосом вместе с Савкиным рязанские частушки:

Что-то солнышко не светит,
Над головушкой туман,
Али пуля в сердце метит.
Али близок трибунал.

Эх доля-неволя,
Глухая тюрьма!
Долина, осина —
Могила темна.

---

* Есенин звал автора воспоминаний «тетей».

2

Через месяц, 24 декабря 1925 года, утром в десять — одиннадцать часов к нам почти вбежал в шапке и шарфе сияющий Есенин.

— Ты откуда, где пальто, с кем?

— А я здесь остановился. Сегодня из Москвы, прямо с вокзала. Мне швейцар сказал, что вы тут, а я хотел быть с вами и снял пятый номер. Пойдемте ко мне. Посидим у меня, выпьем шампанского. Тетя, ведь это по случаю приезда, а другого вина я не пью *.

Пошли к нему. Есенин сказал, что он из Москвы уехал навсегда, будет жить в Ленинграде и начнет здесь новую жизнь — пить вино совершенно перестанет. Со своими родственниками он окончательно расстался, к жене не вернется — словом, говорил о полном обновлении своего быта. У него был большой подъем. Вещи он оставил сначала у поэта В. Эрлиха и ждал теперь его приезда с вещами.

Есенин попросил у меня поесть, а потом мы с ним поехали вечером покупать продовольствие на праздничные дни. Есенин рассказывал о том, что стихов больше не пишет, а работает много над большой прозаической вещью — повесть или роман [2]. Я попросила мне показать. Он обещал показать через несколько дней, когда закончит первую часть. Рассказывал о замужестве своей сестры Кати, подшучивал над собой, что он-то уж избавлен от всякой женитьбы, так как три раза был женат, а больше по закону не разрешается.

Первый день прошел в воспоминаниях прошлого и в разговорах о ближайшем будущем. Поэта Эрлиха мы просили искать общую квартиру: для нас и Сергея Александровича.

Я сначала не соглашалась на такое общежитие **, но Есенин настаивал, уверяя, что не будет пить, что он в Ленинград приехал работать и начать новую жизнь.

В этот день мы разошлись довольно поздно, а на другой день (26 декабря) Есенин нас разбудил чуть свет, около пяти часов утра. Он пришел в красном халате, такой домашний, интимный. Начались разговоры о первых шагах его творчества, о Клюеве, к которому Есенин хотел не-

* Сергей Александрович редко пил шампанское, как дорогое вино.
** В 1919 г. Есенин жил в одной квартире с Устиновым.

медленно же ехать. С трудом его уговорили немного обождать, хотя бы до полного рассвета. Часов в семь утра он уехал к Клюеву.

Днем, в одиннадцать — двенадцать часов, в номере Есенина были Клюев, скульптор Мансуров и я. Мы сидели на кушетке и оживленно беседовали. Сергей Александрович познакомил меня с Клюевым:

— Тетя, это мой учитель, мой старший брат.

Я недолго была у Сергея Александровича. Как потом передавали, они сумели поспорить, но разошлись с тем, чтобы на другой день встретиться. Есенин назавтра говорил, что он Клюева выгнал. Это было не совсем так.

В тот день было немного вина и пива. Меня, помню, поразил один поступок Есенина: он вдруг запретил портье пускать кого бы то ни было к нему, а нам объяснил, что так ему надо для того, чтобы из Москвы не могли за ним следить.

Помню, заложив руки в карманы, Есенин ходил по комнате, опустив голову и изредка поправляя волосы.

— Сережа, почему ты пьешь? Ведь раньше меньше пил? — спрашивала я.

— Ах, тетя, если бы ты знала, как я прожил эти годы! Мне теперь так скучно!

— Ну, а твое творчество?

— Скучное творчество! — Он остановился, улыбаясь смущенно, почти виновато.— Никого и ничего мне не надо — не хочу! Шампанское, вот веселит, бодрит. Всех тогда люблю и... себя! Жизнь штука дешевая, но необходимая. Я ведь *«божья дудка»*.

Я попросила объяснить, что значит «божья дудка».

Есенин сказал:

— Это когда человек тратит из своей сокровищницы и не пополняет. Пополнять ему нечем и неинтересно. И я такой же.

Он смеялся с горькой складочкой около губ.

Пришел Г. Ф. Устинов с писателем Измайловым и Ушаковым, подошел Эрлих. Есенин читал свои стихи. Несколько раз прочел «Черного человека» в законченном виде, значительно сокращенном.

Разбирали вчерашний визит Клюева, вспоминали один инцидент. Н. Клюев, прослушав накануне стихи Есенина, сказал:

— Вот, Сереженька, хорошо, очень хорошо! Если бы их собрать в одну книжку, то она была бы настольной книгой всех хороших, нежных девушек.

Есенин отнесся к этому пожеланию неодобрительно, бранил Клюева, но тут же, через пять минут, говорил, что любит его. Вспоминая об этом сегодня, Есенин смеялся.

3

27-го я встретила Есенина на площадке без воротничка и без галстука, с мочалкой и с мылом в руках. Он подошел ко мне растерянно и говорит, что может взорваться ванна: там будто бы в топке много огня, а воды в колонке нет.

Я сказала, что, когда будет все исправлено, его позовут.

Я зашла к нему. Тут он мне показал левую руку: на кисти было три неглубоких пореза.

Сергей Александрович стал жаловаться, что в этой «паршивой» гостинице даже чернил нет, и ему пришлось писать сегодня утром кровью.

Скоро пришел поэт Эрлих. Сергей Александрович подошел к столу, вырвал из блокнота написанное утром кровью стихотворение и сунул Эрлиху во внутренний карман пиджака.

Эрлих потянулся рукой за листком, но Есенин его остановил:

— Потом прочтешь, не надо!

Позднее мы снова сошлись все вместе. Я была не все время у него, то выходила, то снова приходила. Вечером Есенин заснул на кушетке. За ужином Есенин ел только кости и уверял, что только в гусиных костях есть вкус. Все смеялись.

В этот день все очень устали и ушли от него раньше, чем всегда. Звали его к себе, он хотел зайти — и не пришел.

4

28-го я пошла звать Есенина завтракать, долго стучала, подошел Эрлих — и мы вместе стучались. Я попросила наконец коменданта открыть комнату отмычкой. Комендант открыл и ушел. Я вошла в комнату: кровать была не тронута, я к кушетке — пусто, к дивану — никого, поднимаю глаза и вижу его в петле у окна. Я быстро вышла. ⟨...⟩

3 января 1926 г.

В. В. МАЯКОВСКИЙ

ИЗ СТАТЬИ «КАК ДЕЛАТЬ СТИХИ?»

Есенина я знал давно — лет десять, двенадцать.

В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками крестиками. Это было в одной из хороших ленинградских квартир. Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более что он уже писал нравящиеся стихи и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы.

Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежи:

— Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло.

Что-то вроде:

— Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем... мы уж как-нибудь... по-нашему... в исконной, посконной...

Его очень способные и очень деревенские стихи нам, футуристам, конечно, были враждебны.

Но малый он был как будто смешной и милый.

Уходя, я сказал ему на всякий случай:

— Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!

Есенин возражал с убежденной горячностью. Его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться.

Есенин мелькал. Плотно я его встретил уже после революции у Горького. Я сразу со всей врожденной неделикатностью заорал:

— Отдавайте пари, Есенин, на вас и пиджак и галстук!

Есенин озлился и пошел задираться.

Потом стали мне попадаться есенинские строки и стихи, которые не могли не нравиться, вроде:

Милый, милый, смешной дуралей...[1] и т. д.
Небо — колокол, месяц — язык...[2] и др.

Есенин выбирался из идеализированной деревенщины, но выбирался, конечно, с провалами, и рядом с

Мать моя родина,
Я большевик...[3]

появлялась апология «коровы». Вместо «памятника Марксу» требовался коровий памятник [4]. Не молоконосной корове а-ля Сосновский, а корове-символу, корове, упершейся рогами в паровоз.

Мы ругались с Есениным часто, кроя его, главным образом, за разросшийся вокруг него имажинизм.

Потом Есенин уехал в Америку и еще куда-то и вернулся с ясной тягой к новому.

К сожалению, в этот период с ним чаще приходилось встречаться в милицейской хронике, чем в поэзии. Он быстро и верно выбивался из списка здоровых (я говорю о минимуме, который от поэта требуется) работников поэзии.

В эту пору я встречался с Есениным несколько раз, встречи были элегические, без малейших раздоров.

Я с удовольствием смотрел на эволюцию Есенина: от имажинизма к ВАППу. Есенин с любопытством говорил о чужих стихах. Была одна новая черта у самовлюбленнейшего Есенина: он с некоторой завистью относился ко всем поэтам, которые органически спаялись с революцией, с классом и видели перед собой большой и оптимистический путь.

В этом, по-моему, корень поэтической нервозности Есенина и его недовольства собой, распираемого вином и черствыми и неумелыми отношениями окружающих.

В последнее время у Есенина появилась даже какая-то явная симпатия к нам (лефовцам): он шел к Асееву, звонил по телефону мне, иногда просто старался попадаться.

Он обрюзг немного и обвис, но все еще был по-есенински элегантен.

Последняя встреча с ним произвела на меня тяжелое и большое впечатление. Я встретил у кассы Госиздата ринувшегося ко мне человека с опухшим лицом, со своро-

ченным галстуком, с шапкой, случайно держащейся, уцепившись за русую прядь. От него и двух его темных (для меня, во всяком случае) спутников несло спиртным перегаром. Я буквально с трудом узнал Есенина. С трудом увильнул от немедленного требования пить, подкрепляемого помахиванием густыми червонцами. Я весь день возвращался к его тяжелому виду и вечером, разумеется, долго говорил (к сожалению, у всех и всегда такое дело этим ограничивается) с товарищами, что надо как-то за Есенина взяться. Те и я ругали «среду» и разошлись с убеждением, что за Есениным смотрят его друзья — есенинцы.

Оказалось не так. Конец Есенина огорчил, огорчил обыкновенно, по-человечески. Но сразу этот конец показался совершенно естественным и логичным. Я узнал об этом ночью, огорчение, должно быть, так бы и осталось огорчением, должно быть, и подрассеялось бы к утру, но утром газеты принесли предсмертные строки:

В этой жизни умирать не ново,
Но и жить, конечно, не новей [5].

После этих строк смерть Есенина стала литературным фактом.

⟨1926⟩

КОММЕНТАРИИ

М. ГОРЬКИЙ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Личные встречи Алексея Максимовича Горького (1868—1936) с Есениным не были, видимо, особенно часты. Но творчество Есенина и сам он как человек постоянно занимали А. М. Горького.

Они познакомились в Петрограде в конце 1915 — начале 1916 года, и А. М. Горький сразу привлек молодого поэта к участию в только что организованном журнале «Летопись». В одном из первых номеров он намеревался опубликовать «Марфу Посадницу», но цензура запретила это произведение. Во второй книге журнала (февраль 1916 г.) появилось только стихотворение Есенина «Заглушила засуха засевки...».

Интерес к А. М. Горькому, к его творчеству пробудился у Есенина еще задолго до их личного знакомства. В 1914 году ему пришлось наблюдать, как восторженно встречали писателя рабочие сытинской типографии (см. об этом в воспоминаниях Н. А. Сардановского). Возможно, эти впечатления отразились и в его ответах на анкету о творчестве ряда писателей, в которой он отозвался об А. М. Горьком как о писателе, «которого не забудет народ» (см. об этом в воспоминаниях Л. М. Клейнборта).

Позже, в рецензии, посвященной первым сборникам пролетарских писателей, он отметил роль А. М. Горького как инициатора выпуска одного из них (см. *V*, 191). Даже в период 1917—1918 годов, когда «крестьянский уклон» Есенина, казалось бы, должен был развести его с А. М. Горьким, выдвигавшим совсем иные идеи, в частности, о роли крестьянства в революции,— нет ни одного свидетельства об отчуждении их друг от друга. Напротив, именно в это время, 24 декабря 1917 года, стихотворения

Есенина «То не тучи бродят за овином...» и «Заметает пурга...» появляются в горьковской «Новой жизни».

В июле 1925 года в письме, которое осталось неотосланным, Есенин писал А. М. Горькому: «Думал о Вас часто и много. ⟨...⟩ Я все читал, что Вы присылали Воронскому. Скажу Вам только одно, что вся Советская Россия всегда думает о Вас, где Вы и как Ваше здоровье. Оно нам очень дорого. ⟨...⟩ Желаю Вам много здоровья, сообщаю, что все *мы* следим и чутко прислушиваемся к каждому Вашему слову» (*VI*, 190). Об отношении Есенина к А. М. Горькому см. также воспоминания С. А. Толстой-Есениной в наст. изд.

Самоубийство Есенина произвело тяжелое впечатление на А. М. Горького. «Очень подавлен смертью Есенина»,— сообщал он И. А. Груздеву 9 января 1926 года (Архив А. М. Горького, т. XI, с. 29—30). «Если б Вы знали, друг мой,— писал он Ф. Элленсу 7 февраля 1926 года,— какие чудесные, искренние и трогательные стихи написал он перед смертью, как великолепна его поэма «Черный человек», которая только что вышла из печати. Мы потеряли великого русского поэта...» (там же, т. VIII, с. 99).

В трагической судьбе Есенина А. М. Горький видел не просто драму конкретного человека, а нечто большее — отражение глубоких социальных конфликтов.

Он внимательно следил за тем, что писалось о Есенине, просил своих корреспондентов присылать ему все, что появлялось в печати. 7 июля 1926 года он сообщал С. А. Толстой-Есениной: «Газетные статейки о нем я все собрал, вероятно — все. Это очень плохо. Не пришлете ли Вы мне несколько — две-три — наиболее бесстыдные и плохие книжки о нем? Я хотел бы кое-что сказать по поводу их» (*ЛР*, 1965, 1 октября). Однако выполнить это намерение он не смог. 8 декабря 1926 года, посылая ей свои воспоминания о Есенине, он писал: «Предполагал я написать статью о нем, а не воспоминания о встрече с ним, но статья потребовала бы много времени,— ведь о Есенине можно и следует сказать очень много. Но, к сожалению, нет у меня времени написать статью» (там же).

Подробнее об истории взаимоотношений А. М. Горького и Есенина см.: Земсков В. Горький и Есенин — журн. «Урал», 1961, № 6; Эвентов И. С. Есенин в оценке М. Горького — сб. «Есенин и русская поэзия». Л., 1967; Вайнберг И. А. М. Горький и Сергей Есенин — *ВЛ*, 1985, № 9.

Воспоминания были впервые опубликованы с сокращениями в «Красной газете», веч. вып. Л., 1927, 5 марта; полностью в кн.: Горький М. Воспоминания. Рассказы. Заметки. Berlin, Kniga, 1927. Печатаются по тексту издания: Горький М. Полн. собр. соч., т. 20. М., Наука, 1974, с. 62—69.

[1] Точная дата первой встречи А. М. Горького и Есенина не установлена. А. М. Горький пишет, что увидел его впервые вместе с Н. А. Клюевым. Следовательно, она состоялась не раньше октября 1915 г., когда Есенин после своего возвращения в Петроград из Константинова лично познакомился с Н. А. Клюевым. В феврале 1916 г. стихи Есенина печатаются в «Летописи». Тогда же он подарил А. М. Горькому «Радуницу» с надписью: «Максиму Горькому, писателю земли и человека, от баяшника соломенных суемов Сергея Есенина на добрую память. 1916 г. 10 февр. Пт.» (Личная библиотека А. М. Горького в Москве, кн. I. М., 1981, с. 151). Трудно предположить, что и публикация стихов в «Летописи», и дарственная надпись на книге не связаны с личными встречами, поэтому можно считать, что их знакомство состоялось между октябрем 1915-го и февралем 1916 г. Следовательно, слова в очерке «было лето, душная ночь», характеризующие время, когда произошла первая встреча,— ошибка памяти.

[2] Есенин и Айседора Дункан приехали в Берлин 11 мая 1922 г. Судя по дарственной надписи Есенина на отдельном издании «Пугачева»: «Дорогому Алексею Максимовичу от любящего Есенина. 1922, май 17, Берлин» (Личная библиотека А. М. Горького в Москве, кн. I. М., 1981, с. 151), их встреча на квартире А. Н. Толстого произошла 17 мая. Об этой встрече см. также воспоминания Н. В. Крандиевской-Толстой.

[3] Из стихотворения «Закружилась листва золотая...».

[4] Из стихотворения «Я обманывать себя не стану...».

[5] Эта строка и следующие цитируемые четыре строки — из стихотворения «Сыпь, гармоника. Скука... Скука...». У Есенина: «Что ж ты смотришь так синими брызгами?»

[6] *«Рай животных»* — рассказ французского писателя Франсиса Жамма, а не Поля Клоделя.

Н. В. КРАНДИЕВСКАЯ-ТОЛСТАЯ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И АЙСЕДОРА ДУНКАН

Наталья Васильевна Крандиевская-Толстая (1888—1963) — поэтесса, жена А. Н. Толстого в 1917—1938 годах.

Известна дарственная надпись Есенина на сб. «Голубень» (1918): «Н. Крандиевской с любовью. *Сергей Есенин.* P. S. Я не ошибся. Вы все-таки похожи на...» (журн. «Молодая гвардия». М., 1975, № 8, с. 209).

Воспоминания впервые опубликованы в альманахе «Прибой». Л., 1959, январь. Печатаются по тексту изд.: Крандиевская-Толстая Н. Воспоминания. Л., 1977, с. 194—203. Датируются по первой публикации.

[1] Точная дата этой встречи не установлена. В дневниках А. Н. Толстого она не зафиксирована (сообщено И. И. Щербаковой). Указание Н. В. Крандиевской-Толстой, что она относится к 1917 г., и упоминание в тексте стоящих на столе верб и великого поста дало основание некоторым исследователям предположить, что встреча состоялась в последних числах марта (вербное воскресенье приходилось в 1917 г. на 26 марта). Однако никто из московских литераторов не отмечает пребывания Есенина весной 1917 г. в Москве, нет сведений об этой поездке и в переписке Есенина.

Воспоминания Н. В. Крандиевской-Толстой являются единственным свидетельством о приезде Есенина и Н. А. Клюева в Москву весной 1917 г. Определение точного времени данной встречи требует поиска дополнительных документальных источников.

[2] Встреча состоялась 17 мая 1922 г. Ее подробно описывает в своих воспоминаниях М. Горький.

[3] Из письма А. С. Пушкина к П. А. Вяземскому (вторая половина мая 1826 г.).

ФРАНЦ ЭЛЛЕНС

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН И АЙСЕДОРА ДУНКАН

Франц Элленс (наст. имя Фредерик Ван Эрманжан; 1881—1972) — видный бельгийский прогрессивный писатель. В русских переводах выходили его произведения «Жестокости жизни» (1916), «Басс-Бассина-Булу» (1925) и др. В течение длительного времени он находился в переписке с А. М. Горьким (см. Архив А. М. Горького, т. VIII, с. 90—105).

Ф. Элленс познакомился с Есениным в 1922 году в Париже и тогда же вместе со своей женой, М. М. Милославской, занялся переводами на французский язык его стихотворений и поэм. Они печатались тогда в ряде парижских журналов и газет. В частности, в «Юманите» 5 ноября 1922 года был опубликован перевод стихотворения «Я покинул родимый дом...». Сборник Есенина в их переводе вышел в Париже в 1922 году. (Serge Essenine. La confession d'un voyou. Préface de Franz Hellens. Traduit du russe par Marie Miloslawsky et Franz Hellens. Paris. Y. Pavolozky. 1922).

Смерть Есенина произвела на Ф. Элленса тяжелое впечатление. «Дошла ли уже до Вас весть о самоубийстве Есенина? — спрашивал он 30 декабря 1925 г. А. М. Горького. — Нас она сильно потрясла» (Архив А. М. Горького, т. VIII, с. 97). А. М. Горький ответил ему: «Царь Давид хорошо сказал в одном из своих псалмов про «ложь во спасение». Будь у меня возможность так солгать

Сергею Есенину, чтобы эта ложь спасла его от смерти, я бы сделал это, разумеется» (там же, с. 99).

Воспоминания впервые напечатаны в газ. «Les Nouvelles littéraires, artistiques et scientifiques», Paris, 1927, 22 octobre, № 262. Перевод осуществлен составителем по этому тексту.

[1] Айседора Дункан погибла в Ницце 14 сентября 1927 г.

[2] Во французском оригинале — опечатка или описка автора: время знакомства отнесено к 1924 г. В Париже Есенин был вместе с Айседорой Дункан в конце июля и со второй половины августа по сентябрь 1922 г. На эти месяцы и приходятся его встречи с Ф. Элленсом.

[3] Из стихотворения «Хулиган».

[4] Из стихотворения «Кобыльи корабли».

[5] Из стихотворения «Исповедь хулигана».

[6] Из рецензии А. Н. Толстого на сб. Есенина «Исповедь хулигана» и «Трерядница» (журн. «Новая русская книга». Б., 1922, № 1, январь, с. 16).

М. О. МЕНДЕЛЬСОН

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Морис Осипович Мендельсон (1904—1982) — критик и литературовед, специалист по американской литературе. В 1922—1931 годах жил в Америке, где в 1922 году вступил в коммунистическую партию США. С 1931 года жил и работал в СССР. С 1932 года — член КПСС.

Воспоминания впервые напечатаны в *ВЛ*, 1984, № 3. Печатаются по этому тексту.

[1] Первое время по приезде в Нью-Йорк Есенин и Айседора Дункан жили в известном отеле «Валдорф-Астория». В США они пробыли с 1 октября 1922 г. по 4 февраля 1923 г.

[2] Здесь и далее имеется в виду статья А. Ярмолинского «Есенин в Нью-Йорке», опубликованная в «Новом журнале». Нью-Йорк, 1957, кн. 51, с. 112—119. А. Ярмолинский назвал там А. Ветлугина «приятелем» Есенина. Это неверно. Глубокое расхождение А. Ветлугина с Есениным, их несогласие по самым кардинальным вопросам видно из письма А. Ветлугина к Есенину, присланного уже после возвращения поэта в Москву. «Ты еще в революции,— писал он 6 октября 1923 г.— Я уже на «отмели времен», где вопреки мнению тишайшего Лундберга — увы или ура — не осталось даже «отвращения к косности» ⟨...⟩. Ты ушел в Москву («творчество»). Я еду в ненавистную тебе Америку

⟨...⟩. Ты и подлинно «скиф», меня же веселит отель, бар, аэроплан, шелковое женское белье ⟨...⟩. Во всем этом самым серьезным образом я полагаю единственную реальную ценность. Это уже не красноречие и не мелодекламация. Быть Рокфеллером значительнее и искреннее, чем Достоевским, Есениным и т. д. И в этом мое расхождение с тобой» (*ВЛ*, 1977, № 6, с. 234—235). Цинизм А. Ветлугина, его преклонение перед тем, что вызывало яростнейшие проклятия Есенина, не могли, конечно, способствовать их дружбе. Он был явно чужд Есенину, и его общество (а пути их скрестились еще в самом начале зарубежной поездки, в Берлине) не только не скрашивало, а скорее усугубляло то духовное одиночество, которое так тяготило Есенина во время его зарубежной поездки.

[3] Этот сборник Есенин привез с собой (см. воспоминания И. В. Грузинова и примеч. 25 к ним).

[4] О попытке Есенина выпустить сборник своих стихов в Америке — см. его письмо к А. Ярмолинскому и примеч. к нему (*VI*, 132, 318—319).

И. И. ШНЕЙДЕР

ИЗ КНИГИ «ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ»

Илья Ильич Шнейдер (1891—1980) — журналист, театральный работник. Летом 1921 года он был прикомандирован к приехавшей в Москву Айседоре Дункан и помогал ей в организации школы танца. Впоследствии, после отъезда А. Дункан из России, руководил студией, затем Московским театром-студией им. Айседоры Дункан, существовавшим до 1949 года. Познакомился с Есениным в ноябре 1921 года.

Воспоминания впервые опубликованы в журн. «Москва», 1960, № 10. В расширенном виде под заглавием «Встречи с Есениным» были выпущены отдельным изданием (М., Советская Россия, 1965). В наст. изд. печатаются с сокращениями по тексту кн.: Шнейдер Илья. Встречи с Есениным. М., Советская Россия, 1974.

[1] Перефразирована первая строка стихотворения М. Ю. Лермонтова «Благодарность». Местонахождение экземпляра «Пугачева» с дарственной надписью А. Дункан неизвестно. На такой же книге, подаренной Ирме Дункан, Есенин написал: «Ирме от черта. *С. Есенин*» (см.: журн. «Молодая гвардия». М., 1975, № 8, с. 209).

[2] Брак Есенина и А. Дункан был заключен 2 мая 1922 г.

[3] Есенин и А. Дункан вылетели из Москвы в Кенигсберг 10 мая 1922 г. и вернулись в Москву 3 августа 1923 г.

[4] Речь идет об инциденте в берлинском Доме искусств 12 мая 1922 г. Когда Есенин и Дункан появились в зале, то часть публики решила приветствовать их пением «Интернационала». В ответ на это какой-то хроникер из крайне правой эмигрантской газеты «Руль» стал шикать, некоторые из присутствовавших его поддержали. «Лицом к лицу, как па очной ставке, столкнулись два полюса русской мысли, два мироощущения, два мира,— рассказывал об этом случае один из журналистов.— Широко открытыми, недоумевающими и негодующими глазами смотрела гениальная актриса на непонятное зрелище, развернувшееся перед ней, и горячо вступился за революционную Россию ее вдохновенный певец, любимый и верный сын» (газ. «Накануне». Берлин, 1922, 14 мая). Пытаясь унять разгоравшийся скандал, Есенин поднялся на стол и начал читать стихи. Эта история была превращена в сенсацию и долго муссировалась буржуазной печатью.

[5] В автобиографии, написанной в Берлине 14 мая 1922 г., Есенин писал: «В РКП я никогда не состоял, потому что чувствую себя гораздо левее» (*V,* 221). В духе подобных имажинистских эпатажей выдержана, по сути дела, вся автобиография.

[6] Из Москвы на гастроли в Кисловодск А. Дункан выехала 14 августа 1923 г., через 11 дней после возвращения из-за рубежа. 20 августа Есенин писал ей: «Дорогая Изадора! Я очень занят книжными делами, приехать не могу. Часто вспоминаю тебя со всей моей благодарностью тебе. С Пречистенки я съехал сперва к Колобову, сейчас переезжаю на другую квартиру, которую покупаем вместе с Мариенгофом. Дела мои блестящи. Очень многого не ожидал» (*VI,* 138).

Г. А. БЕНИСЛАВСКАЯ

ВОСПОМИНАНИЯ О ЕСЕНИНЕ

Галина Артуровна Бениславская (1897—1926) — журналистка, литературный работник.

Об истории жизни Г. А. Бениславской рассказывает ее близкая знакомая Я. М. Козловская: «Галинина мать — грузинка, отец — обрусевший француз, Карьер. Так как мать психически заболела, то ее сестра Нина Поликарповна Зубова (по фамилии первого мужа), врач по профессии, решила взять Галю к себе и удочерить. Ее муж, тоже врач, Артур Казимирович Бениславский стал приемным отцом Гали. Он ее очень полюбил и окружил вниманием и заботой. С Галей я дружила с четвертого класса гимназии и до ее смерти. Под моим влиянием и влиянием моих родителей (они старые большевики) Галя в мае 1917 года вступила в партию. Окончив в 1917 году гимназию и стремясь

к самостоятельности (с приемными родителями у нее возникли политические разногласия), она уехала в Харьков и поступила там на естественный факультет университета. Вскоре Харьков заняли белые. Галя мечтала выбраться из города и направилась в сторону расположения советских войск. Белые ее арестовали, и ее спас случай. Когда Галю привели в штаб белых, она совершенно неожиданно встретила там своего приемного отца Бениславского. Он сказал, что это его дочь, и ее тут же освободили. Позже она попросила Бениславского помочь ей перебраться через линию фронта. И хотя он не разделял ее взглядов, в нем победила любовь к приемной дочери, и он выдал ей удостоверение сестры милосердия Добровольческой армии. С этим удостоверением она добралась до наших войск, и тут ее арестовали наши. Подозрения вызвало удостоверение сестры милосердия. Из беды ее выручил мой отец, на которого она сослалась. Он дал телеграмму, в которой сообщал, что она член партии и преданный революции человек. Приехав в Москву, она стала работать в Чрезвычайной комиссии, у Крыленко. Ее рекомендовал ему мой отец. Галя там работала с 1919 по 1923 годы. В 1923 году она перешла на работу в газету «Беднота», где я была ответственным секретарем редакции. В «Бедноте» Галя работала до конца своей жизни» (журн. «Литературная Грузия». Тбилиси, 1969, № 5-6, с. 187—189).

В Москве Г. А. Бениславская часто бывала на литературных вечерах и концертах. На одном из таких вечеров она услышала выступление Есенина, которое произвело на нее большое впечатление. В конце 1920 года в кафе «Стойло Пегаса» состоялось их личное знакомство. Вскоре Г. А. Бениславская вошла в круг близких ему людей. После возвращения из зарубежной поездки и разрыва с А. Дункан Есенин жил у нее, в Брюсовском переулке. здесь же жили и его сестры — Катя и Шура. Летом 1925 года перед женитьбой на С. А. Толстой Есенин порвал отношения с Г. А. Бениславской. Она тяжело переживала это, лечилась от нервного расстройства, на время уезжала из Москвы. Не было ее здесь и во время похорон поэта. В декабре 1926 года она покончила с собой на могиле Есенина, оставив записку: «3 декабря 1926 года. Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после этого еще больше собак будут вешать на Есенина... Но и ему, и мне это все равно. В этой могиле для меня все самое дорогое...» (*РЛ*, 1970, № 3, с. 171).

Г. А. Бениславская была знакома с Есениным на протяжении пяти лет, но действительно заметное место в его жизни, в жизни его семьи она занимала в 1924-м и первой половине 1925 г. «Галя милая! — писал ей Есенин 15 апреля 1924 г.— Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного» (*VI*, 143).

В этот период она активно занималась литературными делами Есенина. Он доверял ей вести переговоры с редакциями, заключать договора на издания. Письма Есенина к Г. А. Бениславской полны поручений и разного рода просьб: подобрать стихи для тех или иных изданий, сообщить литературные новости. Немало внимания она уделяла организации материальной стороны жизни поэта, его быта. Но все же не следует, как это иногда делается, преувеличивать роль, которую Г. А. Бениславская играла в жизни Есенина, вряд ли справедливо говорить о «безграничном доверии» поэта к ней или о ее «плодотворном влиянии». Дело было сложнее.

Во всех письмах Есенина к Г. А. Бениславской ощутима та дистанция, ближе которой он не допускал ее к своим делам, к своему творчеству. Литературные советы, которые она нередко давала, он, как правило, оставлял без внимания. А в одном из писем в связи с ее замечаниями о «неотделанности» формы «Поэмы о 36» резко заметил: «Не говорите мне необдуманных слов, что я перестал отделывать стихи. Вовсе нет. Наоборот, я сейчас к форме стал еще более требователен. Только я пришел к простоте...» (*VI*, 167). Г. А. Бениславская чувствовала, что Есенин далеко не во всем готов был следовать ее советам. «Вы ведь теперь глухим стали,— писала, например, она Есенину 6 апреля 1924 г.,— никого по-настоящему не видите, не чувствуете. Не доходит до Вас. Поэтому говорить с Вами очень трудно (говорить, а не разговаривать). Вы все слушаете неслышащими ушами; слушаете, а я вижу, чувствую, что Вам хочется скорее кончить разговор» (*РЛ*, 1970, № 3, с. 181).

В своих отношениях с Есениным она претендовала не просто на роль друга, но на роль друга *единственного*. А для Есенина личная и творческая независимость была одной из высочайших ценностей, он ее всегда отстаивал. Безусловная самоотверженность Г. А. Бениславской, ее безоглядная преданность и любовь к Есенину порой превращались в свою противоположность. И определенный интерес ее воспоминаний отчасти в том и состоит, что с их помощью лучше и полнее можно представить себе ту обстановку, в которой немалое время пришлось жить поэту, тот остракизм, которому были подвергнуты все его друзья и знакомые.

Эти взгляды Г. А. Бениславской нашли отражение в том предельном субъективизме, с которым она пишет, по сути дела, о всех знакомых. Она уделяет много места рассказам о том, как самые разные лица из окружения Есенина пытались всяческими способами разрушить их отношения, оторвать Есенина от нее. Она обвиняет в этом и имажинистов, и П. В. Орешина с А. А. Ганиным, и Н. А. Клюева, и А. М. Сахарова, и даже сестру поэта Екатерину Александровну. Болезненная субъективность Г. А. Бениславской

наложила значительный отпечаток на то, в каком свете предстают перед нами в ее воспоминаниях А. К. Воронский, Н. А. Клюев, А. Дункан, И. Вардин и другие лица. Это, разумеется, должно постоянно учитываться при обращении к ее воспоминаниям.

Воспоминания были написаны в 1926 году. Судя по пометам на рукописи, Г. А. Бениславская поначалу намеревалась построить их не в хронологическом порядке, а написать нечто вроде отдельных картин из жизни Есенина. Потом она отказалась от этого замысла и попыталась придать воспоминаниям хронологическую последовательность, приписала страницы о выступлениях Есенина в консерватории и Политехническом музее, о первых встречах с ним. Но работу над воспоминаниями она не завершила. Отдельные страницы находятся вне связи с текстом, встречаются пропуски и несогласованные между собой отрывочные записи.

Воспоминания Г. А. Бениславской часто цитируются в работах о Есенине (наиболее широко — *Хроника, 1, 2*), но самостоятельно опубликованы они не были. Печатаются с сокращениями по рукописи *(ЦГАЛИ)*.

[1] Этот вечер состоялся 4 ноября 1920 г.

[2] Из стихотворения «Хулиган».

[3] Первая строка «Сорокоуста».

[4] Об этом вечере см. также в воспоминаниях М. Д. Ройзмана.

[5] Почему Есенин относил свой литературный дебют именно к 10 декабря 1913 г., не установлено. Первое известное в настоящее время выступление Есенина в печати относится к январю 1914 г., когда в детском журнале «Мирок» было опубликовано его стихотворение «Береза». Известно, что Есенин предпринимал попытки печататься и до этого. Так, в письме к Г. А. Панфилову, которое условно датируется сентябрем — октябрем 1913 г., он писал: «Я все дожидался, чтобы послать тебе вырезку из газеты со своим стихотворением, но оказывается, это еще немного продолжится. Пришлю после» (*VI*, 44). О каких публикациях идет речь в данном случае, также точно сказать нельзя. Приблизительно в это время в большевистской газете «Наш путь» (М., 1913, 30 августа) появились два стихотворения «В эту ночь» и «Уйти бы...», которые были подписаны инициалами «А. Т.». Поскольку одна из строф первого стихотворения очень близка к строфе бесспорно принадлежащего Есенину стихотворения «С добрым утром!», было высказано предположение о принадлежности поэту и этих двух стихотворений (см. *IV*, 308). Вполне вероятно, что были и еще какие-то попытки Есенина выступить в печати в конце 1913 г., но они пока не установлены.

Записка Есенина окончательно подготовлена не была, и никаких чествований не проводилось.

[6] Из стихотворения «Несказанное, синее, нежное...».

[7] Эти размышления Г. А. Бениславской продиктованы в значительной степени стремлением ответить на те статьи, появившиеся вскоре после смерти поэта, авторы которых пытались доказать «несозвучность» Есенина современности, обвиняли его в пессимизме, в отсталости и непонимании путей развития Советской страны, говорили о «чуждости» его поэзии. Внутренне как бы соглашаясь с подобными оценками и пытаясь защитить Есенина, Г. А. Бениславская пытается обвинить близких ему людей в том, что ему «не помогли разобраться». Между тем в такой защите Есенин не нуждался. Ее слова, что Есенин так и не нашел «выход из тупика», что ему «нечем стало жить», не вяжутся с фактами его биографии и творчества. Именно в это время, в 1924 г. он как самое крупное достоинство писателя оценивает способность «воспринимать биение пульса нашей эпохи» (*V*, 208). И в своем творчестве со всей очевидностью доказывает это. Такие произведения, как «Возвращение на родину», «Русь советская», «Стансы», «Ленин» и многие другие, ясно говорят, что никакого тупика в его творчестве не было, что он хорошо понимал и с радостью приветствовал то новое, что входило в жизнь страны. Другое дело, что, когда Есенин сталкивался с недоверием, с недооценкой тех произведений, в которых он ясно говорил о своем отношении к социалистическому переустройству страны, где открыто звучала его тяга к новому, то это действительно обижало и надолго выбивало его из колеи.

[8] Речь идет об обстоятельствах, связанных с публикацией в журнале «Октябрь» «Песни о великом походе» (см. примеч. 14).

[9] Из стихотворения «Теперь любовь моя не та...».

[10] Из стихотворения «Свищет ветер, серебряный ветер...».

[11] Слова из стихотворения «Мне осталась одна забава...».

[12] В это время шла напряженная полемика вокруг вопроса о политике партии в области литературы. Еще в феврале 1924 года группа литераторов-«напостовцев» (Л. Авербах, А. Безыменский, Ил. Вардин, Б. Волин, С. Ингулов, Г. Лелевич, Ю. Либединский, С. Родов) опубликовала коллективную статью, в которой утверждалось, что партия не проводит четкой политики в области художественной литературы. «Во всех других областях общественной жизни партия проводит общую политику, а в области искусства — полнейший разнобой, отсутствие какой-нибудь линии... Если же партия кой-какие директивы и давала, то они *на практике* искажались...» — говорилось в этой статье. Самовольно взяв себе право говорить от имени партии, эти литераторы заявляли, что задачи литературной политики партии должны сводиться к следующему: «1. Перенесение внимания главным образом на

пролетарскую литературу, всяческое содействие и предоставление ей необходимых условий для дальнейшего развития; 2. Решительное отмежевание наших изданий от литературных произведений, лишенных революционно-общественного значения и особенно извращающих социальные, политические и бытовые черты русской революции». При этом к подобным произведениям они относили абсолютное большинство того, что создавалось писателями-«попутчиками», в частности, «крестьянскими писателями». В этой статье о них прямо говорилось: «К сожалению, больше всего пока среди них выявляются как раз элементы «мужицкого» консерватизма и даже реакции (С. Есенин, Н. Клюев, П. Орешин и др.)» (см.: Правда. М., 1924, 19 февраля).

Подобные притязания вызвали резкий отпор со стороны многих писателей и критиков. К середине 1924 г. полемика еще больше обострилась. Она, в частности, развернулась между А. К. Воронским и «напостовцами», которые обвиняли критика в недооценке пролетарских писателей и потворствовании «попутчикам». «Напостовцы» настойчиво требовали отстранения А. К. Воронского от поста редактора журнала «Красная новь». 9—10 мая 1924 г. при отделе печати ЦК РКП(б) состоялось совещание, посвященное политике партии в области художественной литературы. В этой связи Есенин, вместе с А. Н. Толстым, Вс. В. Ивановым, М. М. Пришвиным, Н. С. Тихоновым и другими писателями, подписал письмо в Отдел печати ЦК РКП(б), в котором говорилось: «Мы считаем, что литература должна быть отразителем той новой жизни, которая окружает нас, — в которой мы живем и работаем, — а с другой стороны, созданием индивидуального писательского лица, по-своему воспринимающего мир и по-своему его отражающего. Мы полагаем, что талант писателя и его соответствие эпохе — две основных ценности писателя...» (сб. «К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе». М., 1924, с. 106). Хотя в резолюции этого совещания было отмечено, что «приемы борьбы с «попутчиками», практикуемые журналом «На посту», отталкивают от партии и советской власти талантливых писателей» (там же, с. 108), «напостовцы» не прекратили своих сектантских нападок. Они, в частности, добились, что в сентябре 1924 г. в состав редколлегии журнала «Красная новь» был введен Ф. Ф. Раскольников. Это вызвало отрицательную реакцию со стороны многих писателей. А. М. Горький, например, отвечая на предложение Ф. Ф. Раскольникова продолжить сотрудничество в «Красной нови», писал ему 26 января 1925 г.: «...мое отношение к искусству слова не совпадает с Вашим, как оно выражено Вами в речи Вашей на заседании «Совещания», созванного Отделом печати ЦК 9 мая 24 г. Поэтому сотрудничать в журнале, где Вы, по-видимому, будете играть

командующую роль, я не могу» (Архив А. М. Горького, т. X, кн. 2, с. 82). Близкую позицию занимал и Есенин. Уезжая в сентябре 1924 г. на Кавказ, он оставил В. В. Казину доверенность: «В случае изменения в журнале «Красная новь» линии Воронского уполномочиваю В. Казина *ставить или не ставить*, присоединять мою подпись к подписям о выходе из состава сотрудников» (*VI*, 152). Сектантская позиция «напостовцев», их догматизм и вульгаризаторский подход к литературе были осуждены в известной резолюции ЦК РКП(б) от 18 июня 1925 года «О политике партии в области художественной литературы».

[13] Сохранились наброски двух статей Есенина «О советских писателях» (см. *V*, 208—211) и «Россияне» (см. *Хроника, 2*, 281—282), которые в данном случае могла иметь в виду Г. А. Бениславская. Однако направлены эти статьи не против «Октября», а против журнала «На посту».

[14] Г. А. Бениславская односторонне и субъективно освещает историю публикации «Песни о великом походе». Она сама по свежим следам иначе излагала ее. 13 ноября 1924 г. она писала В. И. Эрлиху: «С «Песнью» вышло недоразумение, и не из приятных: С. А. дал ее в журнал «Октябрь», они поместили в № 3, а потом выяснилось, что она напечатана в петербургской «Звезде». «Октябрь» рвет и мечет. А сегодня я нашла в письмах, полученных на имя С. А. после его отъезда, письмо из «Звезды»: «Дорогой Есенин! В чем дело с твоей поэмой? Почему ты не хочешь печатать ее в «Звезде»? Если дело в измененной редакции — так не будешь ли добр прислать ее? «Звезда» намеревается пустить ее в октябрьской книге. Если в течение ближайших дней я не получу от тебя никаких новых известий, я сдам поэму в набор. Майский настаивает на этом». Письмо помечено 18 сентября. Теперь мне ясно, что С. А. именно потому и не хотел ее печатать, что сдал в «Октябрь» (альм. «Белые ночи». Л., 1973, с. 267).

Поэма была написана в июле 1924 г., во время пребывания Есенина в Ленинграде. Тогда же он передал ее для публикации в журнал «Звезда» (см. примеч. 8 к воспоминаниям В. И. Эрлиха). В начале августа после возвращения в Москву он познакомил с поэмой И. Вардина и А. А. Берзинь, которая предложила поместить поэму в «Октябре», на что Есенин ответил согласием (см. *Хроника, 2*, 136). 14 августа Есенин просил одного из своих знакомых передать в редакцию «Звезды», чтобы поэму не печатали (см. *VI*, 149). 3 сентября 1924 г. он уехал на Кавказ. Письмо, пришедшее из «Звезды», ему переслано не было. Не получив от него ответа, редакция «Звезды» поэму напечатала. Так получилось, что поэма практически одновременно была напечатана в двух журналах. Предположение Г. А. Бениславской, что переда-

ча рукописи поэмы в «Октябрь» произошла как бы втайне от поэта, и что ее публикация в этом журнале была вызвана только полученным авансом и невозможностью его вернуть, является необоснованным. Подробнее см. *ВЛ,* 1977, № 6, с. 236—246.

[15] Речь идет о несчастном случае, который произошел в начале февраля 1924 г., когда Есенин сильно поранил себе руку (см. об этом в воспоминаниях А. А. Есениной и др.). Г. М. Герштейн — врач, наблюдавший Есенина в Шереметевской больнице (ныне — Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского). В этой больнице Есенин лежал до начала марта, потом его перевели в Кремлевскую больницу.

[16] И. Вардин принадлежал к группе литераторов-«напостовцев» и не раз выступал в печати с критикой творчества Есенина. Он, например, был в числе подписавших известную статью о политике партии в литературе (см. выше, примеч. 12), в другой статье он советовал Есенину «усвоить основы пролетарской идеологии, хотя бы в размере уездной совпартшколы» (журн. «На посту». М., 1924, № 1 (5), май, стлб. 13). Чуждый групповой узости Есенин умел подниматься выше перепалок по подобным поводам. В письме к Е. А. Есениной от 17 сентября 1924 г., которое в данном случае имеет в виду Г. А. Бениславская, он, в частности, писал: «Вардин ко мне очень хорош и очень внимателен. Он чудный, простой и сердечный человек. Все, что он делает в литературной политике, он делает как честный коммунист. Одно беда, что коммунизм он любит больше литературы» (*VI*, 154).

[17] В этот день Есенин уезжал в Ленинград, где пробыл около недели.

А. К. ВОРОНСКИЙ

ПАМЯТИ ЕСЕНИНА

Александр Константинович Воронский (1884—1943) — литературный критик и публицист. В годы встреч с Есениным был редактором журналов «Красная новь» и «Прожектор», возглавлял издательство «Круг». Член РСДРП с 1904 года. В 1925—1928 годах примыкал к троцкистской оппозиции, в связи с чем был исключен из партии. Впоследствии отошел от оппозиции и был восстановлен в партии.

Есенин познакомился с А. К. Воронским осенью 1923 г. Его сотрудничество в журнале «Красная новь» началось раньше. После того как во втором номере журнала за 1922 год было напечатано стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу..», это издание стало одним из основных, где предпочитал публиковаться

Есенин. В 1923—1925 годах в нем было напечатано более сорока его произведений.

А. К. Воронский высоко ценил творчество Есенина. В статье «Об отошедшем», открывавшей его посмертное собрание сочинений, он писал: «Стихи и песни Есенина были хорошо известны читающей России. Даже те, кому наиболее чуждыми казались его основные поэтические настроения, не могли равнодушно отнестись к его творчеству: его стихи доходили, цеплялись за сердце и находили отклик у каждого по-своему. ⟨...⟩ Есенин сумел свою любовь к родимому краю передать в стихе, простом, доступном и захватывающем искренностью, напряжением и лиризмом. ⟨...⟩ И если теперь в нашей молодой советской литературе у целых групп поэтической молодежи находим почти вещное чувствование нашей природы, орнамент, примитив, склонность к народному сказу в прозе, к выпуклой образности и изобразительности, тягу к деревне, к простоте и ясности в поэзии, которые особенно усиливаются за последнее время, то нетрудно заметить, что эта художественная линия в значительной степени идет от названной группы писателей, в среде которых Есенин в поэзии занял по праву первое место». Однако в таких произведениях Есенина, как «Стансы» и др., критик необоснованно усматривал неискренность (см. об этом подробнее во вступ. ст.).

Несмотря на эти расхождения, Есенин с большим интересом относился к критическим суждениям А. К. Воронского. Когда осенью 1924 года возникло предположение об уходе А. К. Воронского из «Красной нови», Есенин писал сестре: «Мне страшно будет неприятно, если напостовцы его съедят» (*VI*, 154). Подробнее см. примеч. 12 к воспоминаниям Г. А. Бениславской.

Есенин посвятил А. К. Воронскому свое крупнейшее произведение последнего периода — поэму «Анна Снегина». К сожалению, до нас не дошли письма Есенина к критику (то, что они были,— установлено документально).

Воспоминания были впервые опубликованы в журн. «Красная новь», М.— Л., 1926, № 2, февраль, с. 207—214. Печатаются по тексту кн.: В о р о н с к и й А. Литературные записи. М., 1926, с. 146—155. Датируются по первой публикации.

[1] Речь идет об очерке «Железный Миргород», напечатанном в газ. «Известия». М., 1924, 22 августа и 16 сентября.

[2] Неточная цитата из стихотворения «Голубая да веселая страна...». В статье «Об отошедшем» А. К. Воронский рассказывает: «В Баку за несколько месяцев до своей смерти на дружеской вечеринке Есенин читал персидские стихи. Среди других их слушал тюркский собиратель и исполнитель народных песен старик Джабар. У него было иссеченное морщинами-шрамами

лицо, он пел таким высоким голосом, что прижимал к щеке ладонь левой руки, а песни его были древни, как горы Кавказа, фатальны и безотрадны своей восточной тоской и печалью. Он ни слова не знал по-русски. Он спокойно и бесстрастно смотрел на поэта и только шевелил в ритм стиха сухими губами. Когда Есенин окончил чтение, Джабар поднялся и сказал по-тюркски, как отец говорит сыну: «Я старик. Тридцать пять лет я собираю и пою песни моего народа. Я поклоняюсь пророку, но больше пророка я поклоняюсь поэту: он открывает всегда новое, неведомое и недоступное пока многим. Я не понимаю, что ты читал нам, но я почувствовал и узнал, что ты большой, очень большой поэт. Прими от старика поэта преклонение пред высоким даром твоим».

[3] Об этом случае, происшедшем во время встречи Есенина с Н. А. Клюевым, рассказывает в своих воспоминаниях В. И. Эрлих.

[4] См. прим. 4 к воспоминаниям И. И. Шнейдера.

[5] Эти наброски Есенина не сохранились.

[6] Неточная цитата из стихотворения «Снова пьют здесь, дерутся и плачут...», написанного в 1922 г. Курсив автора воспоминаний.

[7] Это библейское выражение, приведенное автором в свободном изложении (см.: Матф., II, 18), означает безутешный плач матери по своим детям.

ВСЕВОЛОД ИВАНОВ

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ *

Всеволод Вячеславович Иванов (1895—1963) познакомился с Есениным, видимо, в 1923 году. Вскоре между писателями установились тесные дружеские отношения. Есенин высоко ценил многие произведения Вс. В. Иванова, писал о его «глубокой талантливости», особо подчеркивая, что «язык его сжат и насыщен образами, материал его произведений свеж и разносторонен» (*V*, 211). Есенин видел в Вс. В. Иванове творчески близкого себе человека. Предлагая Госиздату организовать выпуск альманаха «Поляне», он писал Н. Н. Накорякову 27 марта 1925 года: «Редколлегия окончательно сконструирована в таком виде: Вс. Иванов, Пав. Радимов и я. Список ближайших сотрудников будет представлен Вс. Ивановым или Наседкиным» (*VI*, 181).

Как сообщила Т. В. Иванова, Вс. В. Иванов всегда вспоминал о Есенине с нежностью, собирал книжки его стихов. Он сам переплел в отдельный том семь сборников Есенина: «Голубень», 1920;

* Тексты воспоминаний Вс. В. Иванова подготовлены Т. В. Ивановой.

«Страна Советская», изд. «Советский Кавказ», 1925; «Сельский часослов», 1918 (правда, без титульного листа); «Радуница», Пг., изд. М. В. Аверьянова, 1916; «Преображение», изд. «Московская трудовая артель художников слова», II год I века. (С дарственной надписью: «Милому Семену Яковлевичу на добрую память о желтоволосом парне из Рязани. *С. Есенин*»); «Пугачев», М., изд. «Имажинисты», 1922; «Персидские мотивы», М., изд. «Современная Россия». На странице с печатным посвящением «С любовью и дружбою Петру Ивановичу Чагину» автограф: «Другу Всеволоду с любовью по гроб. *Сергей*. 19 20/XI 25».

Очерк о Сергее Есенине предназначался автором для цикла «Портреты моих друзей». Он остался неоконченным. Впервые напечатан в кн.: Иванов Вс. Переписка с А. М. Горьким. Из дневников и записных книжек. М., Советский писатель, 1969. Печатается по рукописи. Очерк «История моих книг» впервые опубликован в сокращении в журн. «Наш современник», М., 1957, № 3 и 1958, № 1. В наст. изд. по черновой рукописи публикуется глава из него.

[1] Сибирский писатель А. С. Сорокин, которого упоминает Вс. В. Иванов, получил при жизни известность как фантазер и кляузник, увлеченный безудержной саморекламой. Иванов был знаком с ним по Омску. Об их отношениях подробно рассказывает Л. Н. Мартынов (см.: Всеволод Иванов — писатель и человек. М., 1975, с. 72—79).

[2] Имеются в виду писатели М. Д. Ройзман и К. А. Большаков.

А. Л. МИКЛАШЕВСКАЯ

ВСТРЕЧИ С ПОЭТОМ

Августа Леонидовна Миклашевская (1891—1977) — актриса. Есенин познакомился с ней вскоре после своего возвращения из-за границы, в августе 1923 года и увлекся ею. М. Д. Ройзман вспоминает, что в «Стойле Пегаса» отмечалась в дружеском кругу их «помолвка». Журналист О. С. Литовский рассказывает: «Теплая, тихая, даже в городе золотистая ранняя осень. Очень скромно одетый, какой-то умиротворенный, непривычно спокойный Есенин и Миклашевская под тонкой синеватой вуалью — зрелище блоковское. Они приходили почти каждый день. Миклашевская беседовала с женой, а Есенин сидел тихо, молча, следя глазами за каждым движением Миклашевской... Счастливы друзья, видевшие Есенина в эту пору его последней, осенней любви. Она бросает как бы отсвет на всю последующую лирику Есенина»

(Литовский О. Так и было. М., 1958, с. 26—27). В этот период, в сентябре — декабре 1923 г., Есенин написал цикл стихотворений — «Заметался пожар голубой...», «Ты такая ж простая, как все...», «Пускай ты выпита другим...», «Дорогая, сядем рядом...», «Мне грустно на тебя смотреть...», «Ты прохладой меня не мучай...», «Вечер черные брови насопил...». Два из них — «Заметался пожар голубой...» и «Ты прохладой меня не мучай...» — посвящены в рукописях А. Л. Миклашевской. Весь цикл под заглавием «Любовь хулигана» был напечатан в сборнике «Москва кабацкая» с общим посвящением А. Л. Миклашевской. В сборнике «Стихи (1920—24)», М., Круг, 1924, он был повторен, но уже без посвящения. Сохранился экземпляр «Москвы кабацкой» с дарственной надписью: «Милой Августе Леонидовне со всеми нежными чувствами, которые выражены в этой книге. *С. Есенин.* 24.III.25 г.» (*РЛ,* 1970, № 3, с. 166).

Воспоминания впервые напечатаны в «Учительской газете», М., 1960, 4 октября, в переработанном и дополненном виде — в журн. «Дон», Ростов-на-Дону, 1963. № 2, с. 188—192. Печатаются по сб. *Воспоминания, 1975.* Датируются по первой публикации.

[1] Это письмо Есенина неизвестно.

[2] Ошибка памяти или описка автора. В октябре 1924 г. Есенин находился на Кавказе. Эта встреча могла состояться в октябре 1925 г.

Вл. ПЯСТ

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Вл. Пяст (псевдоним Владимира Алексеевича Пестовского; 1886—1940) — поэт и переводчик. Выступал в печати с 1905 года. Тогда же познакомился с А. А. Блоком и многие годы был одним из его близких друзей. В. Пяст никогда не принадлежал к окружению Есенина, по существу, они были едва знакомы. Однако в своих воспоминаниях он полнее, чем кто-либо, передал смысл одного из важных выступлений Есенина, которое было посвящено А. А. Блоку.

Отрывок из воспоминаний В. Пяста о выступлении Есенина многократно воспроизводился в печати (*Воспоминания, 1965,* с. 502 и др.). Полностью впервые опубликованы в сб. «Поэзия», вып. 41. М., 1985. Печатаются по рукописи *(ЦГАЛИ).* Опущена начальная часть воспоминаний, где В. Пяст рассказывает об эпизодической встрече с Есениным в феврале 1922 г. в Петрограде, во время гастролей А. Дункан. Рукопись автором не датирована.

[1] Вечер состоялся 25 октября 1923 г. Он проходил в помещении Дома ученых на Кропоткинской ул. (бывш. Пречистенка), который находился тогда в ведении Центральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ).

[2] Неточно приведены строки из стихотворения «Мне осталась одна забава...».

[3] Статья «Кунсткамера» была опубликована Вл. Пястом в газ. «Жизнь искусства», Пг., 1921, 18 октября. Среди организаторов кощунственного вечера «Чистосердечно о Блоке», который был устроен имажинистами, он называет в статье В. Г. Шершеневича и А. Б. Мариенгофа. Об этом вечере и отношении к нему Есенина см. также примеч. к воспоминаниям А. А. Блока.

[4] Имеется в виду выступление Есенина 14 апреля 1924 г. Подробнее об этом см. в воспоминаниях В. С. Чернявского.

[5] Об этой поездке, состоявшейся 13 июля 1924 г., см. подробнее в воспоминаниях Вс. А. Рождественского.

Вс. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

Всеволод Александрович Рождественский (1895—1977) — поэт. Он познакомился с Есениным в 1915 году и первое время довольно часто встречался с ним. После переезда Есенина в 1918 году в Москву они виделись лишь эпизодически, когда Есенину случалось бывать в Ленинграде. Однако во время этих встреч Есенин немало рассказывал Вс. А. Рождественскому о себе, подробнее, чем многим другим, он рассказал ему, в частности, о своей первой встрече с А. А. Блоком (правда, значительно романтизировав обстоятельства ее).

Впервые воспоминания были напечатаны в журн. «Звезда», Л., 1946, № 1, с. 98—113. Повторно — в том же журнале (1959, № 1, с. 153—169). Затем с поправками и дополнениями печатались автором в двух изданиях его кн. «Страницы жизни» (1962 и 1974) и «Избранном» (1974). Кроме того, в 1964 году автор внес в текст ряд фактических уточнений и стилистических поправок. Рукопись этой редакции хранится у составителя. В изданиях 1974 года эти поправки учтены не были. В наст. изд. воспоминания печатаются с сокращениями по тексту кн.: Рождественский Вс. Избранное в 2-х томах, т. 2. Л., Художественная литература, 1974, с. 82—122, с учетом поправок, сделанных автором в 1964 году.

[1] Из стихотворения «Исповедь хулигана».

[2] Из стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная...».

[3] Об этом кружке Вс. А. Рождественский рассказывает в главе «Первые опыты» своей книги «Страницы жизни». В кружок входили Г. Маслов, Лариса Рейснер, В. Тривус и др. Лариса Рейснер принимала тогда участие в тонком двухнедельном журнале с претенциозным названием «Рудин». В № 1 этого журнала за 1915 год она под псевдонимом Л. Храповицкий напечатала иронический отчет о вечере «Краса», состоявшемся 25 октября 1915 г., в котором принимал участие Есенин. А. А. Блок оценивал этот журнал как «до тошноты плюющийся злобой и грязный, но острый», и, с явной брезгливостью характеризуя некоторые помещенные в нем материалы, отметил среди них «злые карикатуры» на Городецкого, Клюева, Ремизова и Есенина по поводу «Красы» (см. *Блок. VII*, с. 412).

[4] Об этом эпизоде см. во вступительной статье.

[5] Эта поездка состоялась 13 июля 1924 г. В газетном репортаже отмечалось: «...трудно в коротком подзаголовке точно определить все то, что было устроено вчера Союзом писателей во время рейса в Петергоф и обратно на специально снятом литераторами пароходе. Было, конечно, и литературное утро, но не только литературное, а и музыкально-артистическое. И опять же, не только «утро», но и вечер, был и закат солнца на море и даже лунная ночь... И танцы были на палубе, когда «великие писатели земли русской», вроде Ал. Толстого, Вл. Пяста... Сергея Есенина... пошли кружиться в вихре вальса с «уважаемыми читателями». Знаменитый Сергей Есенин «соблюл себя» на сей раз, и потому его стихи имели огромный успех у публики... С обычной сочностью тоже превосходно прочел Ал. Толстой по корректуре свой еще не напечатанный рассказ, заставив публику хохотать до слез. Первая, небывалая еще в Ленинграде, поездка по морю, устроенная Союзом писателей, удалась блестяще» (Красная газета, веч. вып. Л., 1924, 15 июля).

[6] Из стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу...».

[7] После возвращения из-за рубежа Есенин неоднократно приезжал в Ленинград, в частности, в октябре 1923 г., в апреле — мае 1924 г. и т. д. В данном случае, вероятно, имеется в виду полуторамесячное пребывание Есенина в Ленинграде в июне — июле 1924 г.

[8] Стихотворение В. Г. Шершеневича «Стволы стреляют в небо от жары...» было напечатано в сб. «Плавильня слов», изд. «Имажинисты». М., 1920. В данном случае оно действительно приводится (с небольшими изменениями) в обратном порядке строк, от конца к началу. Сам В. Г. Шершеневич в это время отстаивал правомерность такого построения стихотворений, кото-

рое позволяло бы расставлять строки в произвольном порядке. Он писал, например: «...соединение отдельных образов в стихотворении есть механическая работа, а не органическая, как полагают Есенин и Кусиков. Стихотворение не организм, а толпа образов... Я глубоко убежден, что все стихи Мариенгофа, Н. Эрдмана, Шершеневича могут с одинаковым успехом читаться с конца к началу, точно так же, как картина Якулова или Б. Эрдмана может висеть вверх ногами» (Шершеневич В. 2×2=5. М., 1920, с. 15).

[9] Это выступление состоялось 12 июля 1924 г.

[10] Этот рассказ о первой встрече с А. А. Блоком, несомненно, сильно романтизирован. Прежде всего Есенин попал в Петроград в 1915 г. вовсе не таким наивным деревенским пареньком, каким он здесь рисует себя. Почти три года перед этим прожил он в Москве, работал, начал печататься. Так что трудно поверить, что он, сойдя с поезда, растерялся от извозчиков и трамваев, а потом стал у прохожего спрашивать адрес А. А. Блока. Неправдоподобно выглядит и описание появления Есенина в доме А. А. Блока. Известно, что, придя к Блоку, Есенин передал ему записку, в которой объяснил и цель визита, и даже обозначил желательное время встречи. Поэтому А. А. Блок не мог обмануться в цели, с какой он пришел.

[11] Подобный снимок неизвестен.

[12] Есенин приехал в Ленинград 24 декабря.

Н. Н. НИКИТИН

О ЕСЕНИНЕ

Николай Николаевич Никитин (1895—1963) — писатель. Есенин ценил его произведения и относил к числу писателей, «которые действительно внесли клад в русскую художественную литературу» (см. *V*, 210).

Воспоминания были впервые напечатаны в журн. «Красная новь», М., 1926, № 3, с. 245—249. В значительно дополненном и переработанном виде — в журн. «Звезда», Л., 1962, № 4, с. 141—146. Печатаются с сокращениями по этому тексту. Датированы автором.

[1] Строка из стихотворения «Я обманывать себя не стану...».

[2] Первый, не дошедший до нас вариант поэмы «Черный человек» был написан в 1922—1923 гг. В ноябре 1925 г. был, как отмечала С. А. Толстая-Есенина, «закончен и записан» последний, известный ныне текст поэмы.

[3] Судя по описанию, этот разговор состоялся летом 1924 г., в

Ленинграде на квартире А. М. Сахарова, когда Есенин в июне — июле жил там и действительно встречался с Н. Н. Никитиным. Однако он никак не мог касаться «Анны Снегиной», поскольку поэма была написана позже, в январе 1925 г. в Батуме. Разговор об этой поэме вообще не мог состояться в Ленинграде, так как в 1925 г. Есенин приезжал туда только в начале ноября (в этот приезд он встретился с Н. Н. Никитиным и читал ему, по его словам, «Черного человека») и в декабре (последние четыре дня его жизни, когда такой беседы тоже не было). Скорее всего предметом обсуждения была не «Анна Снегина», а какое-то другое произведение Есенина 1924 г. (например, поэма «Песнь о великом походе» или стихотворения «Русь советская», «Возвращение на родину» и т. п.).

[4] Из статьи Анатоля Франса «Поль Верлен».

[5] Речь идет об обществе «Страда». Оно находилось не на ул. Жуковского, а на Серпуховской. На вечерах, организуемых этим обществом в ноябре 1915 — феврале 1916 г., не раз выступали Н. А. Клюев и Есенин.

[6] Было это, вероятно, в августе 1924 г. 26 июля Есенин писал Г. А. Бениславской из Ленинграда: «Дней через 6—7 я приезжаю в Москву. Еду в Рязань с Никитиным» (*VI*, 147). 31 июля он, видимо, вместе с Н. Н. Никитиным, выехал в Москву, в середине августа (уже без Н. Н. Никитина) съездил в Константиново и 3 сентября уехал на Кавказ.

[7] Из стихотворения «Да! Теперь решено. Без возврата...».

[8] Из стихотворения «Письмо матери».

[9] Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Не верь себе».

[10] Из стихотворения «Мне грустно на тебя смотреть...». Курсив автора мемуаров. Стихотворение входит в цикл «Любовь хулигана», который был целиком посвящен А. Л. Миклашевской.

[11] Есенин был в Ленинграде с 3 по 6 ноября 1925 г. «Черный человек» был закончен уже после возвращения из этой поездки, 12—13 ноября.

[12] *«Я последний поэт деревни...»* — начальная строка стихотворения Есенина.

Ю. Н. ЛИБЕДИНСКИЙ

МОИ ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Юрий Николаевич Либединский (1898—1959) — писатель, один из руководителей РАППа, литературной организации, ряд ведущих теоретиков которой с сектантских, вульгаризаторских позиций резко нападал на писателей-«попутчиков», в том числе и на Есенина. Отвергая право этих писателей на активное участие в строительстве советской культуры, они снисходительно до-

пускали лишь их «известное сотрудничество». На страницах журнала «На посту» осуждались многие произведения Есенина, ему советовали «усвоить основы пролетарской идеологии, хотя бы в размере уездной совпартшколы». Подобные нападки усугублялись тем, что журнал присвоил себе право говорить как бы от имени партии. Один из лидеров этой группы Леопольд Авербах, например, писал: «...если «На посту», орган наиболее революционной сейчас группы поэтов и писателей, партийных застрельщиков в литературе, не будет на посту, то партия принуждена будет констатировать полное отсутствие дисциплинированных марксистских отрядов на литературном участке идеологического фронта» (Авербах Л. По эту сторону литературных траншей. — Журн. «На посту». М., 1923, № 1, июнь, с. 79).

По существу, Есенину и другим близким ему писателям высказывалось политическое недоверие. Это глубоко оскорбляло Есенина, не раз побуждало его печатно отвечать на грубые нападки. Набросок его статьи о советских писателях (см. *V*, 208—211) явно полемически заострен против «напостовцев». Об одном из эпизодов этой литературной борьбы см. также примеч. 12 к воспоминаниям Г. А. Бениславской.

И все же, несмотря на это, Есенин, органически чуждый группового доктринерства, с симпатией относился к творчеству наиболее талантливых писателей этой группы. Его не могли не привлечь выдвигавшиеся ими лозунги борьбы за коммунистическую идейность, за утверждение нового, советского в общественной жизни. У него установились дружеские отношения с Д. А. Фурмановым, Ю. Н. Либединским и некоторыми другими писателями, причастными к рапповской группировке. Есенина влекла к ним также возможность вырваться из богемного окружения имажинистов или, напротив, консервативной узости «мужиковствующих». Показательно, что ни у кого из имажинистов или «мужиковствующих» не сложилось таких отношений с писателями этого круга, как у Есенина.

Краткие воспоминания Ю. Н. Либединского о Есенине были впервые напечатаны в журн. «На литературном посту», М., 1926, № 1, 5 марта, с. 32—34. С явной оглядкой на «неистовых ревнителей» чистоты рядов этой группы, в глазах которых даже товарищеское общение с литературным противником казалось пятнающим «честь», он писал: «Сергея Есенина я знал очень мало, и ни в коем случае я не претендую на то, чтобы считать себя лично близким ему человеком». В 1957 году он, по сути дела, заново написал свои воспоминания. Они были впервые опубликованы в кн.: Либединский Ю. Современники. М., Советский писатель, 1958, по тексту которой печатаются в наст. изд. Датированы автором.

[1] Из стихотворения «Иорданская голубица».

[2] Из стихотворения «Осень».

[3] Литературная группа «Октябрь» возникла в декабре 1922 г. Журнал «На посту» писал: «...вечером 7 декабря 1922 г. группа пролетарских писателей... постановила создать группу «Октябрь»... В группу вошли: вышедшие из «Кузницы» С. Родов, С. Малашкин, А. Дорогойченко; члены группы «Молодая гвардия» А. Веселый, А. Безыменский, А. Жаров, Шубин, Н. Кузнецов; члены группы «Рабочая весна» А. Соколов, Исбах, Ив. Доронин; «дикие» вне группы Ю. Либединский, Г. Лелевич, А. Тарасов-Родионов. В дальнейшем состав группы несколько изменился... но основное ядро осталось то же» (журн. «На посту». М., 1923, № 1, июнь, с. 198). Шумно декларируя свою приверженность борьбе за идейность в литературе, некоторые участники группы основную свою задачу увидели в критике «непролетарских» писателей, к которым относили М. Горького, В. В. Маяковского, Л. М. Леонова, Вс. Иванова и многих других писателей-«попутчиков», в том числе и Есенина. Объединение уже изначально не было однородным, грубое вульгаризаторство вызывало критику со стороны таких его участников, как Д. А. Фурманов.

[4] Из стихотворения «Возвращение на родину».

[5] Несколько иной вариант этого романса приводит в своих воспоминаниях А. А. Есенина.

[6] Из стихотворения Н. С. Гумилева «Пьяный дервиш».

[7] Начальная строфа стихотворения А. А. Блока из цикла «Заклятие огнем и мраком».

[8] Из стихотворения «Грубым дается радость...».

[9] Из стихотворения Н. С. Гумилева «Жираф».

[10] Из стихотворения «Русь уходящая».

[11] «Мандат» — пьеса Н. Р. Эрдмана. Ее премьера в Театре им. Вс. Мейерхольда состоялась 20 апреля 1925 г. О совсем иной реакции Есенина на этот спектакль рассказывает К. Л. Рудницкий (см. Рудницкий К. Мейерхольд. М., 1981, с. 328—329).

[12] Автор ошибается: созданный Г. Б. Якуловым проект монумента, посвященного подвигу 26 бакинских комиссаров, не был осуществлен. Памятник 26 комиссарам, установленный в Баку, принадлежит С. Д. Меркурову.

[13] Из стихотворения «Пушкину».

[14] Из стихотворения В. В. Маяковского «Комсомольская».

[15] Общий знакомый — критик И. Вардин, с которым Есенин поддерживал дружеские отношения. У него на квартире он одно время жил в 1924 г. (см. об этом в воспоминаниях Г. А. Бениславской).

[16] Имеется в виду стихотворение «Встреча с Есениным», в котором А. И. Безыменский, в частности, писал:

Сережа! Дорогой ты мой!
Со мной выходишь ты на сечу?..
. . . .
Мне помнится наш первый бой
И наша первая с тобой
Незабываемая встреча.
. . . .

— Вот Безыменский... — так сказал
Друг Юрий, бывший напостовец.
А ты всучил в меня глаза,
Как будто бы сверлить готовясь.

Но встал и руку подал мне.
Ладони звякнули клинками!
Я видел пару щек в огне
И взгляды, где любовь и камень.

Мгновенье долгое прошло,
В упор склонились наши лица,
И ты промолвил: «Тяжело
Пожатье каменной десницы...»

Но ты — поэт. И враг. И пусть!
Но все же странно, право слово,
Что выучил я наизусть
Твои стихи — врага лихого...

(Альм. «Удар». М., 1927, с. 9—10.)

[17] Из стихотворения «Возвращение на родину».

[18] В 1924 г. Есенин ездил в Константиново в конце мая — начале июня и в августе. В данном случае, вероятно, имеется в виду первая из этих поездок.

[19] Из стихотворения «Песня».

Е. Е. ШАРОВ

НА ТВЕРСКОЙ ЗЕМЛЕ

Ефим Ефимович Шаров (1891—1972) — поэт, журналист. Он познакомился с Есениным в 1913—1914 годах в Суриковском литературно-музыкальном кружке. Затем встречался в 1917 году в Петрограде, в 1918 году в Москве и в 1924 году в Твери (Калинине), куда Есенин приезжал на вечер памяти А. Ширяевца.

Впервые сокращенные воспоминания Е. Е. Шарова о Есенине были напечатаны в газ. «Смена», Калинин, 1965, 5 октября и в газ. «Калининская правда», 1965, 5 октября, полностью — газ. «Смена», Калинин, 1969, 22, 25 и 27 марта. Фрагмент этих воспоминаний, посвященный поездке Есенина в Калинин, был напечатан в *ЛР*, 1970, 2 октября. Печатаются по этому тексту с уточнениями по рукописи (хранится у составителя).

[1] Эта фотография неизвестна.
[2] Поездка состоялась 15—16 сентября 1923 г. (см. *VI*, 459).

П. И. ЧАГИН

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН В БАКУ

Петр Иванович Чагин (псевдоним; наст. фамилия Болдовкин) (1898—1967) — партийный работник, журналист; в годы встреч с Есениным — секретарь ЦК Компартии Азербайджана и редактор газеты «Бакинский рабочий», впоследствии — редактор «Красной газеты» (Ленинград), газеты «Заря Востока» (Тифлис), директор ряда издательств. Он был одним из ближайших друзей Есенина в 1924—1925 годах. Есенин с вниманием прислушивался к его литературным советам. Свой сборник «Персидские мотивы» он открыл посвящением: «С любовью и дружбою Петру Ивановичу Чагину». Ему же посвящено стихотворение «Стансы».

В 1925 году в Баку вышел сборник Есенина «Русь Советская», которому было предпослано предисловие П. И. Чагина. В нем подчеркивалось, что вошедшие в сборник стихи — «предвестники настоящей революционной весны есенинского творчества», отмечалось, что «в гражданских стихах Есенина нашел свое поэтическое выражение перелом, происходящий теперь в настроениях и сознании нашей интеллигенции. Это лишний раз свидетельствует о непочатой силе есенинского таланта и о том, какого большого поэта приобретает в нем революция».

Воспоминания П. И. Чагина были впервые опубликованы в газ. «Приокская правда», Рязань, 1958, 15 июня; в переработанном и дополненном виде.— *ЛР*, 1965, 1 октября. Печатаются по этому тексту.

[1] Сам В. И. Качалов пишет, что познакомился с Есениным в марте 1925 г. (см. его воспоминания в наст. т.). Видимо, первая встреча Есенина с П. И. Чагиным произошла в другом месте. Как

вспоминал сам П. И. Чагин, знакомство состоялось в первых числах февраля, после окончания II съезда Советов СССР, который проходил 26 января — 2 февраля 1924 г. (см. *Хроника*. *2*, 287). В. И. Качалова в это время в Москве не было — он находился в зарубежной гастрольной поездке, из которой вернулся только 24 августа 1924 г.

[2] Слова из стихотворения «Да! Теперь решено. Без возврата...».

[3] Строка из «Песни о великом походе». Есенин никак не мог ее цитировать в этом разговоре, поскольку поэма к этому времени еще не была написана.

[4] Слова из стихотворения «Возвращение на родину».

[5] Из стихотворения «Стансы».

[6] Летом и осенью 1919 г. белогвардейские войска предпринимали настойчивые попытки овладеть Астраханью. Для обороны Астрахани в августе 1919 г. была создана Одиннадцатая армия, которая разгромила белогвардейские части. Это была одна из крупных военных операций периода Гражданской войны. С. М. Киров был одним из организаторов и руководителей Астраханской обороны.

[7] Из стихотворения А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит...».

[8] XIV съезд ВКП(б) проходил в Москве с 18 по 31 декабря 1925 г.

В. А. МАНУЙЛОВ

О СЕРГЕЕ ЕСЕНИНЕ

Виктор Андроникович Мануйлов (р. 1903) — литературовед. Познакомился с Есениным в августе 1921 г. и встречался с ним в 1921—1922 и 1924—1925 гг. В то время он был студентом, начинающим литератором.

Воспоминания впервые были напечатаны в журн. «Звезда», Л., 1972, № 2. Для наст. изд. пересмотрены автором.

Т. Ю. ТАБИДЗЕ

С. ЕСЕНИН В ГРУЗИИ

Тициан Юстинович Табидзе (1895—1937) — грузинский поэт, один из основателей литературного объединения «Голубые роги», которое Есенин упоминает в своем стихотворении «Поэтам Грузии». Познакомился с Есениным в сентябре 1924 года и стал одним из наиболее близких его друзей по Тифлису. Сохранилось

письмо Есенина к Т. Ю. Табидзе от 20 марта 1925 года (см. *VI*, 179). Известен также сборник Есенина «Страна Советская» с дарственной надписью: «Милому Тициану в знак большой любви и дружбы. *Сергей Есенин*. Тифлис. Фев⟨раль⟩ 21⟨19⟩25» (*РЛ*, 1970, № 3, с. 165).

Воспоминания впервые опубликованы в газ. «Заря Востока». Тифлис, 1927, 6 января. Печатаются и датируются по первой публикации.

[1] О работе К. Д. Бальмонта над переводом поэмы Ш. Руставели (в его переводе — «Носящий барсову шкуру») Т. Ю. Табидзе рассказывает, видимо, с его слов. Они встречались в Москве в 1916 г., и К. Д. Бальмонт пользовался советами молодого грузинского поэта.

[2] «Видение древа» — подзаголовок книги стихов К. Д. Бальмонта «Ясень» (1916), в которую вошел ряд стихотворений, написанных под впечатлением от поездки в Грузию в 1914 г.

[3] Из письма Есенина к Е. И. Лифшиц от 11—12 августа 1920 г.

[4] Во время своей первой продолжительной поездки на Кавказ (июль — сентябрь 1920 г.) Есенин на короткое время в середине августа действительно приезжал в Тифлис, еще находившийся под властью меньшевиков (см.: Белоусов В. Персидские мотивы. М., 1968, с. 10—11). Однако ни в книге «Воспоминания о Есенине», которую в данном случае имеет в виду Т. Ю. Табидзе, ни в «Романе без вранья» А. Б. Мариенгоф об этом не упоминает. Вероятно, Т. Ю. Табидзе опирался на какие-то устные свидетельства А. Б. Мариенгофа.

[5] Есенин выехал из Москвы на Кавказ 3 сентября 1924 г. и пробыл там (Баку, Тифлис, Батум) до марта 1925 г. В Тифлисе он был, в частности, в сентябре, октябре и ноябре 1924 г., феврале 1925 г.

[6] Здесь и далее цитируется стихотворение «На Кавказе», написанное в сентябре 1924 г. в Тифлисе.

[7] Из стихотворения «Стансы».

[8] Имеются в виду стихотворения «Письмо от матери», «Ответ», «Письмо к сестре», «Письмо к деду». Из них во время пребывания в Тифлисе были написаны, видимо, только «Письмо от матери» и «Ответ».

[9] Из стихотворения «Ответ».

[10] Эту книгу Т. Ю. Табидзе не написал.

[11] Об этом Есенин писал Т. Ю. Табидзе 20 марта 1925 г. (*VI*, 179—180).

[12] Из стихотворения «На Кавказе».

Н. А. ТАБИДЗЕ

ИЗ КНИГИ «ПАМЯТЬ»

Нина Александровна Табидзе (1900—1965) — жена Т. Ю. Табидзе, врач.

Воспоминания о Есенине впервые напечатаны в журн. «Литературная Грузия», Тбилиси, 1965, № 10 и в сб. *Воспоминания, 1965*. В переработанном и дополненном виде — в сб. «Дом под чинарами». Тбилиси, 1976. Печатаются по этому тексту.

Г. Н. ЛЕОНИДЗЕ

Я ВИЖУ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА

Георгий Николаевич Леонидзе (1899—1966) — грузинский поэт и общественный деятель, в период знакомства с Есениным, так же как и Т. Табидзе, П. Яшвили и др., входил в литературную группу «Голубые роги».

Воспоминания впервые опубликованы в кн. «Летопись дружбы грузинского и русского народов с древнейших времен до наших дней», Тбилиси, 1961, т. 2, а также в «Литературной газете», М., 1965, 2 октября, и газ. «Заря Востока», Тбилиси, 1965, 3 октября. Печатаются с сокращением по тексту журн. «Литературная Грузия», Тбилиси, 1967, № 5, с. 19—25.

[1] Из стихотворения «Поэтам Грузии».

[2] На обороте автографа стихотворения «На Кавказе» (*ГБЛ*) сохранился заключительный фрагмент не дошедшей до нас полностью заметки Есенина, которую неточно цитирует мемуарист. У Есенина — «...дайте нам смычку поэтов всех народностей» (*II*, 225).

[3] 24 марта 1925 г. Есенин писал В. И. Эрлиху: «Я еду в Тифлис, буду редактировать литературное приложение» (*VI*, 180). Это намерение не осуществилось.

[4] Из заключительного четверостишия стихотворения «На Кавказе»:

И чтоб одно в моей стране
Я мог твердить в свой час прощальный:
«Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной».

[5] Слова из стихотворения В. В. Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии».

[6] Данное выступление Есенина, равно как и похороны Вано Сараджишвили, состоялись 16 ноября 1924 г. Траурная церемо-

ния вызвала огромное стечение народа... В похоронах принимали участие многие грузинские поэты — друзья Есенина. В частности, с речью выступал П. Яшвили (см. газ. «Заря Востока». Тифлис, 1924, 18 ноября).

[7] Из стихотворения «Заря Востока».

[8] Из стихотворения Т. Ю. Табидзе «Сергею Есенину», написанного на смерть поэта. Оно датировано 28 февраля 1926 г.

[9] Из поэмы «Пугачев».

Н. К. ВЕРЖБИЦКИЙ

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Николай Константинович Вержбицкий (1889—1973) — писатель и журналист, выступал в печати с 1908 года, с апреля 1924 года — сотрудник газеты «Заря Востока» (Тифлис). Познакомился с Есениным весной 1921 года, дружеские отношения между ними установились, когда поэт приехал в Тифлис в сентябре 1924 года. Известно пять писем Есенина к Н. К. Вержбицкому, относящихся к 1924—1925 годам.

Воспоминания впервые напечатаны в журн. «Звезда», Л., 1958, № 2; затем были выпущены отдельной кн.: Вержбицкий Николай. Встречи с Есениным. Тбилиси, 1961. Печатаются по этому тексту с сокращениями. Датируются по первой публикации.

[1] Вероятно, речь идет о вечере, состоявшемся 16 сентября 1924 г. в тифлисском клубе совработников. В газете сообщалось: «После заключительного слова тов. Вардина, по просьбе присутствующих, поэт Сергей Есенин прочитал несколько своих стихотворений. Аудитория наградила т. Есенина шумными продолжительными аплодисментами» (газ. «Заря Востока». Тбилиси, 1924, 18 сентября).

[2] Судя по рассказу Н. К. Вержбицкого, встреча Есенина с Иетимом Гурджи состоялась в сентябре — ноябре 1924 г. Стихотворение «Песня» («Есть одна хорошая песня у соловушки...»), как говорил сам поэт В. Ф. Наседкину, было написано в апреле 1925 г. (см.: Наседкин В. Последний год Есенина. М., 1927, с. 19) и впервые опубликовано в газете «Бакинский рабочий» 17 мая 1925 г. Вероятно, здесь ошибка памяти мемуариста, Есенин пел что-то другое.

[3] Из стихотворения «Быть поэтом — это значит тоже...».

[4] Стихотворение «Русь бесприютная» было напечатано в газете «Заря Востока» 16 ноября 1924 г.

[5] В июне — июле 1925 г. Есенин писал Н. К. Вержбицкому: «Когда приеду, напишу поэму о беспризорнике, который был на дне жизни, выскочил, овладел судьбой и засиял. Посвящу ее тебе в память наших задушевных и незабываемых разговоров на эту тему» (*VI*, 192).

Л. И. ПОВИЦКИЙ

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ

Лев Иосифович (Осипович) Повицкий (1885—1974) — журналист. Участвовал в революционном движении: в 1908 году, живя в Ростове-на-Дону под именем Сергея Владимировича Филипченко, являлся секретарем Донского комитета РСДРП, был арестован и приговорен к четырем годам каторжных работ. После революции — сотрудник ряда газет и журналов.

Познакомился с Есениным в 1918 году и поддерживал с ним дружеские отношения до конца жизни поэта. Особенно сблизились они в 1924—1925 годы, во время пребывания Есенина в Батуме.

Воспоминания о Есенине были написаны в 1954 году (рукопись в *ГБЛ*), впоследствии пересмотрены автором. Отрывки под заглавием «Из воспоминаний о Есенине» опубликованы в журн. «Нева», Л., 1969, № 5. В наст. изд. воспоминания публикуются с сокращениями по рукописи (хранится у И. Л. Повицкого).

[1] Брак Есенина с З. Н. Райх был расторгнут значительно позже — 5 октября 1921 г. Сама З. Н. Райх с новорожденной дочерью находилась в то время у своих родителей в Орле. Их отношения еще не были нарушены. Об этом говорит, например, такая фраза из письма З. Н. Райх к А. Белому от 22 ноября 1918 г. из Орла: «Посылаю Вам коврижку хлеба, если увидите Сережу скоро — поделитесь с ним» (*ГБЛ*). Вскоре З. Н. Райх приехала в Москву, и они с Есениным жили некоторое время вместе (см. об этом в воспоминаниях Т. С. Есениной и П. А. Кузько).

[2] Это кооперативное издательство было учреждено, очевидно, в сентябре 1918 г. Подробнее о нем, а также ряд уточнений к воспоминаниям Л. И. Повицкого относительно очередности и сроков выхода некоторых упомянутых им далее книг см.: Базанов В. В. Сергей Есенин и книгоиздательство «Московская трудовая артель художников слова» — сб. «Есенин и современность». М., 1975, с. 120—141.

[3] Поездка в Тулу состоялась, очевидно, в октябре — ноябре 1918 г.

[4] Есенин познакомился с А. Б. Мариенгофом не в 1919-м, а осенью 1918 г.

[5] Есенин вместе с А. Б. Мариенгофом и А. М. Сахаровым выехал в Харьков 23 марта 1920 г. и пробыл там до середины апреля. Е. И. Лившиц, о знакомстве с которой далее пишет Л. И. Повицкий, несколько иначе рассказывала об этом: «Весной 1920 года в Харьков приехали Есенин и Мариенгоф. Как-то меня встретила Фрида и сказала, что у Повицкого остановился Есенин. Позднее мы узнали, что они были знакомы уже с 1918 года. Фриде и мне захотелось повидать поэта (тогда ей было 24, а мне 19 лет), и мы решили пойти к Повицкому, с которым уже были хорошо знакомы раньше. На другой день Есенина мы увидели. Был он в тужурке из оленьего меха. Читал он нам стихи. Пробыл в Харькове две-три недели. Встречались мы часто» (*Хроника, 1*, 159).

[6] В своих воспоминаниях А. Б. Мариенгоф иначе рассказывает об обстоятельствах возникновения этого стихотворения.

[7] Дату этого шутовского «действа» — 19 апреля 1920 г.— указывает Н. И. Харджиев (см.: Хлебников В. Неизданные произведения. М., 1940, с. 413).

[8] Из стихотворения «Инония».

[9] См. об этом в воспоминаниях В. А. Мануйлова.

[10] Из письма к Г. А. Бениславской от 17 октября 1924 г.

[11] Из письма к П. И. Чагину от 14 декабря 1924 г.

[12] Из письма к Г. А. Бениславской от 17 декабря 1924 г.

[13] «Персидские мотивы» Есенин закончил не в Батуме, где, по существу, только началась работа над этим циклом и были написаны такие стихи, как «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Ты сказала, что Саади...» и др., а позже — в августе 1925 г., когда он вновь приехал на Кавказ, в Баку (см. *I*, 412—413).

[14] Из стихотворения «Шаганэ ты моя, Шаганэ!..».

В. И. КАЧАЛОВ

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Василий Иванович Качалов (наст. фам. Шверубович; 1875—1948) — советский актер, народный артист СССР (1936 г.), с 1900 года играл на сцене Московского Художественного театра. Произведения Есенина вошли в концертный репертуар В. И. Качалова уже с 1922 года, задолго до их личного знакомства, которое состоялось в марте 1925 года.

«Любовь к родной земле, искренняя, горячая влюбленность в родные просторы и дороги, в «белые рощи и травяные луга»,

в «край разливов грозных и тихих вешних сил» — вот что больше всего привлекало Качалова к Есенину. Волновала его и необыкновенная есенинская душевная тонкость в таких стихах, как «Корова» или «Песнь о собаке». Эти стихи Качалов читал на эстраде наиболее часто, так же как и «Мы теперь уходим понемногу...», «Гой ты, Русь, моя родная...» или «Клен». Он читал эти стихи взволнованно и как-то очень бережно, почти интимно»,— свидетельствует один из современников (сб. «В. И. Качалов». М., 1954, с. 355).

Воспоминания впервые напечатаны в журн. «Красная нива». М., 1928, 8 января, № 2, с. 18—19. Печатаются по этому тексту. Датируются по первой публикации.

[1] Как известно, Есенин никогда в Тегеране не был. Рассказ о «поездке в Тегеран» — это одна из легенд, которые, случалось, возникали не без его собственного участия.

[2] Гастроли Художественного театра в Баку проходили не в июне, а с 15 по 20 мая 1925 г. Видимо, в день открытия гастролей Есенин, лежавший тогда в больнице, отправил В. И. Качалову записку: «Дорогой Василий Иванович! Я здесь. Здесь и напечатал, кроме «Красной нови», стихотворение «Джиму». В воскресенье выйду из больницы (болен легкими). Очень хотелось бы увидеть Вас за 57-летним армянским. А? Жму Ваши руки. С. Есенин» (*VI*, 188).

[3] Эта записка Есенина неизвестна. Спектакль «Царь Федор Иоаннович» шел во время бакинских гастролей МХАТа 19 и 20 мая. Видимо, в один из этих дней и состоялась встреча Есенина с В. И. Качаловым и его знакомство с К. С. Станиславским.

[4] Из стихотворения «Мне осталась одна забава...».

С. А. ТОЛСТАЯ-ЕСЕНИНА

ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ

Софья Андреевна Толстая-Есенина (1900—1957) познакомилась с Есениным в марте 1925 года и вскоре стала его женой. Она с исключительной бережностью относилась ко всему, связанному с жизнью и творчеством Есенина, сохранила много документов последнего периода его жизни. В значительной степени благодаря ей до нас дошел целый ряд произведений Есенина. Среди них цикл коротких стихотворений, продиктованных Есениным в ночь с 4 на 5 октября 1925 года («Снежная замять крутит бойко...» и пр.). Только в ее списках известны стихотворения: «Кто я? Что

я? Только лишь мечтатель...», «Сани. Сани. Конский бег...», «Ты ведь видишь, что небо серое...» и др. После смерти Есенина она усиленно собирала его рукописи, письма, воспоминания о нем. Многие документы были ею скопированы, и эти копии подчас остались единственным источником текста, поскольку подлинные письма и автографы стихотворений, хранившиеся у разных владельцев, оказались впоследствии утраченными. По существу, она явилась организатором Музея Есенина, существовавшего в 1926—1929 годах. Собранные в этом музее рукописи и документы, перешедшие потом в ЦГАЛИ, ГЛМ и ИМЛИ, явились основой есенинских собраний этих государственных хранилищ.

С. А. Толстая-Есенина не оставила воспоминаний о поэте. Однако в ряде подготовленных ею материалов и в ее письмах содержатся мемуарные свидетельства, подчас являющиеся единственным источником сведений об обстоятельствах создания некоторых произведений Есенина. В 1946 году было напечатано ее вступление к впервые публикуемым стихотворениям Есенина, в котором она рассказала о том, как в октябре 1925 года возник цикл коротких, «зимних» стихотворений Есенина. В 1940 году она готовила к изданию сборник стихотворений и поэм Есенина, к которому написала обширный комментарий (в его подготовке принимала участие также Е. Н. Чеботаревская). Издание не состоялось, но рукопись комментария сохранилась. В нем также содержатся сведения мемуарного характера. Все эти материалы многократно использовались в различных изданиях Есенина, начиная с Собрания сочинений в 5-ти томах. М., 1961—1962. Но собраны вместе и самостоятельно изданы они не были. К ним присоединено письмо С. А. Толстой-Есениной к А. М. Горькому от 15 июня 1926 года — важный источник сведений об отношении Есенина к нему.

Тексты печатаются: «Восемь строк» — по журн. «Смена», М., 1946, февраль, № 3—4, с. 13; письмо к А. М. Горькому — по автографу (Архив Горького, *ИМЛИ*); Из «Комментария» — по рукописи С. А. Толстой-Есениной (хранится в *ГЛМ*), кроме фрагмента о «Стране негодяев», который публикуется по журн. «Юность», М., 1957, № 4, с. 32 (в рукописи «Комментария» запись о «Стране негодяев» отсутствует).

[1] Вместе с этим письмом С. А. Толстая-Есенина отправила копию письма Есенина от 3 июля 1925 г. (см. *VI*, 190).

[2] В своих воспоминаниях работник издательства «Круг» Д. К. Богомильский рассказал, что летом 1925 г. А. К. Воронский сообщил ему, что «в письме, полученном им из Сорренто, Алексей Максимович Горький очень интересуется судьбой Есенина и про-

сит выслать ему новые стихи поэта. Об этом разговоре с Воронским я сообщил Есенину при встрече с ним...» (*Воспоминания, 1965*, с. 344). Тогда же этим издательством был отправлен А. М. Горькому сборник Есенина. В ответном письме от 9 августа 1925 г. А. М. Горький писал: «И — уж будьте любезны, пришлите еще стихи Есенина» (Архив А. М. Горького, т. X, кн. 2, с. 24).

[3] Этот экземпляр «Персидских мотивов» не найден. В библиотеке А. М. Горького сохранились две книги Есенина с его дарственными надписями: «Радуница» (1916) и «Пугачев» (см. примеч. 1 и 2 к воспоминаниям А. М. Горького).

[4] Пешкову.

[5] В опущенной последней части письма С. А. Толстая-Есенина рассказывает о деятельности комиссии по увековечению памяти Есенина и обращается к А. М. Горькому с просьбой написать воспоминания о нем. Ответное письмо А. М. Горького — см. *ЛР*, 1965, 1 октября.

[6] В «Комментарии», как это принято, о каждом стихотворении сначала сообщаются источниковедческие и текстологические сведения (наличие автографов, место первой публикации и т. п.). Эти части комментария в данном случае опущены без специальных обозначений.

[7] Автографы эти не известны. Об этих стихотворениях рассказывает в своих воспоминаниях и В. Ф. Наседкин. Он также приводил четыре строки несохранившегося стихотворения, совпадающие с записью С. А. Толстой-Есениной.

Т. С. ЕСЕНИНА

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА РАЙХ

Татьяна Сергеевна Есенина — дочь Есенина и З. Н. Райх, родилась в Орле 29 мая (11 июня) 1918 года; журналист, литератор, автор повести «Женя — чудо XX века».

Воспоминания написаны в 1971 году, впервые опубликованы в сб. «Есенин и современность», М., 1975. Печатаются в сокращении по рукописи, пересмотренной автором для наст. изд.

[1] Венчание состоялось 30 июля 1917 г. в Кирико-Иулиттовской церкви Вологодского уезда.

[2] Из стихотворения А. А. Блока «О доблестях, о подвигах, о славе...».

[3] Из стихотворения «Иисус-младенец».

К. С. ЕСЕНИН

ОБ ОТЦЕ

Константин Сергеевич Есенин — сын Есенина и З. Н. Райх, родился в Москве 3 февраля 1920 года, скончался 25 апреля 1986 года; участник Великой Отечественной войны, инженер-строитель, спортивный обозреватель.

Воспоминания впервые напечатаны в сб. «Есенин и русская поэзия», Л., 1967. Печатаются по рукописи, пересмотренной автором для наст. изд.

[1] Из «Письма к женщине».

И. В. ЕВДОКИМОВ

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН

Иван Васильевич Евдокимов (1887—1941) — писатель. В период первой русской революции 1905 года принимал участие в деятельности Вологодской большевистской организации. Печататься начал в 1915 году. Автор романов «Колокола» (1926), «Чистые пруды» (1927), «Заозерье» (1928), ряда повестей и рассказов, а также нескольких книг по истории русского искусства.

В годы встреч с Есениным он работал в Литературно-художественном отделе Госиздата, был издательским редактором трехтомного «Собрания стихотворений» Есенина. После смерти поэта составил дополнительный, четвертый том этого издания, в который вошли произведения, не включенные поэтом в первые три тома.

И. В. Евдокимов вел большую работу по собиранию мемуаров о Есенине. Под его редакцией вышел первый сборник воспоминаний о поэте в 1926 году, в который вошли воспоминания Р. Ивнева, М. В. Бабенчикова, М. П. Мурашева, И. И. Старцева, Н. Г. Полетаева, В. И. Вольпина, Л. Файнштейна, И. В. Грузинова, Г. Ф. Устинова, В. Т. Кириллова, Н. Н. Асеева, Е. А. Устиновой и самого И. В. Евдокимова. Судя по всему, он был инициатором создания многих из этих воспоминаний и, как показывают рукописи сборника (хранятся в *ИМЛИ*), тщательно их редактировал.

Воспоминания впервые опубликованы в сб. *Воспоминания, 1926,* по тексту которого они печатаются с сокращениями в наст. изд. Датированы автором.

[1] В конце 1924 г. И. В. Евдокимов встречаться с Есениным в Госиздате не мог, так как 3 сентября 1924 г. поэт уехал из Москвы на Кавказ и оставался там до конца февраля 1925 г.

[2] Договор на издание книги стихов «Рябиновый костер» был заключен 20 июня 1925 г., но еще до этого, 17 июня Есенин подал в Литературно-художественный отдел Госиздата заявление об издании «Собрания стихотворений» объемом в 10 тысяч строк. 30 июня был подписан договор о его выпуске. Договором предусматривалось, что Госиздату в течение двух лет (с 30 июня 1925 г. по 30 июня 1927 г.) «принадлежит право включения в собрание стихотворений или отдельного издания всех вновь написанных и напечатанных произведений Есенина» *(ЦГАЛИ)*.

[3] Сборник «Березовый ситец» вышел, видимо, в первых числах июня месяца (см. информацию о его появлении в «Красной газете», веч. вып. Л., 1925, 5 июня). Договор на его издание был подписан по доверенности Есенина Г. А. Бениславской 1 июля 1924 г. «Березовый ситец» полностью повторял сборник Есенина «Избранное», выпущенный Госиздатом в 1922 г.

[4] В тот же день Есенин подарил этот сборник с дарственными надписями А. А. Берзинь и В. В. Гольцеву (*РЛ*, 1970, № 3, с. 166).

[5] В этом письме от 24 августа 1925 г. И. В. Евдокимов также ставил вопросы о необходимости «привести в порядок» рукопись, дополнить ее (представленный объем был меньше договорного), решить вопрос о вступительной статье и «биографических данных» (см. *VI*, 365—366).

[6] «Сказка о пастушонке Пете...» была не первым стихотворением Есенина для детей. Он начал свой литературный путь публикациями в детских журналах, тогда им были написаны такие стихотворения, как «Что это такое?», «Бабушкины сказки» и др. В 1916 г. он подготовил сборник стихотворений для детей «Зарянка».

[7] Один из вождей и теоретиков РАППа Г. Лелевич с сектантских позиций этой литературной группировки не раз высказывался о творчестве Есенина. В данном случае, вероятно, имеется в виду его статья «О Сергее Есенине» (журн. «Октябрь». М., 1924, № 3), в которой утверждалось, что Есенин — «кулацкий поэт».

В. Ф. НАСЕДКИН

ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЕСЕНИНА

Василий Федорович Наседкин (1895—1940) — поэт. Познакомился с Есениным в пору их общей учебы в университете Шанявского в Москве. «В университете я познакомился с поэтами Семеновским, Наседкиным, Колоколовым и Филипченко»,— вспоминал Есенин об этом времени (*V*, 230). «...шапочно я с ним

знаком с зимы 1914—15 года по университету Шанявского»,— свидетельствовал и В. Ф. Наседкин («Последний год Есенина», М., 1927, с. 32). Но по-настоящему сдружились они позже, уже после возвращения Есенина из зарубежной поездки. С этой поры имя В. Ф. Наседкина нередко фигурировало в различных проектах журнала или альманаха, который намеревался выпускать Есенин. Делясь одним из таких замыслов с Н. К. Вержбицким, он писал, что думает издавать журнал в Москве, а не в Ленинграде, потому что «все равно возиться буду не я, а Наседкин. Мне, старик, жалко время. Я ему верю и могу подписывать свое имя, не присутствуя» (*VI*, 178). 19 декабря 1925 г. В. Ф. Наседкин женился на сестре Есенина — Екатерине Александровне.

Воспоминания были впервые опубликованы отдельным изд.: Наседкин В. Последний год Есенина. М., 1927. В 1965 г. они были пересмотрены и подготовлены для сб. *Воспоминания, 1965* Е. А. Есениной. Печатаются по этому тексту.

[1] Телеграмма неизвестна. Есенин приехал в Москву вместе с братом П. И. Чагина В. И. Болдовкиным 1 марта 1925 г.

[2] «Перевал» — литературная группировка, сложившаяся при журнале «Красная новь» в конце 1923-го — начале 1924 г. Ее основные задачи так характеризовал журнал «Печать и революция»: «Группа объединяет содружество молодых рабоче-крестьянских писателей и поэтов и ставит себе главным образом задачи производственные. С этой стороны главное внимание членов группы обращено на творчество своих членов, на проработку вопросов художественного выражения и оформления действительности. Вечера «Перевала» поэтому не носят показательно-литературного характера, приближаясь к студийной работе. Не замыкаясь ни в какую кружковщину, группа стремится объединить в своих рядах писательский молодняк, рабочий, комсомольский, крестьянский, не ограничивая своих членов особыми декларациями художественного творчества» (журн. «Печать и революция». М., 1925, кн. 2, с. 305). В состав правления группы в 1925 г. наряду с Артемом Веселым, М. А. Светловым и другими писателями входил и В. Ф. Наседкин.

Точная дата выступления Есенина с чтением «Анны Снегиной» и «Персидских мотивов» на вечере этой группы неизвестна. Есть предположение, что оно состоялось 14 марта 1925 г. (см. *Хроника, 2,* 175).

[3] Перед отъездом на Кавказ 27 марта 1925 г. Есенин передал заведующему Отделом художественной литературы Госиздата Н. Н. Накорякову письмо со своими соображениями о порядке работы над этим альманахом. Он предлагал, в частности, установить должность заведующего редакцией и секретаря альманаха.

«На эту работу редакционной коллегией,— писал он,— представляется тов. Наседкин, с которым я буду поддерживать связь с Кавказа» (*VI*, 181).

[4] В июне — июле 1925 г. Есенин несколько раз ездил в Константиново. В данном случае имеется в виду его поездка на свадьбу двоюродного брата А. Ф. Ерошина.

[5] На Кавказ Есенин вместе с С. А. Толстой выехал 25 июля и вернулся 6 сентября.

[6] Имеется в виду поездка Есенина в Константиново 9—16 июля 1925 г.

[7] Вероятно, имеется в виду статья Н. Осинского «Литературные заметки» (Правда, М., 1925, 26—28 июля).

[8] За вторую половину 1925 г. в печати появилось всего несколько отзывов на «Анну Снегину». Отрицательно отозвались о поэме журн. «Звезда», Л., 1925, № 4 и «Красная газета», Л., 1925, веч. вып., 30 июня. Иначе оценил «Анну Снегину» рецензент газ. «Советская Сибирь», который отметил, что поэма «говорит о новом моменте в творчестве поэта, а именно: о наступлении поэтической зрелости» (газ. «Советская Сибирь». Новосибирск, 1925, 28 июня).

[9] См. об этом в записях С. А. Толстой-Есениной.

[10] Слова из стихотворения «Да! Теперь решено. Без возврата...».

[11] Стихотворение до нас не дошло. См. об этом в записях С. А. Толстой-Есениной и примеч. к ним.

Н. Н. АСЕЕВ

ВСТРЕЧИ С ЕСЕНИНЫМ

Николай Николаевич Асеев (1889—1963) — поэт, один из активных участников литературной группы «Леф», возглавлявшейся В. В. Маяковским. Об отношении Есенина к «лефовцам» см. примеч. к отрывку из статьи В. В. Маяковского «Как делать стихи?».

С творчеством Есенина Н. Н. Асеев познакомился еще в самом начале его литературного пути. Первая их личная встреча произошла значительно позже, уже после возвращения Есенина из зарубежной поездки, зимой 1923/24 года. В то время они входили в литературные группировки, которые постоянно полемизировали между собой. Это, естественно, накладывало отпечаток на личные встречи Н. Н. Асеева и Есенина. Воспоминания о них под заглавием «Три встречи с Есениным» Н. Н. Асеев впервые опубликовал в сб. *Воспоминания, 1926*. В написанных позже воспоми-

наниях о В. В. Маяковском. Н. Н. Асеев подробно рассказал о встрече Есенина с В. В. Маяковским и их беседе.

Первая часть публикуемых в наст. изд. воспоминаний Н. Н. Асеева представляет собой отрывок из его воспоминаний о Маяковском, вторая — из очерка «Три встречи с Есениным». Тексты печатаются: первой части — по кн.: Асеев Н. Собр. соч., т. 5. М., 1964. с. 675—676; второй — по сб. *Воспоминания. 1926.*

[1] Точное время этой встречи не установлено. Поскольку Н. Н. Асеев называет среди окружения Есенина В. Г. Шершеневича и А. Б. Мариенгофа, можно предположить, что она состоялась до окончательного разрыва Есенина с имажинистами, т. е. до сентября 1924 г. В «Трех встречах с Есениным» Н. Н. Асеев рассказывает о другой своей беседе с ним в «Стойле Пегаса» зимой 1924 г., когда разговор тоже зашел о возможном участии Есенина в «Лефе», но В. В. Маяковского, как участника этого разговора, он не называет. Вероятнее всего, встреча Есенина с В. В. Маяковским и Н. Н. Асеевым и их общий разговор о возможном сотрудничестве Есенина в «Лефе» относились к весне или лету 1924 г.

Тем более что осенью отношения между Есениным и В. В. Маяковским вновь обострились, возникла очередная литературная пикировка. В августовском номере журнала «Леф», а 7 сентября 1924 г. в тифлисской газете «Заря Востока» появилось стихотворение В. В. Маяковского «Юбилейное», где в резко полемическом тоне упомянут Есенин:

Ну Есенин,
мужиковствующих свора.
Смех!
Коровою
в перчатках лаечных.
Раз послушаешь...
но это ведь из хора!
Балалаечник!

Есенин в это время был на Кавказе, и скорее всего выпад В. В. Маяковского стал ему известен именно из «Зари Востока». Он в долгу не остался. В написанном именно в эти дни стихотворении «На Кавказе» (оно опубликовано в той же «Заре Востока» 19 сентября) появилась строфа:

Мне мил стихов российский жар.
Есть Маяковский, есть и кроме,
Но он, их главный штабс-маляр,
Поет о пробках в Моссельпроме.

[2] *Эгофутуристы* — одна из группировок русских футуристов, лидером которой был И. Северянин. В предреволюционные годы к этой группировке примыкал В. Г. Шершеневич.

[3] Перед этим Н. Н. Асеев рассказывает, что однажды Есенин с кем-то из приятелей зашел к нему домой и, не застав его, остался дожидаться. Заспорив со своим спутником, Есенин начал с ним шуточную потасовку и напугал этим жену Н. Н. Асеева.

Д. А. ФУРМАНОВ

СЕРЕЖА ЕСЕНИН

Дмитрий Андреевич Фурманов (1891—1926) — писатель. В период встреч с Есениным работал в Госиздате, принимал участие в подготовке «Собрания стихотворений» поэта в трех томах.

Воспоминания печатаются по тексту изд.: Фурманов Дм. Собр. соч., т. 4, М., 1961, с. 374—376, с дополнительной проверкой по рукописи (*ИРЛИ*). Датированы автором в рукописи.

[1] По свидетельству И. В. Евдокимова, «последний раз» Есенин принес стихотворение «Сказка о пастушонке Пете, его комиссарстве и коровьем царстве» (см. с. 292 наст. т.). Видимо, в данном случае речь идет о чтении именно этого стихотворения, а не об «Анне Снегиной» или «Черном человеке», как это иногда предполагается. «Анна Снегина» была написана почти за год до этого и была уже хорошо известна, а чтение «Черного человека» вряд ли могло оставить у Д. А. Фурманова такое радостное впечатление.

[2] Так именует здесь и далее Д. А. Фурманов писателя А. И. Тарасова-Родионова.

[3] Эта поездка в Малаховку к А. И. Тарасову-Родионову состоялась в июле 1925 г.

В. И. ЭРЛИХ

ПРАВО НА ПЕСНЬ

Вольф Иосифович Эрлих (1902—1944) — поэт, один из участников так называемого «Воинствующего ордена имажинистов» — недолговечной литературной группировки ряда молодых ленинградских поэтов. Кроме В. И. Эрлиха, в нее входили В. Ричиотти, Г. Б. Шмерельсон, С. А. Полоцкий. Начиная с апреля

1924 г., во время своих приездов в Ленинград, Есенин часто встречался с ними, они приняли участие в его авторском вечере 14 апреля 1924 года; были и другие их совместные выступления.

Наиболее близок из них к Есенину был В. И. Эрлих. Он встречался с Есениным не только в Ленинграде, но не раз приезжал к нему в Москву, выполнял различные литературно-издательские поручения. Так, например, именно В. И. Эрлиху поручил Есенин наблюдать за изданием «Песни о великом походе» в Ленинграде. Приехав с Кавказа на короткий срок в Москву в марте 1925 г., Есенин писал ему: «Хотелось бы тебя, родной, увидеть, обнять и поговорить о многом... Ежели через 7—10 дней я не приеду к тебе, приезжай сам. Привет Сене ⟨С. А. Полоцкому.— *А. К.*⟩ и всем, кто не продал шпаги наших клятв и обещаний» (*VI,* 180). К В. И. Эрлиху обратился Есенин с просьбой подыскать квартиру, когда в декабре 1925 г. решил переселиться в Ленинград. Ему же Есенин передал и свое последнее стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья...».

Воспоминания о последних четырех днях жизни Есенина, в течение которых он постоянно виделся с поэтом, В. И. Эрлих написал в январе 1926 года. Под заглавием «Четыре дня» они были напечатаны в сб. «Памяти Есенина», М., 1926. В переработанном виде вошли как главы «Четверг», «Пятница», «Суббота», «Воскресенье» в его книгу «Право на песнь», вышедшую в конце 1929 года. Отрицательной рецензией встретил появление этой книги рапповский журнал «На литературном посту», 1930, № 9. Иначе оценил ее Б. Л. Пастернак. 5 декабря 1929 года он писал о ней Н. С. Тихонову: «Книжка о Есенине написана прекрасно. Большой мир раскрыт так, что не замечаешь, как это сделано, и прямо в него вступаешь и остаешься» (*ЛН,* т. 93, с. 681).

В наст. изд. с сокращениями печатается эта книга воспоминаний по изд.: Э р л и х Вольф. Право на песнь. Л., 1930. Датировано автором.

[1] Документальных подтверждений о хотя бы кратковременном приезде Есенина в Ленинград в феврале 1924 г. нет. Маловероятно, что такая поездка вообще могла быть. В последних числах января, в дни прощания с В. И. Лениным, Есенин достоверно находился в Москве. Затем, вскоре, видимо, в десятых числах февраля в связи с порезом руки он попал в Шереметевскую больницу, откуда его в марте перевели в Кремлевскую. После выхода из больницы он приехал в Ленинград за несколько дней до своего выступления 14 апреля 1924 г. Поэтому вероятнее всего, указание на февраль — ошибка памяти автора: его первая встреча с Есениным произошла в этот апрельский приезд поэта.

[2] Имеется в виду Л. И. Турутович, выступавший в печати под псевдонимом Владимир Ричиотти. Он действительно, как сообщает исследователь, был моряком и принимал участие в штурме Зимнего дворца. Правда, на «Авроре» он не служил (см.: Шошин В. А. Сергей Есенин и Владимир Ричиотти — сб. «Есенин и современность». М., 1975, с. 110—119).

[3] Речь идет о строке «По деревням висел в рязанях» из стихотворения «Ты такая ж простая, как все...».

[4] Ричиотти.

[5] Об истории поэмы «Гуляй-поле» см. примеч. 7 к воспоминаниям И. В. Грузинова.

[6] Пробыв в Ленинграде около месяца — с десятых чисел апреля до начала мая 1924 г.,— Есенин уехал с А. М. Сахаровым в Москву, откуда они вместе в конце мая на несколько дней ездили в Константиново. Вновь в Ленинград Есенин приехал в середине июня и пробыл там до 1 августа.

[7] Стихотворение «Возвращение на родину» было написано 1 июня 1924 г. Под заглавием «На родине» с посвящением А. М. Сахарову было напечатано в журн. «Красная новь», М., 1924, № 4. Это название и посвящение были сохранены также в сб. «Стихи (1920—24)», М.— Л., 1924. В последующих публикациях посвящение было автором снято.

[8] Первая редакция «Песни о великом походе» была закончена Есениным в июле в Ленинграде. Бывший тогда главным редактором «Звезды» И. М. Майский вспоминал:

«Есенин уехал в Москву и месяца полтора не давал о себе знать. Потом неожиданно вновь появился в редакции «Звезды». Я посмотрел на него и ахнул: передо мной стоял красивый юноша, «как денди лондонский одет»... Изящный летний костюм, прекрасные желтые ботинки, модная панама, волосы напомажены и издают какое-то изысканное благоухание...

— Вот привез вам кое-что,— начал Есенин,— но еще не совсем отделано... Поработаю несколько дней здесь, в Ленинграде... Потом принесу.

Действительно, примерно через неделю Есенин, все такой же великолепный, снова появился в редакции и несколько торжественно протянул мне довольно толстую рукопись. Я развернул и прочитал в заголовке «Песнь о великом походе». Есенин начинал свой сказ с Петра Великого, эпоха которого, видимо, представлялась ему созвучной нашим дням, а потом переходил к событиям гражданской войны и интервенции. ‹...› Поэма Есенина мне очень понравилась, и я сразу же сказал:

— Пойдет в ближайшем номере»

(Майский И. Б. Шоу и другие. М., 1967, с. 191).

Есенин передал поэму в первой редакции, в которой она и была напечатана, несмотря на его просьбу задержать публикацию (Звезда, Л., 1924, № 5). В концовке поэмы шла строфа:

Бродит тень Петра
Да любуется
На кумачный цвет
В наших улицах.

Вторая строка этого четверостишия в следующей редакции, появившейся в журн. «Октябрь», М., 1924, № 3, читалась: «И дивуется»; в окончательной редакции — «Грозно хмурится». Об истории публикации этой поэмы см. примеч. 14 к воспоминаниям Г. А. Бениславской.

9 Из стихотворения А. С. Пушкина «Дорожные жалобы».

10 Сологуба.

11 Неточная цитата из стихотворения «Я обманывать себя не стану...».

12 В несколько ином варианте эту песню приводит в своих воспоминаниях А. А. Есенина.

13 После письма Есенина и И. В. Грузинова в «Правду» о роспуске имажинистской группы, опубликованного 31 августа 1924 г., В. И. Эрлих писал Г. А. Бениславской: «Во всяком случае: будет Сергей что-нибудь предпринимать или нет — ни я, ни Полоцкий никаких дел с «Гостиницей» иметь не будем и не имеем» (*Хроника, 2*, 303).

14 Об этом посещении ночлежки рассказывает в своих воспоминаниях также Н. Н. Никитин.

15 Здесь и далее В. И. Эрлих приводит с небольшими неточностями выдержки из писем Г. А. Бениславской к нему. Полностью письма опубликованы в сб. «Белые ночи», Л., 1973, с. 259—277.

16 Есенин писал Г. А. Бениславской 17 октября 1924 г.: «Песнь о великом походе» исправлена. Дайте Анне Абрамовне и перешлите Эрлиху для Госиздата. Там пусть издадут «36» и ее вместе» (*VI*, 155). Подробнее об истории публикации «Песни о великом походе» см. примеч. 14 к воспоминаниям Г. А. Бениславской.

17 Эти записки к С. А. Толстой-Есениной и А. А. Берзинь неизвестны.

18 В. И. Эрлих не прав, говоря об «импровизационном» характере творчества Есенина. Подобное мнение могло возникать отчасти потому, что Есенину было свойственно работать не «по бумаге», не «по тексту», а отрабатывать стихотворение в уме и фиксировать на бумаге уже сложившиеся стихи. Этим объясняется, в частности, что среди его рукописей (особенно первых лет

творчества) сравнительно мало черновиков. Исключение составляют, разумеется, большие вещи (например, «Пугачев»). Черновики лирических стихотворений появляются чаще уже в 1924—1925 гг. Поэтому неправомерным представляется вывод В. И. Эрлиха, что Есенин «тратит несколько часов на написание шестнадцати строк». Тщательно, напряженно, иногда по нескольку месяцев работал над каждым своим стихотворением Есенин и раньше. См. об этом также в воспоминаниях И. И. Старцева и М. П. Мурашева.

[19] Договор с Есениным на издание Собрания сочинений в трех томах был заключен Госиздатом 30 июня 1925 г. Оно было издано уже после смерти поэта в четырех томах. Договор с В. В. Маяковским на издание Собрания сочинений в четырех томах был заключен Госиздатом 26 марта 1925 г., но работа над изданием в то время была приостановлена, и тома начали выходить только в 1927 г.

[20] Приведенные строки из «Кобыльих кораблей» были изменены Есениным еще в 1920 г. при подготовке сб. «Трерядница» (см. об этом в воспоминаниях И. В. Грузинова). Никаких переделок в поэме «Сорокоуст» Есенин не производил.

[21] Правильно — Григорий Александрович Карасев.

[22] Речь идет о глиняном бюсте Есенина, вылепленном С. Т. Коненковым. Он не был восстановлен и не сохранился. 12 марта 1926 г. С. Т. Коненков писал С. А. Толстой-Есениной: «Вы трогательно описываете Сережу и кончину моего бюста-портрета Сережи и спрашиваете, возможно ли восстановить его. Скажите, сохранились ли у Вас осколки? Впрочем, это не важно! Я напрягу все силы, чтобы воскресить образ Сережи» (*VI*, 380—381). До нас дошел бюст Есенина, созданный С. Т. Коненковым из дерева.

[23] 24 декабря 1925 г., четверг — первый из четырех последних дней жизни Есенина.

[24] Из стихотворения «Исповедь хулигана».

[25] Из стихотворения А. С. Пушкина «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...» (с неточностью).

[26] Из поэмы А. А. Блока «Возмездие».

Е. А. УСТИНОВА

ЧЕТЫРЕ ДНЯ СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ЕСЕНИНА

Елизавета Алексеевна Устинова — жена писателя и журналиста Г. Ф. Устинова, с которым Есенин познакомился и подружился в конце 1918 года. В начале 1919 года они некоторое время жили вместе в гостинице «Люкс», где находилось тогда общежи-

тие Наркомата внутренних дел. Г. Ф. Устинов работал в то время в Центропечати и помогал поэту в распространении его книг. В январе — феврале 1919 года он входил в редколлегию газеты «Советская страна», в четырех вышедших номерах которой был напечатан ряд произведений Есенина. С середины 1925 года Устиновы жили в Ленинграде, и поэт бывал у них в свои приезды в этот город в ноябре и декабре.

Воспоминания были впервые опубликованы в сб. *Воспоминания, 1926,* по тексту которого печатаются и датируются в наст. изд.

[1] Есенин был в Ленинграде 3—6 ноября 1925 г. Г. Ф. Устинов вспоминал: «В ноябре Есенин был в Ленинграде. Долго, целый вечер просидел у меня в «Англетере», трезвый и необыкновенно смирный. Он мне показался тем Есениным, которого я знал в 1919 году. Есенин читал свои новые стихотворения, в том числе «Черного человека». Эта поэма была еще не отработана, некоторые места он мычал про себя, как бы стараясь только сохранить ритм, и говорил, что над этой поэмой работает больше двух лет» (*Воспоминания, 1926,* с. 160).

[2] Разговор о романе передает и Г. Ф. Устинов, относя его, правда, не к декабрю месяцу, а к лету 1925 г.: «Летом, например, он говорил мне, что работает над большим романом, который вчерне уже закончен. Первая часть романа, по его словам, была уже отделана совсем, и он собирался сдать ее в «Красную новь». Но, как потом оказалось, никакого романа Есенин не писал...» *(Воспоминания, 1926,* с. 160—161).

В. В. МАЯКОВСКИЙ

ИЗ СТАТЬИ «КАК ДЕЛАТЬ СТИХИ?»

Первая встреча Владимира Владимировича Маяковского (1893—1930) с Есениным произошла в конце 1915-го — начале 1916 года в Петрограде. В. В. Каменский вспоминал:

«Однажды на званом ужине у Федора Сологуба, после выступления Маяковского, хозяин попросил прочитать свои стихи белокурого паренька, приехавшего будто бы только сейчас из деревни.

И вот на середину зала вышел деревенский кудрявый парень, похожий на нестеровского пастушка, в смазных сапогах, в расшитой узорами рубахе, с пунцовым поясом.

Это был Сергей Есенин.

Слегка нараспев, крестьянским, избяным голосом он прочитал несколько маленьких стихотворений о полях, о березках.

Прочитал хорошо, скромно улыбаясь.

А когда стали просить еще, заявил:

— Где уж нам, деревенским, схватываться с городскими Маяковскими. У них и одежда, и щиблеты модные, и голос трубный, а мы ведь тихенькие, смиренные.

— Да ты не ломайся, парень,— пробасил Маяковский,— не ломайся, миленок, тогда и у тебя будут модные щиблеты, помада в кармане и галстук с аршин» (Каменский В. Жизнь с Маяковским. М., 1940, с. 174—175).

Поначалу их встречи на различных литературных вечерах были относительно редкими и не становились «литературной злобой дня». Однако ко времени возникновения объединения имажинистов положение изменилось. Полемические выпады Есенина и Маяковского друг против друга заметно участились. В памяти современников сохранилось немало отрицательных суждений Есенина о Маяковском. Их столкновения на литературных диспутах (особенно резкие и бескомпромиссные в 1919—1921 гг.) надолго запомнились всем присутствовавшим. Есенин не только не скрывал, но как бы нарочно подчеркивал свою неприязнь к поэзии Маяковского. В «Железном Миргороде» он писал, например: «Мать честная! До чего бездарны поэмы Маяковского об Америке!» (*V*, 144). В основе всех этих взаимных выпадов лежала групповая литературная борьба. Такие имажинисты, как В. Г. Шершеневич и А. Б. Мариенгоф, не могли, разумеется, принять яркой гражданственности поэзии В. В. Маяковского, его борьбы за революционное искусство. Уязвленные революционным пафосом его поэзии, тем, что на этом фоне особенно ничтожными выглядели их псевдорадикальные «дерзновения», они всячески стремились разжечь литературные скандалы вокруг В. В. Маяковского и втягивали в эту борьбу Есенина.

Некоторые современники, в немалой степени «с подачи» того же А. Б. Мариенгофа или В. Г. Шершеневича, склонны были считать инвективы Есенина в адрес Маяковского как нечто неизменное, как отражение его постоянных литературных вкусов. Но, во-первых, и в пору своего содружества с имажинистами Есенин не скрывал ни своего уважения, ни своего интереса к творчеству В. В. Маяковского. И, во-вторых, по мере ослабления связей Есенина с имажинистами все явственнее проявлялась его тяга к В. В. Маяковскому. Хотя их литературная пикировка продолжалась и в 1924 году (см. примеч. 1 к воспоминаниям Н. Н. Асеева), но в то же время велись разговоры даже о сотрудничестве Есенина в «Лефе».

Со своей стороны и В. В. Маяковский никогда не отрицал большого дарования Есенина. Ведя последовательную борьбу с имажинизмом, он в то же время замечал: «Из всех них (имажи-

нистов.— *А. К.*) останется лишь Есенин» (Маяковский В. Полн. собр. соч.. т. 13. М., 1961, с. 217).

Подробнее о взаимоотношениях поэтов см.: Перцов В. О. Маяковский и Есенин.— Сб. «Маяковский и советская литература». М., 1964, с. 49—77; Земсков В. Ф. Есенин и Маяковский.— Сб. «Есенин и русская поэзия». Л., 1967, с. 137—170.

Отрывок из статьи В. В. Маяковского «Как делать стихи?» печатается по изд.: Маяковский В. Полн. собр. соч., т. 12. М., 1959, с. 93—96.

[1] Из стихотворения «Сорокоуст».

[2,3] Неточные цитаты из стихотворения «Иорданская голубица».

[4] Маяковский перефразирует следующий отрывок из «Ключей Марии»: «Средства напечатления образа грамотой старого обихода должны умереть вообще... Вот потому-то нам так и противны занесенные руки марксистской опеки в идеологии сущности искусства. Она строит руками рабочих памятник Марксу, а крестьяне хотят поставить его корове» (*V*, 189).

[5] Из стихотворения «До свиданья, друг мой, до свиданья...».

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

В указатель включены имена лиц, упоминаемых в воспоминаниях, вступительной статье и комментариях. Страницы вступительной статьи и комментариев обозначены курсивом. Имена лиц, встречающиеся только во вступительной статье и комментариях, в указатель не внесены. Имена авторов мемуаров, сведения о которых даны в комментариях, в указателе не поясняются.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И СБОРНИКОВ СТИХОТВОРЕНИЙ С. ЕСЕНИНА

СОДЕРЖАНИЕ

С. А. Есенин в воспоминаниях современников.
Е 82 В 2-х т. Т. 2/Сост. и коммент. А. Козловского.— М.: Худож. лит., 1986.— 446 с. (Лит. мемуары)

Во второй том вошли воспоминания М. Горького, В. Маяковского, А. К. Воронского, Вс. Рождественского, Н. Н. Асеева и других видных деятелей литературы и искусства, а также воспоминания родных и близких поэта: Т. С. и К. С. Есениных, С. А. Толстой-Есениной и других.

Е $\frac{4702010200\text{-}316}{028(01)\text{-}86}$ 62-86 **ББК 84Р7**

С. А. ЕСЕНИН В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Том второй

Составитель *Алексей Алексеевич Козловский*

Редакторы *Ч. Залилова, К. Нещименко*

Художественный редактор *Г. Масляненко*

Технический редактор *Л. Платонова*

Корректоры *Г. Володина, Т. Горбунова*

ИБ № 4011

Сдано в набор 03.03.86. Подписано к печати 11.10.86. А10664. Формат 84×108 1/32. Бумага типогр. № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 23,52+1 вкл.+альбом=24,41. Усл. кр.-отт. 25,72. Уч.-изд. л. 25,32+1 вкл.+альбом=25,88. Тираж 100 000 экз. Изд. № II-1721. Заказ 300. Цена 1 р. 90 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15





